А. С. ГРИН

А. С. ГРИН

2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. С. ГРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 2

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Вл. Россельса

Составление
В. Ковского, Вл. Россельса,
Е. Прохорова

Иллюстрации художника
С. Бродского

© Издательство «Правда». 1980
Составление. Примечания. Иллюстрации (2, 3, 5, 6).

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ

I

Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на срезе которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд,— самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.

Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: «школа», «гостиница», «тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы,— начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины,— и оставшись лишь в том, что подлежит стирке.

Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изведав-

ших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта,— было гнусное, недостойное порядочного человека, похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.

Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе.— «Я никого не люблю, Гоан, верьте мне»,— сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня: она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.

Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Гоана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то, похожее на слова.

Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его, тем не менее, к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи

и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подобру-поздорову, куда угодно.

Гоан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запевалы Кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.

Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билось на его груди, запрокинутую голову девушкн и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!

Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все сон, откидывал голову и, стукаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и, медленнее, затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков налились кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.

— И вы... посмотреть,— тихо сказал Гоан,— уйдите, простите!

— Я сейчас и уйду,— произнесла торопливым шепотом девушка,— но вы не защищались, зачем вы допустили все это?

— Ах! — сказал Гоан.— Слова сожаления; но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите, нет, не уходите... или уйдите; пожалуй, это самое лучшее.

— Мне ужасно жаль вас.— Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением.— Ну, что вы, не плачьте. Вы... или нет, я уйду, увидят.

Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.

В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя.

— Для вас, Дэзи,— сказал Гоан,— только для вас.

II

Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.

— Велено отпустить,— пробормотал он, откашливаясь,— так смотри... не шляйся в здешних местах.

Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.

Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен — все это указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.

Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекшую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком,— земля большая.

На повороте к горам, где, за синей далью чащи, шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле, Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.

Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:

— Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже, что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.

Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.

— Отец оскорбил меня,— продолжала Дэзи.— Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злобы и оскорблений.

— Милая,— сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица,— мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами... а женщины — за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне, Дэзи: кляиусь — я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!

Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая — давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.

Они жили долго и умерли в один день.

ТАБУ

I

Положение писателя, не умеющего или не способного угождать людям, должно внушать сожаление. У такого художника выбор тем несколько ограничен, так как

настроенный антихудожественно к обычным проявлениям жизни — болезни, радости, горю, любви, труду, страстям и так называемым «достижениям» — человек становится более противосоциальным явлением, чем профессиональный убийца. Не может быть ничего оскорбительнее для читателя, как равнодушие к его нуждам: это понятно; вместе с тем писатель антисоциальный не может принудить себя к гуманистическому изображению быта; то, что он пишет, замкнуто само в себе, подобно ударам колокола в глухой пещере. Однако известен случай, когда именно такой писатель стал популярен,— я привожу здесь его собственный рассказ об этом странном, если не более, происшествии.

— Мы отплыли,— сказал мне Агриппа,— отплыли из Калькутты с самыми зловещими предзнаменованиями. Во-первых, с парохода бежали крысы. Во-вторых, на очередной пассажирский рейс в разгаре сезона прибыло так мало пассажиров, что две трети кают остались пустыми. В-третьих, механик, накануне отплытия, видел себя во сне ползающим на четвереньках перед Нептуном; морской бог, по словам механика, яростно грыз свой трезубец. «Факты и комментарии!» Фламмарион с достоверностью утверждает, что на кораблях, обреченных катастрофе, пассажиров всегда меньше против обыкновенного; знаменитый астроном приписывает это неосознанному предчувствию, однако с большей уверенностью можно наградить странным предчувствием крыс. Во всяком случае, я, как человек научно суеверный, посетил нотариуса и общество страхования жизни и — вы увидите далее — поступил правильно, так как могло быть хуже, чем вышло.

На восьмой день нашего плавания мы потерпели классическое кораблекрушение, по всем правилам этого печального дела. Схематически можно выразить это так: туман, риф, пробоина, град проклятий, охрипшие голоса, шлюпки и неизменный, одиноко тонущий капитан наш не составлял исключения. Все это произошло на рассвете. Настроенный злорадно по отношению к обществу страхования жизни, я, тем не менее, не захотел увеличить своей особой список ужасных премий и, насколько хватило соображения, стал измышлять средства.

Само собой понятно, что мне, при моей медленности и неповоротливости, не удалось пристроиться ни в одну

шлюпку. Закон человеколюбия превратился в грубую солдатскую дисциплину, прозевавший команду терял связь с ходом массового спасения. Да, вышло так, что я остался на палубе, и, по правде сказать, у меня не хватило духу прыгнуть в последнюю, переполненную лодку,— может быть, я потопил бы ее своей тяжестью. Капитан, честный, как большинство из них, стоял у трубы, скрестив на груди руки. Лицо бедного малого напоминало взволнованное море, ему, конечно, страшно хотелось жить, но положение обязывает — приходилось идти ко дну. Однако, постояв еще минуту-другую и, видимо, волнуясь все более, капитан, бросив на меня взгляд, выражавший некоторое смущение, бултыхнулся в воду и поплыл к ближайшей шлюпке, где его, мокрого, втащили на борт, а я, охваченный непонятным равнодушием к жизни, уселся на его месте, рассматривая в бинокль переполненные людьми лодки, которые даже при несильном волнении неизбежно должны были пойти ко дну. Таким образом, у меня было сомнительное утешение — потонуть с комфортом и на просторе, тогда как мнимоспасшимся предстояло в бурную погоду пойти ко дну ужасной гирляндой, хватаясь друг за друга, как за соломинку.

Пароход, раскачиваясь от перемещавшейся в трюмах воды, погружался медленно и безостановочно. Я, вытащив карманную библию, читал книгу премудрости Соломоновой; не будучи человеком религиозным, я, тем не менее, из понятной хитрости делал это на всякий случай. Закрыв библию, я стал думать о смерти, но, к удивлению своему, так вяло, что оставил этот предмет и занялся рассматриванием океана. Очень далеко, на линии горизонта, белел парус. Ранее его не было, из чего я без труда заключил, что судно не удаляется, а приближается, но трудно было сказать, сколько времени пароход останется над поверхностью воды. Думая, что это может случиться неожиданно и не желая попасть в могущую образоваться воронку, я сам бросился в воду, отплыв шагов на сто; пробковые нагрудник и пояс хорошо держали меня. В таком положении я стал ожидать спасителя, оказавшегося туземным рыбачьим судном, и через час был принят на борт. Тем временем пароход исчез в глубине океана, образовав, как я и ожидал, шум-

ный водоворот, родивший множество мелких волчков-воронок, разбежавшихся под синим утренним небом с тихими всплесками.

II

Законы гостеприимства вынужденного — не совсем то же, что званый вечер; однако я не могу сказать, что чернокожие Аполлоны, провонявшие рыбой и чесноком, держали меня в черном теле. Попытки разумных, взаимных объяснений с помощью жестикуляции и щелканья языком не привели ни к чему — мы так и не разговорились, после чего, будучи оставлен в покое и утолив голод вареной рыбой, я крепко уснул. При слабом, но ровном ветре судно быстро скользило вперед, держась одного курса; шум рассекаемой форштевнем воды, глухие голоса дикарей, нестройные звуки дикого инструмента вроде волынки и скрип реи скоро усыпили меня. Я лежал в кормовой части, среди рыбьих костей, неубранных деревянных чашек и тряпок — рядом с моим лицом топали босые ноги рулевого, а надо мной двигался румпель. Я заснул, полный странного равнодушия к дальнейшей своей судьбе и перенесся в страну видений, полных грозной таинственности, по пробуждении же не мог ничего вспомнить. Когда я проснулся, была ночь, передо мной на корточках сидели два чернокожих и рассматривали меня с большим увлечением. Один, ударив меня по плечу, сказал: «Като-то... като» — и засмеялся. По тону голоса я заключил, что ко мне относятся дружелюбно. Скоро подошли и другие, и снова завязался трудный разговор на двух языках; однако, желая выяснить направление и цель нашего путешествия, я добился того, что один из дикарей, показав на юг, вытянул три пальца и пригнул их, затем, очертив рукой в воздухе окружность, сказал: «Орпозо», что, по-видимому, было названием местности. Из всего этого я пришел к выводу, что судно плывет на юг, и через три дня будет в «Орпозо» — должно быть, какой-то остров.

Я не буду описывать однообразия нашего плавания, так как при одном воспоминании о духоте зноя, рыбной вони и непобедимой от безделья сонливости мне становится скучно. Разумеется, во всем этом есть много интересных бытовых подробностей, но, не состоя этногра-

фом, оставляю быт дикарей перу неутомимых исследователей, знающих это дело. Я же, будучи от природы не склонен к изображению домашней утвари и обычаев, перейду к главному. Утром третьего после моего спасения дня мы, держась вблизи высокого неизвестного для меня берега, обогнули его в южной части, лавируя среди островков, так круто и живописно изрезанных маленькими лагунами, что я, по неопытности, постоянно принимал устья их за целую сеть проливов и убеждался в ошибке, лишь заглянув в сияющую округлость их, полную скал и блеска. Сохранив и высушив свой костюм, я представлял, стоя с заложенными в карманы руками, странное среди голых и черных тел зрелище; по контрасту это доставляло мне известное невинное удовольствие. Насвистывая «Сон негра», я любовался царством первосказанной красоты, любимейшей матери людей — природы, исходящей лучезарными улыбками океана, серебристыми, лиловыми оттенками берегов, дивной прозрачностью воды, беспричинной, полной радости света, обмывающего в зеленоватой глубине волн плавники дельфинов, раковины, орхидеи и камни, отполированные столетиями столетий. В это время, вылетая на длинных веслах из дремотных лагун, несколько десятков пирог, полных вооруженными туземцами, образовали сомкнувшийся полукруг, и я услышал непередаваемый вой, способный внушить навсегда отвращение к человеческому голосу. Хозяева мои бросились к парусам, но было уже поздно, судно хоть и имело сзади открытый путь, неизбежно, выйдя из ветра, остановилось бы в галсе, впереди же плотной, щетинистой от копий и щитов цепью надвигались враги.

Я не успел опомниться, как несколько стрел, пробив паруса, закачались в них, подобно веткам под севшими на них птицами. Вытащив небольшой карманный револьвер, я схватил свой пробковый пояс и, прикрываясь им, как щитом, пустил три пули в стоявших на ближайшей пироге; двое, пронзительно заорав, нырнули в воду. Хозяева мои спешно вооружались ножами, палицами и копьями. Испустив столь же пронзительный гогочущий вопль, как и нападающие, они стали у бортов, размахивая над головой лезвиями, и, по тусклому свету загоревшихся бешенством глаз, я увидел, что кому-то придется круто.

Я стоял у мачты, приберегая пули на крайний случай. Враги, раскачивая судно из стороны в сторону, висли на бортах, срывались, вскакнвали на палубу, убивали и падали сами с раскроенными черепами. К ногам моим подкатилась, тяжело стукнув, ловко отрубленная голова. Держа револьвер в левой руке, а в правой толстый деревянный рычаг, я бил этим незамысловатым орудием всех подступавших близко, и с такой яростью, что обратил на себя исключительное внимание. Меня обступили со всех сторон, стараясь полоснуть на смерть, однако уроки отставного кавалериста Геймана не прошли даром, и я увесисто попадал в челюсти концом рычага, действуя тычком и наотмашь, пока не поскользнулся в крови, после чего упал на колени; рычаг был вырван из моих рук, а я, взмахнув револьвером, рассеял все остальные заряды в костлявые тела дикарей. На мгновение я увидел свободное пространство, а затем почти нечувствительный сгоряча удар в голову опрокинул все в диком смешении мелькающих черных белозубых лиц, и я с пересекшимся дыханием упал к ногам победителей.

III

Приступая теперь к событиям, имеющим прямое отношение к сущности моего рассказа, я заявляю, что все дальнейшее, как бы невероятно и чудовищно ни показалось оно людям мирного душевного склада, происходило в действительности, во всей своей ужасной бытовой простоте. Я очнулся на руках дикарей; от слабости я висел, как плеть, меня, подхватив подмышки, поддерживали в стоячем положении; неподалеку я увидел двух черных матросов со связанными позади руками; остальные, вероятно, были убиты. Я был гол, как и они — с меня сняли все. Нас окружала толпа, человек в триста, все это происходило в центре большой поляны — вековые деревья, застывшие в массивной неподвижности огромных стволов, придавали неизвестности будущего характер зловещий и мрачный. Взглянув перед собой, я увидел большой костер, возле которого суетились дети и женщины.

Я попытался вырваться, но был прижат еще крепче. В это время к одному из пленников быстрыми скачками приблизился мускулистый дикарь, взмахнул дубиной и

оглушил несчастного по голове тяжким ударом; пленник, пробежав шагов пять, упал в конвульсиях; второй, видя смерть товарища, жалобно закричал, но был убит тем же приемом. В тот момент, когда упала первая жертва, я почувствовал себя дурно от страха; еще немного, и я вновь, на этот раз уж навсегда, лишился бы сознания, оглушенный палицей. Инстинкт самосохранения, вспыхнувший при виде этой бесчеловечной расправы, с силой удара грома подсказал мне, что просить пощады бессмысленно. Явлению, поразившему меня, следовало противопоставить нечто, способное поразить, в свою очередь, шайку убийц. Палач, свалив второго, теми же кошачьими прыжками направился ко мне. Я вырвался из рук дикарей, схватил первого попавшегося за горло, отбросил его изо всей силы прочь и, кинувшись на землю, забился в невероятных корчах, подражая судорогам эпилептиков.

Могу сказать смело, что, понадобись где-нибудь на сцене телодвижения, подобные выполненным мной в эти минуты, я остался бы непревзойденным в своей случайной импровизации. Я бился спиною, головою, грудью и животом, грыз землю, судорожно сплетал руки, барабанил коленями, закатывал глаза, хрипел и кричал. Сила отчаяния заставила меня быть почти истериком настоящим. Как ни был я поглощен единой мыслью поразить убийц безумством телодвижений, все же я не мог не заметить, что впечатление велико. Подбежавшие ко мне отступили, в кругу раздались крики, но не угрожающего оттенка, и скоро, продолжая вертеться волчком, но посматривая вокруг, я увидел, что окружен плотным кольцом присевших на корточки дикарей; наконец, обессилев, я вытянулся неподвижно лицом вверх, приготовившись, на всякий случай, ко всему худшему.

Случилось так, что мой расчет оправдался. Я почувствовал, что меня осторожно приподымают, сопровождая это восклицаниями, и возгласами, и воплями; отдохнув несколько в сидячем положении, я встал и, с намерением усилить эффект, поднял руки вверх, как бы призывая на помощь и в свидетели знойное солнце. Подумав немного, я запел первое, что пришло в голову; то было «Хабанера» Бизе; суеверные мозги людоедов приняли ее с должным почтением. Ко мне подошел старик с птичьими костями в носу и глиняными кружочками в

отвисших губах; костюм его состоял из моих брюк и носового платка, повязанного так, как это делают страдающие зубной болью; старик, положив мне на грудь руки, оглянулся и сказал: «Табу». Тотчас же от меня отошли все, оставив под присмотром двух человек, молчаливых, с испуганными, как теперь у большинства, глазами, и я, измученный, сел на землю.

По-видимому, я отнял у людоедов много драгоценного времени, так как, лишь изредка посматривая в мою сторону, занялись они, с живостью и аппетитом проголодавшихся школьников, противоестественной трапезой. Тела убитых, выпотрошенные и освежованные совсем так, как свиные или телячьи туши, были разделаны на куски и подвешены близ огня; дикари, занявшиеся этим, подбрасывали в рот маленькие кусочки сырого мяса, отрезая их полуворовски, полуоткрыто, как случайную привилегию. Через десять минут от стройных человеческих тел, превращенных в пищу, понесся запах крови, жира и гари. У ног леса дремали синие тени; струился, как вода, переливчатый, огненный воздух, а над пышной травой, пахучей и сочной, летали исполинские бабочки с волосатыми мясистыми тельцами, яркие и ленивые. Мне не предложили поесть. Не думаю, чтобы дикари в этом руководились соображениями этическими: им было, вероятно, мало самим, а я благодарил за это судьбу.

IV

Я хорошо сообразил свое положение и мог быть до времени спокоен за свою жизнь. «Табу» — абсолютный запрет, патент, выданный мне за относительную мою святость, которую я, по понятиям каннибалов, достаточно доказал акробатическими упражнениями и пеной у рта,— действовал, вообще, магически. Скоро я убедился, что это положение имеет свою обратную сторону, но не следует забегать вперед.

Меня поселили в маленьком шалаше, очень хорошо пропускавшем ветер и дождь. Шалаш этот стоял несколько в стороне от деревни, раскинутой неправильным полукругом; я насчитал сорок два подобных моему шалаша и один побольше, в котором жил вождь этого свирепого племени, он же и жрец. Этот человек испортил мне много крови. Его звали Умоти, что в переводе значит

муравьиное яйцо; я же назвал бы его охотнее яйцом василиска, так как ядовитый старик беспрестанно шпынял меня язвительными сожалениями относительно цвета кожи и глаз, считая голубые глаза непринятыми в хорошем обществе. Кроме того, он имел скверную привычку подозревать меня в тайных колдовских замыслах и терпеливо расспрашивал, что я думаю о своей манере барабанить пальцами по колену — в его глазах это равнялось каким-то волшебным манипуляциям. Кроме него заходил еще иногда ко мне человек с отвислым, дряблым и большим животом и очень большими белыми зубами, некто Башлу; этот осматривал меня плотоядно, вздыхая и приговаривая: «Белый человек очень добрый, очень мягкий, он очень вкусный». Башлу был простой мужик, загнавший в гроб четырех жен. Он носил мне пищу и воду. Мне обыкновенно доставались объедки и кости, к которым, зная несколько анатомию, я приступал после тщательного детального рассмотрения. Остальные дикари удостаивали меня своим посещением значительно реже и приходили обыкновенно группами; сидя на корточках вокруг меня, они беседовали со мной самым светским образом, т. е. о пустяках — своих семейных делах, сплетнях, охоте и рыбной ловле, амулетах, погоде, или рассказывали сказки, до чего были большие охотники. Часто я подвергался расспросам: людоеды желали знать, кто я, из какой страны, и едят ли у нас дряхлых стариков, ставших обузой общине. Я рассказывал им преимущественно о поражающих воображение завоеваниях науки и техники, с целью поддержать свою репутацию колдуна, и мне безусловно верили; что же касается съедения стариков, то, желая внушить уважение к белому племени, объяснил, что люди повсюду едят друг друга самым недвусмысленным способом.

Нужно сказать, что «табу», спасшее мне жизнь, сыграло теперь чрезвычайно коварную роль. Умоти и его помощник Ако, опасаясь, что я, вступив, если мне это заблагорассудится, в конспиративный союз с духами Хамигеем, Таконтей и Вакос, могу, из беспредметной злобы, лишить воду — рыбы, леса — зверей, женщин — плодовитости, мужчин — острого зрения и сильной руки, но в то же время, боясь убивать меня, дабы не навлечь бедствий, еще горших, со стороны той же злобной духовной троицы, придумали объявить для меня «табу»

все. за исключением трех шагов земли по окружности шалаша. Запретная граница была очерчена неглубокой канавкой, и я, под страхом лишиться правой руки, не мог перешагнуть ее ни в каком случае. О таковом решении мне было сообщено с барабанным боем и плясками, весьма свирепые па которых заставили меня три дня видеть плохие сны и вскрикивать. Хорошо зная открытый, прямолинейный характер своих хозяев, я и не пытался переступать роковую канавку, за которой мир более не существовал для меня; за мной был установлен надзор; я очень люблю свои белые, мускулистые руки и лишиться одной из них считаю непозволительной роскошью, и к тому же ее наверняка бы съели; племя, живущее постоянно впроголодь, не брезгающее гусеницами, личинками и жуками, упустило ли бы десять фунтов говядины?

«Табу», вообще, играло слишком большую роль в жизни гуземцев. Я не знаю, как они терпели такой порядок вещей. Священная роща, в которой стояло несколько деревянных идолов, была уже испокон века «табу» — вступивший в нее лишался языка и правого уха. «Табу» объявлялась всякая родившая в новолуние женщина — коснуться ее и заговорить с ней, под страхом смерти, не смел никто, кроме жреца. Молодая барышня, не старше пятнадцати лет, и в этом же возрасте юноши обязаны были подчиняться всякому приказанию людей старше себя. На каждый месяц было свое «табу»; так, например, запрещалось рыть землю в апреле, в сентябре драть кору, в марте ловить рыбу; Умоти пользовался безусловным правом объявлять «табу» на каждом шагу, что и делал в очень широких размерах; например, кокосовые орехи он объявлял под запретом, когда они созревали, и брал их себе, весьма неохотно уделяя часть подданным. Иногда, дисциплины ради, он заявлял «табу» на такие вещи, как тропа, изгородь, с целью проверить, послушно ли население. Однажды запрету подверглись из соображений высшей политики солнце, луна и звезды, и ни один людоед не смел посмотреть вверх.

Разумеется, при столь серьезном отношении к делу, мне и помыслить нечего было перескочить канавку Немытый, обросший волосами, в поясе из древесной коры, я проводил дни, лежа у шалаша, в тягостной, нестерпи-

мой тоске пленника, сведенного до положения животного. Казалось мне порой, в полудремотном оцепенении, что в мертвом тумане веков вижу я свой собственный образ завывающего на скале, в тьме и молчании, дикого человека. Часто, припав к земле, я плакал тяжелыми, холодными слезами. Я видел синеющее в полуверсте море, обрывы скал, волшебную лесную растительность; далее за ними простирались еще воды, еще острова, реки, города, целые материки, весь пестрый узор планеты, кипящей, как водопад, блесками и очарованием, но это было под запрещением, так как суеверный дикарь соблаговолил прохрипеть «табу». Мне предстояло сойти с ума или же, отупев, покориться ужасному быту правоверных язычников. Неподалеку росли цветы; я не смел сорвать их. А между тем за любой из этих хорошеньких, упругих и влажных венчиков я с радостью разрешил бы земле, захоти она, расступиться и поглотить всю деревню с ее цепким, как репей, «табу», зверством и нищетой.

Я очень скоро научился языку дикарей. Скупой лексикон их состоял из двухсот с небольшим слов, чуждых всякой грамматике. Некоторых понятий, как, например, «гармония» — «чистота» — «наслаждение» — «косность», не существовало совсем. Разряд ощущений высших, естественно, здесь отсутствовал; зато очень хорошо и удобно можно было толковать о пище, общинных жертвах духу Хамигею, очередных выборах старшины, являвшего нечто среднее между полицейским и простой синекурой; обыкновенно, старшина ровно ничего не делал. Я развлекался, как мог. Из глины я скатал несколько шариков, сделал из прутьев дужки и пяткой вместо молотка разыгрывал в одиночку крокетные партии. Немного позже я приручил и выдрессировал большого жука — насекомое скоро научилось ползать вокруг руки, останавливаясь по сигналу. Однажды, в лунную бессонную ночь, я заметил у входа плоскую голову змеи. Изумрудные глаза ее, в такт тихому шипению, магически покачивались передо мною. Искушение было велико, и я протянул уже руку, зная, что маленький укус решит все. Но был в глазах змеи как бы тихий укор. Пристальный взгляд ее, истинно мудрый, как мудры, не ведая этого, все низшие существа, наполнил меня сомнением. Я понял, что, пока жив, можно еще надеяться. Сама смерть

качалась передо мной, но это был бы последний бесславный и горький шаг.

Змея уползла. Я лег на кучу высохших веток и стал обдумывать план, весьма рискованный, но единственный в моем положении. Подходил к концу шестой месяц моего плена.

V

Я провел две ночи без сна, взвешивая, тщательно, как фармацевт, малейшие дозы вероятия, возможности риска, успеха полного и неполного. В первой части своего плана я не рисковал ровно ничем, зато во второй, при непосредственном переходе к действию, надо было играть только наверняка. Размышляя и взвешивая, я пришел, наконец, к заключению, что иного выхода нет. Понятно, что у меня не было никаких путей покинуть остров для лучших, желанных мест, но уже одна мысль, что, истребив людоедов, я смогу оставить трехкопеечную свою территорию и жить так свободно, как это позволяют условия,— воодушевляла меня сильнее, чем лоток с мясом — голодного бродячего пса. Луна была на ущербе, я выждал, когда она исчезла совсем, потому что нуждался в одной совсем темной ночи, и перешел в наступление.

Утром, как всегда, пришел Башлу в сопровождении мальчика; пузатый малец тащил на деревянной доске большую рыбу, берцовую человеческую кость и нечто, напоминающее пряники, сделанные из мучнистых корней. Сделав вид, что за кость, как за лакомство, примусь после, я с довольной улыбкой отложил ее в сторону и стал жевать пряник. Башлу, ковыряя дротиком земляной пол, сказал:

— Умоти просит белого человека вылечить ему зуб. Он очень болен, громко кричит и ругается.

Я сделал вид, что не слышу. Больной зуб у каннибала — явление редкостное и сантиментальное, но, как ни любопытно мне было бы посмотреть на Умоти с флюсом, я воздержался. Прямой выгодой мне служило теперь, что вождь племени остро и болезненно (что может быть хуже зубной боли?) думает обо мне. Башлу хотел повторить сказанное, но заметил, что мои руки начинают дрожать. Частое, прерывистое дыхание и вытаращенные глаза произвели сильное впечатление; Башлу попятился

и остановился у входа, я же, схватив рыбу за хвост, стал махать ею над головой, потом, дрожа и корчась всем телом, упал навзничь. Мальчик заплакал. Башлу, стукнув его по голове дротиком, побежал к деревне, испуская страшные призывные вопли, и скоро оба исчезли, оставив меня обдумывать продолжение так хорошо начатого дела.

Тем временем я выполз из шалаша и скоро увидел направляющуюся ко мне толпу воинов с Умоти во главе; встав, я двинулся к ним навстречу, не переходя, однако, канавки, приплясывая и изгибаясь, как балерина, бертясь на пятках и, для разнообразия, кувыркаясь самым нелепым образом. Когда же вокруг меня столпилась суеверно настроенная деревня, я встал на четвереньки и взвыл неистовым голосом. Среди шума и криков слышал я трусливые возгласы, упоминающие Хамигея, Таконтея и Вакоса, а также имя духа добра — Усосо, поставив это в связь со своим поведением, я понял, что достиг цели. Устав, я выпрямился во весь рост, покачиваясь, воздев руки к небу, и с закрытыми глазами выкрикнул следующее:

— Слушайте, вы, воины племени Ямма, духи неба открыли мне страшную тайну! Вам это очень важно и нужно знать! Слушайте внимательно. Усосо сказал. «Нет никого красивее, храбрее, быстрее и ловчее, чем Ямма, носящие в ушах птичьи клювы! Они бегают с быстротой ящерицы, лазают, как обезьяны, дерутся, как орлы, и никто не может равняться с ними ни в чем». Так сказал великий Усосо.

Я произнес это нараспев, в нос. Кокетливый, самодовольный вопль и двести гримас были мне ответом.

Царапая себе слегка на груди кожу, я продолжал:

— Усосо сказал: «Настало время дать Ямма и женам их столько подарков, сколько может привезти зараз огненная пирога белых людей». Этим решением он привел в ярость Хамигея, который, как вам известно, весьма вспыльчив. Хамигей не желал, чтобы вы получили даже по пуговице, вроде тех, великий Умоти, которые ты вырвал из моих брюк и повесил на шею. Усосо и Хамигей кончили спор поединком. Три раза огненный дротик Хамигея угрожал сердцу Усосо, и три раза Усосо бил палицей по голове Хамигея; наконец, победил Усосо. Боги устали; Усосо, коснувшись меня рукой, сказал:

«Пусть завтра все Ямма, женщины, воины, старики и дети сядут в свои пироги и плывут к югу от восхода до полудня. Тогда увидят они дымящуюся огненную пирогу белых, засевшую в зубчатой скале, покинутую людьми, и найдут на ней очень много красных, белых и зеленых платков, кроме того, очень много гладких пуговиц с прекрасными желтыми ушками. Есть там еще розовые и голубые бусы, и все, что носит на себе племя белых, все, что блестит, болтается, стучит и звенит у белого человека на животе и в карманах. Всего этого так много... о, Ямма, Усосо — великий благодетель черных людей!

Я упал, изрыгая пену и вопли. Восхищенные дикари плясали вокруг меня, хлопая друг друга по костлявым бокам. Умоти, улыбаясь во весь рот, мечтательно теребил висящую на шее пуговицу. Мне показалось, что я присутствую на адском рауте, где черти сошли с ума.

В этот вечер на радостях убили трех стариков и съели их. Я слышал издали, как дерутся и сквалыжничают из-за какой-то лодыжки. Я же потирал руки, предвкушая высокое наслаждение,— выйти из надоевшего шалаша к морю и всей земле.

В эту же ночь некая согбенная тень, припадая к земле, в мраке и тишине спящего острова пробралась на отмель, где перевернутые вверх дном, лежали тридцать узких пирог, и оставалась возле них около двух часов. Это был я. Рискуя рукой и жизнью, я продырявил днища всех тридцати пирог с помощью птичьей кости, наделав много хорошеньких круглых отверстий, и тщательно замазал их клейкой глиной, которая по предварительному испытанию могла выдержать с полчаса воду, не размокая. Всю эту ажурную работу я искусно покрыл илом и гнилью водорослей. От нервного напряжения я, вернувшись в шалаш, долго не мог уснуть и проснулся на рассвете, когда, в светлом огне зари, дымится трава.

VI

Ничего особенного во время сборов и отправления дикарей за пуговицами не произошло. С ясными и спокойными лицами садились бедняги в предательские пироги, изредка забегая ко мне справиться, подтвердил ли сегодня Усосо свое щедрое обещание. Я важно гово-

рил с ними и предрекал большое количество пуговиц. В пироги расселись все, и ни единой живой души человеческой не осталось в деревне, кроме меня.

Знаменательное событие это произошло 15 августа 1888 года. К полудню я рискнул выйти из шалаша, плача от радости. Я подошел к морю. В спокойной дали его нельзя было заметить никаких признаков человеческого дыхания. Свершилось. Я направился в священную рощу и посшибал идолы Хамигея, Таконтея и Вакоса, не пощадив также Усосо. Я выместил им глупое «табу» на раскрашенных их физиономиях, посидев поочередно на каждой. Затем я поджег рощу и все шалаши, наблюдая пожарище с ближайшего холмика. Я был свободен.

После этого я стал жить в лесу, устраивая ловушки зверям и птицам. Полтора года я поддерживал ночью на береговой скале сильный огонь, пока не заманил бельгийского шкипера. Все кончилось, как дурной сон. Я утопил деревню, но совесть моя чиста и сон крепок. Я сделал это по праву насилия, употребленного надо мной, хотя — видит бог — предпочел бы другие способы. Нельзя жевать человека.

ПЛЕМЯ СИУРГ

I

— Эли Стар! Эли Стар! — вскрикнул бородатый молодой крепыш, стоя на берегу.

Стар вздрогнул и, спохватившись, двинул рулем. Лодка описала дугу, ткнувшись носом в жирный береговой ил.

— Садись,— сказал Эли бородачу.— Ты закричал так громко, что я подумал, не хватил ли тебя за икры шакал.

— Это потому, что ты не мог отличить меня от дерева.

Род сел к веслам и двумя взмахами их вывел лодку на середину.

— Я не слыхал ни одного твоего выстрела,— сказал Стар.

Род ответил не сразу, а весла в его руках заходили быстрее. Затем, переводя взгляд с линии борта на лицо друга, выпустил град быстрых, сердитых фраз:

— Это идиотская страна, Эли. Здесь можно сгореть от бешенства. Пока ты плавал взад и вперед, я исколесил приличные для моих ног пространства и видел не больше тебя.

— Конечно, ты помирился бы только на антилопе, не меньше,— засмеялся Стар.— И брезговал птицами.

— Какими птицами? — зевая, насмешливо спросил Род.— Здесь нет птиц. Вообще нет ничего. Пусто, Эли. Меня окружала какая-то особенная тишина, от которой делается не по себе. Я не встречал ничего подобного. Послушай, Стар, если мы повернем вниз, будем сменяться в гребле и изредка мочить себе головы этим табачным настоем,— Род показал на воду,— то через два часа, выражаясь литературно, благородные очертания яхты прикуют наше внимание, а соленый, кровожадный океан вытрет наши лица угольщиков своим воздушным полотенцем. Мы сможем тогда, Эли, выкинуть эти омерзительные жестянки с вареным мясом. Мы сможем переодеться, почитать изгрепанную алжирскую газету, наконец, просто лечь спать без москитов. Эли, какое блаженство съесть хороший обед!

— Пожалуй, ты прав,— вяло согласился Стар.— Но видел ли ты хоть одно животное?

— Нет. Я тонул в какой-то зеленой каше. А стоило мне взобраться на лысину пригорка — конечно, полнейшая тишина. К тому же болезненный укус какого-то проклятого насекомого.

— Ты не в духе и хочешь вернуться,— перебил Эли.— А я — нет.

— Глупости,— проворчал Род.— Я думал и продолжаю думать, что пустыня привлекательна только для желторотых юнг, бредящих приключениями.

— На палубе мне еще скучнее,— возразил Стар.— Здесь все-таки маленькое разнообразие. Ты посмотри хорошенько на эти странные, свернутые махры листвы, на нездоровую, желто-зеленую пышность болот. А этот сладкий ядовитый дурман солнечной прели!

— Вижу, но не одобряю,— сухо сказал Род.— Что может быть веселее для глаз ложбинки с орешником, где бродят меланхолические куропатки и лани?!.

— Послушай,— нерешительно проговорил Эли,— ступай, если хочешь. Возьми лодку.

— Куда? — Род вытаращил глаза.

— На яхту.— Стар побледнел, тихий приступ тоски оглушил его.— Ступай, я приду к ночи. Спорить бесполезно, дружище,— у меня такое самочувствие, когда лучше остаться одному.

Вопросительное выражение глаз Рода сменилось высокомерным.

— Насколько я понимаю вас, сударь,— проговорил он, свирепо махая веслами,— вы желаете, чтобы я удалился?

— Вот именно.

— А вы будете разгуливать пешком?

— Немного.

— Хм! — задыхаясь от переполнявшей его иронии, выпустил Род.— Так я вам вот что́ сообщу, сударь: в гневе я могу убить бесчисленное количество людей и животных. Бывали также случаи, что я закатывал пощечину какой-нибудь мало естественной личности только потому, что она не имела чести мне понравиться. Я могу при случае стянуть платок у хорошенькой барышни. Но бросить вас одного на съедение гиппопотамам и людоедам — выше моих сил.

— Я поворачиваю,— сухо сказал Стар.

— Никогда! — вскрикнул Род, стремительно ударяя веслами, причем конечное «да» вылетело из его горла наподобие пушечного салюта.

Стар вспыхнул,— в эту минуту он ненавидел Рода больше, чем свою жизнь,— и круто повернул руль. Через несколько секунд, в полном молчании путешественников, лодка шмыгнула носом в колыхающуюся массу прибрежных водорослей и остановилась. Стар спрыгнул на песок.

— Эли,— с тупым изумлением сказал огорченный Род,— куда ты? И где ты будешь?

— Все равно.— Стар тихонько покачивал ружье, висевшее на плече.— Это ничего; дай мне побродить и успокоиться. Я вернусь.

— Постой же, консерв из грусти! — закричал Род, кладя весло.— Солнце идет к закату. Если ты окочуришься, что́ будет с яхтой?

— Яхта моя,— смеясь, возразил Эли.— А я — свой. Что можешь ты возразить мне, бородатый пачкун?

Он быстро вскарабкался на обрыв берега и исчез. Род изумленно прищурился, подняв одну бровь, другую, криво усмехнулся и выругался.

— Эли,— солидно, увещевательным тоном заговорил он, встревоженный и уже решившийся идти по следам друга,— мы, слава богу, таскаемся три года вместе на твоей проклятой скорлупе, и я достаточно изучил ваши причуды, сударь, но такой подлости не было никогда! Отчего это у меня душа болела только раз в жизни, когда я проиграл карамбольный матч косоглазому молодцу в Нагасаки?

Он ступил на берег, тщательно привязал лодку и продолжал:

— Близится ночь. И эта проклятая, щемящая тишина!

Легли тени. Бесшумный ураган мрака шел с запада. В величественных просветах лесных дебрей вспыхивало зеленое золото.

II

Стар двинулся к лесу. У него не было иной цели, кроме поисков утомления, той его степени, когда суставы кажутся вывихнутыми. Ему действительно, по-настоящему хотелось остаться одному. Род был всегда весел, что действовало на Эли так же, как патока на голодный желудок.

Высокая, горячая от зноя трава ложилась под его ногами, пестрея венчиками странных цветов. Океан света, блиставший под голубым куполом, схлынул на запад; небо стало задумчивым, как глаз с опущенными ресницами. Над равниной клубились сумерки. Стар внимательно осмотрел штуцер — близился час, когда звери отправляются к водопою. Простор, тишина и тьма грозили неприятными встречами. Впрочем, он боялся их лишь в меру своего самолюбия — быть застигнутым врасплох казалось ему унизительным.

Он вздрогнул и остановился: в траве послышался легкий шум; в тот же момент мимо Стара, не замечая его, промчался человек цвета золы, голый, с тонким коротким копьем в руках. Бежал он как бы не торопясь,

вприпрыжку, но промелькнул очень быстро, плавным, эластичным прыжком.

Смятая бегущим трава медленно выпрямлялась. Неподвижный, тихо сжимая ружье, Стар мысленно рассматривал мелькнувшее перед ним лицо, удивляясь отсутствию в нем свирепости и тупости — то были обычные человеческие черты, не лишенные своеобразной красоты выражения. Но он не успел хорошенько подумать об этом, потому что снова раздался топот, и в траве пробежал второй, вслед за первым. Он скрылся; за ним вынырнул третий, блеснул рассеянными, не замечающими ничего подозрительного, глазами, исчез, и только тогда Стар лег на землю, опасаясь выдать свое присутствие.

Нахмурившись, потому что неожиданное появление людей лишало его свободы действий, Стар пытливо провожал взглядом ритмически появляющиеся смуглые, мускулистые фигуры. Одна за другой скользили они в траве, прокладывая ясно обозначавшуюся тропинку. На их руках и ногах звенели металлические браслеты, а разукрашенные прически пестрели яркими лоскутками.

«Погоня или охота»,— мысленно произнес Стар.

Стемнело; представление кончилось, но Стар, прислушиваясь, ждал еще чего-то. Разгораясь, вспыхивали на небосклоне звезды; тишина, подчеркнутая отдаленным криком гиен, наполнила путешественника смешанным чувством любопытства и неудовлетворенности, как будто редкая таинственная душа обмолвилась коротким полупризнанием.

Стар поднялся. Ему хотелось двигаться с такой же завидной быстротой, с какой эти смуглые юноши, размахивая копьями, обвеяли его ветром своих движений. Головокружительный дурман мрака тяготил землю; звездный провал ночи напоминал бархатные лапы зверя с их жутким прикосновением. Маленькое сердце человека стучало в большом сердце пустыни; сонные, дышали мириады растений; улыбаясь, мысленно видел Стар их крошечные полураскрытые рты и шел, прислушиваясь к треску стеблей.

В то время воля его исчезла: он был способен поддаться малейшему толчку впечатления, желания и каприза. Исчезли формы действительности, и нечему было повиноваться в молчании преображенной земли. Без-

звучные голоса мысли стали таинственными, потому что жутко-прекрасной была ночь и затерянным чувствовал себя Стар. Один ужас мог бы вернуть его к обычной замкнутой рассудительности, но он не испытывал страха; черный простор был для него музыкой, и в его беззвучной мелодии сладко торжествовала лишь душа Эли.

Тьма мешала идти быстро; он вынул электрический карманный фонарь. Бледный круг света двинулся впереди него, ныряя в траве.

— Эли Стар! Эли Стар!

Это кричал Род. Стар обернулся, вздрогнув всем телом. Крик был совершенно отчетливый, протяжный, но отдаленный; он не повторился, и через минуту Стар был убежден, что ему просто послышалось. Другой звук — глухой и мягкий, с ясным металлическим тембром — повторился три раза и стих, как показалось, в лесу.

III

— Эли,— сказал себе Стар, пройдя порядочный кусок леса,— кажется, что-то новое.

Он был спрятан со всех сторон лесом; желтый конус карманного фонаря передвигался светлым овалом со ствола на ствол. А с этим светом боролся живой свет гигантского бушующего костра, разложенного посредине лесной лужайки, шагах в сорока от путешественника. Красные тени, вспыхивая озаренными огнем листьями, ложились в глубину чащи, у ног Стара.

Лужайка кипела дикарями; они теснились вокруг костра; там были мужчины, дети и женщины; смуглые тела их, лоснящиеся от огня, двигались ожерельем. Гигантскнй, освещенный снизу, дымный, мелькающий искрами столб воздуха уходил в поднебесный мрак.

Некоторые сидели кучками, поджав ноги; оружие их лежало тут же — незатейливая смесь шкур, железных шипов и острий. Сидящие ели; большие куски поджаренного мяса переходили из рук в руки. К мужчинам приближались женщины, маленькие, быстрые в движениях существа, с кроткими глазами котят и темными волосами, заплетенными в сеть мелких кос. Женщины держали в руках тыквенные бутыли с горлышками из болотного тростника, и утоливший жажду мгновенно возвращался к еде.

Эли смотрел во все глаза, боясь упустить малейшую подробность ночного пиршества. Слышался визг детей, кудрявыми угольками носившихся из одного уголка поляны в другой. Взрослые хранили молчание; изредка чье-нибудь отдаленное восклицание звучало подобно крику ночной птицы, и опять слышался лишь беглый треск пылающего костра. Голые — все были в то же время одеты; одежда их заключалась в их собственных певучих движениях, лишенных неловкости раздетого европейца.

Стар вздрогнул. Тот же, слышанный им ранее, звучный и веский удар невидимого барабана повторился несколько раз. Пронзительная, сиплая трель дудок сопровождала эти наивно торжественные «бун-бун» унылой мелодией. Ей вторило глухое металлическое бряцание, и, неизвестно почему, Стар вспомнил вихлявых, глупоглазых щенков, прыгающих на цветочных клумбах.

Барабан издал сердитое восклицание, громче завыли дудки; высокие голоса их, перебивая друг друга, сливались в тревожном темпе.

Стремительно зазвенели бесчисленные цимбалы, и все перешло в движение. Толпа теснилась вокруг костра; то было сплошное мятущееся кольцо черных голов на красном фоне огня. Новый звук поразил Стара — жужжащий, как полет шмеля, постепенно усиливающийся, взбирающийся все выше и выше, трубящий, как медный рог, голос дикого человека.

Голос этот достиг высшего напряжения, эхом пролетел в лесу, и тотчас пение стало общим. Огонь взлетел выше, каскад искр рассыпался над черными головами. Это была цветная, пестрая музыка, напоминающая нестройный гул леса. Душа пустынь сосредоточилась в шумном огне поляны, дышавшей жизнью и звуками под золотым градом звезд.

Стар напряженно слушал, пытаясь дать себе отчет в необъяснимом волнении, наполнявшем его смутной тоской. Несложная заунывная мелодия, состоявшая из двух-трех тактов, казалось, носила характер обращения к божеству; ее страстная выразительность усиливалась лесным эхом. Положительно, ее можно было истолковать как угодно.

Стар взволнованно переступал с ноги на ногу; эта музыка действовала на него сильнее наркотика. Древ-

ней, страшно древней стала под его ногами земля, тысячелетиями обросли сырые, необхватные стволы деревьев. Стар напоминал человека, мгновенно перенесенного от устья большой реки, где выросли города, к ее скрытому за тысячи миль началу, к маленькому ручью, обмывающему лесной камень.

Пение, усилившись, оборвалось криком, протяжным, пущенным к небу всей силой легких. Крик усиливался, сотни рук, поднятых вверх, дрожали от сладкой ярости возбуждения; хрипло стонали дудки. И разом все смолкло. Толпа рассыпалась, покинув костер; в то же мгновение ночная птица крикнула в глубине леса отчетливо и приятно, голосом, напоминающим часовую кукушку.

IV

Девушка, для которой это было сигналом, условным криком свидания, выделилась из толпы и, оглянувшись несколько раз, медленными шагами подошла к группе деревьев, сзади которых стоял Стар, рассматривавший цветную женщину. Не думая, что она войдет в лес, он спокойно оставался на месте. Девушка остановилась; новый крик птицы заставил Эли насторожиться. Неясная для него, но несомненная связь существовала между этим криком и быстрыми движениями женщины, нырнувшей в кусты; лицо ее улыбнулось. Стар успокоился — эти любовные хитрости были для него неопасны.

Он не успел достаточно насладиться своей догадливостью, как возле него, в пестрой тьме тени и света, послышался осторожный шорох. Встревоженный, он инстинктивно поднял ружье, но тотчас же опустил его. Темная, голая девушка, вытянув шею, медленно шла к нему, далекая от мысли встретить кого-нибудь, кроме возлюбленного, принадлежавшего, вероятно, к другому племени. Ночная птица крикнула в третий раз. Не давая себе отчета в том, что делает, повинуясь лишь безрассудному толчку каприза и забыв о могущих произойти последствиях, Стар нажал пуговку погашенного перед тем фонаря и облил женщину светом.

Если он позабыл прописи, твердящие о позднем раскаянии, то вспомнил их мгновенно и испугался одновременно с девушкой, тоскливо ожидая крика, тревоги и

нападения. Но крик застрял в ее горле, изогнув тело, откинувшееся назад резким, судорожным толчком. Миндалевидные, полные ужаса глаза уставились в лицо Стара; таинственный свет в руке белого человека наполнял их безысходным отчаянием. Девушка была очень молода; трепещущее лицо ее собиралось заплакать.

Стар открыл рот, думая улыбнуться или ободрительно щелкнуть языком, как вдруг вытянутые, смуглые руки упали к его ногам вместе с маленьким телом. Комочек, свернувшийся у ног белого человека, напоминал испуганного ежа; всхлипывающий шепот женщины звучал суеверным страхом; возможно, что она принимала Стара за какого-нибудь бога, соскучившегося в небесах.

Эли покачал головой, сунул фонарь в траву, нагнулся и, крепко схватив девушку выше локтей, поставил ее рядом с собой. Она не сопротивлялась, но дрожала всем телом. Боязнь неожиданного припадка вернула Стару самообладание; он мягко, но решительно отвел ее руки от спрятаниого в них лица; она пригибалась к земле и вдруг уступила.

— Дурочка,— сказал Стар, рассматривая ее первобытно-хорошенькое лицо, с влажными от внезапного потрясения глазами.

Он не нашел ничего лучшего, как пустить в ход разнообразные улыбки белого племени: умильную, юмористическую, лирическую, добродушную, наконец — несколько ужимок, рассчитанных на внушение доверия. Он проделал все это очень быстро и добросовестно.

Девушка с удивлением следила за ним. Первый испуг прошел; рот ее приоткрылся, блеснув молоком зубов, а дыхание стало ровнее. Эли сказал, указывая на себя пальцем:

— Эли Стар, Эли Стар.— Он повторил это несколько раз, все тише и убедительнее, продолжая сохранять мину веселого оживления.— А ты?

Несколько слов дикого языка, тихих, почти беззвучных, были ему ответом.

— Я ничего не понимаю,— сказал Стар, инстинктивно делаясь педагогом.— Послушай! — Он осмотрелся и протянул руку к дереву.— Дерево,— торжественно произнес он. Затем указал пальцем на электрический свет в траве: — Фонарь!

Женщина механически следила за движением его руки.

— Эли Стар,— повторил он, переводя палец к себе под ложечку.— А ты?

Рука его коснулась голой грудн девушки.

— Мун! — отчетливо сказала она, блестя успокоенными глазами, в которых, однако, светилось еще недоверие.— Мун,— повторила она, гладя себя по голове худощавой рукой.

Стар засмеялся. Он чувствовал себя опущенным в глубокий, теплый родник с лесными цветами по берегам. Быть может, он нравился ей, этот смуглый полубог в костюме нз полосатой фланели. В нескольких десятках шагов от горна чужой жизни, освещенный снизу фонариком, безрассудный, как все теряющие равновесие люди, он чувствовал себя отечески сильным по отношению к коричневому подростку, не смевшему пошевелиться, чтобы не вызвать новых, еще более таинственных для нее происшествий.

— Мун! — сказал Стар и взял ее задрожавшую руку.— Мун мне не нравится; будь Мунка. Мунка,— продолжал он в восторге от жалких зародышей понимания, немного освоившнх их друг с другом.— А это кто, чей балет я только что наблюдал? — Он показал в сторону красноватых просветов.— Это твои, Мунка?

— Сиург,— сказала девушка. Это странное слово прозвучало в ее произношении, как голубиная воркотня.

Она тревожно посмотрела на Стара и выпустила еще несколько непонятных слов.

— Вот что,— сказал, улыбаясь, Эли,— это, милая, надеюсь, совершенно развеселит тебя.

Он вынул золотые часы, играющие старинную народную песенку, завел их и протянул девушке. Приятный маленький звон шел из его руки; раскачиваясь на цепочке, часы ронялн в траву микроскопическую игру звуков, нежных и тонких. Девушка выпрямилась. Изумление и восторг блеснули в ее глазах; сначала, приставив руки к груди, она стояла, не смея пошевелиться, потом быстро выхватила из рук Эли волшебную штуку и, хватая ее то одной, то другой рукой, как будто это было горячее железо, подскочила вверх легким прыжком. Часы звенели. Девушка приложила их к уху, к глазам, к губам, прижала к животу, потерла о голову. Часы, как настоящее живое существо, не обра-

тили на это никакого внимания; они добросовестно заканчивали мелодию, старинные часы работы Крукса и К°, подарок опекуна.

— Мунка,— сказал Стар,— если бы ты говорила на моем языке, ты услышала бы еще кое-что. Но я могу говорить только жестами.

Он дотронулся до нее рукой и почувствовал, что тело ее приближается к нему, занятое, с одной стороны, часами, с другой — таинственным, прекрасным белым человеком — мужчиной. Повинуясь логике случая, Стар обнял и поцеловал девушку, и еще меньше показалась она ему в задрожавших руках...

Он отскочил с диким криком испуга, потрясения, разрушающего идиллию. Хорошо знакомый, охрипший голос Рода гремел невдалеке, полный чувства опасности и решимости:

— Стар, держись! Бей черных каналий! Стреляй!

Девушка отбежала в сторону. Эли, машинально взводя курки, крикнул:

— Мунка, не надо бежать!

Двойной выстрел разбудил пустыню: огонь его блеснул молнией в темноте. Выстрелив, Род кинулся к Эли, спасать друга. Он отыскал его, бросившись на свет фонаря.

Пронзительный, полный страданий и ужаса вопль огласил лес. Вне себя, Стар бросился в сторону крика. Темный, извивающийся силуэт корчился у его ног. Он опустил на землю фонарь и вскрикнул: смертельно раненная девушка билась у его ног. Стар обернулся к подбежавшему Роду и взмахнул прикладом.

— Я тебя убью,— хрипло сказал он.

— Стой! — закричал Род.— Это я, не дикарь!

Девушка, перестав биться и визжать, вытянулась. В руке ее, замолкшие, как и она, блестели золотые часы.

— Безумец! Безумец! — сказал Эли.— Зачем ты помешал жить мне и ей!

— Эли, клянусь богом!.. Разве они не напали на тебя?! Я видел убегающий, воровской, черный изгиб спины.— Род плюнул.— Хоть убей, не понимаю.

Эли, подняв безжизненное тело, нервно смеялся. Пот выступил на его бледном лице. В лесу, где горел костер, раздавались крики испуга и смятения, костер гас, и щупальца страха ползли к сердцу Рода.

— Эли, бежим! — с тоской вскричал он.— Они окружают нас, Эли!

Стар нежно положил девушку и бросил ружье.

— Да,— сказал он,— ты прав. Бежим, но только отстреливайся ты один, ты, меткий убийца!

— Мне показалось, видишь ли...— торопливо заговорил Род и не кончил: медленный свист стрелы сделал его несообщительным. Он, заряжая на бегу карабин, помчался в сторону реки; за ним Стар.

А дальше был страшный ночной сон, когда, кружась во тьме, кланяясь ползущему свисту стрел и падая от изнеможения, два человека, из которых один, сохранивший ружье, бешено стрелял наугад,— пробрались к темной реке и лодке.

V

Однообразный плеск морских волн помогал капитану сосредоточиться. Он сидел под тентом, рассматривая морскую карту.

Из кают-компании вышел доктор, обмахиваясь брошюркой. Доктору надоело читать, и он бродил по судну, приставая ко всем. Увидев погруженного в занятие капитана, доктор остановился перед ним, сунув руки в карманы, и стал смотреть.

Капитан сердито зашуршал картой и стукнул карандашом по столу.

— Не мешайте,— мрачно сказал он.—Что́ за манера — прийти, уставиться и смотреть!

— Почему вы в шляпе? — рассеянно спросил доктор.— Ведь жарко.

— Отстаньте.

— Нет, в самом деле,— не смущаясь, продолжал эскулап,— охота вам париться.

— Я брошу в вас стулом,— заявил моряк.

— Согласен.— Доктор зевнул.— А я принесу энциклопедический словарь и поражу вас на месте.

Капитану надоело препираться. Он повернулся к доктору спиной и тяжело засопел, шаря в кармане трубку.

— А где Эли? — спросил доктор.

— У себя. Уйдите.

Доктор, напевая забористую кафешантанную песенку, сделал на каблуках вольт и ушел. Скука томила его. «Хорошо капитану,— подумал доктор,— он занят, скоро

подымем якорь; а мне делать нечего, у меня все здоровы».

Он спустился по трапу вниз и постучал в дверь каюты владельца яхты.

— Войдите! — быстро сказал Эли.

В каюте рокотал и плавно звенел рояль. Доктор, переступив порог, увидел в профиль застывшее лицо Стара. Потряхивая головой, как бы подтверждая самому себе неизвестную другим истину, Эли торопливо нажимал клавиши. Доктор сел в кресло.

Эли играл второй вальс Годара, а впечатлительный доктор, как всегда, слушая музыку, представлял себе что-нибудь. Он видел готический, пустой, холодный и мрачный храм; в стрельчатых у купола окнах ложится, просекая сумрак, пыльный, косой свет, а внизу, где почти темно, белеют колонны. В храме, улыбаясь, топая ножками, расставив руки и подпевая сама себе, танцует маленькая девочка. Она кружится, мелькает в углах, исчезает и появляется, и нет у нее соображения, что сторож, заметив танцовщицу, возьмет ее за ухо.

Неодобрительно смотрит храм.

Эли оборвал такт и встал. Доктор внимательно посмотрел на него.

— Опять бледен,— сказал он.— Вы бы поменьше охотились, вообще сибаритствуйте и бойтесь меня А где Род?

— Не знаю.— Эли задумчиво тер лоб рукой, смотря вниз.— Сегодня вечером яхта уходит.

— Куда?

— Куда-нибудь. Я думаю — на восток.

Доктор не любил переходов и охотно бы стал уговаривать юношу постоять еще недельку в заливе, но расстроенный вид Эли удержал его.

«Когда человек отравлен сплином, не следует противоречить,— думал доктор, покидая каюту.— Почему люди тоскуют? Может быть, это азбука физиологии, а может быть, здесь дело чистое... Существует ли душа? Неизвестно».

Ветер, поднявшийся с утра, не стих к вечеру, а усилился, и море, волнуя переливы звездных огней, ленивым плеском качало потонувшую во мраке яхту.

Матросы, ворочая брашпиль, ставя паруса и разматывая концы, оживили палубу резкой суетой отплытия.

На шканцах стоял Эли, а Род, начиная сердиться на Стара «за принимание пустяков всерьез», вызывающе говорил, проходя мимо него с капитаном:

— Дьявольская страна, провались она сквозь землю!

К Эли, неподвижно смотрящему в темноту, подошел доктор, настроенный поэтически и серьезно.

— О ночь! — сказал он.— Посмотрите, друг мой, на это волшебное небо и грозный тихий океан и огни фонарей,— мы живем среди чудес, холодные к их могуществу.

Но Эли ничего не ответил, так как прекрасные земля и небо казались ему суровым храмом, где обижают детей.

СИНИЙ КАСКАД ТЕЛЛУРИ

I
ВЕЧЕРНЯЯ ТИШИНА

Рег соскочил с лошади. Впереди, у темных бараков, слышался мерный топот солдатских шеренг. На мгновение все стихло, затем хриплый голос прокричал что-то стремительное, жесткий треск барабана ответил ему резвой дробью. В промежутке между барабаном и голосом Рег бросил взгляд на прозрачную мглу залива. Гаснущий круг солнца освещал линию горизонта. Заиграли горнисты.

От первых звуков металлической мелодии бесстрастных, как тишина вечера, рожков лошадь Рега вздрогнула и попятилась. Он машинально гладил ее вспотевшую спину; проехать было нельзя; дорога, занятая солдатами, беспокойно звала его одолеть последние сотни шагов и встать лицом к цели.

Измученный бессонной ночью, проведенной на лошади, Рег слушал игру горнистов. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков. Последний раз ударили барабаны, и к Регу подошел офицер.

— Добрый вечер,— сказал он, чиркая спичкой, чтобы одновременно закурить сигару и осветить лицо проезжего.— Хотите держать пари?

— На что? — спросил Рег.

Офицер показался ему назойливым: он раскуривал сигару у самых колен Рега, вяло подбоченившись и поплевывая на пальцы.

— Вы хотите проехать в город,— продолжал офицер,— что значит для вас денежный риск? Я предлагаю пари за вашу смерть в продолжение трех недель. Идет? Два против одного?

— Мне некогда,— холодно возразил Рег, натягивая поводья.— Поищите кого-нибудь попредприимчивее.

— Вы обиделись, может быть...— Офицер щелкнул пальцами.— Это теперь в ходу даже среди дам. Как хотите. Дорога освободилась.

Рег покачал головой, отъехал и оглянулся. Маленький огонек сигары чертил за его спиной размашистые зигзаги. Лошадь пошла крупной усталой рысью. Потянулись дома, кое-где щели ставен теплились глухим светом; безлюдье делалось утомительным; слабый ночной ветер относил за городскую черту запах карболовой кислоты и отцветающих померанцев.

На повороте одной из улиц всадник бессознательно остановился, изумленный отчетливой тишиной города. Слева зиял переулок, изборожденный полустертыми каменными ступенями; крик страха раздался в дальнем его конце, затрепетал и перешел в пронзительно-высокую ноту женского голоса — выразительный вопль насилия или безумия, вслед за которым неизбежно ожидание беспорядочной человеческой толпы, стремящейся из домов на помощь. Лошадь зафыркала, косясь в темноту. Рег насторожился, прислушался и поскакал прочь. Крик преследовал его за углом и дальше, то усиливаясь, то ослабевая; расстояние не спасало Рега от цепкой муки неизвестного человека. Был момент, когда Рег хотел повернуть обратно, но пожалел времени.

— Так, так,— сказал он самому себе,— прямая дорога труднее.

Растрепанный силуэт медленно идущего человека остановился посередине улицы и протянул руки. Путешественник с силой удержал лошадь, без возмущения и удивления,— действительность начинала терять для него свою логическую связь.

— Постойте-ка,— сказал неизвестный,— вы едете на своем жарко́м.

— Я тороплюсь.

— Не торопитесь.

— Что вы хотите?

— Отнять у вас пять минут. Не трогайтесь с места, или я плюну вам в грудь. Я заражен.

Рег инстинктивно согнулся, его внимание ушло целиком на этот нелепый силуэт с чумным плевком во рту. Человек, утомленно передвигая ноги, подошел ближе; лицо его невозможно было разглядеть, в темноте оно казалось то молодым, то старым. Он задыхался.

— Вы едете на своем жарком. Когда ваша лошадь обнажит свои ребра от голодухи, вы ее скушаете. Советую кормить животное хорошенько, потому что бифштекс может оскандалиться.

— Любезный,— сказал проезжий,— вы умираете, а я жив и даже еще не болен. Пропустите меня, пожалуйста.

Силуэт поднял обе руки к лицу, сложив их как для молитвы в крепком сцеплении пальцев, и потряс ими в воздухе.

— Я — парусник,— прошипел он,— я очень прошу вас запомнить, что фирма «Кропет и компания» за сорок лет своей грабительской деятельности не видела более искусного мастера, чем я. Запишите, пожалуйста, на бумажке: Илия Денсон, парусник, сорока шести лет, околевает на улице. Это я.

Он, видимо, почувствовал головокружение, потому что сел на мостовую, обнял колени руками, хрипло заплакал и склонился к земле. Рег отъехал в сторону; агонирующее тело медленно пошевеливалось перед ним, темное, на черной мостовой, в пыли и безмолвии.

— Умираю! — подползло к лошадиным копытам.

— Спокойной смерти! — Рег снял шляпу, дернул повод, и Денсон остался у него за спиной. Крыши, сосредоточенные газовые фонари, говор копыт,— все это, слишком обыденное вчера, лежало теперь в области страха. Страх мчался бок о бок с Регом, нога в ногу с копытами его лошади. Рег чувствовал его, но только не внутри, а вовне; он проезжал город с холодным уважением к обреченному узлу жизни; последнее, что мог-

ла дать его душа, слишком нетерпеливая для того, чтобы сострадать или бояться. Впрочем, подъезжая к городской черте, он ожидал худшего: сплошного гниения и содома; до сих пор ожидания эти казались преувеличенными.

На углу двух больших улиц Рег замедлил ход лошади и осмотрелся. Ему нужен был живой человек для справки о другом, тоже, может быть, живом человеке. Прождав несколько времени, он переехал небольшую площадь и облегченно вздохнул: в самом конце ее, у спуска к докам, из окон нижнего этажа громоздкого каменного дома падал на мостовую щедрый свет ламп. Этот уголок площади, по сравнению с остальным ее сонным пространством, выглядел уютно и живо.

Подъехав ближе, Рег по выставке окон, где были расположены в известном порядке стеклянные вазы с кофе и серым цветочным чаем, понял, что это большой, даже солидный магазин. Его двери, окованные стальными листами, были не заперты, а прикрыты; замки отсутствовали; довольно большая щель пропускала неясный шум. Рег спешился, привязал повод к решетке окна и стукнул кулаком в дверь. Шум внутри стих,— кто-то закричал изо всех сил: «Войдите!» — и хлопнул в ладоши.

Путешественник оттолкнул массивную дверь и остановился, смущенный большим количеством людей, сидевших во всевозможных позах на прилавке, корзинах с фруктами и на полу. Оглушительный рев приветствовал его появление; вытаращенные, мутные глаза, потные лбы и полтора десятка круглых от крика ртов заставили Рега отступить назад. Крик усилился до того, что задребезжали стекла висячих ламп. Невозможно было разобрать, в чем дело, но бледные искривленные физиономии людей этой толпы ярко напомнили Регу парусника Илию Денсона и офицера, выигрывающего у смерти.

II

БАКАЛЕЯ СОРРОНА

То, что успел рассмотреть Рег, прежде чем попал в плен к нензвестным людям, находившимся в магазине, поразило его сумбуром, не лишенным, однако, неко-

торой таинственности. Сводчатый потолок сиял огнем ламп; на полках, в углах и оконных нишах громоздились товары, но порядок их был чем-то нарушен, словно здесь хозяйничали торопливые воры. Между прилавком и автоматической кассой помещался низкий большой стол или, вернее, мостки, наскоро сооруженные из пустых деревянных ящиков; стол сплошь был завален раскупоренными жестянками с соусами, окороками, изюмом в белых полотняных мешочках, консервами, баллонами с привозным вареньем, пряностями и сластями; все это, полураздавленное и разорванное прямо пальцами, походило на ужин голодных людоедов, разгромивших торговлю. Винные бутылки, группами и отдельно, стояли во всех концах помоста. Четыре женщины, опухшие от бессонницы и вина, сидели на корзинах с гранатами; нетрезвые движения их сопровождались одобрительным хриплым криком. Всего было человек двенадцать или пятнадцать, у всех блестели глаза.

— Что это значит? — спросил Рег, останавливаясь у двери.— Разве я вымазан сажей или кажусь вам очень смешным?

Раскаты смеха взбесили его; он побледнел, но сдержался. Жирный человек без сюртука, в вязаном красном жилете, вплотную подошел к Регу, добродушно расставив руки.

— Чему вы удивляетесь, почтеннейший? — с пьяным лукавством сказал он.— Здесь только свои. Располагайтесь. Мы вас не знаем, но, как видите, доверяем вашей признательности за возможность хорошо провести вечер. Доверьтесь и вы. Впрочем, что вас долго томить: мы вам салютовали и производили бурный шум потому, что вы четырнадцатый.

— Четырнадцатый? — повторил Рег, плотно стиснутый у косяка ожерельем из красных и бледных лиц.— Но я желал бы быть пятнадцатым или нулем. У меня болят уши.

— Это пустяки,— возразил красный жилет.— Имейте терпение. Нас было тринадцать. Число это опасно, так как собравшиеся не могут забыть свое количество. Это отражается на состоянии души. Мы ждали четырнадцатого. Ваш приход разрушил противоестественную арифметику. Тринадцать выдумали наложники сатаны

и люди, бледнеющие при виде задремавшего таракана. Садитесь здесь с нами, пейте, и кричите, и пойте, пока не рассыплетесь в пух, прах, перья и еще другие мелкие предметы!

Рег улыбнулся. Человек в красном жилете был широкогруд и кругл; на могучих его плечах сидела распухшая голова ребенка с дряблыми веками. Пухлый рот напоминал большую сургучную печать. Он говорил без запинки, тонким благочестивым голосом.

— Я хочу узнать,— сказал Рег,— жив ли и где находится доктор Глед? Я приехал для этого. Если вы знаете его адрес, то скажите. Я тороплюсь.

— Вы приехали? — унылым голосом спросил франт с помятым лицом женщины.— То есть вы сами, добровольно приехали сюда?

— Сам. А что?

Франт пожал плечами и засмеялся.

— Вы можете умереть здесь,— пояснил он,— потому что отсюда не выезжают. Мне жаль вас.

— Благодарю,— сказал Рег,— но мне более жаль вас, чем себя. Я выеду.

— Не слушайте его! — закричал человек в красном жилете.— Приезжайте, уезжайте сколько хотите. Ваши дела нас не касаются. Глед? Я не знаю Гледа, но знаю Фейта. Фейт — сам доктор, молодой человек. Его здесь нет, но он непременно будет и даст вам все нужные сведения. Фейт молодчина: знаете, он сбежал из больницы. Я не хочу, говорит Фейт, понимаете? Я, говорит,— доктор, но лечить не обязан. Кто прав? Мы оставили этот вопрос открытым. Я — Соррон, Соррон тысячу раз, хозяин; магазин этот мой и гости мои. Я свихнулся и безобразничаю. Моя племянница умерла вчера, это была премилая девушка. Не смущайтесь беспорядком; я торговал сорок лет, и мне надоел порядок, надоел порядок, надоел окончательно и бесповоротно. Я одинок. Все одиноки. Я умру. Все умрут. Тоже порядок, но скверного качества. Я хочу беспорядка. Хочу есть горчицу с компотом, пить прованское масло с ликером, вымазать щеки соусом, грызть окорок зубами и плевать в лампу. Это божественное в человеке. Какая прелесть! Не нужно приборов, ножей и вилок, салфеток и десертных тарелок,— ломайте зубы и пальцы, ешьте, и трам-тарарам! Четыре женщины! Вон та, темненькая,

была недурна три года назад, но много возлюбила и за это наказана. Не обращайте внимания! Соррон веселится в пределах своего магазина. Садитесь! Фейт? — Он придет, говорю я вам. Сядьте!

Толпа, окружившая Рега, хлынула вместе с ним к помосту, и бутылки замелькали в воздухе. Рег сел на первую попавшуюся корзину; о нем сейчас же забыли. Каждый говорил, не слушая других, но воображая, что на нем сосредоточено исключительное внимание. Две женщины, обнявшись и ругая друг друга, пели двусмысленные куплеты. Грустный мулат объяснял отставному полковнику преимущество двойного удара в подбородок. Франт возбужденно говорил всем о тягости жизни, сопровождаемой бесчисленными смертями; по его словам, это действует на пищеварение.

Рег молча следил, пораженный, по-видимому, действительно приятным состоянием духа каждого из собравшихся; едва уловимый, капризный тон голосов и жестов производил странное впечатление. Так вели бы себя миллионеры, вынужденные кутить в сельском кабачке; позы и лица носили высокомерный оттенок. Он посмотрел на часы, решил до десяти ожидать Фейта, налил в пустую жестянку из-под монпансье чего-то спиртного и выпил. Соррон встал, опираясь маленькими веснушчатыми руками о край стола.

— Произношу тост,— заявил он,— я говорю. Что происходит в городе? В конце концов мы помрем. К этой мысли привыкли. Это не торпеда, не удар по голове и не оскорбление. С этим освоились. У меня путаются в голове три вещи: жизнь, смерть и любовь — за что выпить? По логике вещей я должен выпить за смерть. А впрочем...

Он лизнул пальцы, щелкнул ими над головой полковника, а Регу на мгновение показалось, что это обмусленная рука ничтожества перелистывает Великую Книгу.

— Впрочем,— продолжал Соррон,— я буду оригинален. Пью за ожидание смерти, называемое жизнью; может быть, это тонко для вас. Кроме того, мы имеем все причины жаловаться. Наступил голод, рабочие и негры осаждают торгующих, требуя дешевых цен; торговля в убыток; лучше не торговать совсем. Я так и

сделал. Я ликвидирую. Кричите, делайте шум, кричите!

Он закричал сам, и полтора десятка вспотевших от напряжения людей ответили ему яростным воем, стуча ногами и кулаками. Над столом поднялись седые усы полковника.

— Я пью,— сказал он, небрежным жестом обращаясь ко всему обществу,— за белые волосенки моей дочери. В следующем месяце ей было бы одиннадцать лет. Она — сто двадцать шестая или первая в этом счете. Еще одно маленькое примечание: сегодня умерло четыреста восемьдесят два человека, из них сто двадцать шесть белых.

Он взмахнул стаканом и раскланялся, в глубоком молчании остальных. Лицо его продолжало оставаться все тем же пьяным и вежливым.

Взбешенный кощунством пьяного ндиота, Рег встал, желая что-то сказать, еще темное для себя, но в этот момент грянул пухлый удар выстрела; с верхней полки, играя разноцветным блеском, полетели, звеня, осколки чайной посуды. Женщины завизжали. Рег успел заметить в облаке порохового дыма кофейную руку, вторично поднимающую револьвер; мулат облюбовал красивую фаянсовую вазу с печеньем, прицелился, нажал спуск, и белые сухие лепешки, шелестя, посыпались из разлетевшегося сосуда.

— Что вы делаете? — закричал Соррон.

— Очень смешно.— Мулат хихикал.— Я могу еще выстрелить, у меня глаз верный.

Апельсин, пущенный с другого конца помоста, ударил его в нос. Мулат дернул головой, как лошадь, остолбенел и разразился ругательствами. Второй апельсин задел его по уху; жесткие гранаты, орехи, бананы, мандарины, куски дынных корок, свистя, прорезали воздух, шлепаясь то в голову мулата, то в стену за его спиной; он завертелся, взвыл и потряс револьвером.

Оглушенный, с отвращением и досадой, Рег встал, намереваясь уйти, но в этот момент пришел Фейт, и свалка окончилась. Доктор появился с двумя собаками: шотландским сеттером и волкодавом; шум прекратился, взоры всех обратились к двери, куда повернулся и Рег.

Он увидел хорошо сложенного мужчину в белом костюме, белокурого и медленного в движениях; к его утомленному лицу с выпуклым белым лбом очень шел галстук цвета подгнивших листьев. Фейт был пьян, бледен, но среди пьяных же казался трезвее, чем прочие. Раздались крики:

— Вы очень запоздали!

— Привет ренегату!

— Привет доктору!

— Эскулап не замарал лап!

— Умирающие приветствуют тебя! — сказал франт.

— Приветствую умирающих! — любезно ответил Фейт и сел боком на стол, ударяя хлыстиком с серебряной рукояткой по ореховой скорлупе.— Я утомлен, господа, но еще выпью с вами и побеседую. Щекотно жить на свете.

— Я хочу узнать,— сказал Рег,— жив ли и где находится доктор Глед. Не знаете ли вы, господин Фейт? Я хочу найти этого человека.

— Улица Трубадура,— ответил Фейт, скользнув по лицу Рега серыми, ласковыми глазами,— номер одиннадцатый, третий этаж направо.

К этому времени пьяная суматоха сосредоточилась вокруг женщин. Сквозь группу мужчин виднелись голые плечи; там, видимо, происходило нечто таинственное и забавное, потому что легкий напряженный смех сопровождался невнятными упрашиваниями. Некто, стоявший позади всех, судорожно тиская пальцы сложенных на спине рук, повернулся, и Рег, встретив его маниакальный, возбужденный взгляд, узнал полковника. К Фейту подошел маленький брюнет с остановившимися глазами.

— Я слышал,— сказал он требовательным и в то же время равнодушным голосом,— что вы оставили больницу.

— Да.— Фейт задумчиво осмотрел брюнета.— Вы хотите занять мое место?

— Вы — подлец,— вяло произнес черный человек и, зевая, прибавил: — и также трус.

Фейт покачал головой, рассмеялся и побледнел.

— Глупости,— сказал он.— Эпидемия мне противна. Это меньше смерти и больше ужаса. Это — нелепость. Я — доктор медицины, я могу лечить болезни, но не

уничтожать нелепости. Кроме того, я слишком горд, чтобы бесполезно тратить свою жизнь на бесполезные вещи.

— Вы можете облегчить страдания,— сонно возразил собеседник, и теперь Рег заметил, что маленький человек еле держится на ногах.— Пожалейте!

— Кого? — закричал Фейт всей силой легких. Собаки, лежавшие у его ног, тревожно подняли головы.— Я не могу их жалеть, их сотни, болезнь делает их похожими друг на друга; это сходство отвратительно; они все темнеют и покрываются пятнами однообразно до одурения; это массовое стереотипное прекращение дыхания делает меня скучающим бревном; меня тошнит от него! Я работал в курортах и привык к интересной смерти. Там тоже умирают, но умирают от разных болезней. Умирают изящные дамы и девушки, хрупкие, прелестные дети, умные, испорченные, умевшие пожить мужчины, галантные даже перед концом; смерть их величественна и серьезна, она приходит к ним в объятиях вечной жизни, потому что в голубых тенях пальм и платанов, на морском берегу, лица этих людей прозрачны, таинственны и далеки от вас, как звезды, и близки вам, как ваша собственная печаль. Это — поучительная, степенная смерть. Душа ваша насыщена этим осенним благоуханием организма; смерть не страшна. Но здесь,— здесь я помотал головой и ушел: шаблон в такой области может лишить рассудка или заставить улыбаться всю жизнь.

Маленький брюнет сел, опустив руки между колен, глубокомысленно расширил глаза, сомкнул их, и голова его в тот же момент с легким храпом упала на грудь.

Ватага с топотом и ржанием отступила от женщин. Рег поднял голову; судорога отвращения перехватила его горло; остолбенев, он не мог первое мгновение дать себе отчет в нелепом и тяжком зрелище, до того было оно своеобразно и неожиданно. На полу, шагах в десяти от Рега, стоял Соррон с блаженным лицом артиста, чувствующего себя предметом восторженного внимания; четыре женщины, с покрасневшими от неестественного положения глазами, совершенно голые, были надеты на него так же, как надевают кольца на палец; этого достигли тем, что ноги каждой из них были крепко притянуты к плечам, у затылка, и укреплены полотенцами.

Они лежали одна на другой; выгнутые спины причиняли им, вероятно, страдания, так как напряженные, тупые улыбки выражали скрытую боль. На голом полу, в пыли и мусоре, шевелились тощие груди нижней женщины. Соррон двигался в бочке из живых тел, раскланиваясь и прыская от смеха,— это была его выдумка.

Рег шагнул к Соррону; мгновенный гнев лишил его всякого самообладания. То, что он увидел, было личным для него оскорблением.

— Соррон,— громко, не замечая, что сразу стало тнхо от первого его слова, сказал Рег,— вы меня обидели. Вы не предупредили меня. Мои глаза устроены не для этого. Вы больны чумой с детства. Я видел, вопреки моей воле, и клянусь — вы спаслись от выстрела только потому, что пьяны, как змея в банке со спиртом. Все вы должны радоваться, что скоро помрете.

Яростный лай собак, воплн негодования, болезненный визг кольцеобразных женщин дали понять Регу, что цель достигнута. Удовлетворенный, он прошел мимо мулата, засучившего рукава, открыл дверь и скрылся. Те, кто выбежал на улицу, услышали быстрый, замирающий стук подков.

III

МЕСТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРЕЛЕСТИ

Огонь бронзовой лампы, замаскированный красным абажуром, наполнял кабинет уютным розовым светом. Человек с тонкими губами, в очках, изжелта смуглый и быстрый в движениях, отбрасывая узкой рукой черные, падающие на лоб волосы, появился в дверях. Рег встал.

— Вы хотели видеть меня,— сказал Глед,— я к вашим услугам. Теперь немного поздно, но я в состоянии уделить вам час — это самое большее.

— Даже меньше,— проговорил Рег, усаживаясь, так как Глед сел.— Я приехал сегодня, часа три тому назад, со смутным намерением выбраться из города этой же ночью. Поэтому прошу извинить за продолжительные звонки с улицы. Перехожу к делу. Меня зовут Рег, я от Таймона, за пакетом с надписью «Теллури».

Глед положил ногу на ногу, снял очки, вытер их

слегка дрогнувшими пальцами и надел снова. Имя Таймона заставило биться его сердце сильными, глухими ударами.

— Последний раз я видел Таймона полгода назад.— Глед медленно и полно вздохнул.— Он приезжал тогда из Новой колонии к Тихому океану, намереваясь основать земледельческую кооперативную общину. Да, Таймон прожил у меня два месяца. За это время он сделал открытие чрезвычайной важности, но не предавал его гласностн, боясь скороспелых восторгов, вслед за которыми часто наступает разочарование.

— Вероятно,— согласился Рег,— он слишком часто разочаровывался в своих увлечениях, чтобы распространять, быть может, наивный слух. Мы с ним путешествовали. Раньше Таймон был богачом, но альтруизм расшатал его состояние. Я приехал вследствие усиленных его просьб; сам он чрезвычайно боится всяких эпидемий. Вот письмо Таймона. Я имею некоторое основание думать, что в нем говорится именно об этом открытии. Впрочем, он добавил, что вы посвятите меня в суть дела, которое, судя по его восторженным отзывам, принесет мне и ему неисчислимые выгоды.

— Пачка в синей обертке,— сказал Глед, пробегая содержание первых строк,— да, что-то похожее на это лежит сверху одного шкапа.

— Поспешный отъезд Таймона,— продолжал Рег,— когда он был у вас и оставил, конечно, по всегдашней своей рассеянности, связку этих бумаг, кажется, объяснили...

Глед стиснул пальцы. В этот отвратительный для него момент старинные подозрения, тихая, мучительная борьба, пережитая в молчаливом бешенстве ревнивой тоски, болезненно озарили память.

—...смертью отца,— сказал Рег; волнение Гледа не укрылось от его зорких глаз, но он объяснил это простым любопытством к судьбе старого знакомого.— Отец Таймона, действительно, умер вскоре после приезда сына. Так или иначе, Таймон не говорил мне об этой связке до конца прошлой недели.

— Здесь чума...— Глед сухо улыбнулся.— Человек, выходящий из дома, может не вернуться совсем. Таймон вовремя спохватился.

— Пожалуй,— сказал Рег.

— Я помню Таймона. Должно быть, это все тот же легкомысленный, горячий и капризнейший человек на свете.

— Совершенно так. Простите,— Рег вспомнил о другом поручении и положил на стол второй, измятый за дорогу, конверт,— Таймон адресовал это вашей супруге.

В словах Рега не было ничего странного или подчеркнутого. Глед выронил первое распечатанное письмо и, нагнувшись, долго не мог поднять его. Выпрямившись, он ощутил в ногах тяжелую слабость, лицо его стало менее смуглым и как бы осунувшимся. Поборов себя, он посмотрел Регу в глаза — вежливая внимательность этого гордого, но в то же время нежного и простого, как утреннее приветствие, лица внушала Гледу доверие. Рег был, видимо, далек от всякого подозрения.

— Благодарю вас,— сказал Глед,— но я должен...

Он встал, приставил к дубовому шкапу лесенку и стал рыться на верхней полке. Прошлое опалило его, стеклянная дверь шкапа прикрывала от Рега расщепленного пополам человека, слишком надменного для объяснений и резкостей. Но Рег не знал этого. Перед глазами его мелькали уличные трупы, ночная толпа солдат, вечер Соррона. Он еще не вполне сознавал, где находится; ощущения его были ощущениями игрока.

Глед рассеянно перекладывал бумаги, из них смотрело на него молодое, с грустными глазами, лицо жены. Себя он видел отдельно, посторонним лицом. Да, он часто заставал их гуляющими в саду. Два раза они были расстроены. Она любила слушать его болтовню. Изредка Таймон дарил ей цветы; уродливые формы этих, все же чудесных по окраске и оригинальности, орхидей она сравнивала с характером Таймона. Она искала его общества. Однажды, когда редкий туман посеребрил аллеи, Глед видел... Это могло показаться... Но голова Таймона была опущена слишком низко, его рука слишком быстро приняла прежнее положение. Это дело тумана. Туман не спрашивают. Когда Глед подошел к ним, он заговорил так странно, что жена его пристально посмотрела ему в лицо.

Глед положил отысканный сверток и кипу старых газет и подошел к Регу.

— Я не могу найти то, что просит Таймон. Минут через пять я снова примусь за поиски.

— Я подожду,— ответил Рег.

Глед сел, вытянул ноги и закурил, нервное возбуждение перешло в болтливость, он засыпал Рега вопросами, имеющими между собой очень сомнительную связь.

— Что пишет Таймон? — спросил Рег, переходя к цели.— Я поверил только его клятвенному заявлению, что игра стоит свеч. Он заинтриговал меня и умолчал о сущности, честно сообщив, что боится с моей стороны резкой и преждевременной критики. Я выехал позабавиться, а может быть и получить неожиданную награду. Скучно ездить наверняка.

— Его планы? — Глед натянуто рассмеялся; бессознательное толкало доктора воплотить в словах то, что в размахе его ревнивой воли подлежало истреблению.— Фейерверк роскоши и благодеяний. Чудесная местность, два или три отеля, одушевленных электричеством до последнего кирпича; мраморные бассейны, концерты — одним словом, выздоравливающий, по его идее, должен окунуться в самую радостную негу жизни. Он превратится в своеобразный музыкальный инструмент, из которого Таймон, электричество, солнце и Теллури будут извлекать обаятельные мелодии.

— Теллури,— повторил Рег,— я не знаю такого слова.

— Да, вы не переведете его.— Глед бросил невольный взгляд на белое пятно второго письма Таймона; казалось, оно жгло самый воздух, делая его тяжелым и душным.— Таймон запомнил это слово в глубине Африки. Значение его неизвестно. Анализ минеральной воды, о которой идет речь, показал присутствие в ее составе неизвестного элемента. Темное слово и темное вещество почему-то стали нераздельны в воображении Таймона. «Пусть будет Теллури»,— сказал он. Я не имел причины протестовать.

— Я слушаю,— сказал Рег.

— Таймон открыл Теллури, заблудившись, миль за сто от Южного порта, во время одной экскурсии. Источник окружен хаосом болот и лесов; доступ к нему возможен только с помощью подробного описания

дороги к этому месту. Таймон составлял это описание по мере того, как возвращался назад. Он тщательный человек. Конечно, за этим вы и приехали.

— Да. Он заявил, что им забыт путь к богатству и уважению.

— Да? — Глед щелкнул пальцами.— Я попытаюсь передать вам личные впечатления Таймона.

Он сыпал быстрыми, тщательно округленными фразами. Его сухой голос напоминал стук палок. Но Рег отметил в этом сухом перечне примет Теллури все, что принадлежит действительно зрению и восторгу.

Кабинет Гледа рассыпался: Рег видел тусклые, желтые холмы в кайме черных скал кварца; пятнами серо-зеленого мха пестрили их углубления и расщелины; фиолетовая поросль мелких цветов пустыни взбегала из низин на эти голые возвышения, теряясь бесчисленными оттенками в сухом желтом блеске; холмы напоминали золотые шары, брошенные в складки цветного бархата; там, где фиолетовые ковры окружали скалы, кривились серые стволы неизвестных деревьев с горизонтально вытянутыми огромными листьями; в совершенной тишине воздуха листья, казалось, стремительно и напряженно рвались к далекому горизонту, притягиваемые неизвестной силой, придавая пейзажу выражение окаменевшего в зените своем усилия. Стальной цвет неба носил тревожный оттенок бурной погоды; запах нагретой земли мешался с запахом хрупких водянистых стеблей и венчиков, полных дремоты. Из выпуклой горбины скалы, сиявшей тенистой холодной трещиной, лился широкий поток воды совершенно синего цвета, русло его блестело сквозь влагу голубоватыми камнями; вода уходила в природный, неправильный водоем, где тень выступивших к середине краев почвы делала синеву черной, подобно жидкой смоле в голубом свете.

Все это было чуждо земле, приближая воображение к пейзажам иной планеты. Глед смолк. Рег с сожалением покачал головой.

— Пожалуй, для больницы это было бы чересчур. Мне жаль этих мелких, фиолетовых цветов и странных деревьев, обреченных на службу параличам. А действие?

— Он говорит, что выкупался из любопытства, а затем выкупался второй раз, так как жгучий холод

источника превратил его тело из утомленного продолжительным, полуголодным скитаньем в бархатное и легкое. Особенно Таймон подчеркивает влияние Теллури на душевное состояние. «Я был счастлив,— говорил он с действительным изумлением,— я беспричинно хохотал, радуясь таким пустякам, как то, что палец мой способен сгибаться и разгибаться. Я был, пожалуй, даже нетрезв и сразу открыл вокруг себя массу интересных вещей. Я почувствовал, например, вечную древность пыли, испачкавшей мои сапоги, а увидев попугая, понял, что существо это стыдится своей наружности, у него серая душа». Рассказ его был сбивчив, он, видимо, не нуждался тогда в закреплении своих воспоминаний.

Глед замолчал и услышал треск каменных углей; не выдержав, он потянулся к второму письму Таймона.

— Я передам его жене.— Глед встал.— Прошу вас, подождите моего возвращения.

В гостиной он нажал кнопку электрической люстры, вздохнул и, презирая себя, разорвал конверт. Сомнительная радость наступившего выяснения так потрясла его, что он должен был сесть.

— Я сожгу бумаги Таймона,— сказал он,— если хоть одна строка...

Незначительность этого решения осталась тайной для пылающей головы Гледа. Он стал читать, и краска медленно залила его трясущееся лицо. Глед встал, не зная, прочел он письмо или нет, или ему только показалось, что на свете могут быть такие живительные, прекрасные строки. Он снова устремил глаза на драгоценные буквы, поднял голову и долго, не шевелясь, рассматривал в лепном углу потолка маленькую колеблющуюся паутину.

Таймон писал о чуме. Он проклинал почту, карантин и чуму. Все это было несомненно важно для Гледа, потому что именно вслед за этим Таймон выразил смирение. «Я надоел вам своей любовью,— увидел доктор буква в букву написанное,— может быть, мы не встретимся. Я был дерзок и жалею об этом. К вам нужно подходить иначе. Или не подходить совсем».

Глед скомкал письмо, но тут же расправил листок юношеским движением.

— Таймон — прекраснейший человек,— сказал он,— любит пофлиртовать. Это хорошо. Почему хорошо? —

спросил он себя и рассмеялся. Грудь его дышала быстро и чисто.

Увидев Рега, он понял, что вошел в кабинет. Ему сразу захотелось идти к жене, подарить Регу на память ониксовую пепельницу и остаться с собой. Радость сделала его грузным и переполненным.

— Вот Теллури,— сказал Глед, почти механически протягивая Регу темный пакет и хлопая дверцей шкапа так сильно, что стекла ее зазвенели.

Он говорил суетливо, двигался растерянно. Рег пристально посмотрел в его блестящие глаза, взял сверток и встал.

— Что передать Таймону?

— Все, что хотите. У меня прилив крови к голове. Передайте, что чумы нет, она была, но больше ее не будет.

— Чумы нет? — медленно повторил Рег и вдруг вспомнил второе письмо. Смутная догадка заставила его остаться серьезным.— Да, ее нет, если вы так хотите,— мягко сказал он.

Рег поклонился, вышел, и красный свет лампы остался с доктором.

— Теллури! — сказал Рег, поправляя седло и гладя утомленную лошадь: — Это место годилось бы для молитвы, рыданий или великих замыслов. Но, увы! — там предполагается только шуршать рецептами.

IV

ВЫДЕРЖКА С ПАСЬЯНСОМ

У спуска к набережной Рег проехал мимо двух трупов. Теперь он не удивлялся им, и они постепенно теряли для него свою обязательную зловещесть; более чем когда-либо, Рег убеждался, что камень и труп человека — скучные и даже очень простые вещи. На самом спуске Рег заметил еще одного; этот лежал боком, лицом к гавани, с открытым ртом и рваными калошами на босую ногу. Электрический фонарь дока чертил за его спиной кургузую тень.

Пустынные молы уныло протягивали в тьму залива свои каменные глаголи. Груды залежавшегося товара, окутанные брезентами, тянулись по набережной; ряды

их прерывались кое-где треугольниками пустых бочек, пирамидами антрацита и паровыми кранами. Рег миновал склады, пакгаузы и выехал к свободному пространству набережной.

Здесь он остановился, темный, на темной лошади, напоминая собой в неподвижном электрическом свете конную статую, и сообразил, что попасть в гавань — еще не значит уехать. Его положение могло измениться только благодаря случаю.

— Я уеду,— сказал Рег лошадиной холке, перебирая ее холодными от усталости пальцами.— Как — это другое дело. На первый раз возьмем за бока шаланду.

Шагах в десяти, покачиваясь и скрипя, чернела железная шаланда, род барки, судно, служащее буксирным целям. На корме сидел человек в войлочной шапке и рваном жилете; босые, грязные ноги его гулко ударяли в обшивку судна. Когда Рег подъехал к воде, человек этот заломил руки и сочно зевнул.

— Эй, на шаланде! — сказал Рег.

— Нельзя ли потише? — ответил, продолжая зевать, человек в войлочной шапке.— Чего вам?

— Мне нужен отчаянный человек,— деловито сообщил Рег, закуривая сигару и приготовляясь к длинному объяснению. Дети народа соображают туго и неохотно.

— Отчаянный? — хладнокровно переспросил матрос.— Теперь все отчаянные. Все стали отчаянными. Вы можете набрать их быстрее, чем воды в рот.

— Неужели все?

— Вот именно. Я, как видите,— матрос и даже вахтенный, а впал в полное отчаяние. Сидеть ли мне на шаланде, спрашиваю я вас? Не пойти ли мне в «Кисть винограда»? Я человек с мозгом. Держи вахту, служи — а помрешь с непромоченным горлом... Я — отчаянный.

— Хорошо,— сказал Рег, вздыхая, так как знал цену много болтающим,— тогда, может быть, вы рискнете?

— Я не спрашиваю — чем,— ковыряя в носу, произнес малый,— так как у меня нет ничего, кроме шкуры. Рискнуть шкурой?

— Да, к этому я и клоню речь.

— Нет,— матрос встряхнул головой.— Это соблазнительно, потому что пахнет, должно быть, хорошими деньгами. Только меня что-то не тянет. Шкуру жалко.

«Если таковы все отчаянные,— подумал Рег,— то их действительно много».

— Прощайте.— Он хотел удалиться, но матрос крикнул:

— А в чем дело, любезнейший?

— Выехать из города.

— Выехать из города! — повторил молодой.— Тогда вы лучше справьтесь в портовом или карантинном управлении, сколько подстрелили таких пассажиров. У них, дьяволов, магазинки, и стреляют они отлично. Берете вы шлюпку, хорошо. Едете, все отлично. У маяка на вас побрызгают рефлектором с карантинного крейсера, а потом, налюбовавшись, саданут залпом и возьмут на буксир. Только повезут-то вас обратно, да и к тому же слегка тепленького.

Рег молчал.

— Есть один,— продолжал матрос,— про него говорят, что он что-то такое, но туманно. Теперь разные слухи... Понаведайтесь,— может, он и в самом деле. Как поедете этак вот дальше по набережной, то увидите черный домик с голубятнями по бокам. А сбоку, ближе сюда, зубы торчат,— это у него был каменный забор, да рассыпался. Домик купил нынче Хенсур, вот он что-то такое. Я не знаю, узнайте вы.

— Хорошо,— сказал Рег,— вот вам на «Кисть винограда».

Он размахнулся и, пока матрос ловил золотую монету, брякнувшую о палубу,— успел отъехать с десяток сажен в указанном направлении. Долгая ночь томила его; моментами он засыпал в седле; секундный сон делал мозг тяжелым как ртуть. Это была та степень усталости, когда человек становится сознательно равнодушным ко всему, кроме постели.

Та часть гавани, в которой он проезжал теперь, была почти не освещена; угольные склады и нефтяные цистерны громоздились в угрюмой черноте теней; пахло копотью и железом. В стороне от шоссе Рег заметил, действительно, нечто похожее на обнаженную че-

люсть; неровные глыбы известняка вытянулись по одной линии, указывая границы некогда огороженного места. Сквозь мрак, повыше камней, светилась четырехугольная занавеска маленького окна.

— Должно быть, это,— сказал Рег, усиливаясь рассмотреть голубятни. Более густые пятна тьмы привлекли его внимание, он подъехал к ним и различил два столба с круглыми голубятнями на верху, напоминающими ветряные мельницы без крыльев.

Слишком усталый для того, чтобы медлить, Рег спешился, привязал лошадь к ближайшему столбу и, пошатываясь на онемевших ногах, подошел к двери. Стук его был тихим и быстрым.

— Войдите! — глухо отозвалось внутри.

Рег, толкнув дверь, попал в маленькую, ярко освещенную комнату.

Обстановка этого помещения, очень несложная, была все-таки несколько затейлива для того, чтобы он, в промежутке между входом и первым сказаиным словом, успел запечатлеть ее всю. В глаза бросились цветы, канарейки, морские раковины, повеяло неприхотливым уютом. За столом, покрытым вязаной скатертью, сидел лысый человек небольшого роста, раскладывая пасьянс. Пестрая бумазейная рубашка составляла, кажется, весь его костюм, так как ноги были обернуты шерстяным одеялом и поставлены в корзину с подушкой.

— Доброй ночи,— сказал Рег.

— Можно и так,— проговорил Хенсур, почесывая небритую седую шею и не обращая на Рега ни малейшего внимания,— валета кладу на даму. Черный валет. Место освобождается. Тогда мы потянем десятку, а на нее девятку, а на нее восьмерку, а на нее... Вышел! — дико закричал он, подскакивая.— Чуяло мое сердце!

Рука его, победоносно рассекавшая воздух пиковым королем, заколебалась и нерешительно опустилась. Физиономия Хенсура выразила тяжелую подавленность.

— Не вышел,— злобно проговорил Хенсур,— дело привычное... Что скажете, как вас?

Последнее относилось к Регу. Он подошел к столу, взял стул и сел на него верхом, желая попасть в тон. Это произвело благоприятное впечатление; Хенсур перестал бегать глазами и устремил их в потолок, подперев голову кулаком.

Рег, быстро осмотрев хозяина, понял, что перед ним кремень. Старик был лыс, худ, щупл и костист, как голодный морской баклан; в глазах его, окруженных тысячами морщин, поблескивало нечто живое, ребяческое и хитрое. Слушая, он имел привычку оттягивать нижнюю губу так, что сверкали удивительные, меловой белизны, зубы.

— В городе чума,— сказал Рег беззаботным голосом.

— Наплевать,— отрезал Хенсур.

Воцарилось молчание.

— Вы — Хенсур? — резко спросил Рег.

— Я — Хенсур. Только мне плевать на то, что я Хенсур.

— Правда?

— Да. Правда.— Старик сердито укрепил голову на своем маленьком кулаке, продолжая смотреть в пространство.

«У всякого своя манера веселиться»,— подумал Рег, мало обескураженный таким приемом.

— Опасно оставаться в городе,— значительно произнес он.

— Наплевать.

— Что вы думаете насчет этого?

Хенсур крякнул.

— Кому не наплевать, пусть сидит,— решительно заявил он,— а на остальных мне наплевать.

Рег поморщился. Что-то похожее на усмешку мелькнуло в углах глаз Хенсура.

— Я хочу уехать,— сказал Рег.

К его удивлению, старик на этот раз промолчал, положил локти на стол и стал потирать переносицу большим пальцем, рассматривая Рега деловито и пристально. Рег скрипнул стулом; игра эта начинала казаться ему мало забавной.

— Сколько? — выпалил Хенсур.

«Клюнуло»,— мысленно сказал Рег. Вопрос Хенсура относился, по-видимому, к деньгам.

— Пятьдесят золотых большого калибра. Кроме того, у голубятни привязана лошадь. Она — ваша.

Хенсур ласково посмотрел на Рега, и тот заметил, что небритые щеки старика окраснлись слабым румянцем. Должно быть, он не ожидал такой цифры.

— Вы думаете — я поеду с вами? — злобно процедил Хенсур, тасуя колоду.— Фига с маслом, молодой человек. Я ранен в обе ноги. Меня подстрелили три ночи тому назад, но мне на это наплевать. Вы уедете, или я более не Хенсур. Вы кто? — неожиданно спросил он, подскакивая.— Принц, герцог, трубочист, банкир?

— Я — Рег,— сказал путешественник.

— Рег! Рег! — пробормотал Хенсур.— Рег, молодой человек из четырех [1] букв. Спать хотите? Если не хотите, то наплевать.

— Хочу. Я уже сплю.

— Вы, может быть, хотите и есть? — подозрительно спросил Хенсур.— А? Так вы поедете завтра ночью. Изотта! — закричал он с непонятным для Рега воодушевлением,— эй, ты, девчонка!

Рег оглянулся. На пороге двери, морщась от резкого крика старика, стояла девушка лет двадцати, двадцати двух; решительные большие глаза ее скользнули по лицу Рега с улыбкой нетерпеливой досады.

— Не ори! — сказала она, пряча маленькие босые ноги под клетчатый подол юбки.— Или я отниму карты.

Хенсур подмигнул Регу.

— Вот нынешние девчонки,— сказал он,— а ведь я драл ее за уши лет пятнадцать назад. Впрочем, тогда же она хватила меня зубами в мякоть. Наплевать! Изотта! Уложи и насыть молодца... то бишь, герцога. Они едут завтра.

Рег молча смотрел на девушку, испытывая смутное удовлетворение мужчины. В ее движениях, небольшой статной фигуре, маленьких круглых плечах, смуглом лице и отсутствии всякой прически сверкало нечто пленительное. Спутанные темные волосы лежали на голове пышной шапкой. На строгий взгляд она не была красавицей, но оставляла впечатление редкости.

— Завтра? — Девушка, поджав губы, безразлично осмотрела Рега и резким движением застегнула пуговицу бумажной кофты.— Ну... идите сюда.

Он вошел вслед за ней в другую, совсем маленькую комнату. Неуклюжая кровать и несколько деревянных стульев вокруг низенького стола скрашивались старин-

[1] По старой орфографии слово «Рег» писалось с твердым знаком: Регъ. *(Прим. ред.)*

ным комодом, уставленным цветными коробками и яркими помадными баиками. Над стулом, обернутая шерстяным платком, висела гитара.

— Садитесь пока,— сказала девушка,— хотите мяса?

— Хочу.

— Вина нет, все выпил старик.— Она бросила это на ходу, исчезая в дверях. И из-за стены Рег услышал: — Черт побери!

— Что герцог? — спросил Хенсур.

Ответа не было. Рег судорожно зевнул, сел на кровать, вытянул ноги и ткнулся головой в подушку. Пестрый круговорот дня взмыл перед ним. Он закрыл глаза, намереваясь отдохнуть, пока не принесли ужин, сунул руку под голову и уснул.

Минут через десять вошла Изотта. В левой руке ее колыхалась тарелка с хлебом и холодной свининой, правая помахивала бутылкой, добытой, вероятно, с боя. Девушка подошла к кровати, нагнулась, пожала плечами, улыбнулась и вышла.

V

ИЗОТТА

— Проснитесь!

Кто-то положил руку на плечо Рега; он перешел из небытия к тяжелой, послесонной дремоте, перевернулся на другой бок, глубоко вздохнул и вдруг, осилив момент сознанием, проснулся и сел, протирая заспанные глаза.

Перед ним, с туго обвязанной грудью, в тяжелой, короткой юбке и полусапожках из ременной сырой кожи, стояла девушка. Брови ее слегка хмурились.

— Вы едете? — сухо осведомилась она.— Так проснитесь. Все готово.

— Готов и я,— зевая, сказал Рег,— но вот что объясните вы мне. Кто вывезет меня из этого кладбища?

— Вы поедете со мной.— Изотта бросила на него один из своих беглых взглядов, похожих одновременно на осмотр и вопрос.— Через три часа, если повезет, вам можно будет не беспокоиться.

— Но вам нужно вернуться,— возразил удивленный Рег и прибавил: — вы рискуете из-за денег?

— Деньги? — презрительно дернула головой Изотта.— Деньги, конечно, нужны мне, как и всем. Только из-за одних денег я не проехала бы и двух шагов.

— Объясните,— Рег с любопытством смотрел на девушку,— что же вас привлекает?

— Вам это зачем? — проговорила Изотта.— Вас везут — и кончено.

— Не совсем,— серьезно сказал Рег.— Там, где я всецело завишу от неизвестного мне человека, естественно разузнавать о нем, хоть бы от него самого.

— Вы долго спали...— Изотта села, положив голову на деревянную спинку стула.— Вы спали двадцать часов. С двенадцати до восьми. Теперь восемь. Я не люблю солдат. Их наставили везде. Город окружен морем, а море — солдатами. Они думают, что я взаперти. Когда подстрелили Хенсура, я благополучно проскочила два раза под самым носом у них. Я приезжаю и уезжаю, как будто их нет.

— Уезжайте и не возвращайтесь,— сказал Рег,— здесь чума.

— Чума! — Изотта презрительно улыбнулась.— Это забавно!

Рег не понял ее восклицания. Впрочем, в нем было столько же легкомыслия, сколько и странного убеждения в недоступности своего тела для этой болезни. Он почувствовал голод, потянулся к тарелке с пищей, оставленной на столе, и уничтожил все до последней крошки. Покончив с этим, Рег заметил, что Изотты нет в комнате; она вышла, вероятно, из деликатности.

Открыв дверь, он вошел в соседнее помещение. По-прежнему у стола сидел Хенсур, смакуя что-то из фаянсовой кружки; глаза его, посмеиваясь, встретили Рега прищуренным, тонким взглядом.

— Я выспался и готов ехать,— сказал Рег, опуская на стол маленький золотой сверток. Хенсур прикрыл деньги локтем, забормотал что-то про себя и окончил резким проклятьем, ударив сухим кулаком в стол.

— Я поддену этих стрелков на веревочку! — крикнул он.— Вы не думайте! Дайте только зажить ногам!

— Кость тронута? — спросил Рег.

— Наплевать! — Хенсур беспокойно заворочался, вспомнив, что Рег ждет.— Изотта! Слушай!

Рег оглянулся. За ним, прислонившись к стене, стояла девушка. Спокойная лень ее фигуры не вязалась с предстоящей опасностью; рискованная прогулка, по-видимому, была для нее чем-то вполне будничным и законным.

— Девчонка,— сказал Хенсур,— выехав за сигнальную мачту, против эллинга, держи к Новому молу. Там проплыви под сваями, остановись в конце и жди, пока крейсер не начнет перемигиваться! Когда ослепнет, греби до полусмерти, пройди под кормой и взвейся к берегу изо всех сил, шарахнись!

Изотта полузакрыла глаза.

— Я знаю все это наизусть. Рег, идемте.

— Вы поступаете добросовестно,— сказал Рег Хенсуру,— но все-таки мне приятнее было бы ехать с мужчиной.

— Будьте сами мужчиной,— гневно возразила она.— Я вас тоже не знаю.

Задетый сам, Рег хотел объясниться, но Хенсур перебил его:

— Изотта! Господин герцог боится за вас. Вы — дама.

Девушка вопросительно посмотрела на Рега; скупая улыбка тронула ее небольшой твердый рот, передалась глазам и угасла.

— Идемте,— повторила она.

— Спокойной ночи, Хенсур! — Рег махнул шляпой, переступил порог и, закрывая дверь, подметил в лице старика нечто похожее на одобрение.

Голубятни выступили по бокам, скрылись, лошади возле них не было. Изотта шла впереди, песок быстро хрустел под ее ногами. Рег нагнал ее, на душе у него было смутно и весело. Они пошли рядом, но молча. Под отлогим спуском блестела иссиня-темная полоса воды, обрызганная звездами; сонный прибой лениво шуршал гравием. Горб опрокинутой лодки чернел справа.

— Надо перевернуть,— сказала девушка, хлопая рукой по осмоленному килю.— Возьмите снизу.

Рег пропустил руки между песком и бортом, приподнял судно и опрокинул резким усилием. Изотта подошла ближе, намереваясь помочь; он жестом отстранил ее, схватил шкот и, стиснув зубы, протащил лодку к

воде. Спутница его нагнулась, опуская в корму ружье и небольшой узелок.

— Садитесь, я столкну.— Рег перевел дух, вытянул руки и приготовился. Изотта поместилась к рулю. Сдвигая лодку, Рег умерил ее быстрый разбег, вскочил сам и взял весла. Берег медленно отходил прочь; в глубине его, на фоне ломаной черты крыш, громоздились массивные нефтяные цилиндры. Дохнуло нежной сыростью океана, соленой духотой и запахом гниющих отбросов.

Изотта держала руль. Лицо ее смутно белело в ровной мгле ночи, представляясь Регу одновременно таинственным, веселым и озабоченным. Лодка, сон бухты, неизвестная девушка и ожидание серьезных препятствий наполнили его томительной остротой темных провалов будущего, он пристально рассматривал их в себе и был спокоен.

— Вы, может быть, боитесь? — медленно спросила Изотта.

— Я? — Рег покачал головой. Вопрос этот показался ему странным. Он бегло восстановил в памяти свое поведение у Хенсура; там не было ничего, способного возбудить подобный вопрос.— Нет, я не боюсь. А вы?

— Я не бегу,— вызывающе сказала Изотта.

— А! — Рег улыбнулся.— Тот, кто боится смерти, боится ее везде?

— Да.

К его удивлению, в голосе ее не было теперь оттенков досады и раздражения, как на берегу. Он объяснил это их взаимной зависимостью.

— Я не жил в Южном порту,— помолчав, сказал он,— я приехал и уезжаю.

— Зачем вы приезжали?

— По делу.

— По какому делу?

Она спрашивала определенно и твердо, тоном спокойным, но требовательным.

Рег пожал плечами. Эта настойчивость у всякого другого получила бы немедленный мягкий отпор; но девушка, рисковавшая жизнью ради его безопасности, как будто имела право на некоторую формальную близость.

— Я обязался,— сказал Рег,— привезти из Южного порта ценные документы и съездил за ними.

— А ваша профессия?

— Скучно заниматься одним. Я делаю все то, где другие отступают по недостатку сообразительности, смелости или воображения. Я — вторая душа людей.

Он посмотрел в стороны. Черный полукруг гавани, намеченный кое-где редкими огнями домов, расширил свои объятия. Под килем глухо заворковала вода — Изотта повернула к набережной. Рег вспомнил Соррона, трупы на улицах, Денсона; вспомнил, что уезжает, и беглое чувство торжества сменилось полной уверенностью.

— Нас могут убить,— сказал он.— Что вы об этом думаете?

— Двумя станет меньше...— Изотта неожиданно рассмеялась странным горловым смехом.— А что?

— У вас есть отец. Он болен.

— Хенсур? Много таких отцов. Я — подкидыш. Старик болен, верно, так ведь у иего есть брат. Тот здоров.

— Где мы едем?

— За эллингом.— Изотта перегнулась через борт, рассматривая набережную.— Гребите тише.

Лодка, описав медленный полукруг, стукнулась о толстое бревно деревянного мола. Из-под настила тянуло холодком и плесенью.

— Перейдите на ту сторону. Перебирайтесь по сваям.

Рег встал, нагнулся, чтобы не удариться головой о верхние балки, и, хватаясь за попутные сваи, провел между ними лодку на противоположную сторону. Теперь он понимал план Хеисура. Мол вытянулся по направлению к безлюдной стороне бухты; это был выигрыш, так как, оставляя мол между собой и сторожевым крейсером, можно было проехать у свай незамеченным почти третью часть всего расстояния.

Рег сел, приготовляясь грести.

— Не торопитесь,— заметила Изотта.— Силы еще понадобятся.

— Да, в самом деле. Давайте-ка мне ружье.

Девушка молча зашевелилась, и приклад штуцера уперся в колени Рега. Он быстро ощупал затвор, магазинную коробку и успокоился.

— Надежный,— проговорил он,— с системой этой я познакомился. Резкий бой.

Вздрогнув, он отчетливо увидел Изотту с зажмуренными глазами, черные тени свай на озаренной воде и свои руки. Упавший издалека свет подрожал некоторое время вокруг, перекинулся к набережной и скрылся. Это сильно походило на глаз, мелькнувший в замочной скважине.

Рег бросил ружье.

— Крейсер подмигивает,— сказал он, беззвучно проводя веслами.— Плывем!

Настил мола потянулся над его головой ровной, высокой линией. Однообразный шепот воды звучал подозрением. Справа блеснули огоньки крейсера.

— Стойте! — Изотта круто поворотила руль.— Молу конец. Сидите пока смирно. Рефлектор делает круг. Вон пятно.

Короткая в ракурсе полоса света, дымясь пронизанными ею испарениями, сверлила далекую отмель; затем прыгнула вверх углом к бухте, взяла направо, потерялась распыленным обрывком в глубине моря, метнулась к гавани, обошла воздушное пространство на высоте двух-трех сажен от лодки и погасла.

— Теперь не жалейте рук — это был сигнал. Посмотрим...

Рег взмахнул веслами. Внимание его ушло целиком к пустынному выступу мола, исчезавшего с быстротой камня, брошенного в озеро. Изотта что-то сказала; он не расслышал ее, не понял и оглянулся, хрипя всей грудью от неимоверного напряжения. За плечами бежал к нему тупой свет иллюминаторов, а рядом, внизу, дрожали подводные огни мачтовых фонарей.

В этот напряженный момент инстинкт подсказал Регу нужный маневр. Он поднял весла, инерция стремительного разбега двигала лодку еще некоторое время и иссякла только тогда, когда массивная кривизна кормы крейсера прошла над головой Рега.

— А теперь тише,— сказал он себе, переходя к беззвучным всплескам весел.

Огни крейсера уменьшались, очертания его таяли, делаясь призрачными и смутными, теряя реальную убедительность вооруженного запрета. Рег колебался. Выигрывая на тишине, он терял в скорости, но шумная быстрота движений тоже не представляла выгоды. Крейсер напоминал дальнозоркого человека, ожидаю-

щего, когда предмет зрения окажется в надлежащем расстоянии.

— Гребите! — с недоумением прошептала Изотта.

Рег задержался, не рискуя произвести шум так близко от ушей вахты, но через мгновение ему показалось, что пройденное расстояние служит гарантией. Он взмахнул веслами, замедлил очередной удар, прислушался к безмолвию моря, наклонился, поднял ружье и положил рядом с собой. Тень крика мелькнула в оцепенении тишины.

Рег хрустнул пальцами. В этот момент он испытал знакомое глухое волнение, подобное волнению человека, в уши которому спрятанный где-то оркестр грянул пленительную мелодию.

— Изотта,— сказал Рег,— как вы? Ваше мнение?

— Гребите.— Голос ее вздрогнул, но тотчас же ровные, лениво-быстрые фразы осыпали Рега: — Гребите, пока хватит сил. Не отвечайте. Это бесполезно и утомительно. Что будет.

Невидимый бич, взвизгнув, распорол воздух, тупой удар выстрела сопровождал его коротким предупреждением.

— Еще раз! — жадно сказала девушка.— Слепой тычет пальцами... Ну, еще.

Вторая пуля провизжала неподалеку от ее головы. И вдруг электрические щупальца крейсера показали им обоим друг друга, лодку и воду. Изотта встала, придерживаясь за руль, гневно-веселое, взволнованное и мокрое лицо ее казалось освещенным лицом ночи. Неподалеку, на прямой линии светлой полосы аппарата, Рег увидел карантинную шлюпку; спереди она напоминала корзину, утыканную темными булками.

Он выпустил весла, так как против его двух мчалось восемь, лег на дно и, прежде чем испытать действие штуцера, разрядил полный револьвер, пуская пули вдогонку одна другой; сбоку у самого его локтя, крутясь, залязгала уключина, тронутая ответной пулей. Рег вспомнил Изотту.

— Ложитесь! — быстро сказал он.— И не высовывайтесь.

Она не ответила. Рег сжал потной ладонью холодную шейку штуцера, это было надежнее. Он выстре-

лил, прицеливаясь как можно тщательнее, три раза и встал. Девушка стиснула его руку, он молча посмотрел в затуманенные глаза Изотты и рассеянно кивнул головой. Это существо держало его все время в состоянии легкого по отношению к ней любопытства, проникнутого инстинктивным уважением.

— Стреляйте! — Изотта ударила каблуком в дно лодки, словно медленность Рега висела над ними в воздухе, угрожая обвалом.— Стреляйте, говорят вам!

Чужие всю жизнь, они были связаны теперь заботой о сохранении жизни, это делало их такими, каковы были они в действительности. Спасаясь вдвоем, трудно сохранить тон незнакомых людей.

Слегка задетый, Рег освободнл руку.

— Я не делаю промахов,— уклончиво сказал он.— На шлюпке один. Посмотрим, что он намерен выкинуть.

Шлюпка стояла боком. Смутная солдатская фигура раскачивалась у ее борта, нагибаясь и выкрикивая беспорядочные обрывки фраз.

— Вот ночная птица с перебитым крылом,— сказал Рег, прицеливаясь в растерявшегося матроса.— Чтобы нас оставили наконец в покое...

Он тронул спуск. Выстрел дал положительный результат. По простоте это напоминало тир; все же, когда Рег опускал штуцер, руки его слегка дрожали.

Свет поднялся вверх; растянутый круг его блеснул у карантинной шлюпки и замер на теплых трупах. Рег сосредоточенно греб; он был задумчив и утомлен.

— Берег,— произнесла девушка.— Все кончится через пять минут.

— Что дальше? — спросил Рег.

— Лодку придется бросить. Но это всегда так, иначе ничего не поделаешь.— Изотта вздохнула.— Эту мне жаль, очень легка и устойчива. Вы тронетесь пешком, Рег, до устья реки, в пяти милях отсюда пароходная пристань.

— А вы?

Она поправила волосы, сдвигая к затылку изношенный кружевной платок.

— Я возвращусь берегом,— сказала она.— Через сутки вам надо исчезнуть. Эта проделка может обойтись дорого.

— Вероятно,— задумчиво согласился Рег.— Однако я держусь того мнения, что люди нерасчетливы или тупы. Продавать жизнь за медный грош, тарелку похлебки и железную койку — это верх бесстыдства, Изотта. Они вправе ожидать всяческих неприятностей.

Девушка засмеялась. Светящийся жук описал над головами плывущих фосфорическую дугу и ткнулся в складки платья Изотты, запятнав ее грудь дрожащим зеленоватым кружком. Тотчас же Рег увидел затлевшие пальцы девушки; схватив насекомое, она быстро запутала его волосами около уха. Огненная шпилька выделяла из тьмы половину ее лица, вторая половина осталась затушеванной мраком.

— Зачем вы сделали это? — серьезно спросил Рег.

— Зачем? — Изотта пожала плечами.— Потому что у меня нет драгоценностей. Кто живет только морем, тот ценит и раковины и вот эти волосатые угольки. Они довольно милы, Рег. Правда?

— Я отвечу вам завтра, Изотта.— Рег обернулся.— Поворачивайте, иначе мы сядем на мель.

Киль скрипнул о песок, лодка накренилась и остановилась. Выходя, Рег коснулся ногой берега одновременно с Изоттой, легкий силуэт ее отдалился к кустам и замер.

Рег постоял немного, раздумывая, вытащить лодку на сушу или возвратить океану; затем нагнулся, расшатал суденышко, заплывшее по килю песком, и оттолкнул его в синюю тьму.

VI

СУДЬБА ТЕЛЛУРИ

Они прошли в глубь берега, за холмы, остановились, и Рег повернулся к Изотте. Он не видел ее лица, но помнил его таким, каким было оно открыто ему беглым лучом крейсера: сильным и прелестным в своей редкости.

— Когда рассветет,— сказала девушка,— вы тронетесь направо, в обход гор. Теперь слишком темно.

Она села, обхватив колени руками, а Рег вытянулся на спине, сунув под голову ружье. Ночная земля скрылась от его глаз; звездный провал неба осенял тишину

великим покоем холодных пространств; глухой запах травы мешался с острым ароматом камеди, тополевой листвы и неизвестных ночных цветов, любовно раскрывших тьме невидимые маленькие немые рты.

Человек исчез в Реге; теперь он был тьмой, звездным блеском, застывшим сознанием земли, всем и ничем. Сон бежал от него, но Рег не торопился уснуть; живой и близкой была для него в этот момент тьма, ее видения иеслись перед его глазами — грозный вихрь жизни, полный таинственного, неуловимого ритма.

Видения перешли в сон, но и здесь, не покидая дремлющего сознания, благоухала трава, обвеянная сухим ветром.

Когда рассвет посмотрел в закрытые глаза спящих — Рег приподнялся. Дымчатое на горизонте и ясное в зените небо растопило звездный узор, голубея от брызнувших за холмами прозрачных ливней зари. Неяркие ковры света устилали траву; беглый золотой блеск дрожал в матовой от росы зелени.

Неподалеку, окружив голову кольцом рук, спала Изотта. Рег подошел к ней и тронул девушку за плечо. Прежде чем встать, она потянулась всем телом, вздрагивая от холода.

— Куда идти? — спросил Рег, улыбаясь обычной своей улыбкой — смесью ожидания и замкнутости.— Направо?

— Да.— Изотта подняла руку.— Все дальше, берегом. Но вы можете сократить путь, держась высохшего ручья. Он попадется через полмили. Мне же — в другую сторону. Прощайте.

Рег отвернулся, рассматривая зеленый мох почвы.

— Торопиться хорошо изредка,— сказал он, выдержав довольно большую паузу, во время которой пришел к легкому и веселому решению,— отчего бы вам не двинуться тоже направо? Я думал об этом еще вчера, под выстрелами.

Рег замолчал и добавил взглядом то, что не поддается резцу слова. Лицо девушки, спокойное по-утреннему, смотрело на него рассеянной ленью глаз, дышащих еще сонным теплом ночи.

— Проще говоря,— продолжал Рег с некоторым нетерпением,— я предлагаю вам пойти со мной. Случай показал мне вас с великолепной стороны — едва ли

представится еще такой же другой, в другом месте и с другой женщиной. Сказать, что я вас люблю — много, для этого у меня было мало времени. Но что-то есть. И окончательное, вероятно, случится.

Изотта сдержанно рассмеялась.

— Меня ничто не удерживает. Но вам следовало бы за мной поухаживать. Я — женщина.

— Пустое,— мягко возразил Рег.— Я живу быстро и не в таком теперь положении, чтобы говорить комплименты. Но вы для меня ценны, Изотта. Я не могу упустить вас, мое существование может быть связано только с такой, как вы. Из нас получится хорошая пара.

Он говорил это как будто про себя, негромко, тоном соображения.

— Рег,— серьезно возразила девушка,— все так, но вы ездили не за мной. Цель вашей поездки — у вас в кармане. А я — между прочим; ведь верно?

Удовлетворенный, Рег одобрительно кивнул головой, слова эти понравились ему.

— Я, признаться, забыл об этом,— сказал он, вынимая пакет Таймона.— Эти бумаги могли бы осчастливить сотни тысяч людей. Но посмотрите, как изменится смысл всего происшедшего.

Он поднял руку и швырнул паспорт Теллури в глухие кусты цепкой заросли.

— Там они и сгниют. Я принес вам в подарок великолепный модный курорт, с источником восхитительного синего цвета, может быть, единственным на земле. Здесь были гостиницы, пансионы и множество людей, вылеченных от самых разнообразных болезней.

— Поднимите! — изумленно сказала девушка.— Потом вы будете жалеть об этом.

— Нет,— с досадой возразил Рег,— я был мальчиком очень давно. Отправитесь вы со мной или нет — бумаги останутся там, куда я зашвырнул их. Я не хочу всю жизнь обонять больницу и размышлять о катарах желудка. Воспоминание о воздвигнутых мной нечистых зданиях преследовало бы меня до гробовой доски. Я равнодушен к людям. В этом — мое холодное счастье. Чего доброго, несколько господ, пораженных желтухой, сложатся, поставят на газоне мой бюст и вздумают позавтракать под его тенью. Ведь у меня есть своя жизнь — пропитывать ее запахом лечебницы я не

имею желания. К тому же, если мы почувствуем друг к другу любовь, хорошее удовольствие — постоянно связывать ее в уме с ядом отличной коллекции болезней, собранных в один твердый узел,— нет, я остаюсь при своем. Вы не можете повторить свой упрек, я изменил смысл этой тревожной ночи, идемте, небезопасно оставаться вблизи от бухты.

Девушка протянула руку и сбросила стебелек, приставший к рукаву Рега.

— Я слышу вас как будто издалека,— задумчиво проговорила она.— Это потому, что вы мне еще далеки. Пойдемте. С каждым шагом мы будем ближе.

Рег взял ее за руку с нежностью в душе, а не в жесте, потому что еще чуждой была ему эта женщина, и крепко сжал ее пальцы, улыбаясь простоте жизни, медленно высвобождаемой им из-под обрушившихся на нее загадок.

— Хенсур будет ждать и раскладывать без конца пасьянс! — Изотта громко расхохоталась.— Ну... Я напишу ему. В городе чума, Рег, а меня мучает любопытство. Я хочу смотреть на вас дальше, в разных местах. Но я уйду в ту же минуту, как только... Если вы лжете о себе.

— Вы не будете жаловаться.— Рег положил руку на ее маленькое, твердое плечо.— Ведь я говорю то, что думаю...

— Постойте.— Она пригладила немного растрепавшиеся волосы Рега быстрым движением, выразившим доверие и волнение.— Ну, вот. Но мне жаль все-таки старика, представьте себя на его месте!

— Представляю,— сказал Рег.— Что же? Лицо его источено жизнью, как старый шкап — червями. Шкап видел много посуды, Хенсур видел много жизни. Я и так всю жизнь дразню смерть. А если пристукнет — кончусь без сожаления и отчаяния, вежливо и прилично, не унижаясь до бессильных попыток разглядеть темную пустоту.

Океан тонул в зное. Красный песок берега, обрезанный к материку тенистой чертой леса, сиял гладкой, лучистой плоскостью, исчезавшей в крутом повороте мыса. На ровной его поверхности вытянулись зигзагом

два следа: крупный и маленький. В начале своего появления они держались друг от друга на расстоянии около десяти футов; дальше, к мысу, промежуток этот суживался наподобие острия шпаги. На повороте, за волнистым хребтом каменных валунов, следы, перебиваясь, уничтожили последнюю, крошечную дистанцию и исчезли в сухом блеске камней.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГИНЧА

Он сажает это чудовище за стол, и оно произносит молитву голосом разиосчика рыбы, кричащего на улице.

Вальтер Скотт

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые, случайные знакомства, после того, как один из подобранных мною на улице санкюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги.

Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней, когда, впитывая всем своим существом уличную пыль, бледное солнце и робкий шепот газетчиков, петербуржец как бы случайно посещает ломбард, обменивает у великодушных людей зимнее пальто на пропитанный нафталином демисезон и устремляется в гущу весенней уличной сутолоки. Проделав все это, я открыл двери старого, подозрительного кафе и уселся за столиком. Посетителей почти не было: насколько помню теперь, я

не принял в счет багрового старика и пышной прически его дамы, считая их примелькавшимися аксессуарами. Против меня сидел скверно одетый молодой человек, с лицом, взятым напрокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счет очень низкого мнения, не подними он в эту минуту свои глаза: взгляд их выражал серьезное, большое страдание. Пустой стакан из-под кофе некоторое время чрезвычайно развлекал его. Он вертел этот стакан из стороны в сторону, наклонял, побрякивал им о блюдечко, рассматривал дно и всячески развлекался. Затем, к моему великому изумлению, человек этот принялся царапать ногтями стеклянную доску столика.

Подумав, я быстро сообразил, в чем дело. Рекламы в этом кафе заделывались между нижней, деревянной частью стола и верхней доской из толстого стекла, имея вид небрежно брошенных разноцветных листков. Молодой человек находился в состоянии глубокой рассеянности. Его усилия взять один из листков сквозь стекло ясно доказывали это. Человек, рассеянный до такой степени в публичном месте, обращает на себя внимание.

Я обратил на него это внимание, следя, как белые, чисто содержимые пальцы, скользили и срывались; старые мысли о рассеянности посетили меня. Я говорил себе, что все истинно рассеянные люди имеют приличное внутреннее содержание, наконец, мне захотелось поговорить с этим молодым человеком. Будучи общительным по природе, я скоро находил тему для разговора.

Мне оставалось лишь подойти к нему, но в этот момент окровавленный призрак английского капитана занял один из столиков, грозя мне пальцем, унизанным индийскими брильянтами. Я немного смутился, однако наличность прозрачной, как хрусталь, совести дала мне силу презреть угрожающее виде́ние и даже снисходительно улыбнуться. Некоторое время пытались еще задержать меня несчастный старик, путешествовавший из Галича в Кострому, и начальник сибирской каторжной тюрьмы; я с силой оттолкнул их, прошел твердыми шагами нужное расстояние и сказал:

— Принято почему-то делать большие глаза, когда в общественном месте неизвестный человек подходит к вам, предлагая знакомство. Я знаю, мы живем в стране,

где медведи добродушны, а люди злы и опасны, но все же бывают исключения. Такое исключение составляю я.

Он прищурился — движение, непредвиденное мной.

— Я пишу,— сказал я.— Моя фамилия —...н, а ваша?

— Лебедев.— Он привстал, недолго подержал мою руку и сел снова.— Присаживайтесь. Мне тоже скучно, как скучно всем в этой прекрасной стране.

Я сел, и тотчас же разговор наш принял определенное направление. Лебедев рассказывал о себе. Это было его больное место. Он говорил тихим, слегка удивленным голосом, поминутно закуривая гаснущую папиросу. У него был пристальный, задумчивый взгляд, манера лизать языком нижнюю часть усов и перекладывать ноги.

Я умею слушать. Это особое искусство состоит в кивании головой и напряженно-сочувственном выражении лица. Полезно также время от времени открывать и тотчас же закрывать рот, как будто вы хотите перебить рассказчика тысячью вопросов, но умолкаете, подавленные громадным интересом рассказа.

То, что он рассказывал, было действительно интересно; он сгущал краски, не заботясь об этом; великолепные, отчетливые границы внешнего и внутреннего миров змеились в пестром узоре его рассказа с непринужденной легкостью и искренностью, намечая коренной смысл пережитых им событий (кость для собаки — тоже событие) в самом недвусмысленном освещении.

Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали: «Смерть, жизнь и любовь». Лебедев, один из многих взвихренных потоком чужих жизней, самообольщенных и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его — и он почесывался.

Мы выпили четыре стакана кофе, два — чаю, шесть бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я, несколько утомленный чужими переживаниями, попросил его записать эту стран-

ную историю, а он с тайным удовольствием в душе и деланной гримасой улыбающегося лица выслушал мои технические указания,— неожиданно заиграло электрическое пианино. Развязные, беззастенчивые звуки говорили о линючей, дешевой любви профессионалок.

Кафе наполнялось публикой, и мне в первое мгновение показалось, что страусы, одетые в ротонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья.

Нижеизложенное принадлежит перу Лебедева, а не английского капитана.

I

В конце лета я поселился на городской черте, у огородника. Комната была очень плоха, несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободранности, о которой пишут романисты богемы. Одно окно, чистая дырявая занавеска, слегка мебели и разноцветные лоскутья обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуей парниковых рам, темно-зеленые, пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятина, засеянная фасолью, подымала невдалеке стену вьющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин; душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы.

Утром, в пятницу, пришел Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня; последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, она перегорела, выродившись в дрянной шлак,— среднее между горечью и надеждой.

— Федя, я очень тороплюсь...— Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное, нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу.— Окажи услугу, Федя.

— Хорошо,— сказал я,— особенно, если эта услуга веселого рода.

— Нет, не веселого. Но ты будешь беспокоиться только одни сутки. Завтра я верну тебя в первобытное состояние.

Суетливый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни «да», ни «нет», но он взял мою руку и сжал ее так сильно, что мне передалось его возбуждение: по натуре я любопытен.

— Ради бога,— продолжал он тем же странным, взволнованным голосом.— Да? Скажи «да», не спрашивая, в чем дело.

— Да.— Я согласился, а через полчаса ругал себя за это.— Говори.

Марвин прошел мимо меня к столу и опустил на него сверток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. Две тусклые, небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в легкое изумление, затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок; я силился улыбнуться.

— Милый,— сказал Марвин,— на одну ночь... спрячь это...

Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко.

— Говорят, что ночью у меня будет обыск.— Марвин почесал лоб.— И это... как его... А ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлен... Прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь.

— Алексей,— сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения.— Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся еще здесь, я истреблю их в лесу.

— Я возьму их.

Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, жег его вспотевшее лицо солнечной пылью; утро, с далекой зеленью полей, было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятал среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздыхал.

Этого человека я знал еще с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нем разрушительных склонностей. Я начал вопросом:

— Каким образом, Марвин?

Он хмыкнул, ущипнул переносицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил:

— Откуда у тебя это?

— Мне нужно идти.— Марвин поднялся, вздохнул и опять сел.— Все это просто, милый, проще органической клеточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь. Я только делаю. До употребления здесь еще очень далеко. Впрочем...

— Что?

— Я пользуюсь ими по-своему. Если хочешь, я объясню. Но с условием — не смеяться и верить каждому моему слову.

— Я позволю себе посмеяться сейчас над второй половиной этого условия. Но я буду внимателен, как к самому себе.

— Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантасмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение — близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение: не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь,— какая прелесть. Живу, пока осторожен,— это делает очаровательными всякие пустяки: улыбку женщины на улице, клочок неба.

Я покачал головой. Все это мне мало нравилось. Марвин поднялся.

— Мне надо идти.— Он вопросительно улыбнулся, пожал мою руку и отворил дверь.— Мы еще потолкуем, не правда ли?

— Когда ты освободишь чемодан,— насильно рассмеялся я.— Жду завтра.

— Завтра.

Он ушел. Мне было его немного жалко. Размышляя о странном признании, я подумал, что человек, угрожающий самоубийством бросившей его любовнице, с целью выиудить фальшивое «отстань, люблю», очень бы походил на Марвина. Чемодан пристально смотрел на меня, у его медных гвоздиков и засаленной кожи появился скверный взгляд подстерегающего врага. Я тщательно рассмотрел этот свой старый, знакомый чемодан; он был чужим, зловещим и неизвестным.

Заперев, как всегда, комнату небольшим висячим замком, я, в очень плохом настроении, считая всех встречных незнакомых людей тайными полицейскими агентами, поплелся обедать. Революционером я никогда не был, мои мысли о будущем человечестве представляли мешанину из летающих кораблей, космополитизма и всеобщего разоружения. Тем более я сердился на Марвина. Зарыл бы в землю свои снаряды, и делу конец.

Эта мысль показалась мне откровением. Я хотел уже идти к Марвину и сообщить ему об этом простом, как все гениальные вещи, плане, но вспомнил, что Марвин ждет обыска. Сумрачный, я пообедал в компании старушки с мальчиком, отставного военного и приказчика; прыщеватые служанки столовой пахли кухонным салом; граммофон рвал воздух хвастливым маршем из «Кармен»; кофе был горек, как цикорий. Домой мне не хотелось идти — и я умышленно растягивал свой обед, читая местную газету. Но все кончается, я заплатил и вышел на улицу.

День, приняв с самого утра кошмарный оттенок, продолжался нелепым образом. Я долго бродил по улицам, до одурения сидел в скверах, шатался по пристаням, в облаках мучной пыли, среди рогожных кулей и грузчиков, разноцветных от грязи; к вечеру мной овладело тоскливое предчувствие неприятностн. Мучая ноги, я мечтал о таинственном прохладном уголке, где можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одно время был даже такой момент, что я пощупал в боковом кармане тужурки свое портмоне с тремя золотыми и медью и решил провести ночь в Луна-парке, но устыдился собственного малодушия.

Подходя к дому, я замедлил шаги. Прохожие казались все подозрительнее, некоторые смотрели на меня с тайным злорадством, взгляды их говорили: «Брать бомбы на сохранение считается государственным преступлением». Отогнав призраки, я, тем не менее, стал полусерьезно соображать, как поступить в случае обыска. Быть хладнокровно дерзким, улучить минуту и выбросить их в окно? Не годится. Или не теряя времени на позировку, выбросить в окно себя? Повесят меня или дадут лет десять каторги?

Поблекшее солнце опускалось за отдаленной рощей, на рдеющих облаках чернели стволы лип. Сеть глухих переулков с высохшими серыми заборами оканчивалась буграми старых, заросших крапивой ям; когда-то здесь было кладбище Дальше, за ямами, зеленели ставни белого одноэтажного дома, в котором жил я. Духота гаснущего дня делалась нестерпимой, голова болела от усталости, ноги ныли, на зубах скрипела мелкая, сухая пыль. В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шел с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал.

Городовой, которого я увидел не далее двадцати шагов от себя, сначала наградил меня ощущением, сродным зубной боли, затем я почувствовал прилив решимости, основанный на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжелым, как бы связанным, с парализованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада; сквозь редкие кустики акации ясно был виден его красноречивый мундир, беленькие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала, звуки, похожие на: «вот он!», неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно: в этот момент вся тяжесть сознания, что скорее идти нельзя и что до ближайшего забора — целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возится с рамами, и городовой подозрительно рассматривал его действия, не видя меня.

С пересохшей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил, наконец, в переулок и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дьячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадежный вихрь отрывочных фраз — это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталкивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. «Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал. Огороднику за комнату семь рублей. Все к черту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать».

Ускоряя шаги, я пришел к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег, за исключением 30 рублей, у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство: ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад, любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паннки, я подъехал к дорогому для меня каменному, пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа, скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил.

— Барышни нету дома,— сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос,— а братец и папаша чай кушают, дома они. Пожалуйте.

Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении. Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня:

— Ничего, ничего. Я, скажите, напишу, я уезжаю, у меня заболела тетка.

Теток у меня не было. Волнующий, безнадежный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось; строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми, матовыми шарами; кой-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт; дамы, шелестя юбками, несли покупки,

хлопали двери пивных; все было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределенный срок, оставлен «в уме».

Ломбард в нашем городе оканчивал операции к восьми часам; придя, я нашел двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне еще вчера умирать с голода, я отошел бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра,— и только; теперь же я знал твердо, что часы нужно продать, и не колебался; напротив, как будто всю жизнь занимаясь этим, хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошел к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и прически ежиком, я тихо, как вор, произнес:

— Не купите ли золотые часы?

За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья; он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность,— здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и все на свете, кроме своих брелоков. Он щурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня, что-то в механизме, наконец, поднял брови и сказал, упираясь сгибами пальцев в стекло витрины:

— Сколько просите?

Назначив мысленно двести, я вслух произнес «сто», но не удивился, когда сто, путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком, с помощью взаимно тихих слов превратились в семьдесят.

Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в одиннадцать.

До одиннадцати я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что вокзальное помещение второго класса, где, усевшись на всякий случай спиной ко входу, я без надобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Стоголосый шум, искусственные пальмы, прейскуранты, лакеи и резкое позвякивание жандармских шпор — весь этот мир грохочущей задержки в неопределенном стремлении массы людей тя-

гостно подчеркивал важность обрушившегося на меня несчастья. Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате, полной запаха свежей земли и зелени,— я должен был мчаться.

В Петербурге были у меня знакомые, два-три человека, знающие нашу семью; кроме того, большой город, как я узнал из романов,— лучшее место для темных личностей. Я был темной личностью, нуждался в укрывательстве, фальшивом паспорте. Войдя в вагон после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через сто лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках; я старался не смотреть на него. Звонок, свисток — перрон поплыл мимо окна, залезающее в вагоны лицо жандарма ударило меня взглядом; наконец, деловой стук колес прозвучал около семафора,— и я ожил.

Через пять минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц — и его ссадили на первой станции.

II

Когда после однообразных дач, березовых перелесков и зеленых полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку.

Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень, в лицо било веселым паровозным дымом, влажным воздухом; зеленые тени лужаек сверкали мокрой травой. Зданий становилось все больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился; смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне свое хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу.

Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики; я прошел в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот извозчиков. Петербург!

Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шел по Невскому. Под витринами колыхалось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суета пестрой толпы — все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий, хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых; прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блестками которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и, неизвестно для чего, тирольку с галунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие наргиле, гаванские сигары, а далее — изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла — все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на «о».

Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл свое положение, я жадничал, я хотел жить,— жить красиво, полно и славно; через три квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Аничкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и, не торгуясь, сказал:

— 14 линия, 42-й.

Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиц, каналы и женщины. Стук копыт был невыразимо приятен — мягкий, отчетливый, петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не ломающейся нигде; Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность, хмурый провинциальный город, тоска бесцветных полей — это было два дня назад; между этим и извозчиком, на котором я ехал теперь, легла пропасть.

Я радовался перемене, как мог. Неизвестное засасывало меня. Но понемногу, отточенная глухой, внутренней работой, с десятками пытливых вопросов — куда?

как? где? что? зачем? — в душу легла тень, и строгий контур ее провел резкую границу света и сумрака.

Я тряхнул головой и постарался больше не думать.

Квартира состояла из трех комнат, здесь было немного книг, покосившаяся этажерка, рыжие занавески, открытки на революционные темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сел; за притворенной дверью шушукались два голоса, один медленный, другой быстрый; где-то плакал ребенок. В окне напротив, через двор, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича вниз; глухое эхо каменного колодца путало слова. Наконец, тот, кого я ожидал, вышел. Это был смутнопамятный мне человек с серым, как на фотографиях, лицом, лет сорока, а может быть, меньше. Он пристально посмотрел на меня и не сразу узнал.

— Что вам?.. А! — сказал он.— Сынок Николая Васильевича! Какими чудесами в Питере?

Я откашлялся и сразу огорошил его; он слегка побледнел, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничок. Наступило молчание.

— Так.— Он встал, подержал в руках сломанную лошадку и сел как-то боком. Неизвестно почему мне сделалось стыдно.

— Затруднительное... гм... положение.

— Затруднительное,— подтвердил я.

— И паспорта нет?

— Нет.

— Ну, что же я могу? — заговорил он после тягостной паузы.— Ведь вы знаете, я простой служащий... Знакомств у меня... Жалованье небольшое... да...

— У меня деньги есть,— перебил я,— кроме того, я могу ведь и заработать. Вероятно, я вынужден буду уехать за границу или поселиться где-нибудь в России под чужим именем. Ведь вы сидели в тюрьме, я знаю это, у вас должны же быть хоть отдаленные...

— Ш-ш-ш,— быстро зашипел он, прикладывая палец к губам.— Вот тут у меня сидит один молодой человек... Постойте одну минутку.

Он проскользнул в соседнюю комнату, и я опять услышал понурое бормотанье. Это продолжалось минут пять, затем вместе с моим знакомым я увидел худень-

кого, обдерганного юношу, малокровного, с чрезвычайно блестящими глазами и резкой складкой у переносья. Он прямо подошел ко мне; хозяин квартиры, потоптавшись, куда-то скрылся.

— Здравствуйте, товарищ,— сказал молодой человек.— Вы на него,— он метнул бровями куда-то в бок,— не обращайте внимания: жалкий человек. Осунулся. Выдохся. Вы к какой партии принадлежите?

— Я не принадлежу ни к какой партии,— ответил я,— я просто попал в глупое положение.

Он поморгал немного, улыбка его стала натянутой.

— Вам нужен паспорт? Но у нас с этим сейчас затруднение.— Он шмыгнул носом.— Но... может быть... вы... все-таки... хотите работать?

— Нет,— сказал я.— Извините.

— Почему?

Вопрос этот прозвучал машинально, но я принял его всерьез.

— Потому что не верю в людей. Из этого ничего не выйдет.

— Выйдет.

— Я не думаю этого.

— А я думаю, что выйдет справедливость.

Я пожал плечами. Я чувствовал себя старше этого наивного человека с печальным ртом. Он вынул портсигар, закурил смятую папироску и выжидательно смотрел на меня.

— Я т о ж е не люблю людей,— сказал он, прищурившись, точно увидел на моем воротнике паука.— И не люблю человечество. Но я хочу справедливости.

— Для кого?

— Для всех и всего. Для земли, камней, птиц, людей и животных. Гармония.

— Я вас не понимаю.

Он глубоко вздохнул, пожевал прильнувшую к губам папироску и сказал:

— Вот видите. Например — гиена и лебедь. Это несправедливо. Гиену все презирают и чувствуют к ней отвращение. Лебедь для всех прекрасен. Это несправедливо. Комок грязи вы отталкиваете ногой, но поднимаете изумруд. Одного человека вы любите неизвестно за что, к другому — неблагодарны. Все это несправедливо. Надо, чтобы изменились чувства или весь мир.

Нужна широта, божественное в человеке, стояние выше всего, благородство. Простой камень и гиена не виноваты ведь, что они такие.

— Это — отвлеченное рассуждение, оно не имеет силы. Вы сами понимаете это.

— Мне нет дела до этого.— Его бледное лицо покрылось красными пятнами.— Мир должен превратиться в мелодию. Справедливость ради справедливости. А паспорт я вам достану. Вы Мехову сообщите свой адрес, да он, кажется, хочет и ночевать вас устроить где-то. Прощайте.

Он затоптал нечищенным сапогом изжеванный окурок, обжег мою руку своей горячей, цепкой рукой и вышел. Вошел Мехов.

— Девочка ушибла висок,— беспокойно сказал он,— так я утешал. Я бы вам чаю предложил, да жены нет, у нее урок. Что же вы думаете делать? А тот... ушел разве? Приходил мне литературу на сохранение навязать. Да я того... боюсь нынче. И не к чему. А вы расскажите про родной городок, что там? Как ваши?

Я передал ему провинциальные новости. Он теребил усы, искоса взглядывая на меня, и, видимо, томился моим присутствием.

Я сказал:

— Может быть, вы мне устроите сегодня где-нибудь ночевку? Войдите в мое положение.

— Это... это можно.— Он сморщил лоб, лицо его стало еще серее.— Я вам записочку напишу. Встречался с одним человеком, у него всегда толчется народ, и революцией там даже не пахнет. Там-то будет удобно... Без всякого подозрения. Шальная квартира.

Я не стал спрашивать о подробностях. Мне нестерпимо хотелось уйти из этого серого помещения, в котором пахло нуждой, чем-то кислым, наболевшим и маленьким. Мехов, согнувшись у стола в другой комнате, строчил записку.

Со двора, из призрачных, гулких, певучих голосов дня вылетали звуки шарманки. Звенящий хрип разбитого мотива вдруг изменил настроение: мне стало неудержимо весело. Я вспомнил, что ступил бесповоротно обеими ногами в круг странной игры, похожей на какие-то азартные жмурки, игры, проигрыш в которую может быть наверстан множество раз, пока душа не расста-

нется с телом. Будущее было неясно и фантастично. Я встал. Мехов протянул мне конверт.

— По этому адресу и пойдете. Ну, и всего вам хорошего. Оправитесь, может... все переменчиво.

Он искренно, тепло пожал мою руку, так как я уходил. Я вышел на набережную. Синяя Нева в объятиях далеких мостов, пароходики, морские суда и дворцы дышали летней свежестью воды. Я хотел есть. Ресторан с потертым каменным подъездом бросился мне в глаза. Я выдержал профессиональный взгляд швейцара, прошел в пустой зал и съел, торопясь, обед из четырех блюд. Этот первый мой обед в столичном ресторане отличался от всех моих других обедов тем, что мне было неловко, жарко, я потерял аппетит и часто ронял вилку.

Вдруг неожиданное соображение заставило меня вспомнить о газетах. Поискав глазами, я увидел на соседнем столике «Обозревателя», развернул и отыскал телеграфные известия. Это доставило мне совершенно неожиданное ощущение — чувство потери веса, тупого страдания и отчаяния. Я прочел:

«Башкирск. В доме крестьянина Шатова, в комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Поводом к обыску послужило исчезновение Лебедева: он скрылся бесследно».

— А полицейский? — машинально сказал я, кладя газету. Лакей зорко посмотрел на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные пальмы. Полицейский мог, конечно, прийти по другим делам. Это мне пришло в голову теперь, но положение было то же. Я расплатился и направился к выходу.

III

В трамвайном вагоне, куда я вошел, предварительно справившись о маршруте у кондуктора, сидело человек шесть старых и молодых мужчин и две дамы. Пожилое, энергичное лицо одной и хорошенькое другой — девушки — очень походили друг на друга. Я сидел против девушки. Скоро я нашел, что смотреть на нее приятно; она отвернулась к окну, и больше я не видел ее глаз, но всю дорогу служило мне развлечением, сократившим путь,— мечтать о любви, вспыхивающей с первого взгляда. Покинув вагон не без сожаления, я тотчас же забыл о не-

знакомке, меня потянуло к Жене; взволнованное воображение представляло ее испуг, тревогу и жалость.

Решив написать ей сегодня же, я стал отыскивать дом, указанный Меховым.

Пыльная улица громыхала подводами и извозчиками. Усталый, я ткнулся, наконец, в полутемную арку ворот, нашел лестницу, снаружи которой, меж другими номерами квартир, был и 82-й, и одолел с полсотни грязных ступенек. На двери не было карточки. Я нажал кнопку звонка, и дверь открылась.

Войдя, я увидел оплывшего мужчину лет тридцати пяти, без жилета, в подтяжках и нечистой сорочке; его черные, коротко остриженные волосы серебрились на висках, сонные глаза смотрели добродушно и устало. Я объяснил цель своего посещения, пока мы проходили из маленькой передней в маленькую комнату-кабинет.

— Моя фамилия — Гинч,— начал я врать с вежливым и скромным лицом, садясь на продранную кушетку.

— Пиянзин.— Он протянул мне свою пухлую, влажную руку и стал читать Меховскую записку.— Вам иочевать нужно?

— Да, как я уже имел честь объяснить вам.

— Ночуйте.— Пнянзин зевнул.— Вы еврей?

Было бы соблазнительно сказать «да» и тем, понятно, положить конец его любопытству, но я просто сказал:

— Не имеющий права жительства.

Это, по-видимому, удовлетворило его. Он замолчал, рассматривая ногти. Раздался звонок.

Пиянзин что-то пробормотал и вышел, а я стал осматриваться. Кабинет был завален бумагами, папками, картонными ящиками, комплектами старых юмористических журналов; большой некрашеный стол, несколько венских стульев, небольшой шкаф, мандолина, валявшаяся на кушетке, на полу — сломанный хлыст, газеты — все это выглядело неряшливым деловым помещением. Стены почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашом, в две-три краски, чернилами. Содержание их отличалось разнообразием, преобладали сатирические и эротические сюжеты.

По-видимому, я был в какой-то цыганской редакции. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошел к столу; он был завален картинками, выре-

занными из разных журналов, большинство рисунков изображало полуодетых женщин, разговаривающих с мужчинами в цилиндрах на затылке, тут же лежали цветные обложки с заглавиями: журнал «Потеха», «Острое и пряное», «Кукареку», «Смотрите здесь».

Все это, перемешанное с корректурными листами и кисточками с засохшим клеем, очень заинтересовало меня. Но я должен был сесть, так как сразу вошли три человека и за ними Пиянзин.

Первый был худ, истощен, вылизан и прилизан, с глазами навыкате. Серый, довольно приличный костюм сидел на нем, как на вешалке. Второй, плотный и смуглый, поддерживал за локоть третьего с изжитым лицом умной свиньи. Все трое разом осмотрели меня, и затем каждый по очереди. Пиянзин сел, взял мандолину и, опустив глаза, трынкал.

Мы познакомились, как-то полупроизнося фамилии, и через две минуты я снова не знал их имен, они — моего.

— Липский приехал,— сказал второй.— А пиво есть?

— Пива нет,— ответил Пиянзин.

— Работаешь?

— Да.

Смуглый посмотрел в мою сторону, засвистел и, изогнувшись на кушетке, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявил:

— Через неделю я переезжаю на дачу. А Липский что же?

— Без денег, конечно,— сказал смуглый,— издавать журнал хочет.

— А типография?

— Есть.

— А бумага?

— Все есть. И разрешение.

— Как будет называться журнал? — спросил третий.

— «Город».— Смуглый почесал голову и прибавил: — Журнал острой жизни, специально для горожан.

— Шевнер,— сказал третий,— я управляю конторой. Идет?

Шевнер пожал плечами; он искусно говорил и «да» и «нет». Прилизанный человек махнул рукой.

— Послушай.— Он обращался преимущественно к Шевнеру.— Ты про этот журнал говоришь третий год.

Он стал рассказывать, что нынешнее журнальное дело требует осмотрительности. Слишком много спекулируют на психологии толпы, нужно не следовать вкусу, а прививать вкус. Толпа — женщина: изменчива. Анонсов и журнальных названий не напасешься. Что-нибудь попроще, подешевле, а главное, без надувательства. На это пойдут.

Я вполне согласился с этим человеком и кивнул головой, но никто не заметил моего скромного одобрения. На меня не обращали внимания.

— Глосинский,— сказал Шевнер,— твой шаблон не годится. А ты, Подсекин?

Очеловеченное лицо свиньи захохотало глазками.

— Вам денег нужно? Все способы хороши — издавай, что хочешь. Издавать полезно и приятно. Маленькое государство.

Он говорил сочно и веско, округляя рот, говорил пустяки, но пустяки эти делались интересными; он весь трепыхался в своих словах, как в подушках; слово «деньги» особенно звонко и вкусно раздавалось в комнате. Он говорил о том, что всем и ему нужно очень много денег.

Все четверо производили странное впечатление. Положим, я считал их писателями, но любое из этих лиц на улице показалось бы мне принадлежащим всем профессиям и ни одной в отдельности. От них веяло конторами и трактирами, редакциями и улицей, смесью серьезного и спиртного, бедностью и кафе-шантаном. В них было что-то вульгарное и любопытное, души их, вероятно, походили на скверную мещанскую квартиру, где в углу, на ободранном круглом столике, неузнанный, запыленный и ненужный, стоит Бушэ.

— Проблема города,— сказал Глосинский,— для меня совершенно разрешена. Летом следует жить на крышах, под тиковыми навесами. А зимой ближе к ресторанам. Женщинам — свобода и инициатива.

Пиянзин, опустив глаза, меланхолично играл.

— Шевнер, идешь в клуб? — спросил Подсекин.

— Зачем?

— Я пойду. Я видел во сне третье табло. Дублировать.

— Нет...— Шевнер почесал плечо.— Идите вы. Да я, вероятно, приду посмотреть. Ты куда?

— Нужно. Дело есть.

Подсекин встал. Глосинский тоже поднялся, но тут же оба сели. Снова начался отрывочный разговор, в котором упоминались десятки имен, строчки, перепечатки, вспоминали о вчерашнем дне — бокалы пива, бильярд, скандалы и женщины. Светлый табачный дым плыл в растворенное окно — голубое окно с крышей на заднем плане. Когда все ушли и Пиянзин молчаливо проводил их, мне стало грустно. Я чувствовал себя лишним. Пиянзин сказал:

— Вы, может быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку.

— А вы?

— А я буду работать.

Меня действительно клонило ко сну. Я лег и вытянулся на зазвеневших пружинах; Пиянзин расположился у стола и взял ножницы, вырезывая из какого-то журнала легкомысленные картинки.

Я так устал, что не чувствовал ни стеснения, ни удивления перед самим собой, развалившимся на чужой кушетке в Петербурге, через два дня после комнаты огородника; набегал сон, я отгонял его, боясь уснуть прежде, чем соображу и приведу в порядок мучительные мысли о заграницe, Жене, безденежьи, бесприютности, полиции, тюрьмах и о многом другом, что расстилалось перед глазами в виде городских улиц, полных трезвона, бегущих физиономий, пыли и пестроты. Я уснул глубокой полудремотой и, весь разбитый, встал, когда почувствовал, что кто-то трясет мою руку. Открыв глаза, я увидел Пиянзина с молодым человеком; знакомое лицо напомнило мне о камнях, гиене и паспорте.

— Вы к нему? — спросил Пиянзин у юноши.— Он к вам? — Взгляд на меня.

Смущенно просияв, я сказал:

— А, здравствуйте!

Мой гость цепко стиснул мне руку. Жалкое летнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротский вид. Пиянзин исподлобья покосился на нас и вышел.

— Есть! — сказал юноша, присаживаясь на край кушетки.— Я шепотом сказал, что вы экс сделали.

— Спасибо,— горячо сказал я,— я этого не забуду

— Забудьте. Вот чистый бланк, настоящий и действительный. Нет ли чернил? Мне Мехов указал, где вы, я все мигом обделал.

Он вытащил из бокового кармана черненькую, глянцевитую паспортную книжку и дал мне. Я испытал маленькое разочарование, перелистывая ее пустые страницы. Мне хотелось знать, как меня зовут, теперь это надо было еще придумать.

— Гинч,— сказал я, вспомнив выдержку,— Александр Петрович.

Он взял у меня книжку и, присев к столу, среди пикантной литературы, вывел четким, четыреугольным почерком: «Гинч Александр Петрович» и дальше; все было кончено через четверть часа. Я был личный почетный гражданин, двадцати пяти лет, Томской губернии.

Я следил за его уверенным почерком и невысохшей, витиевато сделанной подписью полицмейстера «Габе» так, что дальше ничего нельзя было разобрать, с особого рода приятным и тревожным волнением, напряженно улыбаясь. И был совсем восхищен, когда, осмотрев свое произведение, он вынул из тайников одежды маленький резиновый шлепик и прижал его к бумаге побелевшими от усилия пальцами. Круглая синяя печать эффектно легла на хвостик полицмейстерского росчерка.

Я взял драгоценность с тем, вероятно, чувством, какое смятая бабочка испытывает, освобождаясь весной от куколки; я решил выучить наизусть эту шагреневую книжку и считал себя важным преступником. Мой благодетель запахнул пальтецо и встал.

— Прощайте. Желаю вам...— Он неопределенно тряхнул рукой и прибавил:— У нас мало работников. А что Мехову передать?

— Устроюсь теперь,— сказал я, любя в этот момент юношу. От паспорта и оттого, что помогли, мне стало тепло. Я развеселился.— Глупая история... Передайте поклон, спасибо. Спасибо и вам большое.

Он сконфуженно заморгал и ушел с моим благодарным взглядом на своей узкой спине. Я мог ночевать, где хочу, снять номер, квартиру, комнату. Оставшись один, я представил себе узкое, смуглое лицо Гинча,— сообраз-

но его фамилии, и бессознательно оттянул нижнюю челюсть.

Вошел Пиянзин, гладя рукой затылок; взъерошенный, он напоминал сонного бычка. Вышло как-то, что мы закурили разом, прикуривая друг у друга; он начал разговор, сообщил, что Мехов должен ему по клубу десять рублей, и сказал:

— У меня есть три рубля. Пройдемте в ресторанчик.

— Это ничего,— у меня есть деньги. Я... я ночевать не буду у вас.

— Что так? — Вопрос не звучал сожалением.

— Получил деньги,— соврал я,— устроюсь у знакомых.

Он не расспрашивал и не настаивал. Разговор делался непринужденнее. Вечерело, пыльный воздух двора дышал в окно теплой вонью, косое солнце слепило стекла внутреннего фасада бликами воздушного золота; крики детей звучали скучно и невнятно. Предоставив Пиянзину одеваться, я взял несколько рисунков, изучил их и телом вспомнил о женщинах. Рисунки представляли почти одни контуры; эта грубая схема красивых женских тел заставила работать воображение, воображением делать их теплыми и живыми. Я стоял и грешил — и снова мысль о том, что я в Петербурге, где царствует ненасытный размах желаний, представила мне, по ассоциации, внутренний мой гарем, дитя мужчины, рожденное без участия матери. Я любил Женю, девушку провинциальной чистоты, и любил всех женщин. В огромной и нежной массе их вспыхивали передо мной, наяву и во сне, целые хороводы, гирлянды женщин; я хотел жену — для преданности и глубокой любви, высшего ее воплощения; жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье; хотел женщину-хамелеона, бешеную и прелестную; хотел одну-две в год встречи, поэтических, птичьих.

Размышляя, я выпустил картинки из рук; меня потянуло в Башкирск, к знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяин; я отыскал на столе листок почтовой бумаги и, когда явился Пиянзин, я уже заканчивал тоскливое, серенькое письмо, с тщательно нарисованными точками и запятыми. Выражая уверенность, что наша любовь взаимна, я туманно, романтиче-

ски излагал причины быстрого своего отъезда и надеялся в тридцати строках скоро обнять возлюбленную.

Когда мы пришли в ресторан и скромно сели в углу, Пиянзин сказал:

— Здесь хорошее пиво. Возьмем для начала дюжину.

Я поднял брови, но рассудил, что в предложении его есть смысл. Почему хотелось напиться этому человеку — не знаю, но почему хотелось этого же мне — я знал. Жизнь представилась мне вдруг нудной галиматьей, с центром в виде ресторанного столика, окутанного атмосферой вечной тоски о прекрасном; я выпил и улыбнулся.

Мы перекидывались незначительными фразами, говоря обо всем, что было нам обоим одинаково интересно, а бутылки с холодной влагой цвета свежего табака то и дело наполняли наши стаканы. После шестой — жизнь понемногу стала приобретать острую привлекательность, сделалась осмысленной, занятной и послушной; Пиянзин сказал:

— Я люблю неизвестных женщин. Поэтому я никогда не женюсь (перед тем я открыл ему любовную часть души, промолчав о бомбах). Жену я скоро узнаю, а неизвестную женщину — никогда. Я — поэт в душе.

Он был весь красненький, раззадоренный, вихрастый и смачно блестел глазами. Я открыл в его словах нечто огромное, оно показалось мне восхитительным; оркестр играл волнующую мелодию венгерского танца. Умилившись музыкой, со спазмой в горле, я наклонился к Пиянзину, закивал головой и, от значительности нахлынувших мыслей, почувствовал желание осмотреться во все стороны.

Светлый, нагретый воздух пел над белыми столиками о счастье сидеть здесь просветленными, как дети, и мудрыми.

— Итак,— сказал я,— вы говорили о неизвестной женщине. Во мне что-то смутно шевелится. Женщина! Самый звук этого слова дышит мечтой!

— Да.— Он утопил в пивной пене усы и посмотрел на меня.— Я говорю это всем. Вы никогда не знаете, какова она — дурная, красивая, пикантная, веселая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка. Вы ее не знаете, стремитесь к ней, а ког-

да получите все, когда все, включительно до ее имени и двоюродных теток, станет вашим,— маетесь.

— Хорошо, верно,— сказал я.— Это правда.

— Неизвестных люблю,— медленно, отяжелев, проговорил Пиянзин.— Они нами владеют.

В этот момент у моего плеча заструился душистый шелк и, дразня белыми, голыми до плеч руками, прошла женщина; на тонкой ее шее сидела насурмленная голова ангела. Я влюбился. Я встал, голова кружилась; одну руку мою тянул к себе Пиянзин, другая нахлобучивала шапку. Я хотел выйти на улицу и догнать женщину.

— Не пущу,— сказал Пиянзин,— сидите. Это мгновенное, пленное раздражение.

Умолкла музыка. Мне стало скучно. Я вырвал руку и устремился к выходу, с головой, полной игривых мотивов, пиянзинских рассказов о производстве игривых журнальчиков, и жадно побежал на тротуар. Но женщина уже скрылась, вдали загремел извозчик, темная улица наполнилась силуэтами домовых громад, полутенями, полусветом, дышала кухонными запахами; вечерняя духота испортила мне настроение; оглядевшись и не видя Пиянзина, я, с жаждой необыкновенных встреч, помня о неистраченных пятидесяти рублях, отправился бродить, как попало, из переулков в переулки, по людным и глухим улицам, с быстро бегущими мыслями, с настроением, укладывающимся в двух словах: «Все равно».

IV

Отличаясь всегда буйным и капризным характером, я причинял отцу множество огорчений; он и моя мать умерли, когда я был еще в раннем возрасте, требующем особого попечения. Я воспитывался у тетки, вместе с геранями, фуксиями и мопсами. Тетушка эта умерла от пристрастия к медицине: чтобы лекарство действовало сильнее, она выпивала его сразу из чайного стакана и, напав однажды на какой-то красивого цвета аптечный ликер, отдала богу душу на крылечке в солнечный ясный день.

Мой старший брат, Ипполит, напиваясь после двадцатого, стрелял в луну, потому что, как говорил он, тринадцатая пуля, отвергая земное притяжение, непре-

менно убивает какого-нибудь лунного жителя. Это невинное занятие принесло ему множество огорченнй и обеспечило постоянный холодный душ в желтом доме, где он и скончался в то время, когда я, после смерти тетушки, изгнанный из сельскохозяйственного училища за облитие чернилами холеной бороды учителя математики, пресмыкался в казенной палате на должности регистратора. Теперь я был сирота, без друзей и близких, денег и положения, с каторгой за спиной.

Все это по контрасту припомнилось мне теперь, когда я, колеблясь между желанием снять меблированную комнату или дешевый номер и желанием провести ночь разгульно, бродил между Фонтанкой и Екатерининским каналом, путаясь в незнакомых улицах. Меж гранитным отвесом и барками блестела черная вода; созвездия электрических лампочек манили издалека цветными узорами; молчаливые пары, стискивая друг другу руки, в пальцах которых болтались измятые розы, делали вид, что меня не существует на свете; упорная, равнодушная площадная брань неслась из-под ворот в пространство. А я все шел, изредка покачиваясь и улыбаясь элегическим мыслям, плавно баюкавшим встревоженную мою душу. Незаметно для самого себя я очутился, наконец, перед большим, массивным подъездом, напоминавшим жерло пушки, выславшей лунных путешественников Жюля Верна; над подъездом сиял белый электрический шар, сквозь стекло двери блестели внушительные галуны швейцара. «Жилище миллионера! — подумал я.— Запретный рай».

Я остановился, наблюдая, как из этого внушительного подъезда выскакивали, роясь в жилетных карманах, господа в белых шарфиках и потертых пальто, затем, набравшись решимости, обратился к извозчику, одному из многих в темной гирлянде лошадиных морд, и задал ему вопрос: вечер здесь, бал или похороны?

— Этто клуб, барин,— ответил извозчик, раскуривая в горсточке трубку,— пожалуйте!

Да. Я сказал: «да» вслух, резюмируя бессознательное. Тысячи эмоций наполнили меня известного рода зудом, нетерпеливым желанием ворваться в круг света, золотых стопок и взять то, что принадлежит мне по праву,— мои деньги, разбросанные в чужих карманах. Решение это явилось, вероятно, не сразу; некоторое время

я стоял понурый, пощупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверком внутреннего блаженства, если из ничтожных моих крупиц образуется состояние. В течение этих трех или пяти минут я сто раз повторил мысленно, что мне терять нечего, приценился к жизни в Калькутте, купил слона в подарок радже; затем, учитывая оборотную сторону медали, вспыхнул от радости, что, прогорев, можно отправиться пешком в Клондайк или пуститься во все тяжкие, и, с веселым облегчением в душе, пошел на рожон.

Швейцар, как показалось мне, прочел мои намерения по выражению глаз; я прошел мимо него с достоинством и, удерживая биение сердца, попал в сводчатую, арками, переднюю, где соболя, светлые пуговицы и фуражки занимали все стены. Костюм мой к тому времени состоял из нанковых серых брюк, летнего пиджака альпага в полоску, недурного коричневого жилета и зеленого галстука. Воротничок, помятый в дороге, был почти чист, и в блистательном трюмо я отразился с некоторым удовлетворением. А затем, чувствуя, как странно легки мои шаги, скользнул по паркету к проволочной решетке кассы, догадываясь, что нужно иметь билет.

Строгий джентльмен в очках, смахивающий на служащего из профессорских клиник, молча посмотрел на меня, протянув руку в окошечко. Я дал три рубля, он зазвенел серебром и выкинул мне два сдачи. И тут же подскочили ко мне три служителя, спрашивая, что мне угодно.

— Я хочу поиграть,— сказал я, подавая билет,— я из Пензы, у меня там имение.

Они отошли, пошептались, пока я не повернулся к ним спиной и не стал подыматься по широкой, мраморной, в темных коврах, лестнице, скользя рукой по мраморным перилам. Навстречу мне спускались декольтированные розовые и бледные женщины, гвардейцы, толстенные, с высокомерным выражением лиц, сытые старики; брильянты, лакеи с подносами, вьющиеся растения в белых консолях — все сразу утомило меня, сделало жалким и тяжело дышащим. Было так светло, что, казалось, исчез воздух, праздничный свет горел на шелках платьев, в эрачках людей; пахло тонкой сигарой, дыханием толпы, духами и цирком. На верхней площад-

ке лестницы со всех сторон сияли богатые апартаменты, а прямо передо мной, из чуть притворенной двери неслись монотонные восклицания — равнодушный, отчетливо громкий счет. Я отворил дверь и очутился перед лицом судьбы.

В большом зале, за длинными, накрытыми лиловым сукном столами, сидело множество народа, в напряженной тишине склонившись над карточками лото. Преобладали пожилые франты с провалившимися щеками, пузанчики-генералы, напудренные дамы и артистические шевелюры. На остальных тошно было смотреть. Безусый мальчик в ливрее, стоя на трибуне, вертел аппарат, выкрикивая сонным голосом молодого охрипшего петушка номера падающих костяшек; после каждого его возгласа нервный, замирающий трепет наполнял залу, словно перед глазами собравшихся мучился привязанный к дереву человек, а в него летела за пулей пуля, и никто не знал, после какого выстрела белый лоб обольется кровью. В простенках висели старинные портреты полунагих женщин и стариков с лицом Мольтке, предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколение, освежающее затхлую атмосферу покинутого дворца жаргоном ночной улицы и лимонадом-газес. Я сел, путаясь коленями в ножках стульев, меж красивым, с лысым черепом, краснощеким пожилым человеком и маленькой, с усиками, женщиной, полной, черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого внимания. Купив за рубль карту, я, пока вокруг шумел оживший после чьего-то выигрыша зал, отпечатал в своем мозгу неизгладимые цифры; меж них было много мне симпатичных — 7—17—41—80, а верхний ряд весь состоял из больших двузначных. В это время меня стало томить предчувствие выигрыша; не умея хорошо описать такое душевное осложнение, скажу, что это — ощущение тяжелой, напряженной подавленности и сердцебиения, руки тряслись.

Опять наступила тишина; поглазев вправо, я увидел на высоком шесте таблицу с цифрой — 180. Мне предстояло получить сто восемьдесят рублей. Я не хотел отдавать их ни лысому, ни черненькой женщине; потекли долгие секунды, воздух крикнул:

— Шестнадцать!

У меня заболела шея от напряжения, я поднял руку с деревянным кружком, твердя: «Сорок один, сорок один, сорок один!» Судьба прыгала вокруг этого номера, как сорока в весенний день: сорок три, сорок шесть, сорок... и переходила к двадцатым или девяностым. Вдруг сказали: «единица!»

Моя рука без всякого с моей стороны участия убила деревянным кружком единицу; в этом была реальность, одна пятая успеха, я обратил все свое внимание на этот ряд, дрожа над тридцатью четырьмя. Зала погрузилась в туман; в голове, один за другим, разрывались снаряды, помеченные выкрикиваемыми номерами; я стал гипнотизировать мальчишку в ливрее, твердя: «Скажи. Ты обязан. Сейчас ты скажешь. Скажи. Скажи!»

Время, превращенное в пытку, тянулось так медленно, что от нетерпения болели виски; не сиделось, стул щекотал меня. Закрыв три цифры подряд, я через три номера закрыл четвертую и затрясся: у меня была кварта.

Сейчас! Как только назовут пятый номер, возбуждение всех ста восьмидесяти человек разрядится во мне одном. В горле подымалась и опадала спазма; посмотрев в стороны, я увидел множество карточек с застывшими над ними руками: там существовали кварты. Сейчас меня должны были ударить по голове выигрышем или проигрышем; я возлелеял свою последнюю цифру, оживил ее, вдохнул в нее душу и молился ей. Цифра эта была семнадцать. Она походила на молодую девушку; семь — с перегибом в талии и зонтик — единица; я любил и ненавидел ее всем кипением крови.

Ливрея сказала:

— Шестьдесят три!

— Четырнадцать!

— Семнадцать!

Мальчик в ливрее стал мне родным братом. Бешеный восторг облил меня с головы до ног. Я задохнулся, вспотел, крикнул:

— Хорошо, я! — и нервный тик задергал левое мое веко, переходя в щеку стреляющей болью; кругом зашумели — я выиграл.

Пока на меня смотрели в упор и искоса игроки, я запустил обе руки в поставленное передо мной лакеем серебряное блюдо с кружкой, стиснул пачку бумажек,

почти больной, пересчитал их, бросил два рубля в кружку, встал и вышел. Я чувствовал себя дерзким авантюристом, Александром Калиостро, Казановой и смело, даже выразительно улыбнулся мимо идущей красивой фее с волосами телесного цвета. В ресторане, среди люстр, сотен взглядов и татарской фрачной орды лакеев, я выпил у буфета шесть рюмок коньяку и устремился к выходу.

— Хочу перекинуться в картишки,— сказал я кому-то с официальным видом.— Где здесь играют в карты?

Идя в указанном направлении, я был настроен торжественно, смотрел твердо, ступал уверенно и отчетливо. В карточной иегде было упасть яблоку; черные груды спин копошились над невидимыми мне столами; иногда бледный человек, отклеиваясь от какой-нибудь из этих груд и сжимая в кармане нечто, шел к другому столу, зарывался в новой груде и пропадал. В проходах важио стояли служители; никто не вскрикивал, не ругался; что-то тихо звенело и шелестело; некоторые, выжидая момент, раскачивались на стульях, прихлебывая чапитки; в просветах сюртуков и бутылок мелькали холеные руки банкометов; движения их казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различные замечания шепотом и вполголоса порхали в накуренном помещении; большинство их отличалось загадочным содержанием.

— Две тройки — комплект.

— Девятка? Жир после девятки.

— Раздача.

«Раздача» произносилось вокруг меня все чаще и чаще, то с улыбкой, то смачно, то безучастно; казалось, толпе дан лозунг, передающийся из уст в уста; мне представился человек с озорным лицом, сидящий на стуле и спрашивающий: «Вам сколько? — Тысячу? — Будьте добры, возьмите тысячу. А вам? — Пятьсот? — Пожалуйста, вот деньги».

Работая локтями, я протолкался к столу, вокруг которого, брызжа слюной, шептали: «раздача!» — отделил на ощупь из кармана бумажку и прежде, чем поставить ее, присмотрелся к игре. Мудреного в ней ничего не было. Метал, отдуваясь, человек с фатально-унылым лицом, лет пятидесяти; в галстуке его горел брильянт; си-

нева под глазами, желтый кадык и узловатые пальцы делали его наружность неряшливой. Я посмотрел на свою бумажку — она оказалась двадцатипятирублевым билетом,— замялся и поставил туда, где лежало больше денег.

Денег на столе было вообще очень много; они валялись без всякого почтения, но за каждым рублем следила горящая пара глаз. Банкомет заявил: «игра сделана» таким тоном, словно он был Ротшильдом, и привел в движение руки. Порхая, летели карты и на мгновение все стихло.

— Девять,— услышал я сбоку.

— Трн!

— Восемь!

— Очко,— сказал банкомет; посерел. оттянул пальцем тесный воротничок и стал платить деньги. На мой билет упало три золотых, я взял их вместе с бумажкой, подержал в кулаке и поставил на то же место. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на четыре стороны света, и я услышал:

— Семь.

— Пять.

— Жир.

— Свой жир,— сказал банкомет.— Два куша в середину, крылья пополам, шваль пополам, шваль полностью.

И он стал платить деньги. Я снял сто.

Это повторилось несколько раз; я ставил то пять, то пятьдесят, куда попало, у меня брали или я брал, с пересохшей глоткой, утеряв способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелеет левый карман и что на меня легло сзади, по крайней мере, три человека; я сносил эту тяжесть, как какую-нибудь пылинку; чужие руки, извиваясь около моих щек, протягивались через меня, брали или поспешно прятались. Бумажки я запихивал комочками в карманы жилета, рубли и золото сыпал в брюки, пиджак; как пиявка, я присосался и не отходил; я дрожал, чувствуя растущую свою мощь, кому-то улыбался, как заговорщик, находил то симпатичными, то отвратительными одних и тех же людей в течение двух минут; курил папиросы, роняя пепел с огнем на чьи-то плечи и рукава; я был в азарте. Наконец, банкомет встал; вокруг загудели, стали толкаться. Встал еще

один из шести сидевших вокруг стола; я шлепнулся на его место, отбросив розового жандармского офицера. Почему-то вдруг переменились лица, подошли новые, и я увидел себя соседом породистого брюнета, а с другой стороны — рыжего хищника. Теперь я ставил немного, собирая, так как мне упорно везло, рублями и трешками, а когда подошла моя очередь метать — подумал, что это будет последний и решительный бой.

Стасовав колоду и исколов при этом руки углами новеньких карт, я, подражая игрокам, сказал:

— Ответ. Делайте вашу игру.

Первый удар дал мне рублей семьдесят. На втором я отдал, пожалуй, триста и дрогнул; колода готова была выскользнуть у меня из рук с решительными словами: «более не играю», но я бессознательно прикинул в уме, сколько на столе денег, жадность взяла верх — и я сдал.

— Девять.

Породистый брюнет услужливо, даже подобострастно кинулся собирать деньги. Куча бумажек, выросшая почти до подбородка, испугала меня задним числом: я сообразил, что моих денег могло не хватить в случае проигрыша. Испуг этот не был настоящим — я выиграл; на душе стало вдруг легко и просто. Очертя голову, я стал метать.

То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избиением. Я бил шестерки семерками, жиры двойками, восьмерки девятками. Мне некуда было класть деньги, я совал их под левый локоть, прижимал к столу так крепко, что ныли мускулы; мне помогали со всех сторон, так как я еще не вполне освоился и медлил; при этом я заметил, что помогающие сами не ставят, а просто любят меня, бескорыстно делая за меня расчет; это держало меня некоторое время в напряженном состоянии благодарности, а затем я стал презирать всех. Прошло еще два-три удара, после которых понтеры откидываются на спинки стульев; я взял последние выигранные деньги, подумал, сдал еще, заплатил шестисотрублевый комплект, сказал: «Довольно» и с горячей головой встал, покачиваясь на одеревеневших ногах. Свита помощников тронулась за мной рысью, я на ходу бросил лакеям несколько золотых, и мне показалось, что они ловят их ртом; скользнул, извиваясь в толпе, про-

бежал коридор, едва не уронив горничную, заметил уборную, потянул дверь, убедился, что никого нет, и весь звеня и шурша, щелкнул задвижкой.

Отдышавшись, я посмотрел в зеркало и увидел лицо ужаленного змеей, махнул рукой и принялся выгружать деньги в раковину умывальника. Это был экстаз осязания, торжество пальцев, восторг кожи; я находил пачки, плотные комки, холодные струйки золота, сторублевки, завернутые в трешницы, ворох бумажек рос, топорщился, хрустел и пух, достигая трубочки крана, из которого капала вода; начав считать, быстро упаковал две тысячи, положил их в карман и рассмеялся. «Это сон,— сказал я,— бумажки сейчас превратятся в сапоги или огурцы». Но требовательный стук в дверь был реален и изобличал стоявшего в сюртуке человека, как очень нетерпеливого. Я забыл о нем, начав считать дальше, и к тому времени, когда стук сделался непринличным, в карманах моих лежало верных десять тысяч двести одиннадцать рублей.

Состояние, в котором тогда находился я, естественно предполагает полное расстройство умственных способностей. С головой, набитой фигурами игроков, арабскими сказками и бешеными желаниями, не чувствуя под собой земли, я отворил дверь, пропустил человека с искаженным лицом, рассыпался в легких щегольских извинениях и, порхая, выбежал в коридор.

V

Воспоминания изменяют мне в промежуток от этого мгновения до встречи с Шевнером. Я где-то бродил, наступал на шлейфы и трены, приставал к дамам, присоединялся к группам из двух-трех человек, о чем-то спорил, курил куплеиную в буфете гаванскую сигару, часто выпивал, но не пьянел.

Переходя из залы в залу, я вступил, наконец, в совершенно неосвещениое пространство; впереди высились начинающие бледнеть четырехугольники огромных окои, наискось прикрытые шторами; у моих ног тянулся по ковру в темноту свет не притворенных мною сзади дверей. Массивиая темнота была, казалось, безлюдна, но скоро я заметил огоньки папирос и силуэты, шевелившиеся в разных местах; тихий разговор по уголкам де-

хал меня нерешительным; не зная, что происходит здесь, и боясь помешать, я хотел уйти, как в это время кто-то крепко стиснул мой локоть. Обернувшись, я разглядел Шевнера; он смотрел на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложил палец к губам. Он часто дышал, затем, приложившись губами к моему уху и обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашептал:

— Поздравляю, не уезжайте, будет интересно. Я уже все устроил. Я сообщу вам сейчас программу. Проживем тысячу, а? Шальные деньги. Молчите, молчите, не говорите громко. Тут импровизированное собрание. Все поэты или беллетристы, а один студент привел поразительную девушку — Раутенделейн, мимоза. Я уже подъезжал, но ничего не выходит; хотите, познакомлю.

Сообщив мне таким стремительным образом весь запас накопленной по отношению ко мне дружеской теплоты, Шевиер, кривя ногами, побежал в мрак и, возвратившись, уселся сзади. Осмотревшись, я заметил, что в зале не так темно, различил кресло и сел рядом с Шевнером. Он, по-прежнему часто и горячо дыша, назвал мне десять или двенадцать известнейших в литературе фамилий. Польщенное мое сердце облилось гордостью, и быстро, на смех, для утоления невольной зависти, сообразив, что мог бы я написать сам, я сказал:

— Я набит деньгами. Я бил их, знаете, как новичок, я выиграл пятьдесят тысяч.

— Хе-хе,— сочно хихикнул он и шлепнул меня по колену.— Я все устроил.

Я хотел сказать что-то тонкое и циничное, но тут один из силуэтов с бородкой встал, выпрямившись на тускло-бледном фоне окна. Светало, мрак переходил в сумерки, а сбоку, линяя, как румяна на желтом лице, полз к ногам электрический свет; в его направлении за дверной щелью мелькали плечи и галуны.

— Тише! — раздалось по углам, и я рассмотрел прилипшие к креслам и диванам, словно вдавленные, фигуры: подглазная синева лиц составляла вместе с бровями род очков, и все было серое в усиливающемся свете, зала представлялась сумеречным, роскошным сараем; на круглом мозаичном столе белели каемки салфеток, кофейные чашечки. Все вместе напоминало строгое тайное судилище, где судьи соскучились и, расковав невидимого

преступника, поцеловались с ним с чувством братского отвращения и сели пить.

Бородка изящного силуэта дрогнула, он стал теребить галстук и ласково, с искусно впущенной в интонацию струей интимной тоски, прочел стишки.

— Прекрасно! Изумительно! — сказали усталые голоса вразброд, и кто-то принялся размеренно хлопать. Рассвело почти совсем; я увидел лица талантов, известные по журнальным портретам, и мои десять тысяч потеряли несколько свое обаянне. Шевнер опять засуетился, забегал и объявил мне, что человек с прядкой на выпуклом лбу и толстыми губами — капитан Разин и что он прочтет сейчас сказку.

Опять я испытал восхищение, видя грузно подымающуюся фигуру писателя, и как будто подымался он для меня, серенького провинциала. Никто из этих людей не посмотрел на меня — и это придавало им еще больше значительности. Разин, положив руку на спинку кресла у затылка испитой барышни, просто сказал:

«Я пришел в царство, где нет теней, и вот, вижу — нет теней, н все прозрачно-светло, как лед».

Он умолк, поднял брови, насупился, сел, а я посмотрел вправо н влево. Лица стали значнтельно скорбными, взгляды — тяжелыми и ресницы поникли,— тужились понять смысл произнесенных слов.

Окна нз бледных стали светлыми, просветлел зал; медленно, словно ценя каждое свое движенне, поднялась среди всех девушка с приветливыми глазами на овальном лице, в черном шелковом платье, гибкая, высокая, болезненная и прекрасная. Шевнер внлся около нее, скаля зубы, а она смотрела на него добродушно, почти материнским взглядом; тут я не выдержал; умиленный, зачумевшнй, сытый удачей, я твердо встал и, горячась, потому что вялым тоном таких вещей не предлагают, сказал:

— Русские цветы, взращенные на отравленной алкоголем, конституцией н Западом почве! Я предлагаю снизойти до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл пятьдесят тысяч!

— Он прекрасный человек! — закричал Шевнер с вытянутым лицом.— У него гениальная шишка! Я вас познакомлю... Да здравствует просвещенный читатель!

Я очутился в тесном кругу, мне шутливо жали руку, и кто-то сказал: «Джек Гэмлин!» Высокая девушка сто-

яла позади всех, я рвался к ней, но крепко стиснутый Шевнером локоть мой ныл зубной болью, а молодой студент, толстый, деревянно хохоча, гладил меня по жилету. Жаркое солнце, не выспавшись, облило нас пыльным, дрянным светом; полинялые, замузганные бессонницей, вышли мы все, толкаясь в дверях, и, пройдя к лестнице, оделись внизу, вышли на панель, где с закружившимися от свежего воздуха головами попарно расселись на извозчиков. Толкаясь впереди всех, я завладел смущенно улыбавшейся, трезвой, высокой девушкой, и мы с ней поехали сзади всех. На пустых улицах бродили дворники, подметая тротуары. Светлая пустота перспектив, с ясным небом, облитым солнцем, ставнями запертых магазинов, казалась мне особого рода искусственным освещением, придуманным для разнообразия ночи.

Трясясь в пролетке, я, прижимаясь к своему милому спутнику и обнимая ее негнущуюся талию, сказал:

— Отчего вы грустная и молчаливая? Не презирайте нас. И, пожалуйста, не говорите вашего имени. Не знаю почему — я чувствую к вам нежность. Мне вас жаль. Вы добрая.

— Нет,— возразила она очень серьезно,— вы меня не знаете. Я жестока и зла.

— Вы — чудо! — шепнул я, млея.— Я недостоин поцеловать вашу руку. Но я, между прочим, в вас влюбился. Я счастлив, что сижу с вами.

— Отчего вы все говорите одно и то же? — спросила она с некоторым злорадством.— Я часто это слышу.

— Знаете,— искренно сказал я, стараясь не ударить в грязь лицом в искренности,— все мы дрянь. Женщина обновит мир. Лучшие из нас, натыкаясь на женщину нешаблонной складки, мучительно раскаиваются в своих пошлостях. «Вот мы прошли мимо света, и свет погас»,— так скажут они.

Я произнес эту тираду спокойно и вдумчиво, с оттенком грусти, и умиление от собственной глубиины защекотало мне в горле. Она повернулась ко мне лицом, придерживая шляпу, так как с речки полыхал ветер, и долго смотрела на меня угрожающими глазами. Я ие сморгнул и блеснул глазами, расширив зрачки и плотно сжав губы. Затем выражение ее лица стало простым, и я перевел дух.

— Мы куда сейчас едем?

— Не знаю,— сказал я,— и не надо знать этого. Может, будут неожиданные развлечения. Заранее знать — скучно. А вам что нужно здесь, с нами?

— Я случайно, через знакомого студента. Мне интересно, я никогда не бывала ни в такой обстановке, ни с такими людьми.

«Эта девушка мучительно напрягает душу»,— подумал я и, уловив конец нитки, потянул клубок.

— Вы думаете, вам здесь сверкнет что-нибудь? — спросил я. Сердце мое билось глухо и жадно; сквозь драп пальто я чувствовал тепло ее тела.

— Все может быть,— серьезно сказала она.— Вы кто?

— Стрела, пущенная из лука,— значительно проговорил я.— Сломаюсь или попаду в цель. А может быть, я вопросительный знак. Я — корсар.

На ее щеках появились ямочки, она добродушно рассмеялась, а я стиснул ее молчаливую руку и, помогая сойти у подъезда, шепнул, стараясь как можно загадочнее произнести следующую ерунду:

— Далекая, милая, похожая на цветок, шаг за шагом звучит в пустыне.

Тут же, сконфузившись так, что заболели скулы, быстро оправился, и, внутренно усмехаясь, пошел за этой женщиной.

VI

Я слыхал от многих компетентных и всемн уважаемых людей, что не следует много говорить о пьянстве и безобразиях, производимых вывернутым наизнанку человеком во всякого рода увеселительных местах. По их мнению, все подобные описания грешат неточностью, вернее — произволом фантазии, так как велик соблазн говорить о невладеющих собой людях, что угодно. Я же думаю, что человек, сумевший напоить Калиостро, Марию Башкирцеву и Железную Маску, вполне удовлетворил бы свое любопытство.

За низко кланяющимся лакеем мы прошли всей гурьбой по засаленным коридорам в обширный, дорогой кабинет с наглухо завешеннымн окнами. Горело электричество. Большой стол, убранный канделябрами, гиацинтами и тюльпанами, рояль, паутина в углах, цветной ли-

нолеум на полу, дубовые панели — все это, еще не согретое пьянством, выглядело скучновато. Слегка засмеявшись, не зная, с чего начать, я подарил Шевнеру три умоляющих взгляда, и он, ласково хохоча, принялся нажимать звонки, а семейный человек во фраке, почтительно шевеля губами, стал кланяться, запоминая, что нам угодно.

Нас было десять: три дамы, из которых одну вы уже знаете, остальные представляли молчаливо улыбающиеся и беспрестанно щупающие прически фигуры, недурненькие, но чванные; я, Шевнер, капитан Разин, пасхальный студент, поэт с надтреснутым лицом и бородкой цвета пыльных орехов, старик — по осанке бывший военный — и один самой ординарной наружности, но именно вследствие этого резко выделяющийся из всех; он был прозаик и звали его Попов.

Сосчитав всех, я вдруг сообразил, кто мои гости, и стало мне лестно до говорливости. Я поднял бутылку, отбил горлышко черенком ножа, облил скатерть, встал, прихлебывая шестирублевую жидкость, и закричал:

— Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно,— и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая? Я всем сочувствую! Пью за ваше здоровье.

Помедлив и посмеявшись, все стали пить; больше всех пили я, Разин и Шевнер. Я суетился, кричал, острил и выражал желание подарить каждому сто рублей. Уставая, я наклонялся к высокой девушке, шептал ей на ухо нежные слова любви, не помню — что, но, кажется, выходило неудачно. Каждый раз, как я начинал говорить, она медленно поворачивала ко мне лицо и была очень внимательна, смотрела, не мигая, изредка улыбаясь левым углом губ; обратив на это внимание, я заметил, что рот у нее яркий, маленький и упругий. Когда я дотронулся до ее талии, она механически откачнулась, а я сказал:

— Это ничего, что я нелеп. Я потом вымоюсь вашим взглядом. Все нелепо. Я нелеп. Все — негры. Я негр. Я держу свою душу в руках, я буду собирать песчинки, приставшие к вашим ногам, и каждую поцелую отдельно.

— Вы не пейте больше,— серьезно произнесла она,— видите, я все еще с одной рюмочкой.

Я сделал отчаянное лицо, запел фальшиво, изо всех

сил стараясь изобразить большую мятущуюся душу, но стало противно. Стол шумел, пел и свистал; по временам удушливый туман скрывал от моих глаз происходящее, а вслед затем опять и очень близко, словно у себя на носу, я видел ведерки с шампанским, за ними круг лиц — и так болезненно, что, переводя глаза с одного на другого, становился на один момент то Шевнером, то Поповым, то стариком. Иногда все замолкали, но и тут не было тишины; казалось, ворошится и бормочет сам воздух, сизый от табачного дыма.

Мы говорили о женщинах, радии, душе медведя, повестях Разина, поэзии будущего, способах перевозки пива, старинных монетах, гипнозе, водопроводах, смерти, новой оперетке, мозольном пластыре, воздушных кораблях и планете Марс. Шевнер сказал, споря с Поповым:

— Все продажно, а земля — лупанарий.

Отупелый, я чувствовал все-таки, как меня кто-то просит уйти... С трудом сообразив, что это говорит девушка, я повернулся к ней и увидел, что она громко смеется, а старичок, гладя ее по плечу, покручивает усы. И вдруг, почувствовав сильнейшее утомление, я встал среди множества больших глаз, бросил на стол горсть бумажек, стиснул маленькую, ответившую слабо на мое пожатие, руку и направился к выходу. Обернувшись у двери, я увидел, что все задерживают мою спутницу, долго прощаясь с ней, и закричал:

— Скорее! Скорее!

Шевнер подбежал ко мне, выдергивая из-за галстука салфетку, но покачнулся и, отлетев в сторону, упал; я подхватил девушку, спрашивая:

— Домой хотите? Хотите домой? Где вы живете?

— У меня голова кружится,— проговорила она, поспешно сбегая с лестницы.

Я нагнал ее внизу, подал пальто и вывел, сунув швейцару рубль. Моросил дождь, было тепло, утро вспомналось далеким. Поняв, что день прошел, я мгновенно припомнил многое, утраченное во хмелю, но теперь ясное, сделавшее минувший день долгим. Я вспомнил, что кто-то спал на диване и что был промежуток, в течение которого я сидел вдвоем с Поповым, рассказывая ему свою жизнь. Меня мутило. Усадив девушку на извозчика, я долго не мог попасть на сиденье, наконец, отдавив ей колени, устроился. Выслушав адрес, извозчик долго

бил клячу, она вышла из терпения и помчалась трамвайной линией, где в тусклой мгле светились красные огоньки вагонов.

Под ветром и дождем я раскис. Десять тысяч казались плюгавым пустяком; грузная скука села на горб, сгибая спину, и все прелести возбуждения, кроме одной, ушли.

Я обхватил рукой талию спутницы. Но инстинкт говорил мне о ее внутреннем упорстве и настороженности.

— Возьмите руку,— сказала она.

— Зачем? — спросил я.— Вам неудобно?

— Да, неудобно.

Я отнял ставшую мне чужой руку и отправил ее в карман, за папиросами. Помолчав, я сказал:

— Не сердитесь на меня.

— Я не сержусь.

Она отвернулась.

— Мария Игнатьевна,— сказал я, вспомнив, что ее сегодня так называли,— вы служите где-нибудь?

— Нет.— Она уселась свободнее и повернулась ко мне.— Я уехала от родителей.

— Так,— проницательно заметил я.— Вы, конечно, горды. Отец вас проклял, вы разочаровались в своем возлюбленном и живете в мансарде. Там у вас много книг, грязно, тесно и пахнет студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой с чаем.

— Нет, не так,— поспешно и как бы задетая, возразила она.— У меня хорошая комната с красивой мебелью и цветами. Есть пианино. Я грязи и сора не люблю. А обед мне носят из очень хорошей кухмистерской — шестьдесят копеек. И я никогда никого не любила.

Я саркастически захохотал и поцеловал ее руку.

— Я простофиля,—сказал я,— скажите, может быть глубокое чувство с одного взгляда?

— Это вы про себя?

— Нет, вообще.

— Нет, это вы про себя говорите,— уверенно проговорила она.— Голос у нее был тихий и ровный.— Вы меня любите?

— Да,— храбро сказал я.— А вы меня?

Она смотрела с таким видом, как будто я и не говорил слов, повергающих женщин в трепет и волнение.

Прошло несколько минут. Нева в отражениях огней расстилалась таинственной, глубоко думающей гладью.

— Вы врете,— холодно произнесла девушка, и мне стало не по себе, когда я услышал у самого подбородка ее дыхание.— Вы врете. Зачем вы врете?

— А вы грубы,— сказал я, озлившись.— Что я вам сделал?

— Да, вы мне ничего не сделали.— Она помолчала и тихонько зевнула.— А мне показалось...

Взбешенный, я понял этот обрывок. Мне захотелось резнуть словами — и так, чтобы это не прошло бесследно.

— Да,— горячо начал я бросать словами,— когда мужчина высказывает свое желание в самой тонкой, поэтической, нежной форме, когда он лезет из кожи, чтобы вам понравиться, когда он старается взволновать вас мягкостью и простодушием, насилуя себя,— вы гладите его по головке, блюдете себя и ждете, что он еще покажет вам разные фокусы-покусы, перевернет земной шар! А если тот же мужчина просто и честно протягивает вам руку, причем самый жест этот говорит достаточно выразительно,— вы или бьете его по щеке, или ругаете. Разве не так? Что там! Ведь полюбите же кого-нибудь.

Разгоряченный, я уронил папиросу, замолчал и искоса взглянул на Марию Игнатьевну. Она смотрела перед собой, казалась беспомощно усталой. Я вдруг потянулся к ней, но удержался и скис.

— О чем вы думаете? — врасплох спросил я.

— О разных вещах,— просто и, как мне показалось, даже приветливо сказала она.— Я думаю, что белые хризантемы, выросшие на этом черном небе до самого зенита, выглядели бы очень красиво.

— Вы не любите жизни,—угрюмо заметил я.— Что вы любите?

— Нет,— я бы ее исправила.

— Как?

— Как-нибудь интереснее. Хорошо бы земле сделаться белой и теплой. Трава должна быть серая, с золотистым оттенком, камни и скалы — черные. Или жить как бы на дне океана, среди водорослей, кораллов и раковин, таких больших, чтобы в них можно было залезть. Потом хорошо бы быть богу. Такому крепкому, спокойному старику. Он должен укоризненно покачивать голо-

вой. Или подойти ко мне, взять за подбородок, долго смотреть в глаза, сделать гримасу и отпустить.

— Только-то,— сказал я, сконфуженный ее усилиями отдалиться от меня на словах.— Никуда вы не уйдете, сокровище. Вас везет грязный, заскорузлый сын деревни по грязной земле, а в том, что я вас люблю,— есть красота.

Я перегнулся к Марье Игнатьевне и, полный трусливой хищности, опасаясь, что девушка закричит, но в то же время почти желая этого, как истомленный жарой, стал расстегивать левой рукой теплую кофточку. Она не сопротивлялась; в первый момент я не обратил на это внимания, а потом, возненавидев за презрительную покорность, принялся тискать весь ее стан. Девушка, прижав руки к груди, сидела молча. Я видел, что губа ее закушена, и вдруг холодность ее сделала мне противными всех женщин, улицу, себя и свои руки; отняв их, я зябко вздрогнул, остыл и увидел, что мы подъехали к хмурому пятиэтажному дому.

Я слез, заплатил извозчику; девушка продолжала сидеть в той же позе, как бы окаменев; присмотревшись, я заметил, что правая ее рука медленно, словно крадучись, застегивает пальто.

— Сойдите же,— сказал я.

— Я хочу, чтобы вы ушли.— Зубы ее стучали.— Уйдите.

— Мария Игнатьевна,— сказал я и замолчал. Невольная тоска налила мне ноги свинцом, я говорил сдавленным, виноватым голосом.— Мария Игнатьевна, ведь я ничего...

— Извозчик, вероятно, заинтересован,— быстро произнесла она.— Уйдите, слизняк.

Я открыл рот, не будучи в силах сказать что-либо, сердце быстро забилось. Девушка сошла на тротуар и, поспешно склонившись, исчезла под цепью калитки. Я нырнул за ней, догнал ее у черной дыры лестницы и взял за руку.

— Мария Игнатьевна,— уныло проговорил я, стараясь идти в ногу,— вы способны сделать безумным святого, а не то что меня. Простите.

Она не отвечала, взбегая по ступенькам; я спешил вслед, наступая на подол платья. В третьем этаже девушка остановилась, повернулась ко мне и вызывающе

подняла голову. В свете керосинового фонаря лицо ее было изменчивым и прекрасным; лицо это дышало неописуемым отвращением. Чувствуя себя гнусно, я упал на колени и с раскаянием, а также с затаенной усмешкой, поцеловал мокрый от дождя ботинок; запахло кожей.

— Мария Игнатьевна,— простонал я, подползая на заболевших коленях, стараясь обхватить ее ноги и прижаться к ним головой,— молодая душа простит. Я люблю вас!

— Отойдите,— глухо произнесла она.— Дайте мне подумать.

Я встал, но она уже была на подоконнике и, нагнувшись, отнесла руки назад; большое окно лестницы мгновенно нарисовало ее фигуру, по контуру изогнувшегося тела желтели освещенные окна квартир. Я зашатался, застыл; в миг все чудовищное выросло передо мною: сознав, что надо отойти, сбежать хоть бы пять ступенек, я тем не менее, пораженный ожиданием кровавой тяготы, стоял, крича хриплым голосом:

— Что вы делаете со мной? Я уйду, уйду, ухожу!

В то же мгновение ноги мои вдруг обессилели, задрожав; окно мелькнуло платьем, а внизу, подстерегая падение, шумно ухнул двор, и отвратительно быстро наступила полная тишина. Чувствуя, что меня тошнит от страха и злобы, я поспешно сбежал вниз и, с холодиым затылком, плохо соображая, что делаю, выбежал к калитке, закрывая руками голову, чтобы не увидеть. На улице, повернув за угол, я пустился бежать изо всех сил, не чувствуя ни жалости, ни угрызений, преследуемый безумным, скалящим зубы ужасом; мой топот казался мне шумным падением бесчисленных тел: тяжелая, мерзлая, хватающая за ноги мостовая родила слепой гнев; сжав кулаки, я бросался из переулка в переулок, отдышался и пошел тише, дрожа, как беспощадно побитый циническими ударами во все части тела.

VII

Сколько времени я шел и в каких местах — не помню. Раз или два я сильно стукнулся плечом о встречных прохожих. Моросил дождь, в косом, прыгающем его тумане чернели, раскачиваясь, зонтики; светлые кляксы луж и журчанье сбегающей по трубам воды казались

мне огромным притворством улиц, очень хорошо знающих, что произошло со мной, степенно лживых и равнодушных. Судорожно переворачивая в памяти окно третьего этажа и глухой стук внизу, я шел то быстрее, когда представления делались совершенно отчетливыми, то тише, когда их затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя, я увидел ровно освещенное окно игрушечного магазина с голубоглазыми куклами в коробках, маленькими барабанами и лошадками, вспомнил, что и я был некогда маленьким, что Мария Игнатьевна тоже играла в куклы, и унылая горесть засосала сердце; внезапная глубокая жалость к «Марусе», как мысленно называл я ее теперь, слезливо напрягла голову. Прислонившись к стене, я заплакал скупыми, тяжелыми слезами, вздрагивая от рыданий. В это время я слышал, что за моей спиной шаги прохожих несколько замедлялись. Вероятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами, и отходили. Среди многих терзавших меня в этот момент мыслей раскаяния и сокрушения я постепенно начал жалеть себя и представил, что какая-нибудь женщина, с лицом ангельской доброты, подходит сзади, кладет нежную руку мне на плечо и спрашивает музыкальным голосом:

— Что с вами? Успокойтесь, я люблю вас.

Отерев слезы, я поспешно тронулся дальше.

Заходя по дороге в пивные лавочки и трактиры, я выпивал у стоек, чтобы забыться, как можно более водки и пива, затем хлопал дверью и шел без всякого направления, поворачивая из стороны в сторону. Прохожих становилось все меньше; улицы из широких проспектов с модернизированными фасадами пяти- и шестиэтажных домов незаметно превращались в кривые низенькие ряды деревянных мезонинчатых домиков; воняло прелью помойных ям; где-то в стороне далеко и глухо просвистел паровоз. Зачем и куда я шел — неизвестно; смутная тревога подгоняла вперед, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какие-то огромные катушки и, скатываясь, двигались надо мною назад, заставляя перебирать ногами.

Заблудившись, я выбрался из кучи мрачных строений, напоминавших разбросанные как попало спичечные коробки; одолев паутину каменных и деревянных забо-

ров, среди которых, подобно одинокому глазу, мерцал красный фонарь, я очутился на границе обширного пустыря. Он начинался прямо от моих ног обрывками заброшенных гряд, канавой и бугорками с репейником; далее громоздилось темное пространство — и трудно было рассмотреть во мгле характер этой пустынной местности. По-видимому, мне следовало возвратиться назад, но я двинулся вперед из какого-то злобного упрямства, в состоянии полной невменяемости, в одном из тех видов ее, когда невнятнейший посторонний звук может вызвать страшный припадок бешенства или, наоборот, погрузить в тягчайшую апатию. Мной в полной силе управляли зрительные впечатления, вид пространства вызывал потребность идти, темнота — желание света; я каждую секунду соединялся с видимым, пока это состояние не рождало какого-либо образного, по большей части фантастического представления; затем, насытившись им, переходил к следующим вспышкам фантасмагории Так, например, я очень хорошо помню, что желание идти в пустырь соединялось у меня с воображенной до полной действительности, где-то существующей хорошенькой и уютной дачей, где меня должны были ожидать восхитительные, странные и сладкие вещи; я шел к той даче, наполовину веря в ее существование. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивал ямы, месил ногами грязную почву. Голос, раздавшийся впереди, привел меня в сильное раздражение. Голос этот сказал:

— Кто идет?

Я остановился. «Кто-то идет в стороне от меня,— подумал я,— и этого человека спрашивают». Вопрос был громкий и отчетливый, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы быть сразу услышанным и понятым. Оглянувшись, я тронулся; в тот же момент голос упорно крикнул:

— Кто идет, дьявол? Вороти в сторону.

— Это мне,— сказал я, прислушиваясь. Ветер прилег к земле, качнулся и загудел. Неподалеку, у низкой стены, едва отделяясь от нее, чернела маленькая человеческая фигура. Я всматривался, пытаясь сообразить, в чем дело. Я спросил громко и недовольно:

— Кто кричит? Чего кричишь?

— Отойди,— непреклонно повторил голос.— На пост лезешь! Часовой тут, пороховой погреб. Не велено.

Тогда я понял. Солдат не подпускал меня к охраняемому зданию. Он боялся, что я украду ящик с порохом или взорву пороховой погреб. Это было глупо до скуки; я определил солдата, как глупейшее существо в свете, и рассмеялся, вызывающе подбоченившись, а шляпу сдвинул на затылок. Вероятно, солдат не видел моей позы, как я его, но в те минуты воображение играло большую роль, и я считал себя видимым так же ясно, как яичко на бархате.

Мы оба тонули во мгле грязного пустыря.

— Пороховой погреб! — сказал я, настроенный залихватски и брезгливо по отношению к человеку, вооруженному магазинкой.— Милый, это бессмыслица. Мне хочется пройти в прямом направлении. Разве погреб провалится? Ты рассуждаешь по инструкции, но до здравого смысла тебе далеко.

Я говорил не совсем твердо, часовой молчал. Я знал, что человек этот в данный момент счастлив, что морда его осмысленна и дышит невидимо для меня всей непреклонностью устава. Я вздумал разочаровать его, отравить ему радостное мгновенье сложной и острой сетью произвольных заключений, сделать его смешным в его же глазах, раздражить и уйти.

— Я уйду,— продолжал я.— Сию минуту уйду. Я пьян. Не тронешь же ты пьяного человека. Но мне нужно сообщить тебе нечто. Ты — часовой. Ты стоишь два часа, охраняя пороховой погреб. От кого?

Враждебная тишина внимала мне. Я подумал и покатился по тем же рельсам и говорил, говорил.

Зачем я говорил — выскочило у меня теперь из памяти. Язык мой неудержимо трепался, как хороший бубенец в чаще, я говорил, не слыша ни возражений, ни поощрений; одно время мне показалось, что часовой даже ушел, но я тотчас сообразил, что уйти он не мог, а стоит тут, против меня и слушает, слушает напряженно, стараясь не проронить ни одного слова, и ждет, чтобы выстрелить, когда я сделаю хоть один шаг к нему. Я знал, что он не задумается спустить курок, так как в этом было его оправдание. Он слушал.

— Там,— я махнул рукой по направлению к городу,— там красавицы, золото, роскошь и удовольствия... Сейчас я найму автомобиль и проеду мимо, обдав тебя шлепками грязи с резиновых шин. У тебя денег нет?

На! Возьми. У меня в кармане лежит несколько тысяч. Возьми пятьсот. Подойди и возьми. Брось винтовку, спрячь деньги, иди в город, надень щегольский костюм и напейся. Потому что ты человек, когда пьян. «Мы што — не люди?» Люди!

Мой голос перешел в крик, я осип, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова.

— Отойди! — вдруг глухо и угрожающе сказал часовой.— Чего распоясался? Проходите, барин!

— Барин! — азартно закричал я.— Ты думаешь: вот он будет куражиться, а я пристрелю его и в рапорте благодарность получу? Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. Я уйду, уйду, а ты будешь, рыдая, звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я более не приду, понял? Стой и плачь, тюлень в намордннке!

Я знал, что он трясется от бешенства и высматривает меня в темноте, чтобы пробуравить насквозь. Я сам трясся; меня приводил в восхищение этот не смеющий сойти с своего места человек. Услышав мягкий треск стали, я понял, что он приготовил затвор и, если я не уйду, выстрелит, но всякая опасность была в этот момент бессильна заставить меня смириться. Я отошел в сторону, ступая мягко, чтобы солдат, целясь на звук голоса, дал верный промах.

— Последний раз — уходите,— быстро проговорил часовой, чем-то зазвякал, и я сообразил, что теперь надо держать ухо востро. Поспешно отбегая на носках влево, я крикнул изо всех сил:

— Я и мой товарищ бежим на тебя. Молись богу!

Гулкий толчок выстрела заключил мои слова. Сверкнула бледная нежная полоска, пуля, шушукнув неподалеку, унеслась с заунывным свистом. Затея эта могла обойтись дорого. Я несколько протрезвился и побежал. Сзади тревожно заливался свисток часового, он дал тревогу; еще минута — и я ночевал бы в участке, избитый до полусмертн. Я убежал с чувством легкого, ненастоящего страха, тяжелой скукн и бесцельной злобы. Завернув в ближайшую улицу и вспомнив Марусю, я почувствовал, что глубоко ненавижу всех этих расколотых, раздробленных, превращенных в нервное месиво людей, делающих харакири, скулящих, ноющих и презренных.

— Тяжковиды! — шептал я, стиснув зубы.— Яд земли, радостной, веселой, мокрой, солнечно-грязной,

черноземной, благоухающей! Что вы хотите, что? Легко жить надо, а не разбивать голову!

— Тяжковиды проклятые! — сосредоточенно повторил я и кликнул извозчика. И от мысли о множестве бесцельных, беспризорных существований, рассеянных по мощному лицу земли в виде уличной пыли, которую ежечасно стирает рука жизни, чтобы ярче блестели румяные щеки дорогой нам планеты, что-то соколиное сверкнуло во мне; я гордо поднял голову и утешился. «Благодарю тебя, боже, за то, что не создал меня таким, как этот мытарь»,— задумчиво, серьезно сказал я, сел на извозчика и снял шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождем мостовой; над головой ясно и как-то значительно блестели кроткие звезды.

— Извозчик,— сказал я тихо и вежливо, чтобы даже эти произнесенные мною слова соответствовали торжественному моему настроению,— поезжайте в самую лучшую гостиницу в центре города.

Проезжая среди огненных шаров моста, я подумал, что я, в сущности, человек хороший и деликатный, с больной, несколько капризной волей, интересный и жуткий.

VIII

Переутомление и ряд нервных потрясений, должно быть, сделали меня временно паралитиком. Я повалился на кровать, испытал мучительное нытье всего тела и, с мгновенно закружившейся головой, исчез. Затем, проснувшись, приподнял голову — дряблая смесь электрического и дневного света показалась мне плохим сновидением; я снова исчез и проснулся с головной болью. Было темно и, как мне показалось, кто-то, уходя, поспешно притворил дверь. То был, как я узнал после, лакей, приходивший послушать, дышу я или сплю вечным сном. Наконец, я проснулся в третий раз и окончательно; мысль о сне вызвала отвращение — значит, я выспался.

На столе дрожали утренние световые зайчики. Сидя на кровати, как был — в сапогах и прочем, я тихо покачивался из стороны в сторону, прикладывал ладони к вискам, и было мне плохо. Организм тоскливо стонал, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкус, как будто я долго жевал свинец, выплюнул и выполоскал зу-

бы известковым раствором. На круглом мраморном столике от графина с водой сияла радужная полоска, я долго смотрел на нее, припоминая недавние свои переживания, вспомнил деньги — и ласковый холодок радости пробежал в спине, возвращая телу упругость. Я стал умываться, причесался, затем позвонил и, когда подали самовар, сказал слуге:

— Я уже заявил полиции, что у меня между последней станцией и Петербургом украли весь багаж. Вот, милейший, двести рублей: отправляйтесь, куда следует, купите мне пару хороших поместительных чемоданов, пикейное и теплое одеяло, дюжину простынь, дюжину наволочек, две подушки и дюжнну пар белья. Сдачу возьмите себе.

Но от него отделаться так скоро было нельзя. Он хотел знать в точности размер, цвет и качество. Наконец, поклонился, едва не сломав себе спину, посмотрел на меня взглядом парализованного и, пятясь, скрылся. Я сел к столу, чрезвычайно довольный собой, задумался, не заметив, как перестал петь и остыл самовар, с жадностью выпил несколько стаканов теплого чаю, затем долго стоял у окна с благодарным лицом, предвкушая наслаждение считать деньги. Пересчитав их, уютно рассовал по карманам, согрев ими душу, надел шляпу и отправился за покупками.

Часа три я слонялся по магазинам, удивляя приказчиков робким тоном вопросов и несоответствующим ему швырянием деньгами. Я брал сдачу, не считая, демонстративно комкал бумажки, опуская их в наружный карман пиджака, и вообще вел себя ничуть не лучше заправского вора, которому повезло. День был пекуче жарок; обливаясь пóтом, я тащил от дверей к дверям толстые свертки, страдая и наслаждаясь. Я купил два костюма — синий и серый, два пальто, золотые часы, калейдоскоп галстуков, массу белья, три котелка, английскую шляпу, кольцо с брильянтом, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолов для рыбы, тросточку с серебряной ручкой, кавказские туфли и гетры, кашне. Не понимаю, как я доиес это до ближайшего угла, где стояли посыльные: вручив им свой адрес и свое имущество, я, мокрый с головы до ног, пошел медленно, расслабленный и довольный...

Вид почтового ящика заставил меня сунуть руку в карман брюк, покраснеть, вытащить измятое письмо к Жене и опустить его. Глаза мои были, вероятно, растроганные и грустные, жгучее раскаяние сопровождало меня до первой встречной молодой женщины. Увидев, что она недурна, я подумал:

«На свете много женщин».

Я начал снова думать о Жене, о странной своей судьбе, о том, что Женя приедет и мы будем счастливы, но скоро заметил, что эти мысли оставляют меня равнодушным к далекой девушке, и отдался полусознательным, беглым размышлениям. Все, о чем я ни думал, казалось мне безразличным. Вспомнив бросившуюся из окна Марию Игнатьевну, я ощутил нечто вроде болезненного сотрясения, а затем хладнокровно восстановил памятью всю эту сцену, пожал плечами, приказал самому себе держать язык за зубами и завернул в прохладу кафе.

IX

В течение следующих пяти дней не произошло ничего особенного. Я жил в гостинице, бегал по ресторанам, садам, трактирам, дух беспокойной тоски швырял меня из одного конца города в другой, я силился не уснуть в музеях, уходя из них с головой, раздутой до чудовищных размеров всякого рода изображениями; пил чай у знакомых (все упомянутые ранее лица стали моими знакомыми), ездил в клуб, но лукаво отходил прочь, когда непритворенная дверь карточной дымилась силуэтами игроков, пьяиствовал с певичками и, вообще, жил. Скука одолевала меня. Я болел душой о яркой, полной и красивой жизни. От скуки я заговаривал с городовыми, посещал грязные чайные. Я вел длинные разговоры о семейных делах продавщиц кваса в кинематографах, говорил о боге среди извозчиков в воровском притоне; пережил ночные романы в подвальных логовищах. От Жени я получил три письма с обещаниями приехать к началу учебного года на курсы; первое вызвало у меня припадок страсти и нежности, содержание второго забыл, а в третьем нашел четыре орфографические ошибки. Все более начинало казаться мне, что я живу в дрянном преддверии настоящей жизненной музыки, бросающей в

дрожь и огненный холод, что меня ждут нетерпеливо страны алмазной красоты, буйного ликования и щедрот. Я стал чрезвычайно подвижным, нервным и беззастенчивым.

Время от времени, сосредоточиваясь на своем положении, я пугался, покупал заграничные путеводители и расписания поездов, собираясь в дорогу, подозревал в каждом человеке шпиона, а затем, под влиянием случайной встречи или просто хорошего настроения, плевал на все и успокаивался. Гораздо более озабочивало меня незавидное мое положение — положение человека, хапнувшего тысчонки. Гордый и самолюбивый, я мечтал быть победителем жизни, но, не обладая никакими специальными знаниями, естественно, стремился открыть в себе какой-нибудь потрясающий, капитальный талант; издавна меня привлекала литература, к тому же, сталкиваясь почти каждый день с журналистами и поэтами, я воспитал в себе змеиную зависть.

Результатом этих мозговых судорог было однажды то, что я нарезал пачку небольших квадратных листов, на каких, как где-то читал, писал Бальзак, вставил перо и сел. В голове носились гоголевские хутора, обсыпанные белой мучкой лунного света; героини с тонкой талией, классические герои, охота на слонов, павильоны арабских сказок, шекспировская корзина с бельем, провалившиеся рты тургеневских стариков, кой-что из Гонкуров, квадратная челюсть Золя. Понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений, преимущественно любви, вывел заглавие — «Голубой меч» — и остановился. Тысячи фраз осаждали голову. «И не оттого, что... и не потому... а оттого... и потому...» слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная, литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими созвучиями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная — Достоевского; величественная — Тургенева; певучая — Флобера; задыхающаяся — Успенского; мудрая и скупая — Киплинга... Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уж, во всяком случае, не подражать никому.

Переменив несколько раз сюжеты, я сильно устал и бросил. На следующий день мне понравилось заглавие «Рубин в пустыне». Я сел к столу и стал придумывать фабулу, но, побившись, не мог ничего придумать, кроме умирающей от чахотки женщины. Она потеряла рубин, и герой отправляется разыскивать его. Все это возмутило меня; утомленный, апатичный, я вышел из накуренного помещения и отправился гулять, размышляя о способах наискорейшего написания романа страниц в пятьсот. Но в этот же день произошло событие, заставившее меня забыть о литературной славе; в этот роковой день я, как ручей, вышел из берегов рассудка, был несколько минут нежным тигром, тяжело страдал и любил. Да, я первый раз в жизни любил по-настоящему — умом и телом.

Все это сложно, необыкновенно и требует тщательного рассказа. Мне многие не поверят, но я знаю, что будь у человечества хоть немного нахальства — на каждом шагу происходили бы занятнейшие истории, так как каждый хочет быть героем таких историй,— героем и рассказчиком.

Все началось с того, что мне понравился в окне табачного магазина мундштук. Недолго думая, я зашел, купил эту вещицу и хотел выйти, но продавец задержал меня, рекомендуя новый табак. Надо заметить, что дверь этого маленького, узкого магазинчика выходила на нижнюю площадку общей домовой лестницы, так что покупатель, не отходя от прилавка, мог видеть всех проходящих в дом или на улицу. Пока я отнекивался, хлопнула наружная дверь, и сквозь стекло я поймал беглым взглядом два мелькнувших лица — мужчины и женщины. Они вошли с улицы; фигура и лицо женщины врезались, как печать, в мою память; бросив табак на пол, потому что получил нечто вроде электрического сотрясения, я выскочил на площадку лестницы, остановился и стал смотреть. Сквозь лестницу, во всю вышину дома, торчал светлый пролет. Подымавшиеся не видели меня; рука дамы, маленькая, невинно-белая, скользила по лакированным перилам над моей головой.

Я изобразил статую изумления, священного ужаса. Господин, правда, был недурен: смуглое, иностранного типа лицо его отличалось смелым, смеющимся выражением; широкоплечий, стройный, с беззаботными движе-

ниями, он был изящно, но небрежно одет — и я его ненавидел. Женщина шла на ступеньку или две впереди. Ах! Она была сказочно хороша. Ее лицо умертвляло желание смотреть на других женщин. Я чувствовал себя так, как будто всю жизнь, от пеленок, не переставая, рыдал, а теперь, восхищенный, смолк, чуть-чуть всхлипывая, и высохли слезы, и блаженная улыбка просится на лицо.

— Поразительная красавица! — пробормотал я. Сильное волнение помешало мне запомнить мелочи ее туалета и фигуры; сверкнуло дивное благородство профиля, темный огонь глаз; казалось, от присутствия ее согрелся весь дом, и воздух наполнился веянием женской нежности.

Они подымались не быстро и не тихо, и я, с заболевшей шеей, задрав голову, смотрел снизу. Господин шагнул несколько быстрее, взял даму за руку и хотел, видимо, поцеловать пальцы, но она вырвалась, в три-четыре прыжка достигла площадки третьего этажа и рассмеялась, а он побежал к ней. Слушая смех, я страдал, я был болен от этих милых, заразительных, музыкальных звуков, как будто женщина подняла обе руки, полные звонких драгоценностей, и бросила их, и звеня, прыгая со ступеньки на ступеньку, достигли они меня,— такой был смех. Господин ступил на площадку, смеясь, протянул к ней руки, а она, ласково извернувшись, скользнула мимо него выше, а он за ней, она все быстрее — и вот оба, задыхаясь, зашумели по лестнице над моей головой; струясь, шелестел шелк, белая с серым шляпка птицей взвилась на шестом этаже; господин нагнал женщину, когда некуда уже было больше бежать, обнял, прижал к себе, а она, утомленная, перегнувшись спиной через перила, счастливо смеясь, стихла. Он приник к ее губам долгим поцелуем, их головы висели надо мной, может быть пять секунд: для них это была вечность.

Я вышел; вдогонку мне щелкнула далеко вверху дверная задвижка. Выразительная любовная игра, свидетелем которой я был, сделала меня сладко помешанным. Я любил эту женщину. Страна страстного очарования, издеваясь, показала мне мгновенный свой ослепительный свет.

— Радостный яд любви! Торжество упоения!— сказал я, отуманенный, содрогающийся, с пересохшим ртом.

Неиссякаемый образ женщины плыл передо мной среди равнодушных прохожих; косой, в тенях вечера, пыльный свет солнца утомительно жег лицо.

— Ну, что же, теперь все равно,— сказал я, замедляя шаги; не было сил уйти от таинственно чудесного дома, покрытого вывесками. «Пилюли слабительные Фузика»—прочел я кровавые аршинные буквы. Сразу же, в состоянии, близком к горячечному, стал я обдумывать способы проникнуть в рай. Ничто не казалось мне достаточно дерзким или предосудительным.

Вне времени и пространства, повинуясь первым движениям мысли, вошел я в ювелирный магазин. План мой был гениален и прост. Я был уверен, что посредством его сумею остаться наедине с ней, а там — что будет. Я предвкушал долгие взгляды, от которых бледнеют и загораются. Взволнованный томительными сладкими предчувствиями, я потребовал алмазные серьги и взял первые попавшиеся. Денег у меня к тому времени оставалось около шести тысяч. Было немного обидно выбросить за пару стекол пятьсот пятьдесят рублей, но я сделал это, сунул футляр в карман и вышел на улицу.

Дыша глубоко и часто, чтобы хоть немного утишить биение сердца, предвкушая приятные, острые, необыкновенные переживания, я перешел на другую сторону тротуара и стал следить за подъездом, рассчитывая, что господин с иностранным лицом рано или поздно должен выйти из дома. Стемнело, засветились электрические узоры кинематографов, вечерняя суета улицы, теряя деловой вид, показывала медленно гуляющих франтов, кокоток и генералов. Стреляя, как митральезы, пролетали автомобили, украшенные грандиозными шляпками. Ноги мои болели, я методично прохаживался, тоскуя и представляя будущее. Вопрос — кто эта женщина? — не давал покоя. Жена, артистка, куртизанка, девушка, вдова? — на каждый я отвечал утвердительно. Лет пять назад я слышал рассказ одного моего знакомого, как, путешествуя по берегу моря, он захотел пить. Сумасшедшая жара калила песок, слева горела степь, кричали тарбаганы и суслики, расплавленное море лежало у его ног. Ближайший рыбный промысел, где этот человек мог напиться, лежал не ближе двадцати верст. Человек шел

тихо, стараясь не утомляться, но быстро выпотел, ослабел—и жажда постепенно превратилась в ощущение глыбы соли, разъедающей внутренности нестерпимой болью. Он пошел быстрее, затем побежал, теряя сознание. У ног его тихо плескалась вода. Он продолжал бежать. Это была вечность нечеловеческого страдания. Завидев низкие крыши промыслов, он пулей промчался сквозь кучку рабочих, испуганных его тусклыми от бешенства глазами, повалился на край бочки с водой и пил. Затем с ним произошел обморок.

Похоже на это чувствовал себя я. Возможные последствия моей решимости казались мне не стоящей внимания чепухой. Прильнув глазами к подъезду, я, наконец, вздохнул глубоким, как сон, вздохом и пересек мостовую. Он вышел, я видел, как он сел на извозчика, купил у подбежавшего мальчишки газету и, теряясь в разорванной цепи экипажей, скрылся. Тогда я, замирая и холодея, прошел в подъезд, а когда ступил на площадку шестого этажа, соображение, что я не знаю, в которой из квартир живет богиня, на мгновение остановило меня; затем я увидел, что на каждой площадке находится только одна дверь, и успокоился.

Самое трудное для меня было позвонить: я знал, что как только сделаю это — прекратится трусливое волнение, сменившись напряженной осмотрительностью, стиснутыми зубами и хладнокровием.

Так это и было. Я позвонил; далеко, чуть слышно прозвенел колокольчик; звук его казался чудесным, необыкновенным. Мне открыли; я вошел и первое время не в состоянии был заговорить, но, сделав усилие, поклонился высокой, в переднике с кармашками, горничной и приступил к делу.

В передней, где я стоял, было почти темно; блестело темное зеркало, откуда-то, вероятно, из коридора, тянулась нгла света, падая на кружевное манто.

— Вам что? — вертясь по привычке, спросила горничная.

— Серьги госпоже из магазина Дроздова,— сказал я, держа руки по швам,— расписочку пожалуйте.

— Я скажу, обождите.

Она внимательно осмотрела меня и остановилась, подошла к дверям и исчезла, а я, машинально тискал вспотевшей ладонью футлярчик, тяжело дышал. Виски

болели от напряжения, было душно и страшно. В голове носились отрывочные, подходящие к делу слова: «Красавица... объятия... поцелуи твои... у ног...» Я переступал с ноги на ногу, входя в роль, хотя через несколько минут приказчик должен исчезнуть, уступая место влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками.

— Идите сюда, барыня на балконе...

Я нервно хихикнул. Девушка посмотрела на меня с изумлением, и я сказал:

— Чудесно! Квартирочка у вас замечательна!

Промолчав, она быстро пошла вперед, а я, невольно расшаркиваясь на скользком паркете, семенил сзади. Меня словно вели на виселицу. Я смутно замечал в сумерках просторных высокнх комнат отдельные предметы; дремлющая в полутьме роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы, как духи, скользили по анфиладе четырех или пяти комнат; по мере приближения к цели вокруг становилось светлее, в последней— круглом небольшом зале — меня окружил грустный свет вечера, падавший из растворенной настежь двери, за ними вытянулся к разбросанным внизу крышам полукруглый балкон. Там было нечто восхитительное и неясное. Вокруг меня, по стенам и у потолка, что-то сверкало, висело; на полу все нежное, круглое, цветное; картины меж окон; к потолку тянулись выхоленные тропические растения. Золоченые решетки у ленивых креслиц, коврики и меха, улыбки темных статуэток — все я забыл, ступив на порог последней, неземной двери.

Она сидела в качалке, склонив голову вперед и чуть-чуть на бок, ее детские, тонкие руки в разрезах сиреневой материи поглаживали гнутый бамбук сиденья. Я видел, что шея ее открыта; у меня перехватило дыхание; слабый и близкий к обмороку, я усиленно раскланялся, овладел собой и проговорил:

— Извините, господин Дроздов, мой хозяин, поручил доставить брильянты.

— От кого? Какие брильянты? — спросила убивающая меня своим существованием женщина.— Скажите, от кого?

Изгрызанный страстью, я понял, что это важный момент. Я ненавидел горничную, соино дышавшую за моим плечом, ей следовало удалиться.

— Тайна,— глухо сказал я и посмотрел многозначительно. Мой тоскующий, полный просьбы взгляд скрестился с ее взглядом; маленькие, тонкие брови медленно поднялись, все лицо стало замкнутым и рассеянным. Она испытующе смотрела на меня.

Я сказал:

— Тайна.

Затем приложил палец к губам, кашлянул и опустил глаза.

— Катерина,— сказала женщина,— посмотрите, не звонят ли с парадного.

Я повернулся к горничной и посмотрел на нее в упор. Она вышла, смерив меня с головы до ног великолепным взглядом служанки, разъяренной, но обязанной слушаться.

— Говорите, что это значит? — осторожно, тем тоном, от которого так легок переход к выражениям удовольствия или гнева, произнесла она.

Медленно, вспотев от стыда и страха, я стал на колени, продолжая нервно улыбаться. Я увидел край нижней юбки и пару несоразмерно больших глаз. Я слышал стук своего сердца; он напоминал швейную машину в полном ходу.

— Я действительно принес серьги,— сказал я, возбуждаясь по мере того, как говорил,— но это, я должен сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю вас. Я не знаю вашего имени, я видел вас три часа тому назад на улице — и моя жизнь в ваших руках. Делайте со мной, что угодно.

Я видел, что она побледнела и хочет вскочить. Вместе с тем, высказав самое главное, я почувствовал, что мне легче; я мог действовать более развязно и умоляюще протянул руку.

— Несравненная,— сказал я,— мне тяжело видеть испуг на вашем божественном лице. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мне, как к уличному нахалу. Я не мог поступить иначе.

— Тайна! — воскликнула она, едва переводя дыхание и вставая. Я тоже встал.— Нечего сказать, тайна! — Какая-то мысль, вероятно, смутила ее, потому что она вдруг покраснела и неловко пожала плечами.— Кто вы такой?

— Гинч,— покорно ответил я.— Я из хорошей фамилии. Могу вас уверить, что...

— Нет,— сказала она, прислонившись к решетке и глядя на меня так, как если бы прямо ей в лицо летела птица.— Нет, вы меня решительно испугали. Как вы смели?

— Выслушайте,— подхватил я, инстинктом чувствуя, что паузы могут быть гибельными. Руки я держал перед собой, сложив их наполовину молитвенным, наполовину скромным жестом, а говорил сдавленным, хватающим за душу голосом.— Я презираю бедную жизнь мою, она заставляет ненавидеть людей и землю. Я жажду глубоких страданий, вздрагивающего от смеха счастья, хочу дышать полной грудью. Я увидел вас и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь от вашего присутствия.

Я стиснул пальцы сложенных рук так сильно, что онн хрустнули. Она, сдвинув брови, подошла к столику, взяла крошечную папироску и поднесла к губам, тут я нашелся. Выхватив из кармана дрожащей рукой десятирублевый билет, я чиркнул спичкой, зажег ассигнацию и поднес красавице. Искоса взглянув на меня и не торопясь, хотя обгоревшая бумага начинала палить пальцы, она закурила, тотчас же пустив нз пленительно оттопыренных губок облачко дыма, опустила глаза и пронзнесла·

— Я успокоилась. До свиданья.

Я застонал и шагнул вперед; она отскочила в сторону, лениво протянув руку к львиной голове с кнопкой.

— Вы жестоки! — мстительно прошептал я.— За что? Я раб ваш.

— Я не могу любить каждого,— нетерпеливо и быстро сказало прекрасное чудовище,— каждого, который придет с улицы, и, наконец, вы мне неприятны. Затем — я несвободна. Уйдите с воспоминанием, что я осталась к вам добра и не приняла мер против вашего вторжения.

— Я богат,— грубо сказал я.— Вот брильянты.

Встав между ней и звонком, я хлопнул футляром о столик. Мне хотелось броситься на это двигающееся, живое, красивое тело.

— Вы забываетесь,— бледнея от испуга и гнева, сказала она,— уходите сию минуту! Вон!

Футляр полетел мне в лицо и рассек бровь. Я невольно отступил; оскорбленный, я почувствовал желание задеть и унизить ее, смешать с грязью. Я сказал, наслаждаясь:

— Врете вы. Врете. Вам лестно, что приходит человек именно с улицы, потеряв голову. Вы такая же, как и все. Вы лжете перед собой, боитесь своего любовника. Возьмите меня!

— Ради бога...— сказала она, с усилием поднимая руку к лицу и роняя папироску.— Вы...

Не договорив, она неловко села в качалку боком и запрокинула голову.

Испуганный, я тихо подошел к ней; она, плотно сжав губы и закрыв глаза, осталась недвижимой. Это был обморок. С минуту я стоял, полный тревоги, думая о стакане воды, о докторе, о том, что лучше всего уйти; а затем, похолодев, наклонился и поцеловал влажные губы с воровским чувством случайной власти; готовый на все, я приподнял красавицу, прижимая ее грудью к своей груди, и тотчас выпустил, почти бросил: сзади послышались быстрые шаги, кто-то шел к нам, рассеянно напевая из «Жосселена».

«Херувимы-ы храият... те-е-бя-я!»

Я отскочил, заметался, глаза мои неудержимо, бессознательно отыскивали, где скрыться. В дверях мелькнул силуэт идущего — и секунду спустя мы стояли лицом к лицу: он и я.

Он посмотрел на меня, на женщину, бросился к ней, приподнял ее голову и, тотчас же вернувшись ко мне, загородил дорогу. Было жутко и тихо.

— Гинч,— с фальшивой твердостью сказал я,— позвольте представиться.— Мне казалось, что я растворяюсь в атмосфере грозного ожидания, распыляюсь, превращаюсь в бестелесный контур. Было мгновение, когда мне хотелось закрыть голову руками и согнуться; сзади раздался слабый крик.

Наслу оторвав глаза от моего страдальческого в этот момент лица, он подошел к качалке; я видел, как женские руки легли ему на плечи, и почти разобрал несколько быстро сказанных вполголоса слов, но тотчас парализованное сознание потеряло их смысл; по всей вероятности, она объясняла, в чем дело. Мне хотелось бежать, но я был не в силах пошевелиться, я растерялся.

Он снова подошел ко мне, верхняя губа его приподнялась, обнажив зубы; гневно хмыкнув, он качнулся вперед и дал мне пощечину. Это был умелый, хлесткий удар: голова как будто оторвалась, а затем, обваренная, возвратилась на свое место. Захрипев от стыда и боли, я кинулся, не видя ничего, вперед, получил еще два удара и, нелепо размахивая руками, полетел к выходу.

Стулья цеплялись за меня, острый удар в голову дал мне на один момент потерянную решимость; сжав кулаки, я обернулся и увидел занесенную надо мной палку и искаженное преследованием лицо с черными усиками; посыпался град ударов; я защищался, как мог, но, прижатый в угол, с разбитыми руками, не мог ничего сделать. Он бил меня, как хотел; мы оба молчали; наконец, заплакав навзрыд и взвизгивая, я вырвался от него, прошел, дрожа от слабости, в переднюю, сразу же нашел шляпу и вышел, унося памятью какие-то испуганные лица, глядевшие на меня в передней.

X

Описать всепожирающее чувство стыда, сумасшедшей ненависти и полного внутреннего разорения я бессилен. Я напоминал раздавленную колесом собаку, объеденный саранчой сад. Это было ощущение совершенной потери жизни, тупое, безразличное всхлипывание, смесь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня — куда идти; я принимал одно за другим сотни отчаянных решений, и такова была сила моего озлобления, что представление о способе мести давало мне некоторое насыщение. Я быстро свернул в боковые улицы, прикрывая руками пылающее лицо; прежде всего следовало купить револьвер, вернуться и убить. Остановившись на этом, последовательно дойдя воображением до каторги и виселицы, я несколько охладел к убийству и вспомнил о дуэли. В глазах моих она равнялась проявлению бессмысленного атавизма, варварству. Ничто не могло изгладить побоев; хорошо — я убью его, но, умирая, он посмотрит на меня с торжеством. «Я бил тебя»,— скажут его потухающие глаза. Это не годилось. Благополучно выскочив из-под трамвайного вагона, едва не перерезавшего меня пополам, я быстро составил план западни для женщины, которую только что насиль-

но поцеловал, и решил отомстить ей. Это было бы для него больнее. Как? То, что мне представилось в ответ на этот вопрос,— достаточно мрачно.

Быстрая ходьба вернула мне то ненормальное состояние унылого равновесия, которое называют висельным. Я осмотрел руки — онн были покрыты ноющнми ссадинами и опухолями; к глазу было больно притронуться; спина не болела, но по ней разливалась особенно неприятная теплота. Проходя мимо какого-то универсального магазина с сотнями блестящих предметов за освещенными электричеством окнами, я понял, что наступил вечер. Я думал беспорядочно и зло о жизни; она вдруг представилась мне в новом, хихикающем и подмигивающем виде; она была омерзительна. Я чувствовал глубокое отвращение к женщинам, земле, людям, самому себе, мостовой, по которой шел, к разгорающимся в темноте огонькам папирос. Город был как будто весь облит сероводородом, замазан грязью, населен идиотами. «Я не хочу этого,— твердил я, десятый раз переживая мелочи своего унижения.— Это не жизнь, а пытка; я всегда страдал, томился, грустил, я не жил, где конец этому?» Смерть, умереть сгоряча, сразу, пока кажется немыслимым жить. «Смерть»,— повторил я, прислушиваясь к этому пустому, как скелет, слову; это было безносое, выеденное, таинственное соединение букв, обещавших успокоение.

Я осмотрелся; незаметно, в горячке стыда и ярости, я прошел половину города; передо мной уходил к небу синий туман Невы; чернели судовые мачты; холодные отражения огней разбивались в светлую чешую волнением от быстро снующих пароходиков. Пахло свежей рыбой н сыростью. Я ступил на печальную дугу моста, лелея темные мысли, развивая и укрепляя их. Я думал, что все бесцельно и скоропроходяще, что слава, любовь, радость и горе кончаются в гробу, что миром правят черт и растительная клеточка.

Остановившись над серединой реки, я посмотрел вниз. Там невидимо текла глубокая холодная вода — и мне захотелось погрузиться в равнодушную нежность ее и тайно приобщиться к величавому покою чистой материи. Я чувствовал себя в душной, накуренной комнате подошедшим к бьющей в лицо холодной форточке; в черном кружке ее горела маленькая звезда — смерть.

— Умирать, так умирать! — сказал я и, поняв, что решился, был удивлен искренно: это оказалось простым. Механическое представление о прыжке, коротком ощущении сырости и тьме.— Женя! — сказал я,— я ведь тебя люблю. Ей-богу.

Затем, вспомнив, что самоубийцы в критический момент видят ряд картин золотого детства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и светлое, а в голову мне назойливо лезло воспоминание о том, как я однажды прищемил кошке хвост и как меня за это били скалкой по голове.

Я перегнулся через перила, повиснув на них, как мешок, от страха и слабости; озяб, наклонил голову, повалился в пространство, пронзительно закричал, исступленно желая, чтобы меня вытащили, звонко ушел в воду и задохнулся.

Не знаю — прежде, сейчас, или это еще случится,— у меня осталось смутное ощущение водяных, влекущих в неизвестное вихрей, словно все тело вбирает и высасывает большой рот, полный холодной жидкости.

— Встань! Держись за стол! Ну, не падай! Да ну же, черт!

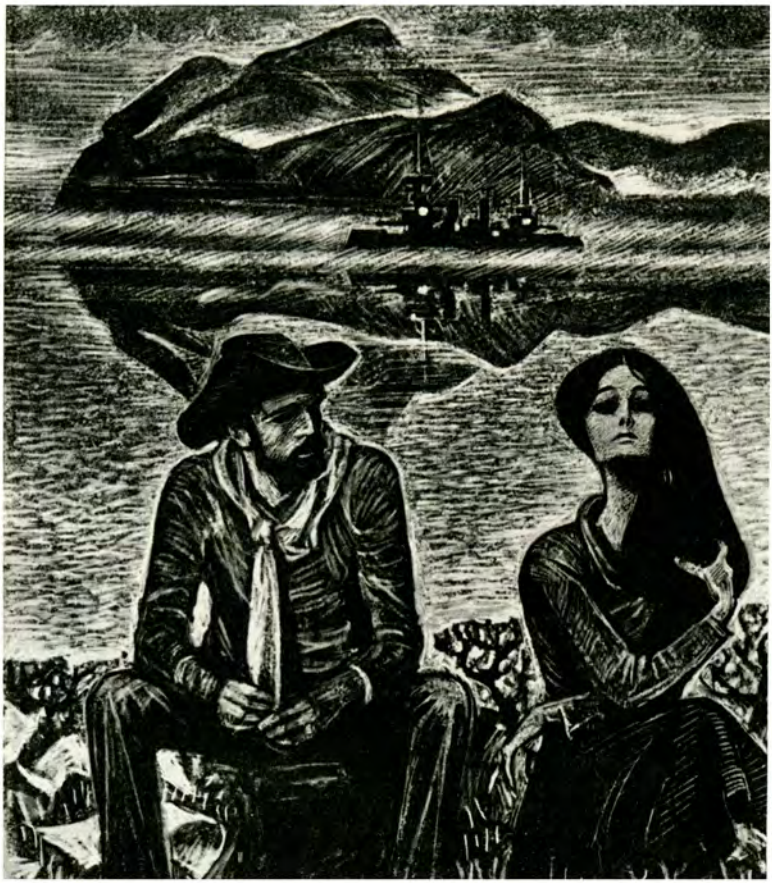
Сильная рука, стискивая мне плечо, качалась вместе со мной. Я чувствовал тоску, слабость и заплакал.

Чувствуя, что все кружится, я повалился навзничь; было тепло и мягко.

Я долго не открывал глаз; вероятно, я спал; как бы то ни было, приподняв веки, я почувствовал себя значительно лучше. Помещение, где я был, имело странный для меня вид; удивившись и рассмотрев окружающее, я стал припоминать случившееся, вспомнил — и весь затрясся от ужаса. Я был жив.

У длинного стола, примыкающего одним концом к деревянному столбу, сидел, положив голову на руки и пристально следя за мной, человек в затасканном матросском костюме, рыжий, как пламя, с блестящими глазами и белым лицом. Я сел; кругом по стенам тянулись в два яруса штук десять матросских коек; невдалеке круто уходил вверх, к люку, узкий трап. Железный фонарь, покачиваясь над головой матроса, бросал вокруг унылый, лижущий свет. В полукруглое отверстие люка, прикрытого чем-то вроде суфлерской будки, чернела в синей тьме неба пароходная труба. Матрос встал.

«ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ»



«СИНИЙ КАСКАД ТЕЛЛУРИ»

— Где я?

Мой голос был слаб и робок. Человек подошел вплотную, потрепал зачем-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, мое спасение не доставляло ему ни малейшего удовольствия: зевнув, он сел против койки на скамью, вытянул ноги и забарабанил по коленкам мохнатыми пальцами.

— Где вы? — сказал, наконец, он.— Хотел бы я знать, где были бы вы теперь, если бы не были здесь. Я выловил вас ведром и кошкой. Но вы тяжеленьки: право, я думал, что тащу рождественскую свинью. Вот выслушайте — я сидел на баке, в полнейшем одиночестве. Наши гуляют; в машинной команде дрыхнет один кочегар, это верно, но он дрыхнет. Увидев труп, то есть вас, я опустил на шкоте ведро — первое, что попало под руку; вы очень быстро неслись по течению и надо было уменьшить ход Ведро поймало вас поперек туловища; тогда, привязав веревку, я сбегал за кошкой и разорвал вам костюм, но в результате все-таки вытащил. Интересно вы висели над водой, когда я вас вытаскивал,— как рак: ноги и усы вниз, ей-богу! Поддержитесь!

Опустив руку под стол, он вытащил откуда-то бутылку водки и ткнул ею меня прямо в лицо. Я отпил с чайный стакан, задохнулся и разгорелся. Драгоценная жизнь забушевала во мне; рассыпавшись в выражениях самой горячей признательности и долго, усиленно всматриваясь в простое лицо этого славного малого, я взял в обе руки его волосатую клешню и прослезился. Он посмотрел на меня сбоку, встал, исчез где-то в углу и возвратился с суконными брюками, парусиновой блузой и башмаками. Все это было в одной его руке, а другой он держал закуску: тарелку с яйцами и рыбой.

— Мордашка,— сказал он, нахлобучивая мне на голову скверный картуз,— надень все это; потом мы выпьем и выслушаем твою историю. Влюблен был, а?

Из ящика, где мельком я увидел сверток полосатых фуфаек, горсть раковин и трубку, он извлек еще две бутылки. Водка, по-видимому, составляла в его обиходе нечто нужное и естественное, как, например, воздух или здоровье.

— Люблю моряков! — воскликнул я.— Бравый они народ!

— Твоя очередь! — сказал он, чокаясь со мной круглой жестяной посудиной.— Я этих рюмок не признаю.

Растроганный еще более, я полез целоваться. Мое положение казалось мне дьявольски интересным; я сдвинул картуз на бок и расставил локти, подражая спасителю.

Он говорил благодушно и веско; через полчаса я жестко жалел его, так как оказалось, что у него в Сингапуре возлюбленная, но он не может никак к ней попасть, высаживаясь в разных портах по случаю ссор и драк; большую роль играло также демонстративное неповиновение начальству; таким образом, попадая на суда разных колоний (с места последней высадки), он кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы к предмету своей души. Это продолжалось пять лет и было, по-видимому, хроническим состоянием его любви.

— Монсиньор! — сказал он мне, держа руку на левой стороне груди.— Я люблю ее. Она, понимаете ли, где-то там, в тумане. Но миг соединения настанет.

Я выпил еще и стал рассказывать о себе. Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, острой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворенностью самых будничных испытаний. Я рассказал ему все, все, как на исповеди, хорошим литературным слогом.

Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью, и, сверкая глазами, сказал: — Почему вы не утонули? — затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня, как паршивую собаку (его собственное выражение), и отправился за револьвером.

Сначала я ничего не понял; затем, видя, что этот страшный, неизвестно почему ощетинившийся человек деятельно роется в ящике, я, изумленный до испуга, бросился вон. Выскакивая на палубу, я услышал, что подо мной внизу изо всех сил бьют молотком по дереву: пьяное чудовище стреляло по моим ногам, превращая таким образом акт милосердия в дело бесчеловечной травли.

На этом рукопись Лебедева и оканчивалась. Из устных с ним разговоров я узнал потом, что, прожив ос-

тальные деньги, он пережил все-таки в заключение страшную и яркую фантасмагорию.

Дело было неподалеку от дач, в лесу. Золотистый лесной день видел начало пикника, в котором, кроме Лебедева, участвовали доступные женщины, купеческие сынки и литературные люди в манишках. Загородная оргия с кэк-уоками, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась к ночи. Все разбрелись, а Лебедев, или, как он стал сам называть себя, Гинч, в темном состоянии мозга заполз в кусты, где проснулся на другой день самым ранним утром, к восходу солнца.

Сонные видения мешались с действительностью. Он лежал на обрыве, край которого утопал в светлом утреннем тумане; вокруг свешивалась зелень ветвей, перед глазами качались травы и лесные цветы. Гинч смотрел на все это и думал о девственной земле ледниковой эпохи. «Первобытный пейзаж»,— пришло ему в голову. Думая, что грезит, он закрыл глаза, боясь проснуться, и снова открыл их. На обрыве, чернея фантастическими контурами, шевелилось что-то живое, напоминающее одушевленное огородное чучело. У этого существа были длинные волосы; кряжистое, тяжеловесное, оно передвигалось, припадая к земле, а выпрямляясь,— пересекало небо; тень урода ползла к лесу.

Выкатилось петербургское солнце, заиграло в траве. Гинч думал о чудовище, рождающемся из недр земли; первобытным человеком казалось оно ему, девственным произведением щедрой земли. Наконец, Гинч проснулся совсем, встал, озяб и узнал окрестность. Невдалеке желтели дачные домики.

Чудовище подошло ближе. Это был безногий, с зверским лицом, калека-нищий, изодранный, голобрюхий и грязный.

— На сотку благословите, барин,— сказало отрепье. Гинч порылся в карманах — там было всего две копейки: он отдал их и побрел к станции.

Гинч заходил ко мне все реже и реже; ему, видимо, не нравились мои расспросы о некоторых подробностях. Однажды он сообщил, что приезжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнул, но ничего не сказал.

Затем он исчез; слился с болотным туманом дымных и суетливых улиц.

ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

I

ПРИЮТ

Однажды, путешествуя в горах и достаточное количество раз скатившись на одеялах по гладкому, как стекло, кварцу, я, разбитый усталостью, остановился в маленьком горном кабаке-гостинице, так как эти учреждения пустынных мест обыкновенно соединяют приятное с полезным. Мой проводник, Хозе Чусито, давно уже, завязав шею платком, жаловался на кашель и выразительно смотрел на меня, делая как бы невзначай губами сосущие движения. Так как эта манера намекать вошла у него в привычку и действовала раздражающе, я, посмотрев на него благосклонно, сказал:

— Хозе, нам надо переночевать и поужинать.

Он перестал кашлять. Одолев еще несколько винтообразных тропинок, иногда падающих почти отвесно к головокружительным выступам, очерченным седым туманом провалов, мы вышли на плоское расширение почвы, и в наступающих сумерках блеснуло нашим утомленным глазам несколько тусклых огней, равных по силе впечатления коронационной иллюминации. Сняв ружья, мы подошли к настежь распахнутой двери небольшого, сложенного из дикого камня здания, и запах жилья радушно защекотал наши носы, чрезмерно облагороженные возвышенными ароматами горных трав и снегов.

У грубо сделанного гигантского очага сидело большое общество. Это были, как мог я определить, бегло осмотрев всех, охотники, пастухи, рабочие с соседних имений и случайные посетители, подобные нам. Пестрые, вызывающие костюмы этих людей состояли из полосатых шерстяных одеял, перекинутых через плечо или лежащих на коленях владельцев, сорочек из бумажной ткани, широких поясов и брюк, обшитых во всю длину бахромчатыми лампасами из перьев или конского волоса. Широкополые зонтики-шляпы делали все лица похожими друг на друга неуловимой общностью выражения, придаваемого им именно таким головным убором. У некоторых, оттягивая пояса, висели на бедре в кожаных кобурах револьверы, но были и старинные пистолеты; обладатели

этого рода оружия, как я убеждался неоднократно,— превосходнейшие стрелки. Всего было четырнадцать человек, без нас; трое из них лежали на животах, головами к огню, изредка нагибая голову, чтобы хлебнуть из стоящего перед губами стакана; двое беседовали у стойки; остальные, сидя на табуретах, вернее, обрубках дерева, усердно молчали, скрестив на груди руки и дымя папиросами.

Очаг жарко пылал, призрачно освещая сухие, полудикие лица и пристальные глаза; кирки и лопаты, брошенные в углу, сверкали железом; на стене, за стойкой, над головой погруженного в бухгалтерию хозяина — человека невзрачного, с толстыми губами и серьгой в ухе— висели ружья. Хозяин старательно муслил карандаш и чесал за ухом. Хозе остался с мулами за порогом, и я слышал, как нетерпеливо звенели бубенчики голодной скотины, без сомнения, в данный момент равной нам по сходству желаний. Обратив на себя общее внимание, так как я был одет по-своему, я подошел к стойке и спросил о ночлеге.

Цена оказалась высокой, что, по-видимому, целиком определялось фантазией содержателя этой гостиницы. Кивнув головой, но отомстив толстым его губам взглядом великодушного снисхождения, я вышел, сопровождаемый конюхом. Устроив и накормив мулов, мы возвратились под крышу нашего монрепо.

Насколько остро было привлечено внимание всех моей особой минут десять назад, настолько же теперь оно улетучилось, и каждый как бы отсутствовал. Мои скитания приучили меня к сдержанности. Я и Хозе, взяв бутылку вина, сели, разостлав плащи, к стене; вино, кусок жареной свинины и грубый хлеб заставили нас повеселеть, а Чусито, набив рот, пустился в длинное рассуждение о высоте Сениара, уверяя, что это величайшая гора в мире, и дух ее, некий Педро-ди-Сантуаро, родственник богатого скотопромышленника, украл из горы все золото с целью выкупить душу своей жены, осужденную томиться в геенне за продажу распятия прощелыге-язычнику.

Легенду эту я слушал в полудремоте, разнеженный едой и вином, думая, в свою очередь, о пылком воображении Хозе, готового за бутылку вина лгать целую ночь. «Педро-ди-Сантуаро,— повторял он, не забывая свой

стакан ни на одну минуту,— отправил сто кораблей с золотом в ад, но сатана потребовал больше во столько раз, во сколько Сениар больше ванильного зернышка. Тогда Педро...»

Он продолжал дальше, но здесь человек, вошедший одновременно с произнесенным Хозе именем Педро, как бы окликнутый, повернулся и внимательно осмотрел нас с готовностью отвечать. Я невольно рассмотрел его пристальнее, чем других, как будто раньше видел его и говорил с ним. Таково во многих случаях впечатление национального типа, хорошо изученного, но встреченного среди чуждого национальности этой яркого и утомительного разнообразия.

Я заранее описываю наружность этого человека, хотя он и не занимает еще в рассказе своего места. Лицо, изрытое оспой, с глазами, на первый взгляд подслеповатыми, могло потягаться мужественностью и резкостью выражения с любым из присутствующих: что касается глаз, то они были малы, далеко поставлены друг от друга и почти лишены бровей; это-то и делало их как бы слабыми в выражении. Спустя секунду я нашел их живыми и ясными. Круглая русая борода скрадывала подбородок; небольшие усы, открывая край верхней губы, странно, как и борода, выделялись светлым своим цветом на кофейном загаре лица. Он был в пестрой грубой одежде, вооружен короткоствольным штуцером, двигался лениво и мягко.

Я встал, так как отсидел ногу, и сделал несколько шагов к очагу; нога, как неживая, подвертывалась и ныла. Я выругался по-русски, растирая колено. В тот же момент неизвестный с улыбкой сильного удивления стукнул ружьем о пол и, значительно смотря на меня, повторил слова, произнесенные мной, прибавив: «Кто вы?» Это он сказал тоже по-русски, без малейшего иностранного акцента.

— Я русский,— ответил я, вытаращив глаза, и назвал себя.

Он продолжал пристально смотреть мне в глаза, затем нахмурился и громко сказал:

— Я — здешний и не понимаю вас.

Сказав это, он отошел и скрылся; тотчас же отошли от меня и любопытные, привлеченные звуками неизвестного языка.

«Это русский»,— сказал я себе, интересуясь соотечественником в данный момент более, чем новым видом птицы ара, открытым мною две недели назад.

Хозе дернул меня за плащ.

— Еще одну бутылку — и спать? — вопросительно заявил он нежным, как флейта, голосом.

Я разрешил ему делать все, что он хочет. Затем, выйдя из гостиницы, осмотрелся и подле дверей увидел сидящего на каменистом выступе почвы неизвестного русского.

Он был, казалось, в глубокой задумчивости, но, услышав мои шаги, обернулся с поспешностью человека, привыкшего быть настороже в этих опасных природою и людьми местах. Я сказал:

— Встретить мне вас и вам меня тут — это не совсем то же, что на углу Дворянской и Спасской. Я думаю, мы могли бы поговорить с интересом.

— Я совсем не стал бы говорить с вами,— возразил он, помедлив (и страннее седых волос у юноши мне было слышать подлинную русскую речь из уст туземца темной профессии),— если бы не подумал наедине кой о чем.

— Вы эмигрант?

— Нет.

Я помолчал, ожидая, в свою очередь, известных вопросов. Неизвестный молчал тоже, и молчание наше, поглощенное сонной тишиной колоссальной громады гор, тучами окружавших ночную долину, приняло неприятный оттенок. Тогда, желая из самолюбия поставить на своем, я сделал на завтра предсказание погоды самое пустое в смысле дождя и бури. Он возразил мне, основываясь на местных приметах, совершенно противное. Я согласился, прибавив, что местное вино плохо. Он обошел этот вопрос молчанием и похвалил лошадей. Я сделал скачок к туземным нравам и женщинам. Он выразил надежду, что они лучше, чем кажутся. Я коснулся политики. Он заметил вскользь, что люди наивны. Я заговорил о Европе, он — о России. Здесь я тихо подкрался в обход и нанес ему подлый удар сзади, сказав, что он не похож на русского.

И лишь только после того, как весь этот, совершенно в русском духе и вкусе, разговор привел нас окольными путями к особе неизвестного человека, получил я возможность, все еще добивая его слегка искусными репли-

ками, выслушать глубоко-человеческую повесть об одной из немногих побед, побед блестящих и бескорыстных, подобных войне мысли с телом, и беглые заметки мои впоследствии превратились в этот рассказ, переданный отрывочно и скупо, но с теми моментами, для которых и растут уши на голове слышащих.

II

ЧИНОВНИК

Я служил столоначальником в Казенной Палате. Меня звали Петр Шильдеров. Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности — казенных учреждений, тянувшихся по берегу реки от белого, с золотыми луковками, монастыря до губернской тюрьмы; два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырехугольниками старинных торговых рядов с замка́ми весом до двадцати фунтов. На дворах выли цепные псы Малолюдные мостовые кое-где проросли травкой. Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, напоминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой — в сугробах, летом — в пыли. Вокруг города тянулись выгоны — сухое болото.

Я прослужил в этом городе пять лет и на шестом запил. Иногда, сидя в так называемом на губернском языке «присутствии», т. е. находясь на службе, я замечал, что монотонный шелест бумаги и скрип перьев, постепенно согласуя звуки и паузы, сливаются в заунывную мелодию, напоминающую татарскую песню или те неуловимые, но гармонические мотивы, которыми так богат рельсовый путь под колесами идущего поезда. Тогда, разрушая унылое очарование, я шел к архивариусу и в полутемном подвале пил с ним водку, стоявшую постоянно за шкапом. Жена прихварывала. Возвращаясь со службы, я часто заставал ее с уксусным компрессом на лбу, читающей лежа старинные бытовые романы, в которых, как выражалась она, нравятся ей «правда, подлинность, настоящая жизнь». Мои дети, мальчик и девочка, робкие и сварливые существа, хныкали и жаловались друг на друга так часто, что я почти не замечал их присутствия. По вечерам, если это было летом или весной, я сидел на

бульваре, смотрел на молодых чиновников, бросающих с обрыва в реку камешки, и думал.

Когда я спросил себя в первый раз — «что я такое — животное или человек?» — меня охватил ужас. Вопрос требовал ответа прямого и беспощадного, со всеми вытекающими отсюда заключениями. Мысль буйствовала, как бык на бойне, и я отдался ее возмущенной власти. Я провел две недели в сказочном состоянии цыпленка, вылезающего из скорлупы. Я думал на ходу, во сне, за обедом, на службе, в гостях. Результатом этого огромного напряжения души явился в один прекрасный день вывод: «Я должен стать другим человеком и жить другой жизнью».

Чтобы определить вполне и точно, что̀ именно для меня прекрасно и ценно, что безобразно и совершенно не нужно,— я взял противоположности, вернее, контрасты, приняв как истину, что все, составляющее мою жизнь теперь, плохо. Разумеется, я сделал частное определение каждой стороны действительности, так как в целом сила желаний, когда я старался представить новую жизнь, являла воображению моему лишь светлый круг горизонта, полного призраков. Закон контраста равно помог как моей мысли, так и воле, и исполнению мною задуманного.

Итак, я находился во власти непреодолимого желания, лишенного яркой цели. Мне следовало узнать, чего я хочу. Я взял окружающее и, как уже сказал выше, противопоставил каждой стороне его мыслимый, возможный в действительности же, контраст.

Согласно этому порядку исследования душевного своего состояния, я выяснил следующее. Моя жизнь протекала в сфере однообразия — ее следовало сделать разнообразной и пестрой. Я жил принудительными занятиями. Полное отсутствие принуждения или, в крайнем случае, работа случайная, разная — были мне более по душе. Вместо унылого сожительства с нелюбимой семьей я хотел милого одиночества или такого напряжения страстной любви, когда немыслимо бодрствовать без любимого человека. Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин; их всех радостно променял бы я на одного, с неожиданными поступками и речами и психологией, столь отличной от знакомых моих, даже соотечественников, как юг разен северу.

Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки, берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку. Против известного, обычного для меня с момента рождения, следовало поставить неизвестность и неизведанное во всем, даже в природе, устранив все лишения чувств.

Размыслив над всем этим, я увидел, что решил первую треть задачи, ответив на вопрос «что?»; следующий — «как?» — должен был находиться в строгом соответствии с необычностью мной задуманного; отсутствие смягчающих переходов и всего, что может ослабить впечатление конечного результата, являлось необходимостью. Сеть, опутавшую меня, я должен был не распутать, а разорвать. Если к арестованному будет ходить каждый день начальник тюрьмы, твердя: «Скоро вас мы отпустим»,— несчастный лишится доброй половины грядущего удовольствия — выбежать из клетки на улицу. Таким образом, я хотел стремительного и резкого, по контрасту, освобождения.

Теперь — это, может быть, самое главное — вы узнаете, почему я живу здесь. Мальчик, мой сын, принес книжку из школьной библиотеки — то были охотничьи рассказы, написанные языком невыразительным, но простым, в расчете на самостоятельную работу воображения юных читателей. Жена моя сидела в другой комнате, занимаясь выводкой пятен на шерстяной кофте. Я был один. Скучая и утомясь овладевшими мною мыслями, я присел к столу, где лежала забытая уснувшим мальчиком книга, и стал ее перелистывать, рассматривая старые раскрашенные картинки, оттиснутые грубо, так, что смешивались узенькими полосами границы красок, и вскоре задумался над одной из этих картинок так, как задумываются после высказанной кем-либо случайно фразы, имеющей однако для вас известный смысл наведения.

Знакомо ли вам очарование старинных рисунков? Секрет их особого впечатления заключается в спокойной простоте линий, выведенных рукой твердой, лишенной сомнений; рисующий был уверен, что изображаемое подлинно таково; с наивностью, действующей заразительно,

руководясь лишь главными зрительными впечатлениями, как рисуют до сих пор японцы, художник изображал листву деревьев всегда зеленой, стволы — коричневыми, голую землю — желтой, камни — серой, а небо — голубой краской; такое проявление творчества, данное человеком, по-видимому, бесхитростным и спокойным, действует убедительно. Несокрушимая ясность линий почти трогательна; прежде всего вы видите, что рисунок сделан с любовью.

То, что рассматривал я, было иллюстрацией к одному рассказу, с подписью: «Горные пастухи в Андах». В темно-коричневом с одной стороны и светло-желтом — с другой, горном проходе, в голубом воздухе, под синим небом, по крутой горной тропинке, поросшей ярко-зеленой травой, спускалось к тоже очень зеленому лугу стадо лам, а за ними, верхом на мулах, в красных плащах, лиловых жилетах и желтых шляпах ехали всадники с ружьями за спиной. На заднем плане, нарисованная голубым и белым, виднелась снеговая гора. На сером уступе скалы сидел красно-синий кондор.

Я остановился на этом рисунке долее, чем на остальных. Именно смутное очарование представлений о загадочном, грандиозном и недостижимом владело мной; рисунок этот как бы перебрасывал мост к огромному миру неизведанного, давая в скупом и грубом намеке простор мысли. Кроме того, в раскрашенном кусочке бумаги было нечто, говорящее мне безмолвной речью ассоциаций. Так же, как человек, остановивший, например, внимание свое на слове «кукушка», неизбежно представит в той или иной последовательности крик этой птицы «ку-ку!», лесную тишину, обычай загадывания, подумает о суеверном чувстве и суевериях,— я мысленно перенесся к загадочной для меня стране, размышляя о роскошной растительности, покрывающей склоны гор, о малой населенности тех мест, о неожиданностях природы, вечном горном молчании, опасностях и лишениях, неизвестном языке жителей, обычаях их и характере, и скоро увидел, что здесь для меня нет ничего известного, что я в размышлениях и ассоциациях своих отрезан от этой страны полной невозможностью представить себе что-либо наглядно. Я был здесь в области общих слов и понятий: гора, лес, человек, река, зверь, дерево, дом и т. п. Таким образом, я нашел неизвестное по всем направлениям и в той мере, в

какой это возможно, вообще на земле, в условиях трех измерений. Мне предстояло наполнить отвлеченные мои представления содержанием живым, ясным и ощутительным.

Я встал и начал ходить по комнате, продолжая мысленно смотреть на рисунок. Он вскоре исчез; я видел полное вечерней прохлады ущелье, игру света на выщербленном камне откосов, глубокую пасть долины, сверкающий обрез ледника, похожий на серп луны, тени огромных птиц, скользящие под ногами, и всадников. Они проезжали узкой тропой. Лиц я не видел, но чувствовал их суровыми и спокойными. Мулы шли тихо, позванивая бубенчиками; этот отчетливый в тишине звон был ясен и чист. Из-под копыт, шурша, скользили камешки и падали, подскакивая, в долину. «Скоро наступит ночь,— подумал я,— но долго еще в тишине и прохладе будут звенеть бубенчики, фыркать мулы и шуршать камни». Невыразимая тоска овладела мной, как будто чудесной силой был вырван я и брошен из этих мест, полных красоты, величия и свободы, в рабство и нищету.

Отныне я находился в плену своего желания быть там, куда потянуло меня всей душой и где я нашел вторую, настоящую родину. У человека их две, но не у всякого; те же, у кого две, знают, что вторую нужно завоевать, тогда как первая сама требует защиты и подчинения.

III

РАЗРЫВ

Два дня спустя я сидел у ворот на лавочке. Был теплый июльский вечер. Против нашего дома возвышалось здание арестантских рот, из его решетчатых окон пахло кислой капустой, кашей и постным маслом. В соседнем переулке мальчишки играли в бабки. С поля показалось стадо коров; мыча, махая хвостами, в клубах сухой пыли лениво двигались искусанные оводами животные, распространяя терпкий запах навоза и молока. Коровы сами заходили в дворы, стадо их постепенно таяло, а пастух на ходу без всякой надобности трубил в рожок, проворно шлепая босыми ногами.

Солнце село, но было еще светло. Наступил час, когда жители Косой улицы выходили к воротам и, сидя на

лавочках, грызли в идиллическом настроении семечки, или репу, или же «жали масло», т. е. сидящие по краям старались стиснуть одного из средних так, чтобы у него затрещали кости и он, не снеся маслобойства, выскочил. Хорошее настроение, созданное кротким вечером и теплом, достигало зенита, почти умиления, в тот момент, когда после поверки арестанты в исправительном заведении становились на молитву. Они пели «Достойно», «Отче наш» и другое сильными, хорошо спевшимися голосами двухсот крепких мужчин. Торжественные звуки молитвенного пения создавали в тишине вечера настроение благости и покоя.

Когда арестанты пропели все и внутри мрачного здания раздались зычные выкрики надзирателей, я, вернувшись к постоянным своим мыслям, почувствовал недовольство собой. Мне показалось, что я всегда буду жить так, как теперь, и ни на что не осмелюсь, но тут же представил, как, не медля ни одного мгновения, встаю и ухожу навсегда. Я так ясно вообразил это, что взволновался. Мною овладел нервный трепет, предвестник решений. Прошло еще несколько минут подземной работы мысли — и тут как бы повязка упала с моих глаз: я увидел, что я свободен, ничем не связан и волен распоряжаться собой.

Я встал и более не колебался. Жена с детьми ушла к знакомым «подомовничать» — обычай нашего города. Это значит, что хозяева где-нибудь в гостях и просят знакомых побыть в их квартире, присматривая за детьми и прислугой. В сумеречных комнатах было тихо и грустно. Я открыл комод, взял сто рублей, испорченные золотые часы, паспорт и вышел на улицу.

Разумеется, все это были еще приготовления. Ничто не мешало мне вернуться и положить деньги на место. Еще не был отрезан путь отступления. Даже от пароходной пристани я мог повернуть назад. Сознание этого доставило мне несколько унылых минут. Я боялся внезапной слабости, малодушных и казуистических размышлений, но, к счастью, увидел, что нахожусь в лихорадочном состоянии беглеца, в азарте. Первые шаги мои были медленны и тревожны; со стороны я мог показаться человеком, гуляющим от безделья.

Да, первая сотня шагов по направлению к пристани оказалась самым трудным и больным делом. Я знал уже,

что не возвращусь. Чувство оторванности я изведал тотчас, как вышел на улицу, но было в нем нечто окрыляющее и безразличное. На углу я остановился и обернулся. За черемухой серела крыша оставленного мной дома. И я пошел далее, ускоряя шаги, к вечернему пароходу.

За три следующих месяца я испытал, видел и пережил столько, что иному хватило бы на всю жизнь. Через границу я перебрался удачно, хотя и слышал, как свистят пули линейных винтовок. Я тщательно берег деньги, но их было так мало, что скоро не стало совсем. Я помню долгие дни лишений, голода, ночлеги в трущобах и под открытым небом, томительные пешие переходы в знойные дни, полицейские участки, милостыню, окурки, подобранные на тротуарах, краденые плоды, случайную работу на виноградниках. Все это мне мило и радостно. Наконец я увидел светлые земли юга, в цветах и торжественной тишине синего неба, и славную даль морей; услышал, как стучит винт корабля, как звенит летний прибой, гудит мистраль и гулко воет сирена, струя белый пар содрогающихся от безделья котлов.

Я поступил матросом, но рассчитался, как только пароход бросил якорь в устье величайшей реки мира. Искатели каучука на специальном промышленном пароходе увезли меня далеко от океана. Я работал с неграми, подсекая в ядовитых болотах стволы, чтобы извлечь несколько капель драгоценного сока, быстро твердеющего на воздухе. В этих сырых лесах царят вечные сумерки, опасности и болезни; растут без солнца бледные молочайники, яркие цветы паразитов, гигантские папоротники и все, что незнакомо нашему взгляду: растительность странных, капризных форм чудовищной силой размножения глушит отравленную перегноем землю.

Я заболел лихорадкой, валяясь среди негров в изнеможении и бреду. Каждый день, после захода солнца, на огненных от костра полянах прыгали, сверкая белками, под звуки ужасной музыки, мои чернокожие приятели; неизменное их добродушие и веселость были воистину удивительны. В часы просветления я внимательно смотрел на их дикие па, вспоминая подсмотренный мною однажды хорошенький танец кроликов, черных, как пуговицы. Но тусклый день снова приносил жар и бред, и незаслуженные человеком мучения, и тысячи огненных солнц преследовали меня, в кайме оранжевых змей, плот-

ных и жирных, касающихся воспаленного моего лица тяжелой болью озноба. Я умирал, но не умер.

Простите, дорогой — не соотечественник, дорогой иностранец,— прошло десять лет. Но я умолкаю. Вы слышите — за дверью спор, шум, все кричат, бьют в ладоши; как будто нам нужно встать? Посмотрим, в чем суть веселья!

IV

Мы встали, а навстречу нам Хозе Чусито вышел, покачиваясь. Зевая, он посмотрел на звезды, потом, заметив меня, сказал преувеличенно твердым голосом:

— Вы прогуливаетесь? Я хотел спать, да мне помешали. Подбивают меня в партию отыскать новый проход. Случилось несчастие. Это для нас важно, ужасно важно. Сто пятиэтажных домов свалились на Красную седловину, иначе говоря, сударь, такого обвала старики не запомнят. Торговый проход разрушен. Погонщики в отчаянии, а те, которым надо по ту сторону, рвут и мечут. Так вот, я говорю, подбирают партию за хорошие деньги поискать свежую тропочку. Торговцы, которые покрупнее, не пожалеют золота. Вы как думаете?

— Надо-быть, так,— сказал я, посмеиваясь. Удерживать Хозе не было смысла, его, видимо, соблазняла мысль, оставив меня, поискать счастья более ощутительного, чем те небольшие суммы, которые давал ему я. Он все равно удрал бы, сославшись из вежливости на горло.— Желаю тебе успеха.

— Как! — горестно воскликнул Хозе.— Я более вам не нужен? Впрочем,— торопливо прибавил он, опасаясь с моей стороны выражений растроганности и признательности,— впрочем, вы не раскаетесь. Я дам вам такого — такого человека, что вы запоете. Это клад, а не человек. Такого нигде не сыщешь. Мозговатее парня еще не было.

Я перебил его восторженные описания чудо-парня, и мы втроем подошли к стойке. Возле нее сгрудилась, облокотившись и подперев ладонями головы, толпа заинтересованных проходом людей; каждый вставлял замечания, подавал советы, расписывал самые отчаянные маршруты цветами радуги. То волновалась, жестикулируя и крича, молодежь; люди серьезные торопливо жда-

ли, когда им дадут открыть рот. Эти внушительно и вкрадчиво толковали о холоде на высоте тринадцати тысяч футов, о теплой одежде и умной нетерпеливости. Я слушал их одним ухом; мой удивительный собеседник, «русский»,— или как было его назвать теперь? — сунув руки в карманы, смотрел на новое для меня лицо. делая вид, что задумался и посматривает рассеянно.

Это была женщина лет восемнадцати-двадцати, с немного вздернутым носом, насмешливой тоской глаз и маленьким ртом. В смуглом ее лице светило упорство, способное перейти в ненависть. Назвать ее красивой было нельзя, хотя природная грация маленькой, крепкой фигуры и бессознательное кокетство жестов вызывали пристальную улыбку. Так же, как и другие, она, подперев крошечными руками непричесанную голову, слушала разговор мужчин. Поза ее и выражение лица были воплощением важности. Я улыбнулся.

Почувствовав упорный взгляд сзади, женщина обернулась.

— А, Диас.— равнодушно произнесла она.— Вернулся?

— Только и делаю, что ворочаюсь,— сказал недавний мой собеседник.

— Лучше бы уходил все время.

— Вот что, Лолита...

Она вздохнула, выпрямилась и, внимательно осмотрев с ног до головы Диаса, перешла к другому концу стойки, где, погрузив снова лицо в растопыренные около ушей пальцы, принялась слушать, морща лоб, что говорят погонщики.

Хозе и Диас замешались в толпу. Я, обессиленный усталостью, лег на разостланное мне благодарным Чусито одеяло и, сунув под голову седло, стал дремать. Новые, неизведанные доныне ощущения и соображения преследовали меня. Я думал о таинственной власти имен, пересекающих наше сознание полным превращением человека, уничтожением расы, крови, привычных ассоциаций. Диас есть Диас. Никакими усилиями воображения не мог я представить его русским, но, может быть, и не был он им, принадлежа от рождения к загадочной орлиной расе, чья родина — в них самих, способных на все.

Наконец я уснул беспокойным дорожным сном и пробудился как от толчка. Может быть, чье-либо резкое

восклицание было тому причиной. Полузакрытыми глазами я наблюдал некоторое время людей, толпящихся вокруг стойки, Лолиту и Диаса. Он снова подошел к ней, сказав:

— Я, пожалуй, отправлюсь с ними.

— Что ж? Заработай...

— Очень долго,— возразил он нерешительно.— Ты же знаешь, почему.

— Не приставай,— сказала Лолита.— Что ты ходишь вокруг меня? Сядь. Лучше слушай, что говорят.

— Лолита!

— Ну?

— Слушай...

— Слушаю.

— Ты мне ничего не скажешь?

Она посмотрела на него искоса, неохотно и хмыкнула. Диас уныло повернулся в мою сторону, прищуриваясь, так как блеск огня мешал ему видеть.

Я снова уснул. Меня разбудил Хозе. С первого же взгляда я понял, что человек этот собирался разыскивать «тропочку». Все на нем было подвязано, укреплено, подтянуто и застегнуто. В хижине, кроме нас, никого не было. Утренние горы смотрели в открытую дверь сияющими провалами и рощами, а на земляном полу дрожал свет.

Уступая соболезнующему тону Хозе (он смотрел на меня с жалостью, как нянька, покидающая ребенка), я подтвердил еще раз, что нисколько не сержусь на него, и вышел на двор. В загородках, у привязи, покорно шевелили ушами нагруженные вьючной покладью мулы; несколько вооруженных людей осматривали упряжь, торопливо дожевывая скудный завтрак. Я подошел к Диасу.

— Куда направитесь вы? — спросил он.

Я сказал.

— Вероятно, мы не увидимся,— заметил он.— Прощайте!

Обдумав вопрос, который вертелся у меня на языке еще вчера, я сказал:

— Как вы чувствуете себя в этой стране?

— Очень хорошо и приятно.

Сняв шляпу, он поклонился, улыбнулся и отошел. Через минуту стали выводить мулов; животные, сопровождаемые каждое одним человеком, огибали дом, тихо зве-

ня бубенчиками и фыркая. Диас замыкал шествие. Караван вытянулся гуськом, и передние начали уже спускаться в балку, поросшую черно-зеленым кустарником. Девушка, которую я видел вчера, помчалась сломя голову к арьергарду и, догнав Диаса, пошла рядом с ним, положив ему на плечо руку и что-то рассказывая. Затем, в виде прощальной ласки, она запустила пальцы в волосы молодого человека и стала трепать их, мотая покорно улыбающейся головой. Диас, понятно, не сопротивлялся.

Она не пошла вниз, а остановилась на обрыве, смотря, как, перевалив балку, взбираясь на косогор, шествуют по крутой, среди скал, известковой тропе осторожные мулы. Вернувшись, она прошла мимо меня, едва заметив мое присутствие.

Я обдумывал рассказ Диаса. Он ушел, оставив мне тихое волнение радости. Люди, подобные этому человеку, не одиноки. Их семья, цыганское племя, великодушное и строптивое, рассеяно всюду. Я вспомнил тысячи безыменных людей, «плавающих и путешествующих», когорты авантюристов, проникающих в неисследованные места, безумцев, возлюбивших пустыню, детей труда, кладущих основание городам в чаще лесов. Их кости рассеяны за полярным кругом, и в знойных песках черного материка, и в дикой глубине океана. Вторая, настоящая родина торжественной силой любви влечет одинаково искателя приключений и начальника экспедиции, командующего целым отрядом; ничто не останавливает их, только смерть. Своей смертью они умножают везде жизнь и трепет борьбы.

Снежные волны гор окружали меня. Я долго смотрел на них с дружеским, теплым чувством, веря их безмолвному обещанию очистить сердце и помыслы.

ТРЮМ И ПАЛУБА

Морские рисунки

I

С медленным, унылым грохотом ворочались краны, торопливо стучали тачки, яростно гремели лебедки. Из дверей серых пакгаузов тянулись пестрые вереницы

грузчиков. С ящиками, с бочонками на спине люди поднимались по отлогим трапам, складывали свою ношу возле огромных, четыреугольных пастей трюма и снова бежали вниз, цветные, как арлекины, и грязные, как земля. Албанское и анатолийское солнце покрыло их лица бронзовым загаром, пощадив зубы и белки глаз.

«Вега» оканчивала погрузку. Ее правильная, однообразная жизнь была известна всему городу: два рейса в месяц, один круговой и один прямой. Подчищенный и вымытый, украшенный с носа и кормы золотой резьбой, пароход этот производил впечатление туриста средней руки, окруженного грузчиками — угольными шхунами и нефтяными баркасами. Он был всем: гостиницей, буфетом, носильщиком, коммивояжером... скучный, каботажный [1] старик.

А невдалеке от него, у веселой и грязной набережной, в пыльном грохоте и звоне труда отдыхали сумрачные бродяги из Тулона и Гавра, Лондона и Ньюкэстля, Бомбея и Сингапура. Неведомое волнение тянуло к ним, как будто от грязных, стройных корпусов их летело дыхание океана и глухая музыка отдаленных бездн. Казалось, что в своем коротком плену, прикованные к стальным кольцам молов толстыми тросами, они спят, вспоминая тайны опасных странствий, бешенство тропических бурь, вулканы и рифы, цветущие острова, всю яркую роскошь тропиков,— истинно царский подарок, брошенный солнцем своей возлюбленной.

Когда розовый дым утреннего тумана гаснет над дрожащей от холода, тихой и зеленой водой,— подымаются сонные матросы и чистят плавучие гостиницы. Моют палубы, трут медные части, подкрашивают ватервейс [2]. Но бродяги спят еще в это время: они устали, и кокетство им не к лицу.

Вокруг «Веги» громоздились закопченные трубы пароходов, бесшумно выкидывая ленивый, густой дым. Из города, убегавшего вверх кольцеобразными, каменными уступами, несся шум экипажей и неопределенное звуковое содрогание жизни сотен тысяч людей.

Гавань сверкала и пела. Громадное напряжение звуков и красок, брошенное в небольшой уголок земли, как

[1] Каботаж — плавание в пределах одного моря.

[2] Ватер-вейс — желоб для стока воды, проходит у бортов.

гнездо золота в расщелину кварца, утомляло, рассеивало мысли, воскрешало сказки. Эта неровная, голубая бухта с желтыми берегами и тысячами судов таила в себе жуткое, шумное очарование веками накопленных богатств, риска и опьянения, смерти и жизни.

«Вега» поглощала груз жадно и безостановочно. Бегали агенты, размахивая желтыми пачками ордеров, кричали и исчезали в складах. Взвивались стропы, охватывая двойной петлей сотни пудов, гремела цепь, грохотала лебедка; цепь натягивалась, вздрагивая под тяжестью добычи, кто-то кричал: «Майна!..»[1], и, плавно колыхаясь, груз устремлялся в глубину трюма, где уже ждали десятки рук, отцепляли стропы, тащили мешки и ящики в темные, сырые углы и складывали их там плотными возвышениями.

— Хабарда![2] — кричали турки, стремительно пробегая с тяжестью на спине.

— Вира! — надрывались внизу, в трюме, глухие, гулкие голоса.

— Изюм в Анапу, двадцать четыре места!

— Пива двести ящиков — Новороссийск!

— Железо в Туапсе!

— АБ или АС? — черт вас побери!

— Давай живей! Давай живей! Ходи веселей!

— Не лезьте под руку, говорят вам!

— А вы не толкайтесь!

— Хабарда!

— Говорят вам, не мешайте!

— Я желаю видеть старшего помощника.

— Помощника? Вакансий нет.

— Мне нужно старшего помощника.

— А вам зачем?

— Я не ищу вакансий. Я желаю видеть его по делу.

— Станьте же в сторону.

— Хорошо.

Вахтенный матрос поправил съехавшую на затылок фуражку, обтер рукавом вспотевшее лицо и устало покосился на собеседника. Тот встал подальше от трюма и рассеянно осмотрелся.

Это был плотный, медленный в движениях человек, слегка сутулый, в парусинном пиджаке и черных мат-

[1] Майна — вниз *(жарг.)*.

[2] Хабарда — берегись.

росских брюках. Вместо жилета он носил тельник с широкими синими полосами и красный кушак. Черные, коротко остриженные волосы прикрывала серая «джонка», шапка английского покроя. Лицо его казалось типичным лицом человека случая, молодца на все руки: если нужно — кок или матрос, в нужде — поденщик, при случае — угольщик, иногда — сутенер, особенно в периоды «смертельного декофта» [1], столь частого среди мелкого морского люда. Низкий лоб, серые глаза, полные угрюмой беспечности, загорелая кожа, короткий, тупой нос, редкие усы; в правом ухе маленькая золотая серьга.

Большая партия риса, сто сахарных бочек в Севастополь и машинное масло в Керчь подходили к концу. Все быстрее развертывался строп, ложась длинной петлей на раскаленные солнцем камни мола, и из трубы «Веги» повалил густой дым — разводили пары. Немногочисленные пассажиры толкались и бегали, устраивая свои пожитки на палубе и в классных каютах; сипло завыл гудок, первый сигнал отплытия.

— Эй, приятель! — сказал матрос.— Вот старший помощник!

Костлявая фигура с желчным лицом бродила на палубе, теребя узенькую бородку и щурясь от солнца. Парень неловко протискался среди ящиков и разного хлама, низко поклонился, сдернул свою джонку и просительно замигал. Круглая, стриженая голова бросилась в глаза моряку; он сморщился, точно собираясь чихнуть, и медленно процедил:

— Вакансий нет.

— Извините,— сказал парень, оглядываясь на пристань,— окажите божескую милость!

— Ну?

— Не откажите насчет проезда. За работу.

— Это бесплатно? Эй, не задерживай! — крикнул моряк кочегару, стоявшему у лебедки.— Нет!

— Никаких нет способов, господин помощник. Что будете делать? Третий месяц хожу без...

— Врешь ведь! — перебил моряк, пыхая папиросой.— Просто лодырь, а?

— Нет, я не лодырь,— спокойно возразил парень.— Я матрос.

---

[1] Декофт — голодовка.

— Куда едешь?

— В Керчь.

— Зачем?

— К матери и сестре.

— Очень ты им нужен. Нет, не могу.

— Я буду работать.

— А, черт с твоей работой! Проси в конторе.

— Три места в Батум! Осторожнее, эй! Ве́рхом держи!

Парень оглянулся. Желтая бумажка ордера перешла из рук грузчика в руки штурмана. Юноша принял ее, сидя верхом на опрокинутой бочке.

— Что? — спросил желчный моряк.

— Стекло! посуда! — радостно объявил штурман и засмеялся. Ему было двадцать три года. Сейчас же и неизвестно почему нахмурившись, он крикнул с деловым видом: — Эй, вы, пустомели! — ходи, ходи!

Парень смотрел глазами и ушами. Лицо его сразу подобралось и вытянулось. Три больших ящика медленно выползали из-за борта по наклону деревянного щита и повисли над трюмом.

Потом глаза его стали равнодушными, а лицо печальным; казалось, жестокосердие моряка его сильно удручало. Он переступал с ноги на ногу, подвигаясь к трюму, и тихо повторил глухим, умоляющим голосом:

— Будьте такие добрые! Нет ни копейки, все...

— Отстань! — моряк досадливо передернул плечами.— Вас тут столько шляется, что хоть на балласт употребляй. Я не могу, сказано тебе это или нет?

Груз плавно колыхался в воздухе, вздрагивая и покачиваясь. Парень быстро осмотрел его: канат плотно охватывал ящики.

— Майна! — взревел турок.

Громыхнула цепь, и ящики ринулись вниз, мелькнув светлым пятном в сумрачном отверстии трюма. Через минуту из глубины долетел стук, и цепь, болтаясь, взвилась вверх, на крюке ее висел строп.

— А-ха-ха! — сказал парень, заглядывая в трюм.— Происшествие!

— Ты чего? — вскипел старший помощник.— Пошел вон!

— Шапку уронил,— растерялся проситель, нагибаясь еще ниже.— И как это я...

— Разиня! — бодро крикнул жизнерадостный штурман, смеясь глазами.— Куда смотрел?

Желчный моряк плюнул и отошел в сторону. Ему был противен этот слоняющийся бездельник, паразит гавани, живущий сегодняшним днем. Он не выносил бродяг, разъезжающих из порта в порт, пьяниц с сомнительной репутацией, людей, не умеющих держаться на судне более месяца. К тому же у него были свои заботы. Нельзя обременять людей пустяками.

— Полезем! — сказал стриженый человек, подходя к трапу. Выжидательная улыбка штурмана сопровождала его.

— Шапка тирял! — оскалился турок, подмигивая другим.— Караш малчык, шапка плохой!

— Эй! — закричали из трюма.— Шапка чья? Эй!

Парень ступил на отвесные перекладины трапа и стал опускаться, неловко перебирая руками. Внизу его ждали. Маленький, юркий матрос, растопырив на пальцах злополучную джонку, протягивал ее собственнику. Грузчики смотрели неодобрительно.

— Честь имею поднести — головка ваша,— сказал матрос.— Хорошая голова, складная!..

Кто-то, пыльный и темный, проворчал в углу:

— Не мог свое сокровище на палубе обождать!..

Парень молча надел шапку. Трюм был почти весь забит грузом, и только в середине, под самым люком, оставалась небольшая квадратная пустота. Было прохладно, слегка отдавало сыростью, мышами и сушеными фруктами. Ящики с посудой лежали на плоских, тугих мешках, каждый отдельно.

— Ну — вира [1] отсюда, приятель! — сказал матрос.— Головка при вас, айда!..

Парень занес ногу на трап и спросил:

— Много грузить?

— Четырнадцать тысяч прессованных леших,— озабоченно проговорил матрос.— Нет, немного, кажись. Местов тридцать, не более, сюда еще пойдет.

— Так,— сказал парень.— Прощайте.

— Отчаливайте. Без вакансии?

— Нет, проехать хочу.

— Ага! Черти, легче маїнать!

---

[1] Вира — вверх *(жарг.)*.

Отвергнутый пассажир влез на палубу и пошел домой с веселым лицом. Ящики не были завалены грузом — только это и нужно было ему знать: ехать он никуда не собирался.

II

— Из тебя никогда не будет толку, Синявский. Это я тебе верно говорю, безо всякой фальши. Я, брат, знаю людей.

— Ну вот, извольте видеть,— уныло пробормотал мальчик, с ненавистью косясь на добродушное, жуликоватое лицо матроса.— Чем я виноват, что тебе хочется спать? Ты жалованье получаешь, а я сам плачу за харчи девять рублей! Очень хорошо с твоей стороны!

Трое остальных сидели мрачно и выжидательно, делая вид, что поведение Синявского крайне несправедливо. Из углов кубрика [1], с узких, похожих на ящики, коек несся тяжелый храп уснувших матросов. В такт ударам винта вздрагивала лампа, подвешенная над столом, колыхая уродливые тени бодрствующих.

— Мартын,— продолжал тот же матрос тихим, оскорбленным голосом: — посмотри на него, вот, возьми его, белого арапа, морскую чучелу, одесское ракло [2]..

— Биркин! — вскричал Синявский,— не ругайся, пожалуйста!

— А то я напишу папе и маме! — вставил быстроглазый Бурак, шмыгая рябым носом.— Эх ты, граммофон!

— Ты послушай, Синявский,— дружески улещал юношу Биркин,— я тебе что скажу! Ты, брат, молодой парень, жизни морской не знаешь, ты вообще, вкратце говоря,— что? Морское недоразумение. Промеж товарищей так не делают. Ну — убудет тебя, что ли? Постоишь час — потом дрыхни хоть целый день! Вот тебе крест! Да чего там, я твою вахту завтра отстою и квит! Чего зубы скалишь? Я, брат, правильный человек! Как боцман встанет, я к нему: — Алексеич! нехай спит Синявский! — Разрази меня на месте, если ты не будешь спать до Анапы!

---

[1] Кубрик — общая матросская каюта.
[2] Ракло — вор.

— Биркин, да ты ведь врешь! — тоскливо зевнул Синявский.— Кто тебе поверит, тот трех дней не проживет!

— Кто врет — я? — Биркин величественно встал, драпируясь в клеенчатый дождевик— «винцераду».— Лопни моя печенка, тресни мои глаза, убей меня гром и молния, пусть моему деду... Дурень, кому ты нужен, такой красивый — обманывать?! Это вы уж — ох! при себе оставьте! Кроме того,— Биркин прищурил глаза и чмокнул,— в Батум придем — к грузинкам сведу, по духанам пойдем чихирь пробовать, налижемся, как свиньи... Ну, айда, Синявский, айда!..

Мальчик сонно зевал, нехотя одевая брюки и мысленно проклиная Биркина со всеми его родичами. Сон был такой сладкий, мертвый сон усталости, а на палубе так сыро и холодно. Врет Биркин или нет — все равно не отвяжется, еще сделает какую-нибудь пакость. Решив, в силу этого размышления, сменить Биркина не в очередь с вахты, Синявский встал и чуть-чуть не расплакался, вспомнив домашнее житье, сладкое и беспечное. Одно из двух: или Жюль Верн наглый обманщик, или он, Синявский, еще недостаточно окреп для морских прелестей. Палуба? Брр-р!..

Биркин успокоился, снял винцераду и шлепнулся на скамью против Мартына. Лицо его выражало ребяческое удовольствие и глубокое презрение к одураченному ученику, но надо было, хотя из приличия, сделать вид, что он, Биркин, только уступает справедливости.

— Ты, Синявский, у машины сиди, там теплее,— заботливо процедил он, плеснув в эмалированную кружку чаю из чайника и торопливо глотая мутную бурду.— Да того... дождевик мой возьми, слышь?..

Синявский продолжал молча возиться у койки, набивая папиросы, напяливая блузу и вообще бессознательно стараясь побыть дольше в теплом помещении.

— Ветер тронулся,— сказал Бурак.— Тумана не будет.

— Дует, да слабо! — Мартын важевато погладил бороду, скашивая глаза на мальчика.— Синявский, живей ворочайся, увидит помощник, что вахтенного нет — Биркину попадет!

— Наплевать! — отрезал Синявский, застегивая

дождевик.— Я же еще должен заботиться! Так — час, Биркин?

— Час, дорогой мой, час! — предупредительно заторопился хитрец.— Иди с богом, дитятко, иди! Ну, понимаешь, Синявский, ломает меня всего, совсем нездоров... беда!

— А ну вас к чертям! — яростно закричал ученик, подымаясь из кубрика в сырую, промозглую тьму.

Когда он ушел, четвертый матрос, смуглый и молчаливый, пристально посмотрел на Биркина и, слегка усмехаясь, почесал затылок. Биркин нахмурился, отвернулся и забарабанил в доску стола суставами пальцев. Брови его сдвинулись, он размышлял, но это продолжалось недолго.

— Мартын! — сказал он, зевая,— твоя вахта под утро?

— Агу! В четыре. Ты что кнека[1] обеспокоил? Он ведь уснет, ей богу уснет. Ляжет на пассажира и уснет.

— Не мое дело.— Биркин самодовольно рассмеялся.— Эх, жизнь!

— Что — жизнь? — отозвался Бурак.— Твоя жизнь, брат, как и наша: в четверг получка, в Одессе случка! Ну, как — сошьет тебе портной бушлат к сроку, а? Голова садовая — вбухал пятнадцать рублей на тряпку.

— Вот беда! — Биркин презрительно сощурил глаза.— Твои, что ли? Зато фасонисто, эх! Пойду козырем по бульвару — девки честь отдавать будут. Ну... и... на случай смертельного декофта тоже не худо — вещь! Пять рублей можно... за пять рублей везде продать можно.

Вечная, неутомимая зависть Биркина к воспитанникам всех мореходных классов в России была его слабостью и бичом. Завидовал он, впрочем, не возможности каждого ученика стать штурманом, помощником и даже, при счастье,— капитаном, а красивой форме — бушлату, т. е. пиджаку с золочеными якорями и пуговицами. Все жалованье этого матроса неизменно попадало в руки людей двух категорий: трактирщиков и портных. Портные шили Биркину щеголеватые брюки, жилеты с якорями

[1] Кнек — чугунный столбик с утолщением наверху, служит для заматывания вокруг него канатов, в переносном смысле — остолоп, чугунная башка.

на пуговицах, а сдача, после приобретения всех этих восхитительных предметов, пропивалась в компании пароходных забулдыг, с треском и дымом, с участками и скандалами.

— Вот я,— заявил Бурак,— бывал в самых критических положениях. Я держал такие декофты, что ежели иной увидит во сне, так семь раз мокрый проснется. Но боже меня сохрани продать хотя пуговицу! Напротив,— всегда почищусь, ботинки блестят, причесан скандебобром [1], хотя бы что! А никто не знает, что, может быть, вторые сутки мои зубы без всякого утешения.

— Работал? — осведомился Скуба.

— Работал! — передразнил Бурак.— Так же, как и ты! Когда знакомые пароходы стояли в Одессе, я не тужил. Я жил, как поп, у меня знакомств больше, чем у тебя волос на голове. Я пил утренний чай на «Олеге», завтракал на «Рассвете», обедал, скажем, на «Веге», чистил зубы на «Кратере», кушал вечерний чай на «Гранвиле», а спал на дубке «Аксинья». Впрочем, его недавно прихватило с черепицей под Гирлами и, так сказать, повредило челюсти.

Бурак щеголевато плюнул и снисходительно посмотрел на товарищей. Левый его глаз выражал уважение к своему таланту жить по-воробьиному, правый совсем закрылся от восторга и открылся только при словах Скубы:

— А все-таки ты дурак.

— Это почему? — мирно осведомился апостол декофта.— Как могла эта несообразная мысль прийти в твою несоразмерную голову?

— Очень просто. Ты не умный человек.

— А ты умный?

— Я, брат, вполне умный, потому что мне выпить хочется.

— Эге! Ты, Скуба, я вижу, совсем балда. Такого-то разума у меня все трюмы полны.

— Чего налить вам? Пива или вина? — насмешливо спросил Мартын.— Подходи к чайнику!

— Позвольте! — откашлялся Скуба.— Вы, Мартын, с вашей репутацией, не тревожьте свою особу. Тут дело серьезное. Е с т ь а ф е р а.

---

[1] С к а н д е б о б р — волосы, выпущенные из-под фуражки на лоб полукруглой прядкой; матросское кокетство.

— Верно, есть! — вполголоса подтвердил Биркин.— Десять бочек с хересом в Новоросс...

— Тссс... сс...— зашипел Мартын, облизывая губы и оглядываясь на каюту боцмана.— Чего кричать, ну? Чего шуметь! Люди спят, а ты галдишь!

Взглянув еще раз на полуотворенную дверь каюты, Мартын уперся в стол подбородком, выпятив вперед бороду, и пронзительно зашептал, сверкая исподлобья острыми, ярославскими глазами:

— Взял трубку себе. Сам видел, как старый хрен вытащил трубку из-за божницы и сунул в карман, когда спать ложился.

Три тяжелых вздоха прорезали воздух единодушно и выразительно. Медная трубка, специально приготовленная для высасывания вина из бочек, оказывалась за пределами досягаемости, и в руках заговорщиков находился только буравчик, годный, конечно, для сверления дыр, но совершенно ненужный в качестве насоса.

Молчание было тягостное и непродолжительное. Биркин встал, повел плечами, взял в рот конец ленты от шапки, пососал ее, потом выплюнул, протянул руку и шепнул, указывая на каюту:

— У боцмана штаны есть?

— Нет,— серьезно ответил Бурак.— Он в юбку наряжается, да ведь...

— Мельница ты! — укоризненно перебил Биркин.— Снял он их, или нет?

— Агу! — крякнул Мартын.— А разве...

Биркин на цыпочках шмыгнул в дверь каюты, подкрался к боцманской койке и спокойно вытащил трубку из брюк, висевших на гвоздике. Вернувшись, он увидел три багровых от прыскающего смеха физиономии и многозначительно хмыкнул.

Мартын просиял и даже загорелся от нетерпения. Скуба взглядывал поочередно на него и Бурака, мурлыкая небезызвестную песенку:

Прекрасно создан божий свет.
Мы в нем набиты, как селедки.
Но совершенства в мире нет —
Бог создал море не из водки!

— Мартын — ну? — спросил Биркин.

В тоне, каким это было сказано, заключалась масса вопросов: пить или не пить, идти всем сразу или по од-

ному, или же нацедить в чайник и принести сюда. Эгоистический характер Мартына, однако, быстро решил все: он встал, надел шапку, молча взял трубку из рук Биркина и прошептал:

— Разве мы будем жадничать или торопиться? Как, значит, я открыл местонахождение трубки,— то пойду пососать, скажем, я. А потом по очереди.

— Возьми Бурака,— предложил Скуба.— Я знаю твою повадку: будешь целоваться с бочкой до самой гавани... если тебя за ноги не оттащить. Бурак — смотри за ним в оба — он обручи ест!

Последние слова догнали Мартына в тот момент, когда пятки его исчезали в отверстии люка. Бурак подождал немного и выскочил вслед за ним. В кубрике стало совсем тихо; спящие не шевелились, храпя и посапывая.

III

Биркин и Скуба, оставшись одни среди спящих, хлопнули друг друга по плечу и осклабились. Дело шло на лад. Тишина и мрак вполне благоприятствовали задуманному. Биркин осторожно нашарил рукой угол трюма, затем, подвигаясь дальше, коснулся железа,— это был тяжелый, висячий замок, соединяющий петли железных полос, охватывающих трюм. Скуба стоял сзади, тревожно прислушиваясь и ежеминутно вздрагивая,— дело было не шуточное. Биркин долго возился, осторожно вкладывая ключ; наконец, пружина щелкнула, освободив болт,— и матрос спешно отвернул брезент, вытаскивая одну из деревянных крышек, ближнюю к краю. Скуба подхватил ее, держа на весу. От волнения ему сделалось жарко, он тяжело и глубоко дышал, жалея, что нет водки или спирта, жидкостей, уничтожающих страх. Биркин сказал:

— Фонарь!

— Держи!

— Закрой меня моментально, без всяких следов, и вались в кубрик, на койку, слышь? Будто дрыхнешь. Я копаться не стану, обождав минут десять, открывай, я тут буду.

Биркин изогнулся, протиснулся в небольшое отверстие и, держась руками за борт трюма, отыскал ногой

трап. Скуба нагнулся и услышал в темноте шорох спускающегося человека. Тогда матрос быстро поставил крышку на место, закрыл брезентом, привел болт в прежнее положение, не запирая замка, и, облегченно вздохнув, на цыпочках удалился к кубрику. Здесь постоял он несколько мгновений, прислушиваясь к доносящемуся снизу храпу спящих товарищей, потом спустился, лег на свою койку и натянул одеяло до самых ушей, возбужденный и восхищенный верным успехом.

Совершенная темнота, полное одиночество и наглухо закрытый вверху люк привели Биркина в хорошее расположение духа. Уверенно хватаясь за перекладины трапа, он скоро ощутил под ногами упругую поверхность мешков, остановился и передохнул. Вспомнив, что надо торопиться, он повертел фонарик в руках, открыл его и полез в карман за спичками. В брюках их не оказалось; Биркин поставил фонарь у ног, сунул руку за пазуху и вдруг с невероятной, лихорадочной быстротой начал шарить везде, выворачивая карманы, хлопая себя по фуражке, по груди и даже по сапогам. Очевидно, что спички были потеряны или просто забыты впопыхах. Биркину захотелось плакать. Растерявшись, с вихрем унылых, отчаянных мыслей в голове, он стоял неподвижно, с широко раскрытыми в темноте глазами, бессмысленно твердя:

— Ах, ах, ах! Господи! Господи! Господи!

Тишина угрюмо и беззвучно смеялась вокруг. Затхлый, сырой воздух трюма кружил голову. Биркин снова начал искать спички, ощупывая подкладку одежды. Иногда спичечная головка проваливается в дыру кармана. Но ничего не было. Нервный смех и тоскливый страх одолевали его. Немного овладев собой, он подумал, что стоять хуже, чем двигаться, надо предпринять что-нибудь. Идти наугад, ощупью? хотя почему бы и нет? Трюм забит почти доверху, можно ползти смело; ящики с одеждой, предмет вожделений Биркина,— большие, он найдет их руками. К тому же они лежат в самом углу, у задней стенки трюма, девять штук. Правда, неловко рыться в темноте, можно второпях забрать дюжину жилеток и ни одного пиджака. И потом, как забить их снова? Будь огонь, Биркин отыскал бы несколько штук рогож, заполнил опустошенные места и заколотил гвоздями.

Но другого выхода не было. Усилия, хитрость, риск, затраченные на это дело, были слишком значительны, чтоб возвратиться ни с чем. Уныло, одолеваемый сомнениями, матрос двинулся вперед нетвердой походкой слепого, расставив руки и спотыкаясь о мешки с мукой. Иногда ему приходилось становиться на четвереньки, чтобы переползти неожиданное препятствие в виде кипы хлопка, или предмета, закутанного в рогожи. Подвигался он инстинктивно тихо, мрак и тишина давили его. Трюм, так хорошо знакомый днем, теперь казался бесконечной, обширной пропастью, наполненной грузом.

Вскоре шершавое дерево ящиков коснулось его растопыренных пальцев. Он ожидал этого: в этом месте груз возвышался до самой палубы, во всю ширину парохода, от тимберсов до тимберсов [1]. Приходилось разбирать ящики, чтобы пролезть дальше, в пустоту. Матрос нащупал углы одного ящика, тяжелого, но маленького, отшвырнул его, прислушиваясь к мягкому шуму, нащупал и отбросил другой, и только что хотел взяться за третий, последний на своей дороге, как вдруг неожиданный толчок мысли опустил его руки. Третий ящик он у в и д е л.

Правда, очертания углов ящика еле выступали из темноты и мгновениями таяли, убегая от напряженных глаз матроса, но все же это был свет. Ровная полумгла обнимала трюм, намечая темные груды товара и черный мрак позади Биркина. Бессильный объяснить что-нибудь, трясясь от внезапного испуга, матрос заглянул вперед, протягивая голову, как утка из камышей, и прирос к ящикам: в пяти саженях от него, на маленьком бочонке, сидел человек с внимательным, напряженным лицом, слегка бледным, но спокойным. Возле него, на углу большого деревянного ящика, мигая и трепеща, горела свечка.

Биркин потерял равновесие, упал на бок, стукнувшись головой о ящики, вскочил и бросился назад, путаясь в мешках, падая и вскакивая, с перекошенным от готового сорваться крика лицом. Дикий, остолбенелый ужас горел в нем, нелепо размахивая его руками. Темные груды протягивали к нему страшную паутину. Воздух душил его. Трап, казалось, отступал все дальше

[1] Т и м б е р с ы — ребра судна.

вперед, и сердце ломилось в груди, готовое лопнуть, как ракета. У самого трапа Биркин снова упал, больно ударившись лицом в мучной мешок, и почувствовал, что умирает: твердая, невидимая рука схватила его за шею; нажим ее показался Биркину стопудовой тяжестью. Он тонко вскрикнул, слезы потекли из его глаз. И кто-то сдержанно шептал возле него, отчетливо и злобно:

— Я вылезу за тобой, трусишка. А ты молчи, если не хочешь быть в остроге. Понял?

Слова эти гремели ураганом в потрясенном сознании Биркина. Он взвизгнул, как кликуша, задыхаясь от мучной пыли:

— Я... все... я не... Помилосердствуйте! Всевышний! Батюшки!..

— Лезь наверх. Ах ты, боже мой! Ну, пожалуйста, лезь скорее!

Матроса тошнило. Оглушенный, не чувствуя своего тела, не думая даже о том, открыт люк или нет, Биркин вывалился на палубу. Скуба стоял тут, дрожа от беспокойства и нетерпения.

— Молчи! — шипел Биркин, шатаясь от слабости.— Молчи! ах — молчи! Молчи!

Скуба занес руку прихлопнуть трюм — и вздрогнул: другой Биркин вылезал кверху. Растерявшись, он отступил назад; человек ступил на палубу и, мелькнув, как тень, беззвучно скрылся в тумане.

— Биркин! — сказал Скуба.— Да что там?

— Молчи! Ах, молчи! — Матрос вздрагивал от плача.— Голова моя, голова!

Он направился к кубрику, шатаясь, как пьяный. Перепуганный Скуба дрожащими пальцами закрыл трюм. Мучительная тревога охватила его — он потерялся.

IV

Туманная сырость ночи мгновенно уничтожила в Синявском остатки сонливости, наградив его ознобом и чувством мстительной ненависти к двуногому существу, именуемому «человеком». Холодный, удушливый мрак слепил глаза и пронизывал нагретое постелью тело противным прикосновением сырости. Красное и желтое пятна света торчали в воздухе: фонарь грот-мачты и рулевая будка.

«ЛУЖА БОРОДАТОЙ СВИНЬИ»

«НОВЫЙ ЦИРК»

Расставляя руки, чтобы не споткнуться, Синявский осторожно двинулся мимо грот-трюма и гальюнов, к машинному отделению, откуда, замирая в тишине, несся глухой, пыхающий шум поршней. Через два шага он споткнулся о веревку, протянутую поперек палубы, и грохнулся на живую, упругую массу, мохнатую и теплую. Пока он вставал, ругая скотопромышленников, перепуганные насмерть овцы приветствовали его жалобным криком, толкаясь и прыгая. Синявский перешагнул веревку и тронулся по свободной, правой стороне палубы, протягивая руки и переживая смутные опасения за целость собственных ребер.

Но, хотя руки и помогали ему,— ноги не имели рук, и запнулись еще два раза за какие-то призрачные и враждебные в темноте ящики. Оправившись от толчков, вызванных этой неприятностью, он наступил снова, и на этот раз с тайным злорадством, на приютившегося у кухни палубного пассажира. Возня и сердитая гортанная речь убедили Синявского, что на палубе не одни бараны; опасаясь получить затрещину, он торопливо проскочил к машинному отделению, перевесился внутрь через квадратное отверстие, вырезанное в листовом железе, и облегченно вздохнул душным, нагретым воздухом.

Внутренность машины представляла полный контраст туману и неприветливости морской ночи. Далеко внизу, под тремя огромными, блестящими, как лак, стальными цилиндрами, сквозь переплет чугунных решеток и воздушных трапов, разделявших машинное отделение на этажи, блестел красный огонь топок, и в ярком зареве угля, раскаленного добела, двигались, как адские грешники, маленькие, чумазые кочегары. Режущий глаза электрический свет заливал все. Плавно и легко, ритмически шипя отполированной поверхностью, из цилиндров бегали вниз и вверх огромные поршни За кормой, скрытый водою и мраком, глухо бормотал винт. Пахло керосином, маслом, и казалось Синявскому, что машина —уютнейший уголок в мире, полном холода и тоски.

Он полулежал в окне, засунув руки в рукава «винцерады» и героически отражая атаки сна, пытавшегося взять приступом слабое тело пензенского мореплавателя шестнадцати лет и четырех месяцев от роду. Сознание

ясно твердило Синявскому, что спать на вахте нельзя,— вдруг засвистит вахтенный помощник или появится капитан. Но это же самое сознание, лукаво и незаметно, неуловимо и постепенно приняло сладкий, фантастический оттенок, когда шум кажется музыкой, а действие переносится за тысячи верст, в родное, уездное захолустье, где нет Черного моря и свирепого боцмана, а есть заштатная, гнилая речка, тощенький бульвар и пара кузин: черненькая и рыженькая. Синявский идет по аллее, и на нем чудесный, диковинный для уездной глуши наряд: белые, «майские», брюки, белая матроска, «галанка», с синим воротником, под ней — «тельник» с синими полосами, а на голове — лихо заломленная фуражка с надписью золотыми буквами: «Вега». Ветер треплет черные ленты, кокетливо лаская ими шею Синявского, и тысячная толпа смотрит на него, указывая пальцами:

— Моряк!

— Идет моряк!

— Вот моряк!

— Смотрите — моряк!

Кузины побеждены, и гимназисты в рыжих брюках получают отставку. Затем творится что-то необычайное, возможное только во сне,— дикое сплетение образов, темное и светлое, страх и радость...

Страшный удар в голову, способный раскроить менее крепкий череп, вернул Синявского на пароход «Вегу», к окну машинного отделения. Он вздрогнул, выругался и застонал. Боцман ехидно смотрел на него, потирая ушибленные пальцы. Голова ныла, как обваренная, в глазах плавали золотые мухи.

— Синявский! Нельзя спать на вахте! — прошипел боцман.— Это вы дома можете, что вам угодно, а здесь — море!

— Вы... вы чего деретесь? — хныкнул Синявский. Губы его дрогнули, из глаз хлынули слезы.— Как вы смеете? — всхлипнул он, трясясь от холода и бессильной, пугливой злости.— А? Чего вы?! Я вам покажу. Я...

Лицо боцмана по-прежнему сохраняло счастливое выражение. Он ненавидел учеников. Сделав усилие, мучитель нахмурил брови; его бегающие, мохнатые глазки сверкнули и замерли.

— Ну, ну! — сказал он, зевая.— Вот плачете теперь, а я вас хотя бы пальцем тронул. Да! Как это так — спать?! Ступай, жалуйся! — вдруг закричал он, наливаясь кровью.— Пшол, шушера! Иди, ябедничай!

— И пойду! — взвизгнул Синявский, давая волю слезам и размазывая их по лицу.— Вы что себе думаете? Вас оштрафуют, вот! Ишь, какой красивый!

— Ха! — кротко заметил боцман, скрываясь в темноте.

Синявский топнул ногой и, шатаясь от бешенства, сел на скамью. Второй раз! Первый раз он получил «блямбу» за то, что положил шапку на стол. Скажите, какое преступление! Необразованное мужичье, идиоты, суеверы — садиться на стол можно, а шапку класть нельзя! Хорошо, что кузинам ничего не известно. Проклятая жизнь! Над ним издеваются с утра до вечера, прячут его брюки, бросают ему в кружку с чаем фунтовые куски сахара, насыпают соли!.. Он должен чистить гальюны [1], а в порту неизменно торчать на вахте у сходней,— и все это за свои же девять рублей! Довольно! Он ревет — ну, что же из этого? Нельзя обижать человека, в самом деле — так, мимоходом!..

Совершенно расстроенный грубостью морской жизни, такой привлекательной издали и невыносимой вблизи, Синявский сделал несколько шагов к юту, все еще ругаясь и всхлипывая. Опасно жаловаться старшему помощнику, тот держит руку боцмана, лучше посмотреть,— спит капитан или нет. Пусть он рассудит, можно драться или нельзя? Медленно пробираясь среди всевозможной клади, загромождавшей палубу, Синявский уперся во что-то холодное, круглое и большое. Вытянув руки, он ощупал препятствие — это была бочка. Расслабленный смех, сопровождаемый глухим бульканьем, заставил его прислушаться и остановиться.

Тихая возня продолжалась. Слышно было, как кто-то шарил в темноте, тяжело отдуваясь и подхихикивая.

— Сси! — бормотал Бурак, сидя на палубе между бочкой и бортом.— Я, друг,— ха-роший парень! И жизнь моя, братец,— горькая, прегорькая!.. Т-ты не можешь, конечно, проти-ву-сто-ять мне... Вот трубочка, милушечка, крантик дорогой!.. Первый сорт — жидкость эта самая... Сси!

[1] Гальюн — отхожее место.

Товарищ его молча, но выразительно икнул и затих.

— Н-не можешь? Вы не можете? — продолжал Бурак.— Вы ослабли? Эта марка вам не под силу? Мартышка — ты где?

— М-молочко! — умиленно залепетал Мартын, продолжая шарить.— Была, видишь, овца тут. Подоить я хотел, а она сбегла... Я, брат, молочко уважаю, для отрезвления...

Он, действительно, минут пять назад, нагрузившись хересом до положения риз, поймал овцу и пытался подоить ее в шапку, но животное убежало, оставив Мартына в заблуждении. Он был уверен, что овца тут, недалеко, и что только темнота мешает ему нащупать ее шерсть.

Оба отяжелели так, что встать не могли, и продолжали нести всякий вздор, по очереди и уже без всякого наслаждения прикладываясь к боцманской трубке. Синявский стоял, думал и вдруг сообразил: трубка — боцмана, значит, матросы пьют с его ведома. А если так — то...

Не размышляя более, весь отдавшись чувству мстительной радости, охватившей его с ног до головы, дрожа от нетерпения и боязни, что капитан, может быть, спит,— Синявский отправился доносить. У дверей кают-компании он остановился, соображая — «вздуют» его за это или нет. Синявский решил, что «вздуют», но не отомстить было выше его сил. Он тихо отворил дверь.

— Ну, в чем дело? — спросил капитан.— Плакали, молодой человек? Срам! моряк, а ревет, как баба! Ну?

— Господин капитан! — взмолился Синявский,— меня бьют, что же это, а? Боцман меня.. сейчас... по голове... а я не спал совсем! А он... и там пьют из бочек... он дал им трубку... Они бочку просверлили... У него трубка всегда есть, чтобы из бочек вино воровать! А я...

Капитан удивленно слушал, пристально рассматривая ученика. Безусое, жалкое лицо торчало перед ним, мигая и всхлипывая. Драка, сплетни, доносы, мелкое воровство... Тьфу!

— Убирайтесь! — вспылил капитан.— Боцман дурак, а вы хороши, тоже! Вы ведь постоянно спите, походя! Слякоть! Мужчиной нужно быть, эх!..

Он выбежал наверх, не слушая запутанных объясне-

ний ученика. Через минуту в том самом месте, где сладкие мысли о «молочке» тревожили сердце Мартына, раздалась энергичная морская брань, и любители хереса, поддерживая друг друга, направились в кубрик, отуманенные хмелем и руганью. Огненное слово: «Расчет!» сверкало в их головах, но оба принимали его радостно, без стыда и волнения; пьяным — им было море по колено. К тому же не в первый раз, хе! У трапа Мартын остановился и сосредоточенно потряс кулаком, крикнув во все горло:

— Расчет?! Ну, рассчитывай, ну! Я тебе покажу, выдра морская!..

V

Прошло полчаса — и странное известие разнеслось по всем уголкам «Веги», от первого класса до кочегарки, и от кухни до кают-компании: в трюме, по доносу Биркина, был обнаружен пустой, хорошо приспособленный для перевозки живого человека ящик. Самого хозяина этого секретного помещения, однако, найти не удалось, хотя были пущены в ход самые разнообразные усилия. Осмотрели все: шлюпки, подшкиперскую, угольные ящики, хлебные ящики; снова проконтролировали билеты, но билеты у всех оказались в безукоризненной исправности. Жулик высшей марки, очевидно, ускользнул, запасшись билетом еще в Одессе, и теперь, вероятно, преспокойно лежал себе где-нибудь в третьем классе, зевая и посмеиваясь.

— Я,— объяснял Биркин пассажирам, толпившимся вокруг него,— иду это... Вдруг — слышу... ходит кто-сь под палубой. А у меня ухо вострое,— у!.. Сейчас ключ, отпер,— лезу... Вдруг как выпалит из левольверта!.. Я так и упал... Одначе, выскочил... а с перепугу не захлопнул люка-то... он за мной, да и тикать... Даже рожи не рассмотрел... Ищи его теперь — он, может, вот тут, промеж нас стоит, да слушает...

Слушатели нервно посматривали друг на друга, любопытно и подозрительно встречая каждое новое лицо, присоединяющееся к группе.

— Да-а...— продолжал Биркин.— Ящик, братцы, большой, и написано на нем, значит... «стекло». Вот тебе и стекло! Три ящика-то были... в двух стекло и есть,

как следует... А третий — пустота одна... отмычки разные, струмент...

— Не успел, значит,— сказал толстенький сонный пассажир.— Ишь ты!..

— Н-да! — чмокнул кто-то.

— Хитро!..— подхватил третий.

— Обмозговано!

— Умственный человек!..

Переполох, понемногу, улегся. И никто не подозревал, что только в Батуме обнаружатся действительные размеры опустошения, произведенного таинственным пассажиром. А обокрал он ни много, ни мало,— шесть багажных чемоданов, без взлома и разреза облегчив их от многочисленных золотых вещей.

«Вега» подошла к порту. С мостика раздался резкий крик капитана, сопровождаемый длительным, лязгающим грохотом. Винт замер, сотрясение корпуса прекратилось. Упал второй якорь, и снова гром железного каната потряс сонную тишину.

Лодка стукалась о трап парохода, беспокойно прыгая в ожидании пассажиров. Татарин-лодочник смотрел вверх на сумрачный железный борт «Веги», и весла неподвижно торчали в его руках. Брезжил рассвет. Ветер утих, но туман редел, воздушно белея над сонной зыбью бухты; люди и предметы казались призраками. Трещали лебедки, выгружая товар в плоскодонные парусные фелюги, облепившие пароход.

Тот, кого искали и не нашли, протискался к трапу и быстро сошел вниз, держа в руках круглый, плотно набитый саквояж. Садясь в лодку, он машинально поднял глаза: все были заняты своим делом. Два силуэта двигались на площадке, отдавая приказания хриплыми от бессонницы голосами. Жалобно кричали продрогшие овцы, брякало железо, где-то стучал молоток.

Лодка отчалила, ныряя, как чайка, в зеленых водяных ямах, и когда весла татарина сделали взмахов пятьдесят,— очертания парохода исчезли в утреннем, туманном сумраке моря. А впереди, медленно, точно вырастая, выдвинулся и ожил силуэт горного берега.

Ночь уходила на запад, рассвет золотился и грел воздух. Фиолетовая дымка тумана нежила умирающей лаской поверхность воды, струилась и таяла.

«Вега» снялась с якоря и взяла курс на зюйд-вест.

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ

ЛУЖА БОРОДАТОЙ СВИНЬИ

I

Образ свиньи неистребим в сердце человеческих поколений; время от времени природа, уступая немилосердной потребности народов, наций и рас, производит странные образцы, прихлопывая одним небольшим усилием все радостные представления наши о мыле, зубных щетках и полотенцах.

В мае 1912 года двое любопытных молодых людей стояли у высокого деревянного забора; один из них наклонил голову и, уперев руки в бедра, держал на своих плечах товарища, который, схватившись за край ограды, усаженный гвоздями, смотрел внутрь двора.

В лице нижнего было выражение физического усилия и нескрываемой зависти к стоявшему на его плечах человеку; пошатываясь от тяжести, нижний ежеминутно спрашивал:

— Ну, что? Что там? А? Видно что-нибудь, нет?

Нижнего звали Брюс, а верхнего Тилли.

— Постой,— шепотом сказал Тилли,— молчи, мы сейчас уйдем.

— В тебе пять пудов, если не больше,— ответил Брюс.

— Просто ты слаб,— возразил Тилли,— постой еще две минуты.

Вдруг Тилли наклонил голову и спрыгнул; одновременно с этим Брюс услышал за стеной выстрел и хриплый голос, выкрикивающий угрозы.

— Он увидел меня,— вскричал Тилли,— удерем, а то он спустит собаку.

Оба стремглав бросились в переулок, перескакивая через заросшие крапивой канавы, и остановились на деревенской площади. Тилли сказал:

— Ничего особенного. Мне наговорили про него столько диковинных вещей, что я даже разочарован. Но что это? Неужели мне отстрелили ухо?

Он схватился рукой за мочку, и пальцы его стали красными.

— Пустяки,— сказал Брюс,— ухо лишь оцарапано; вообрази, что была кошка.

— Однако, прыжок этой кошки мог сделать меня мертвой мышью... еще вершок влево, и кончено. Сядем здесь, у ворот, в этой каменной нише, остатке феодальных времен.

— Ты демократ, тогда я на будущих выборах отдам свой голос Бородатой Свинье.

— Свирепая шутка,— сказал Тилли,— нет, подвинься немного, и я расскажу тебе о том, что̀, стоя на твоих плечах, видел я в Луже Бородатой Свиньи.

II

Ты, мрачный человек с веселыми глазами, здесь гость — и многие сплетни местечка неизвестны тебе. Бородатая Свинья, как его прозвали, иначе Зитор Кассан, веселился тут десять лет и жирел, как сумасшедший, не по дням, а по часам. Он нажил большие деньги на торговле человеческим мясом. Не делай больших глаз, под этим понимается только контора для найма прислуги. Ценой неусыпной бдительности и настоящих коммерческих судорог Зитор Кассан достиг своего идеала жизни. Существование его — бессмысленный танец живота и... тайна, таинственность, обнесенная той самой стеной, возле которой оцарапала меня кошка.

Дом его прозвали «Лужей», а его самого — «Свиньей», еще «Бородатой»; изобидели человека в хвост и пятку. Но он сам виноват в этом. Он показывается — правда, редко — на улицах, в самых оцепенелых от грязи покровах и запускает свою растительность. Относительно его души я и заглянул сегодня во двор к Зитору Бородатому, но вижу, что мне много соврали.

Прежде всего, согласно уверениям женщин, я ожидал встретить большой чудесный цветник, среди которо-

го из самых вонючих отбросов разведена лужа симпатичного зеленовато-черного цвета; над ней якобы стаи мух исполняют замысловатый танец, а Бородатая Свинья купается в этой самой жидкости. Но женщины — вообще очаровательные существа — не знают жизни; для такой лужи нужна выдумка и легкая ржавчина анархизма, где же взять это бедной свинье?

Нет, я видел не картину, а фотографию. Зитор Кассан лежал голый до пояса в самом центре огромного солнечного пятна, между собачьей будкой и дверью своего логова. У трех тощих деревьев стоял стол. Высокая, согбенная старуха служанка, с отвисшей нижней губой и медной серьгой в ухе, выносила различные кушанья. От них валил пар; телятина и различные птичьи ножки торчали со всех сторон блюд, а Бородатая Свинья пожирал их, сверкая зубами и белками на кувшинном своем портрете, и после каждой смены ложился на солнцепек, нежно поглаживая живот ладонью; все время он пил и ел и, надо тебе сказать, пообедал за шестерых.

Двор не представлял ничего особенного: он был пуст,— вот все, что можно сказать о нем, безотраден и пуст, как сгнившая яичная скорлупа; в будке, свесив язык, лежала цепная собака да у старых костей под забором скакали вороны. Когда Зитор Кассан кончил шлепать губами, в дверях дома появилась женщина. Это была маленькая, но упитанная особа лет тридцати, с челкой на лбу и выдавшейся нижней челюстью. Она вышла и остановилась, а Зитор, стоя против нее, смотрел на нее, она на него, и так, с минуту, склонив, как быки, головы, смотрели они, не улыбаясь, в упор друг на друга, почесали шеи и разошлись.

— Простая штука,— сказал Брюс,— после этого он выпалил в тебя из револьвера?

— Вот именно. Он заметил, что я смотрю, и сказал громко: «Эй, эй, воры лезут ко мне, слезайте, воришка, а то будет плохо». Затем, без дальнейшего, выпустил пулю. Отомстим Зитору, Брюс.

— Есть. Давай бумагу и карандаш.

— Что ты придумал?

— Разные вещи.

— Посмотрим.

Брюс положил на скамейку листок бумаги и стал, посмеиваясь, писать, а Тилли читал через плечо друга, и оба под конец письма звонко расхохотались.

Было написано:

«Многочисленные тайные силы управляют жизнью животных и человека. Мне, живущему в городке Зурбагане, имеющему внутренние глаза света и треугольник Родоса, открыта твоя судьба. Ты проклят во веки веков землей, солнцем и мыслью Великой Лисицы, обитающей под Деревом Мудрости. Неизбежная твоя гибель ужасает меня. Отныне, лишенный всякого аппетита, сна и покоя, ты будешь сохнуть, подобно гороховому стручку, пожелтеешь и смертью умрешь после двух лун, между утренней и вечерней зарей, в час Второго красного петуха.

Бен-Хаавер-Зюр, прозванный «Великаном и Постоянным».

— А! — сказал Брюс, перечитывая написанное.

Тилли корчился от душившего его хохота. Повесы, похлопывая друг друга по коленкам, запечатали диковинное послание в конверт и опустили в почтовый ящик.

III

Лето подходило к концу. Вечером, загоняя коров, пастух играл на рожке, и Тилли, прислушиваясь к нехитрому звуку меди, захотел прогуляться. Он взял шляпу, тросточку и прошел в рощу. Он думал о жизни, о боге.

— Ну, смотрите,— сказал он вдруг,— вот еще меланхолик, бродящий, подобно мне, запинаясь о корни.

Неизвестный приблизился; Тилли, рассмотрев его, вздрогнул. Ужасен был вид у встреченного им человека: всклокоченная борода спускалась на грудь, синие, впалые щеки сводило гримасой, глаза блестели дико и жалобно, а руки, торча из ободранных рукавов, напоминали когтистые лапы зверя Тряпка-шарф болтался на худой шее, неприкрытые волосы тряслись при каждом шаге, тряслась голова, трясся весь человек.

— Господин Зитор Кассан,— сказал Тилли, не веря глазам,— что с вами?

— А, сынок помещика,— хрипло, облизывая губы,

произнес Зитор и уныло рассмеялся,— а что со мной? Что, удивительно?

— Ничего,— сказал Тилли, но подумал: «Он исхудал на пять пудов, это ясно». Вслух он прибавил: — Что вы здесь делаете? Не ищете ли здесь лисицу под Деревом Мудрости?

Он не успел засмеяться и отойти, как Зитор положил обе руки на его плечи, обыскивая лицо Тилли подозрительным взглядом. И такова была сила его внимания, что Тилли не мог пошевелиться.

— Вы з н а е т е,— сказал Зитор,— а что вы знаете? Это мне стоит жизни.

— Успокойтесь.— Тилли побледнел и необдуманно выдал себя.— Это была шутка,— сказал он,— я и Брюс сочинили для развлечения. Пустите меня.

Зитор держал его стальным усилием злобы и не думал отпускать. Пока он молчал, Тилли не знал, что будет дальше.

— Я д у м а л над этим письмом,— сказал, наконец, Зитор.— Поэтому я и умру сегодня, в час красного петуха. Так это вы устроили мне, щенок? Ваше письмо взяло у меня жизнь. Я лишился аппетита, сна и покоя. До этого ел и спал хорошо. Я мало жил. Я много наслаждался едой, сном и женщиной, но этого мало. Я хотел бы еще очень много есть, спать и наслаждаться женщиной.

— В чем же дело? — сказал Тилли.— Вам никто не мешает.

— Нет,— возразил Зитор,— я могу наслаждаться, но ведь я умру. Ведь я думал об этом. Когда я умру,— я не смогу наслаждаться. Я сегодня умру, умру голодный, несытый, не съевший и четверти того, что мог бы скушать. Теперь мне все равно. Дело сделано.

— Охотно извиняюсь,— сказал, струсив, Тилли.

— Меня прозвали Бородатой Свиньей,— продолжал Зитор.— Свинья казнит человека.

Быстрее, чем Тилли успел сообразить в чем дело, Кассан Зитор ударил его по голове толстой дубовой тростью, и молодой человек, пошатнувшись, упал. Он был оглушен. Зитор наклонился над ним и стал что-то делать, а когда выпрямился, Тилли успел забыть о письме к Зитору навсегда.

— Два месяца я худел и думал, думал и худел,— пробормотал Зитор.— Довольно с меня этой пытки. Ах, все пропало! Но я бы охотно съел сейчас пару жареных куриц и колбасу. Все равно, жизнь испорчена.

Он удалился в глубину рощи, и скоро под его тяжестью заскрипел сук, а в деревне, невинный и безучастный, запел рыжий петух свое надгробное Бородатой Свинье слово:

— Ку-ка-реку!

ИМЕНИЕ ХОНСА

I

В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, приглашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно приобретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанные благодаря долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями и был по горло занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках; текст его носил отпечаток болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство.

«Проклятье городу! — писал Хонс своим прыгающим тесным почерком.— Я счастлив только теперь; кругом с в е т. Относительно города: имей он форму стула, я с удовольствием сломал бы его вдребезги. Ты должен приехать. Ты будешь поражен. Я открыл истину спасения мира».

Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. «Истина спасения мира» заставила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на которые чудаковатый Хонс был мастер всегда.

В раздумьи я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев сильно изменила мою наружность: исчезла здоровая полнота, результат пребывания на берегах океана, слинял загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне у

Хонса, должно быть, действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал горничной собрать чемодан.

II

Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту,— считаю совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента, когда я увидел Хонса.

Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением, пахло полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородинное пиво, деревенским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, завсегдатая маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым животом.

— Я счастлив,— сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади, и несколько смущенный торжественностью его голоса, пытался весело засмеяться.— Пойдем же; Гриль, уберите лошадь и всыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно, ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история.

В Хонсе резко вспыхнула новая для меня черта. он казался подавленным и удрученным, что совершенно и неприятно дисгармонировало с его полной, цветущей внешностью, великолепной бородой и кротким, проницательным взглядом. Костюм его был оригинален: совершенно белый, он производил впечатление, как будто на Хонса вытряхнули мешок муки. Шляпа, галстук и сапоги были т о ж е белые.

Мы шли через обширный красивый сад, и, пока Хонс с неестественной для него суетливостью, сбиваясь и путаясь, рассказывал мне действительно слегка подозрительную историю своего обогащения (перепродал чьи-то паи), я с любопытством осматривался. Чрезвычайно нежные, поэтические тона царствовали вокруг. Бледно-зеленые газоны, окруженные светло-желтыми лентами дорожек, примыкали к плоским цветущим клум-

бам, сплошь засаженным каждая каким-нибудь одним видом. Преобладали левкои и розовая гвоздика; их узорные, светлые ковры тянулись вокруг нас, заканчиваясь у высокой, хорошо выбеленной каменной ограды маленькими полями нарциссов. Своеобразный подбор растений дышал свежестью и невинностью. Не было ни одного дерева, нежно цветущая земля без малейшего темного пятнышка производила восхитительное впечатление.

— Что ты скажешь? — пробормотал Хонс, заметив мое внимание.— Заметь, что здесь нет ничего темного, так же, как и в моем доме.

— Т е м н о г о? — спросил я.— Судя по твоим сапогам. Но все-таки, конечно, у тебя есть в доме чернила.

— Цветные,— горделиво произнес Хонс.— Преимущественно бледно-лиловые. Это моя система возрождения человечества.

Моя недоверчивая улыбка пришпорила Хонса. Он сказал:

— Мы войдем... и ты узнаешь... я объясню...

III

Наш разговор оборвался, потому что мы подошли к большому, каменному белому дому. Хонс открыл дверь и, пропуская меня, сказал:

— Я пойду сзади, чтобы ничем не нарушать твоего внимания.

Недоумевающий, слегка растерянный, я поднялся по лестнице. Действительно, все было светлое. Потолки, стены, ковры, оконные рамы — все поражало однообразием бледных красок, напоминавших больничные палаты в солнечный день.

— Иди дальше,— сказал Хонс, когда я остановился у двери первой комнаты.

Невольно я обернулся. В двух шагах от моей спины стоял Хонс и смотрел на меня пристальным взглядом, от которого, не знаю почему, стало жутко. В тот же момент он взял меня под руку.

— Смотри,— сказал Хонс, показывая отделку залы,— необычайная гармония с в е т а. Не к чему придраться, а?

Необычайная гармония? Я сомнительно покачал головой. Мне, по крайней мере, она не нравилась. Смер-

тельная бледность мебели и обоев казалась мне эстетическим недомыслием. Я тотчас высказал Хонсу свои соображения по поводу этого. Он снисходительно усмехнулся.

— Знаешь,— произнес он,— пока подают есть, пойдем в кабинет, и я изложу тебе там свои убеждения.

По светлому паркету, через бело-розовый коридор мы прошли в голубой кабинет Хонса. Из любопытства я сунул палец в чернильницу, и палец стал бледно-лиловым. Хонс рассмеялся. Мы уселись.

— Видишь ли,— сказал Хонс, бегая глазами,— порочность человечества зависит безусловно от цвета и окраски окружающих нас вещей.

— Это твое мнение,— вставил я.

— Да,— торжественно продолжал Хонс,— темные цвета вносят уныние, подозрительность и кровожадность. Светлые — умиротворяют. Благотворное влияние светлых тонов неопровержимо. На этом я построил свою теорию, тщательно изгоняя из своего обихода все, что напоминает мрак. Сущность моей теории такова:

1) Люди должны ходить в светлых одеждах.
2) Жить в светлых помещениях.
3) Смотреть только на все светлое.
4) Убить ночь.

— Послушай! — сказал я.— Как же убить ночь?

— Освещением,— возразил Хонс.— У меня по крайней мере всю ночь горит электричество. Так вот: из поколения в поколение взор человека будет встречать одни нежные, светлые краски, и, естественно, что души начнут смягчаться. Пойдем ужинать. Завтра я расскажу тебе о всех моих удачах в этом направлении

IV

В столовой палевого оттенка мы сели за стол. Прислуживал нам лакей, одетый, как и сам Хонс, во все белое. За ужином Хонс ел мало, но тщательно угощал меня прекрасными деревенскими кушаньями.

— Хонс,— сказал я,— а ты... ты чувствуешь возрождение?

— Безусловно.— Глаза его стали унылыми.— Я чувствую себя чистым душой и телом. Во мне свет.

Я выпил стакан вина.

— Хонс,— сказал я,— мне чертовски хочется спать.

— Пойдем.

Хонс поднялся, я следовал за ним; конечно, он привел меня в светло-сиреневую комнату; я пожелал ему доброй ночи. Кротко мерцая глазами, Хонс вышел и тихо притворил дверь.

Засыпая, я громко хихикал в одеяло.

Затем наступили совершенно невероятные события. Какой-то шум разбудил меня. Я сел на кровати, протирая глаза. Издали доносился топот, крики, металлическое бряцание. Первой моей мыслью было то, что в доме пожар. Полуодетый я выбежал в коридор, пробежал ряд ярко-освещенных, бледно-цветных комнат, в направлении, откуда слышался шум, открыл какую-то дверь и превратился в соляной столб...

Мертвецки пьяный, в одном нижнем белье, Хонс сидел на коленях у полуголой женщины. На полу валялись бутылки, еще две красавицы с растрепанными волосами орали во все горло непристойные песни, размахивая руками и изредка хлопая Хонса по его маленькой лысине. На подоконнике три оборванца с лицами преступных кретинов изображали оркестр. Один дул что есть мочи в железную трубку от холодильника, другой бил кулаком в медный таз, третий, схватив крышку от котла, пытался сломать ее каминной кочергой. Хонс пел:

И-трах-тах-тах,
И-трах-тах-тах,
У-ы, у-ы, у-ы.

При моем появлении произошло замешательство. Кретины бежали через окно, прыгая, как обезьяны, в кусты. Взбешенный Хонс, схватив кухонный нож, бросился на меня, я быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Тогда за запертой дверью поднялся невероятный содом.

Поспешно удалившись, я стал обдумывать меры, могущие успокоить Хонса. Конечно, прежде всего следовало уничтожить следы Гоморры, но Хонс был в той комнате, с ножом, следовательно...

Постояв с минуту, я прошел к себе, взял револьвер и снова подкрался к двери. К моему удивлению, наступила тишина. Употребив две минуты на то, чтобы вытащить ключ, не брякнув им, я успешно выполнил это и посмотрел в скважину.

Хонс, сраженный вином, лежал на полу и, по-видимому, спал. Женщин не было, вероятно, они, так же как и кретины, удалились через окно. Тогда я вложил ключ, открыл дверь и, осторожно, чтобы не разбудить Хонса, привел все в порядок, выкинув за окно бутылки и музыкальные инструменты.

Затем я легонько встряхнул Хонса. Он не пошевелился. Я удвоил усилия.

— Ну, что? — слабо простонал Хонс, приподымаясь на локте.

Я взял его под мышки и поставил на ноги. Он стоял против меня, покачиваясь, с опухшим, бледным лицом.

— Ты...— начал я, но вдруг свирепая, сумасшедшая ярость исказила его черты: я был свидетелем.

С находчивостью, свойственной многим в подобных же положениях, я мягко улыбнулся и положил руку на его плечо.

— Тебе приснилось,— кротко сказал я.— Галлюцинация. Вспомни преподобных отцов.

— Что приснилось? — подозрительно спросил он.

— Не знаю, что-то, должно быть, страшное.

Он с сомнением осматривал меня. Я сделал невинное лицо. Хонс осмотрелся. Порядок в комнате, видимо, поразил его. Еще мгновение, еще ласковая гримаса с моей стороны, и он уверовал в мое неведение.

— Что же такое страшное могло мне присниться? — с наивной доверчивостью, свойственной многим сумасшедшим, сказал он.— С тех пор, как я живу здесь, сны мои светлы и приятны.

Он громко и стыдливо захохотал, в полной уверенности, что обманул меня. Тогда я вздохнул свободно.

НАСЛЕДСТВО ПИК-МИКА

— Посмотрим, что написал этот человек! Этот чудак!

— Держу пари, что здесь больше всего приходо-расходных цифр!

— Или черновиков от писем!

— Или альбомных стихотворений!

Такие и им подобные возгласы раздались в моей комнате, когда мы, друзья умершего три дня назад Пик-Мика, собрались за ярко освещенным столом. Все сгорали от нетерпения. В завещании, очень лаконичном и не возбудившем никаких споров, было сказано ясно: «Записки мои я, нижеподписавшийся, оставляю всем моим добрым приятелям, для совместного прочтения вслух. Если то, что собрано и записано мной на протяжении пятнадцати лет жизни, им придется по вкусу, то каждый из них должен почтить меня бутылкой вина, выпитой за свой счет и в неизменном присутствии моей собаки, пуделя Мика».

Это место из завещания вспомнили все, когда толстая, прошнурованная тетрадь была вытащена мной из бокового кармана. На столе ярко горели старинные канделябры, часы весело болтали маятником и шесть заранее приготовленных бутылок вина светились темным золотом между кофейным прибором и ароматным паштетом.

Все закурили сигары, располагаясь как кому было удобнее. Читать должен был я. Прошла минута сосредоточенного молчания — время, необходимое для того, чтобы откашляться, провести рукой по волосам и придать лицу строгое выражение, не допускающее перебиваний и шуток.

Я развернул тетрадь и громко прочел заглавие первого происшествия, описанного нашим милым покойником. И в тот же момент легкая как туман, задумчивая фигура Пик-Мика в длинном, наглухо застегнутом сюртуке вышла и села за стол.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

День отвратителен, не стоит говорить о нем; поговорим лучше о ночи. Все, кто встает рано, любуясь восходом солнца, заслуживают снисхождения, не больше; глупцы, они меняют на сомнительное золото дня настоящий черный алмаз ночи. Отсутствие света пугает их; проснувшись в темноте, они зажигают свечу, как будто могут увидеть иное, чем днем. Иное, чем стены, знакомая обстановка, графин с водой и часы. Если им нужно выпить немного валериановых капель,— это еще извинительно. Но бояться, что не увидишь давно знакомое — есть ли смысл в этом?

Всегда пропасть — мглистая, синяя, серебряная и черная — ночь. Царство тревожных душ! Простор смятению! Невыплаканные слезы о красоте! Нагие сердца, сияющие отвратительным блеском, тусклые взоры убийц, причудливые и прелестные сны, силуэты, намеченные карандашом мрака; рай, брошенный в грязь разгула, огромный кусок земли, спящий от утомления; вы — бесценные россыпи, материал для улыбок, источник чистосердечного веселья, потому что, клянусь хорошо вычищенными ботинками, я смеялся как следует только один раз и — ночью.

Нас было двое. Тот, о котором говорят о н, спокойный, одетый изящнее придворного кавалера, хранил молчание. Я развлекал его. Новости, сплетни дня, забавные анекдоты падали с моих губ в его лакированную душу безостановочно. И тем не менее он был недоволен. Он хотел впечатлений пряных, эксцессов, смеха и удовольствия.

Пройдя мост, мы остановились против витрины ювелира. Электричество затопляло разноцветный град брильянтов, застывших, как лед, в бархатных и атласных футлярах. Он долго смотрел на них, мысленно оценивая каждую штуку и внутренне облизываясь. И тихо сказал:

— Конечно, это — продажная человеческая душа. Крупнее — дороже.

Я стал смеяться, уверяя, что ничего подобного. Брильянты ввозятся преимущественно из Африки, их обделывают в гранильнях и шлифовальнях, потом скупают. Но он продолжал как духовное лицо, печальным и строгим голосом:

— Да, да, можно провести полную параллель. Боже мой, если бы вы знали, как тонко я чувствую все окружающее меня. Но идем дальше, дальше от этой гробницы слез.

Я чувствовал, что начинаются колики, но благоразумно удержался от смеха. Это печальное человеческое животное тащило меня по тротуару от витрины к витрине, пока не остановилось перед решеткой гастрономического магазина. Консервы и прочая смесь дремали в сумраке. Он тихо пробормотал:

— Немножко усилия, немножко воображения, и это стекло покажет нам чудеса. Эти сельди и шпроты,—

вернее, трупы их — не воскрешают ли они океан, свою родину, подводный мир, чудеса сказок? А эти вульгарные телячьи ножки — зелень лугов, фермы с красными крышами, загорелые лица крестьян, картины голландских живописцев, где хочется расцеловать коров, так они живы и энергичны.

Судорога перекосила мое лицо. Дрожа от скованного волей смеха, я выговорил:

— Не то! Не то!

— Да,— подтвердил он с видом человека, понимающего с первого слова мысли собеседника,— вы правы. Не то! Здесь что-то иное, быть может, думы о смерти. Я говорю не о гастрономической смерти, но на меня каждый остаток живого существа производит сложное впечатление.

Асфальт ясно отражал частые звуки шагов; шла девушка, одна из несчастных. Все нахальство, расточаемое на улицах, светилось в ее глазах, подрисованных тушью. Она была еще довольно свежа, стройна и поэтому имела естественное право заговаривать с незнакомыми.

— Мужчина, угости папироской! — сказала маленькая блудница.

Он внимательно посмотрел на ее лицо и вытащил портсигар.

— Конечно,— заговорил он, делаясь недоступным,— вы хотите не одну только папиросу. Вам хочется, чтобы я взял вас с собой в ресторан, заказал ужин, вино и заплатил вам десять рублей. Но это совершенно немыслимо, и вот почему. Во-первых, я боюсь заразиться, а во-вторых, мне недостаточно этого хочется. Что же касается папиросы — вот она, это финляндская папироса, десять копеек десяток. Видите, я говорю с вами вежливо, ничем не подчеркивая разницы нашего положения. Вы проститутка, живете скверной, уродливой жизнью и умрете в нищете, в больнице, или избитая насмерть, или сгнившая заживо. Я же человек общества, у меня есть умная, благородная, чистая жена и нервная интеллектуальная жизнь; кроме того, я человек обеспеченный. Жизнь без контрастов неинтересна, но все же ужасно, что есть проституция. Итак, вот папироса, дитя мое; смотрите — я сам зажигаю вам спичку. Я поступил хорошо.

Он взволнованно замолчал, боясь растрогаться. Девушка торопливо шла дальше, шаги ее падали в тишину уверенным, жестким звуком.

— Я вас презираю,— вдруг сказал он, выпуская клуб дыма.— Не знаю хорошенько за что, но мне кажется, что в вас есть что-то достойное презрения. В вас, вероятно, нет тех пропастей и глубин, которые есть во мне. Вы ограниченны, это подсказывает мне наблюдение. Вы мелки, не далее как вчера вы торговались с извозчиком. Вы — мелкая человеческая дрянь, а я — человек.

— Ха-ха-ха! — разразился я так, что он подскочил на два фута.— Хи-хи-хи-хи-хи! Хе-хе-хе-хе! Хо-хо-хо-хо!

— Хо-хо! — сказал мрак.

Я плакал от смеха. Я бил себя в грудь и призывал бога в свидетели моего веселья. Я говорил себе: сосчитаю до десяти и остановлюсь, но безумный хохот тряс мое тело, как ветер — иву.

Он сдержанно пожал плечами и рассердился.

— Послушайте, это неприлично. Смотрите, прохожие остановились и показывают на вас пальцами. Глаза их делаются круглыми, как орехи. Уйдемте!

— Я люблю вас! — стонал я, ползая на коленях.— Позвольте мне поцеловать ваши ноги! Солнце мое!

Он не слушал. Он презрительно отвергал мою любовь, так же, как отверг бы ненависть. Он был величествен. Он был прекрасен. Он смотрел в глаза мраку, призывая восход, жалкую струю мутного света, убийцу ночи.

Тогда я убил его широким каталанским ножом. Но он воскрес прежде, чем высохла кровь на лезвии, и высокомерно спросил:

— Чем могу служить?

Изумленный, я стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежливо улыбался. Тогда пришла моя очередь рассердиться.

— Пропадай, черт с тобой! — закричал я.— Бриллианты! Телячьи ножки! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!

Он повернулся три раза, сделал книксен и вдруг расплылся в широчайшей сладкой улыбке. Она дрожала в воздухе, черная, как лицо негра. Потом просветлела, тронула крыши и купола церквей розоватыми углами губ, опустилась бледным туманом и проглотила город.

ИНТЕРМЕДИЯ

Я человек ленивый, и для того, чтобы раскачаться записать что-нибудь, должен пережить или услышать настоящее событие. Каждый понимает это слово по-своему; я предпочитаю означать им все, что мне нравится. С этой и, по-моему, единственно правильной точки зрения, хороший обед — событие. Точно так же я назову событием встречу с человеком, одетым в красное с головы до ног. Это было бы ново, мило, а значит и занимательно.

В один из осенних вечеров я вышел на перекресток двух плохо освещенных, грязных улиц, населенных рабочими и жуликами. Я не знал, зачем и куда иду, мне просто хотелось двигаться. Деревья чахоточного бульвара сонно чернели у фонарей. Жидкий свет окон пестрил тьму; пустынные тротуары напоминали заброшенные дороги. Сырой воздух холодил щеки, в переулках и под арками ворот скользили беззвучные силуэты. Вдали, над вокзалом сиял белым пламенем электрический шар; одинокий глаз тьмы, мертвый свет, придуманный человеком.

Ничто не нарушало печали и оцепенения ночи; жители квартала сидели за гнилыми стенами; одиночество бродяг для них было роскошью; они уважали людей, имеющих собственные кровати. Я шел, покуривая и мурлыкая. Мне было хорошо; день, поэзия инфузорий, умер на западе в семь часов вечера. Я похоронил его, я справлял его тризну прогулкой и легкомыслием. Ночь — царственное наследство дня, стотысячный чулок скряги, умершего с голода,— я люблю твой черный костюм джентльмена и презираю базарную пестроту.

Вы, знающие меня, простите это маленькое, невольное отступление. Я шел минут пять по тротуару и вышел на перекресток. Здесь неподвижно и деловито стояла женщина, держа в руках большой черный предмет. Посмотрев на нее, я тронулся дальше и оглянулся. Она продолжала стоять. Я остановился, вынул сигару; не торопясь закурил, прислонился к соседней стенке и две-три минуты дымил как дымовая труба. Она стояла.

И я побился об заклад сам с собой, что не уйду раньше ее. Моросил дождь, взрывы ветра проносились

по улице. Она все стояла, терпеливо и молча. Рядом с ней чернела пустая скамейка; она не садилась. Тогда я бросил сигару и подошел к этой чудачке, одетой в сильно поношенное платье; с грязной измятой шляпы ее текла вода. Бледное, решительное лицо, и глаза полные страха. Свободной рукой она сделала движение, как бы отстраняя меня. Обдумав первый вопрос, я приступил к делу.

— Сударыня,— сказал я,— не знаете ли вы дороги к Новому рынку? Я только что приехал и не имею никакого представления о расположении города.

Дрожа и заикаясь, она выговорила:

— Налево... затем... прямо... затем...

— Хорошо, благодарю вас. Какой дождь, а?

— Да... дождь...

— Ну, что же,— сказал я, начиная терять терпение,— вы сами-то не заблудились, милая?

В ответ на это можно было ожидать чего угодно, и я заранее приготовился к какой-нибудь дерзости. Она вправе была послать меня к черту или попросить оставить ее в покое. Но она молчала. Лицо ее изменилось до неузнаваемости, губы тряслись; холодный, тоскливый ужас пылал в глазах, устремленных на меня с тупой покорностью животного, ожидающего удара.

Неприятное ощущение пронизало меня до корней волос. Я терялся, я начинал дрожать сам. Вдруг она сказала:

— Я продаю петуха.

Машинально, не обратив внимания на странность этого заявления, я спросил:

— Петуха? Где же он?

Женщина подняла руки. Действительно у нее был петух, связанный, обмотанный плотной сеткой. Я потрогал его рукой. теплота птицы убедила меня. Это был настоящий, живой петух.

Пораженный, смущенный, теряясь в соображениях, я силился улыбнуться. Я не знал, что сказать. Мне казалось, что со мной шутят. Я думал, что сплю. Я готов был вспылить и выругаться или купить этого петуха. Один момент мне пришло в голову попросить извинения и уйти.

Вдруг совершенно ясная, неоспоримая истина положения поставила меня на ноги Роль сатаны не хуже

всех остальных, посмотрим. Эта женщина продает петуха, купим его дороже.

И я заявил:

— Петух мне нравится. Я даю вам за него десять рублей.

— Нет,— сказала испуганная женщина.— Один рубль.

— Может быть, вы возьмете сто? Сто новеньких, тяжелых рублей, подумайте хорошенько. Вы наймете чистенькую, уютную квартирку, купите стулья, горшки с душистым горошком, комод, новое платье себе и праздничный костюм мужу. Потом вы найдете место. У вас будет все готовое, вы не будете откладывать жалованья на обзаведение домашним хозяйством. Кроме того, вы пойдете в ближайшее воскресение в театр, где играет музыка и показывают разные смешные и трогательные вещи. Разве все это плохо?

— Нет,— выкрикнула она,— ни за что, ни за какие блага в мире! Один рубль.

— Позвольте,— продолжал я,— мы можем сойтись иначе. Я дам вам тысячу.

Она вздохнула и отрицательно покачала головой. Какие дикие образы толпились в ее мозгу? Она была жалка и страшна, крупный пот стекал по ее щекам; вся во власти овладевших ею представлений, она видела только одно, загадочную серебряную монету, и выдерживала битву, шатаясь от слабости. Я набавлял цену, увлекаясь сам; я сыпал тысячами.

— Двадцать тысяч,— хотите?

— Нет.

— Тридцать.

— Нет.

— Вы заблуждаетесь. Вы отказываетесь от счастья. Каменный трехэтажный дом, картины, дорогие цветы, паркет, рояль лучшей фабрики, собственный экипаж, лошади.

— Нет.

— Я дам вам сколько хотите. Вы будете в состоянии пить вино — ценою на вес золота; земля превратится в рай, самые лакомые, дорогие кушанья будут ожидать вашего выбора, ваш каприз будет законом, желание — действительностью, слово — могуществом. Глетчеры,

вулканы, острова тропиков, льды Полярного круга, средневековые города, развалины Греции — этого вы в грош не ставите? У вас будут дворцы, слышите вы, жертва клопов и голода? Дворцы! Самые настоящие. Вы можете их украсить, как вам угодно.

Но она упорно мотала головой и, хрипло, задыхаясь от волнения, твердила, как помешанная:

— Рубль. Рубль.

— Ну, что же,— сказал я, стараясь придать голосу ироническую беспечность,— я умываю руки. Вы хотите непременно рубль — нате. Только вашего петуха я не возьму. Он стар и, конечно, тверд как подошва. Зажарьте его и скушайте за мое здоровье.

Я вытащил из жилетного кармана пять двадцатикопеечных монет. Она отшатнулась, неожиданность лишила ее всякой опоры. Беспомощная победительница умоляюще смотрела на меня, она хотела р у б л ь.

— Что же вы? — спросил я.— Вот рубль.

— О,— простонала она.— Не так, сударь, не так. Серебряный, неразменный.

— Таких нет,— возразил я,— берите, что дают. Жалею, от души жалею, что я не черт. Я — Пик-Мик. Поняли? Прощайте. Если вам будет невтерпеж, купите на последние деньги связку старых ключей и действуйте. Или, быть может, вы желаете честно умереть с голода? Дело ваше. Посмотрите на петуха. Он смотрит на вас с глубоким отчаянием. Для кого же, как не для вас, кричит он три раза в ночь и последний раз — на рассвете? Подумайте только, как сладко спят на рассвете все, охраняющие свое добро.

Я раскланялся и ушел. Дома мне долго не удавалось заснуть; беспокойные уродливые кошмары толпились вокруг кровати; стук маятника гулко разносился в пустых комнатах. То бодрствующий, то погруженный в тяжелое забытье, я лежал как пласт, и ночь, казалось, упорно не хотела принести мне успокоение.

Окно в спальню было отворено. Дерзкий получеловеческий голос поднял меня с кровати; протирая отяжелевшие глаза, я подошел к окну. Грязное белье тумана заволакивало серые силуэты крыш; брезжил рассвет. Осенняя кровь солнца расплывалась на горизонте, резкий холод освежал легкие. Снова крик простуженного человека взвился над городом; это на соседней ферме

упражнялись петухи, перебивая друг друга; в их голосах чувствовались тепло курятника и необъяснимая, сонная тревога. Одинокие, сгорбленные фигуры переходили улицу; как мыши, они скользили вдоль стен и проваливались.

Утром, пробегая газету, я нашел несколько сообщений, извещавших о похищении собственности. Моя случайная ночная приятельница, не была ли и ты действующим лицом? Если так, то ты не ошиблась, и я был сатаной на час, потому что где же уверенность, что все мы не маленькие черти, мы, строящие неумолимо логические заключения?

НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРАХ

— Я очень люблю сильные ощущения,— сказал мне под искусственной пальмой кафе-шантана человек с проседью. Он сильно жестикулировал. Я никогда не видел человека с таким разнообразием жестов. Его руки, пальцы, плечи, брови и даже уши приходили в движение при каждом слове. Прежде чем сказать что-либо, он разыгрывал целую мимическую сцену, выразительно блестя впалыми глазами.

Я был страшно недоволен его обществом. Нервные люди стоили мне полжизни. Однако, подсев сам, он не думал раскланяться и уйти.

В это время, т. е. когда я размышлял о смысле существования человека с проседью, заиграла музыка. Военный, кровожадный марш сделал меня на десять минут поручиком фантастического полка, гуляющего по аллеям сада в цветных шляпах, смокингах и мундирах. Мой новый знакомый барабанил пальцами по столу. Я сказал:

— Если вы сядете вон в ту вагонетку, которая на шестиэтажной высоте головокружительно звенит рельсами, то испытаете те глубокие ощущения, которые вам угодно назвать сильными.

— Пожалуй,— согласился он.— С вами?

— Все равно.

— Я был офицером, играл в кукушку,— заметил он, довольно смеясь.

— Это хорошо,— сказал я.

— Я также тонул три раза.

— Совсем недурно.

— Был ранен во время военных действий.

— Какая прелесть!

Он больше ничего не сообщил мне, но я понял, что этот человек любит тонуть, быть раненым и стрелять из-за угла в темноте, играя в кукушку. Именно эти оригинальные наклонности и были причиной гибели человека с проседью.

Мы подошли к кассе. Над головой нашей, в свете электрических лун, в ущельях страшной крутизны, сделанных из цемента и железа, мелькали, взвиваясь и падая, вагонетки, переполненные народом. Сплошной заунывный визг женщин, напоминающий предсмертные вопли тонущих лошадей, оглашал сад.

— Женщины трусливы,— сентенциозно заметил человек с проседью.

Мы сели. Он стал курить, нервно пощипывая бородку, оглядываясь и вздыхая. За моей спиной, хихикнув, взвизгнула барышня.

Мы тронулись сначала тихо, затем быстрее, и через несколько секунд три-четыре сорванных ветром шляпы, пролетев мимо меня, покатились в глубину грота.

Нас окружила темнота, затем, сделав крутой на светлом повороте скачок, вагонетка стремительно полетела вниз. Подлое ощущение холода в спине и остановка дыхания заняли меня на пять-шесть секунд, пока продолжалось падение; после этого я по такому же крутому склону птицей взлетел на вершину горы, тяжко вздохнул и, похолодев, снова камнем полетел во тьму, придерживаясь руками за сидение. Это неприятное развлечение повторилось два раза, после чего, отдохнув в медленном кружении на краю обрыва, вагонетка помчалась с быстротой пули, доставляя мне те же самые ненужные болезненные впечатления полной беспомощности и неизвестности,— выкинет меня или я усижу до конца, встав пьяным от головокружения.

Повернув голову, я смотрел на человека с проседью. Широко открытые глаза его остановились на мне с выражением недоумения, какое свойственно внезапно получившему удар человеку.

— Я сейчас умру,— хрипло сказал он,— сердце...

— Порок?

— Да.

— Сколько лет?

— Четыре.

— А завещание?

— Нет завещания,— сердито прокричал он,— у меня кролики.

Почувствовав жалость, я крикнул:

— Остановите.

Услышать проводнику что-либо в грохоте цементного тоннеля было немыслимо. Мой спутник сказал:

— Отлегло; на всякий случай...

— Конечно.

— Мой адрес.

Я взял визитную карточку. Он, схватившись за грудь, продолжал выкрикивать испуганным голосом:

— Я развожу кроликов.

— Пушистые зверьки,— пробормотал я.

— Кроликов калифорнийских перевести на другую ферму.

— Слушаюсь.

— Кроликов кентерберийских...

— Запомнил.

— Кроликов австралийских...

— Понимаю.

— Кроликов бельгийских...

— Слышу.

— Кроликов австрийских...

— Ясно.

— Этих кроликов не продавать,— застонал он, сгибаясь.

— Будет передано,— внимательно сказал я.

— Кроликов иоркширской породы кормить смесью.

— Хорошо.

— Венгерских кочерыжками, пять пучков.

— Отлично.

— Нет, я не умру,— сказал он, отдуваясь, и мы снова ринулись в темноту.— Нет, умру.

Секунд пять мы молчали. Вагонетка взлетела на самую вершину дьявольского сооружения, а затем, почти отделясь от рельс, повалилась к мелькающим внизу огням сада.

— Умираю! — крикнул человек с проседью.— Скажите управляющему... что мои последние слова... чтобы он кроликов моих... есть не смел!

Он поднял руки, брови, помотал головой и свалился к моим ногам.

Еще несколько секунд продолжалась бешеная игра вагонетки, огненные кролики прыгали в моих глазах, и наконец все кончилось.

Я встал, пошатываясь. Толпа народа собралась вокруг мертвого тела, и шум ночного веселья перешел в похоронную тишину. Я же ушел, думая о кроликах. Кончилась прекрасная, содержательная жизнь, а вместе с ней и благополучие — как их... этих... кентерберийских...

СОБЫТИЕ

Я люблю грязь кабаков, потные физиономии пьяниц, треснувшие блюда с подгнившими бутербродами, бульканье алкоголя, визг непотребных девок, наготу ничем не прикрашенных желудка и похоти, толпу у стойки, чахоточный граммофон и тусклый свет газа. Часто, возвращаясь со службы, изящно одетый господин с портфелем под мышкой,— я захожу в какой-нибудь ревущий пьяными голосами притон и выпиваю водки на гривенник из толстого граненого стаканчика, захватанного мужицкими пальцами.

Я любитель контрастов. Грязная человеческая пестрота приводит меня в неподдельное восхищение, истинная природа человека становится здесь яснее, чем там, где привычка не чавкать за обедом дает право на звание культурного человека. Наше скучное общество, тщательно скрывающее от самого себя свою настоящую сущность, могло бы многому поучиться у наивного цинизма продажных женщин и жуликов. В среде, далекой от кодекса нравственных и прочих приличий, чувствуется веяние элементарной животной правды: есть, пить и любить,— нечто неопровержимое, но для некоторых здоровенных, краснощеких господ еще нуждающееся в доказательствах, потому что они опились, объелись и перелюбили.

Неделю тому назад в двенадцатом часу ночи я возвращался домой. Пустые улицы дышали осенним холодом, мрак скупо блестел точками фонарей, и мне было грустно. Я рассуждал о себе. Я приходил к заключению, что моя жизнь складывается не из событий, а из дней.

Событий — потрясающих, счастливых, страшных, веселых — не было. Если сравнить мою жизнь с обеденным столом, то на нем никогда не появлялись цветы, никогда не загоралась скатерть, не разбивалась посуда, не просыпалась соль. Ничего. Брякание ложек. А дней много: число 365, умноженное на 40.

Я становился смешным в своих глазах и внутренне кипятился. Лицо мое приняло желчное выражение. Меня называли угрюмым. Я тщетно старался создавать события. Пять лет назад я собирал марки; все разновидности их достались мне чрезвычайно легко, кроме одной — Гвиана 79 года. Рисунок этого почтового знака, виденный мною в одном из специальных журналов, был фантастичен и великолепен, но из всех моих поисков не вышло с о б ы т и я. Марки я не нашел и сжег альбом. Потом, с течением времени, симпатии мои перешли на птиц. Но синицы, о которой я мечтал три года, синицы, способной петь сорок секунд, не позволил приобрести мой карман. Я рассказываю это в качестве примера поисков за с о б ы т и е м. Грустное зрелище представляет человек, похожий на тележку, поставленную на рельсы. Кем придумано выражение «как сыр в масле» — идеал безмятежного прозябания? Автор его был, вероятно, крайне несчастное существо — молочный фермер.

Я шел, светились кабачки. Там было вино, жидкость, способная превращать грусть простую — в грусть сладкую, и даже (особенность человека) — самодовольную. Быть может, пьяный калека не без тайного удовольствия сознает свои индивидуальные особенности. Там, где гений говорит: «я — гений», калека может сказать с достоинством: «я — калека». До некоторой степени вино уравнивает людей; человек, от которого пахнет водкой, счастлив прежде всего удесятеренным сознанием самого себя. В наивысшем градусе опьянения рука желания не достает до потолка счастья на один сантиметр.

Итак, я зашел, и огненная жидкость наполнила мой желудок. Было светло, шумно; оркестрион играл прелестную арию Травиаты, похожую на тихий поцелуй женщины, или пейзаж, с которым вы связаны отдаленными, волнующими воспоминаниями. К моему столику подсел матрос, несколько пьянее меня; он спросил закурить. Я небрежно протянул ему выхоленную руку с

зажженной спичкой. Он икнул, с шумом выпустил воздух и сказал:

— Д-да...

— Да,— повторил я.— Да, милый друг, да.

Какая-то упорная мысль преследовала его. Человек, сказавший «да» самому себе, отягощен кипением мыслей; это — кряхтение нагруженной души. Я молчал, он осклабился, повторяя:

— Д-да. Д-да.

Из дальнейшего выяснилось, что человек этот проломил жене голову утюгом. Странный способ выражения супружеской нежности! Но это несомненно была нежность, потому что ряд сбивчивых фраз этого господина с фотографической точностью нарисовал мне его портрет. Он был м о р ж (из зоологии известно, что в припадке нежности морж бьет самку клыками по голове) и «по-моржовски» обходился с супругой. Во время разговора я пил подлую смесь лимонада с английской горькой. Он сказал:

— Д-да.

Я, выведенный из терпения, не противоречил. Наконец, он стал разгружаться.

— Видите ли,— прохрипел он,— я не того... д-да... Она, надо вам сказать, рыжая. Я люблю ее больше чем «Муравья», хотя, клянусь дедушкой сатаны, посмотрели бы вы на «Муравья» в галсе — красота, почище военного корабля. И вот я сидел... и она сидела... того... и у меня в душе кипит настоящий вар. Такая она милая, господин, что взял бы да раздавил. Она говорит: — «Чего ты?» — «Люблю я тебя,— говорю,— оттого и реву».— «Брось,— говорит,— миленький, ты,— говорит,— того... самый мне дорогой». От этих слов я не знал что делать. Слов у меня... того... таких нужных нет.. понимаете? А сердце рвется... вот, как полная бочка всхлипывает. Сидел я, сидел... слезы у нас того... у обоих... Такая меня тоска взяла, не знаю, что делать. Утюг лежал на столе. Впал я в полное бешенство. Ударил ее. Она говорит: — «Ты с ума сошел?» Кровь и все такое. Того... видите ли, я не был пьян, то есть ни-ни. Да.

Конечно, тросы и якоря отучили моржа выражать свои чувства несколько деликатнее. Ему нужен был выход; человек, охваченный пламенем, не всегда ищет две-

рей, он вспоминает и об окошках. Как бы то ни было, я почувствовал к моржу уважение, смешанное с завистью. Любовь, напоминающая новеллы, и утюг — это событие.

— Да,— сказал я, барабаня пальцами по столу.— Что такое бегучий такелаж?

К моему удивлению, собеседник подробно и бойко, не мямля, как пять минут тому назад, растолковал мне, что бегучий такелаж — подвижные корабельные снасти. Этот предмет он з н а л. Слово «того» исчезло. Вслед за этим он захмелел и упал на стол. Я же пошел домой и, поравнявшись с буфетом, вспомнил, что нужно захватить с собой бутылку вина.

Пока я покачивался у стойки, багровое лицо буфетчика приняло колоссальные размеры. Я с любопытством следил за ростом его головы, она распухала, толстела и через минуту должна была отвалиться прочь, не выдержав собственной тяжести. Буфетчик завернул бутылку в обрывок газеты и подал мне.

— Приятель,— сказал я,— следите за своей головой. Если она упадет, это будет событие, перед которым померкнет даже то, что я слышал сегодня, а, клянусь вашим папашей, я не слыхал более забавной истории.

ВЕЧЕР

Мне не на что жаловаться. Я здоров, обладаю прекрасным зрением и живу больше воображаемой, чем действительной жизнью.

Но каждый вечер, когда золото и кармин запада покрываются пеплом сумерек, я испытываю безотчетное, жестокое нарастание ужаса. Вокруг меня все, по-видимому, спокойно; ритмически стучит колесо жизни, и самый стук его делается незаметным, как стук маятника. Земля неподвижна. Законы дня и ночи незыблемы. Но я боюсь.

Вчера вечером, как и всегда, я сел за письменный стол. Мне предстояла сложная работа по отчетности торгового учреждения. Но вместо цифр мои мысли носились вокруг отрывочных представлений, в которых я сам отсутствовал; вернее, представления эти существовали как бы помимо меня. Я видел черную, стремитель-

но убегающую воду, красные фонарики, военный корабль, кусок болота, освещенный рефлектором. Серебристые острия осоки бросали в воду черные линии теней; неподвижная, словно вылитая из зеленой бронзы, лягушка пучила близорукие глаза. Затем какое-то странное, волосатое существо бежало, вздымая пыль, и я довольно отчетливо видел его босые ноги. Постепенно все перемешалось, нежные оттенки цветов раскинулись в прихотливый луг, прозвучала пылкая мелодия индусского марша. Рассеянным движением я занес в графу цифру и остановился, следя за перепончатыми желтыми крыльями. Они мелькали довольно долго. Выбросив их из головы, я откинулся в глубину кресла и стал курить.

Я думал уже, что это досадное состояние, являвшееся естественной реакцией мозга против сухой счетной работы, кончилось, как вдруг маленькое кольцо дыма вытянулось на уровне моих глаз и стало человеческим профилем. Это были кроткие черты благовоспитанной молодой девушки, но в хитро поджатых губах и скошенном взгляде таилось что-то необъяснимо омерзительное. Дым растаял, и я почувствовал, что работать не в состоянии. Самая мысль об усилии казалась противной. Вид письменного стола наводил скуку. Мыслей не было. Все вещи стали чужими и ненужными, точно их принесли насильно. Мне было тесно, я испытывал почти физическую неловкость от близости стен, мебели и разных давно знакомых предметов... Мне ничего не хотелось, и вместе с тем томительное состояние бездеятельности разрасталось в глухую тревогу и нетерпение.

Я должен упомянуть еще раз, что мозг мой совершенно прекратил логическую работу. Мысль исчезла. Я был чувствующей себя материей. Комната и все предметы, находившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом — тупо и безотчетно. Я не был центром; чувство психологической устойчивости распределилось равномерно на все, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций. Потребность двигаться была первой, хотя довольно туманно сознанной мной потребностью; я встал, безучастно подержал в руках книгу и положил ее на прежнее место.

Это, очевидно, не удовлетворило меня, потому что в следующий затем момент я принялся рассматривать рисунок обоев, внимательно фиксируя белые и малиновые лепестки фантастических венчиков. Затем вынул из подсвечника огарок стеариновой свечи и стал сверлить его перочинным ножиком, добираясь до фитиля. Мягкое хрустение стеарина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечеркивая их кривыми, равномерно уменьшающимися линиями, положил карандаш, оглянулся, и вдруг сильное, необъяснимое беспокойство сделало меня легким, как резиновый мяч.

Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мертвая тишина стояла вокруг. С улицы сквозь плотно закупоренное окно не доносилось ни одного звука. Тишина эта была ненужной, как были бы не нужны для меня в то время шум улицы, песня, гром музыки. Ненужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стулья, книги, пепельница и оконные занавески. Я не чувствовал надобности ни в чем, кроме тоскливого и бесцельного желания двигаться.

В это время я не испытывал еще никакого страха. Он появился с первым биением пульса мысли, с ее развитием. Я не мог уловить точно этот момент, помню лишь стремительно выросшее сознание полной и абсолютной ненужности всего. Я как будто терял всякую способность ассоциации. Все, вплоть до брошенного окурка, существовало самостоятельно, без всякого отношения ко мне. Я был один, сам ненужный всему, и это — «все» было для меня лишним. Я был в совершенной холодной пустыне одиночества, несуществующий, тень самого себя, потому что даже мое «я» было мне нужно не больше прошлогоднего снега.

Тогда острейшее чувство одиночества — ужас хлынул в жадную пустоту духа. Я растворился в нем без упрека и сожаления, потому что нечего сожалеть и не к кому обращать упреки. Так будет каждый вечер и так должно быть.

— Я борюсь,— сказал я, дрожа от мерзкого страха,— но пусть будет по-твоему. Природа не терпит пустоты, а у меня нет ничего лучшего подарить ей. Мы квиты.

И темная вода ужаса сомкнулась над моей головой.

АРВЕНТУР

Это было в то время, когда у человека начинает отцветать сердце, и он мечется по земле, полный смутных видений, музыки горя и ужаса. Тот день запомнить нетрудно, в моей памяти нет дней страшнее и блаженней его, долгого дня тоски.

Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар, ища тени; мухи преследовали меня: воздух стонал от грохота экипажей. Пиво согревалось в стакане раньше, чем выпивалось; все было отвратительно. Тоска терзала, улицы наводили зевоту, люди — апатию; сидя на запыленной скамейке, я рассеянно провожал глазами их механические фигуры. Гнетущее однообразие лиц, костюмов и жестов действовало удручающе. Мысли прыгали, как мальчишки, играющие в чехарду. И вдруг — звонким, далеким возгласом вспыхнуло это роковое, преследующее меня слово·

— Арвентур.

Я повторил его, разделяя слоги:

— Ар-вен-тур. Ар-вен-тур.

Оно остановилось, засело в мозгу, приковало к себе внимание. Оно звучало приятно и немного таинственно, в нем слышалось спокойное обещание. Арвентур — это все равно, как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими ласковыми глазами.

Несколько раз подряд, беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв. В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность; бесконечное утешение, отделенное пропастью. Я был бессилен понять его и мучился, пораженный грустью. Арвентур! Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отверг эту мысль. Но что же это? И где?

Волны ужасного напряжения вставали, падая вновь, как раненые солдаты. Ничего не было. Хоровод смутных видений приближался и убегал, полный неясных контуров, расплывающихся в тумане. Арвентур! Слово это притягивало меня. Оно, как нечто живое, существовало вне мысли. И я тщетно стремился охватить его взрывом сознания. В самом звуке слова было нечто, не позволяющее сомневаться в его праве на существование. Арвентур!

Я сделал несколько шагов по бульвару. Быть может,

это название местечка, деревни, слышанное мною раньше? В моей стране таких имен нет. Возможно, что оно прочитано в книге. Почему же т о г д а, прочитанное, оно не вызвало такой глубокой и нежной грусти? Арвентур!

Взволнованный, я напряженно твердил это слово. Какой далекой, полной радостью веяло от него! Чужие страны развертывались перед глазами. Смуглые, смеющиеся люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов.

— Арвентур,— говорили они.— Там Арвентур.

Рассеянный, в подавленном настроении, я вышел на набережную. Навстречу попадалось много знакомых: мы строили любезнейшие гримасы, облегченно вздыхали и расходились. Арвентур! — это звенело как воспоминание далекой любви. А за него, вызванное припадком тоски, цеплялось прошлое. Но в прошлом не было ничего, что нельзя было бы выразить иначе, чем ясным человеческим языком. Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших кладовых души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? Утка на лебедином яйце могла бы мне посочувствовать. Арвентур!

Вечером на ужине у знакомых я беспомощно улыбался и говорил, что простужен. Я ел, презирая себя. Пил, мысленно давая себе пощечины. Три человека спорили о новом налоге. Еще три, наклонившись друг к другу, шептали двусмысленности, прыская в соус. Приятная дама с усиками старалась незаметно вытереть локоть, мокрый от жира. Сосед мой, с головой, напоминающей редьку, обратился ко мне:

— Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому вопросу у меня лежит совершенно готовая статья, я думаю послать ее в «Торгово-Промышленный Журнал». Система налогов ведет к разврату и авантюризму.

— Арвентур! — сказал я, впервые чувствуя, что вино крепковато.

Прошла минута молчания. Мы пристально смотрели друг другу в глаза. Он мялся. Он притворился непонимающим. Он начал снова свою идиотскую песенку.

— Культура, благосостояние, перемена курса, протекционизм...

— Заведенная машина,— благожелательно сказал я, с ненавистью рассматривая человека-редьку.— Дрянная мельница.

Смутное воспоминание о раздвигаемых стульях, возгласы сожаления — вот и все. Я вышел. В передней мне дали шляпу. Легкий, спокойный воздух ночной улицы кружил голову. Слезы душили меня, не принося облегчения. Арвентур! Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости, Арвентур!

И эхо повторило мой крик отчаяния. Белые птицы, медленно взмахивая крыльями, летели в темноте к морю.— Арвентур! — кричали они. Я не мог двинуться с места; обхватив руками фонарный столб, я плакал от невыразимой тоски. Я боялся думать, страшился оскорбить плоским, ограниченным представлением нетленную красоту слова. Одну роскошь позволил я себе: цепь синих холмов, вершины их дымились как жертвенники.

— Там Арвентур! — твердил я.

Круг мысли, очерченный безмолвием,— карманный ночной фонарь, обруч наездника, лужа из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженное мухами,— я бы разбил тебя тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов, отшлифованных в небесах, этого сладкого проклятья и жестокой надежды верить, что Арвентур есть.

СИСТЕМА МНЕМОНИКИ АТЛЕЯ

I

Грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью.

Случилось, что когда мы начали забывать о горе молодой женщины, носившей странное имя Зелла, вся эта история с исчезновением ее мужа после долгих лет получила в наших глазах неотразимое обаяние — впечатление, покоившееся в основах на воспоминании о том летнем вечере, когда Пленер пел в дубовой роще свою луч-

шую песню о «Графе в изгнании». Начальные слова песни были таковы:

Земля не принимает моих следов,
Они слишком легки, небрежны
и оскорбительны для нее,
Привыкшей к толстым сапогам поденщиков,
К осязательным следам жизни,
Ненужной для себя самой.

Когда он кончил, солнце садилось и ветер пошевелил листву, затканную сонным, очаровательным румянцем зари. После этого Пленер исчез. Может быть, это было для него так же неожиданно, как и для нас, потому что никто не успел заметить момент его исчезновения. В памяти всех, как сейчас, так и тогда, осталась его высокая, прямая фигура, с рукой, прикрывающей глаза. Он пел в этой позе, а затем его не стало. Через неделю, когда добровольные и полицейские розыски оказались безуспешными, Зелла перешла от острых припадков горя к тихому отчаянию.

Все, что ум человеческий может противопоставить роковому в виде вопросов и неуклюжих догадок, было сделано нами, пересмотрено, отвергнуто и забыто. Но от исчезновения человека осталось веяние таинственной прелести, жуткой и заманчивой глубины потрясения. Всех нас, бывших в тот вечер, связало нечто сильней нашей воли в рассеянную жизнью, но плотно связанную одним и тем же чувством группу людей тоски.

II

В июне прошлого года, ровно через десять лет после исчезновения Пленера, утром, когда я занимался в саду опытами с прививкой растениям некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску,— Дибах, мой брат, вошел через боковую калитку в сопровождении неизвестного пожилого человека, остановившегося на некотором расстоянии от клумбы. Я не сразу обратил внимание на возбужденное лицо брата; помню, что только его нервный смех заставил меня пристально посмотреть на обоих. Я вытер запачканные землей руки и поклонился.

— Атлей,— сказал брат, оборачиваясь в сторону неизвестного,— это Пленер.

Должно быть, кровь ударила мне в голову при этих словах, потому что, не более как на один момент, ясное небо затуманилось и задрожало перед моими глазами. Помню, что, когда я заговорил, голос мой звучал слабо и глухо. Я сказал:

— Вот шутник. Подумайте, Пленер, что он говорит!! Возможно ли это? Как ваше здоровье?

Думаю, что эта чепуха внушила ему все же некоторое представление о моем состоянии. Пленер неопределенно улыбнулся, но не сказал ничего; может быть, он считал свое положение в некотором роде щекотливым и странным.

Я рассмотрел его трижды, пока он стоял на этом красноватом песке, освещенный солнцем и зелеными отблесками акаций. Пленер изменился, как может измениться человек, перевернувший свою жизнь. В густых, темных волосах его пестрела седина, лицо утратило женственную нежность кожи; темное, осунувшееся, но с бодрыми складками вокруг глаз, оно напоминало портрет старинной живописи. В дорожном светлом костюме, могучий и статный, стоял он предо мной — все-таки он, Пленер.

Мы молчали. Удивляюсь, как я не забросал его обычными в таких случаях вопросами. Дибах сказал:

— Я ухожу, Атлей. Зелла смеется и плачет, нельзя оставлять ее одну. Сегодняшний день мы будем помнить всю жизнь.

Он направился к калитке, и я в первый раз в жизни увидел, как тучный, семейный человек может лететь вприпрыжку.

Тот миг чудесного напряжения, когда мы остались вдвоем, сели на скамейку и начали говорить,— кажется мне и теперь обвеянным зноем летнего утра; сказочные стада представлений бродили в моей голове, я мог только улыбаться и кивать головой. Пленер сказал:

— Не нужно вопросов, Атлей; они будут бесполезны в точном смысле этого слова. Я ничего не знаю, но все-таки попытаюсь рассказать вам начало истории.

Как вы помните, я пел в роще, неподалеку от железнодорожного моста, где происходил пикник. Собственно говоря, начало моих воспоминаний служит и концом их.

Мне кажется, что не было этих десяти лет, по крайней мере, в моей памяти не осталось от этого периода ни-

каких следов. В следующий, доступный воспроизведению словами, момент я увидел себя пассажиром второго класса за двести миль отсюда; я возвращался домой.

Момент не был тревожен и поразителен, я удивился, и только. По временам мне казалось, что я уехал лишь вчера, по делу, о котором забыл.

Поезд мчался; томление духа сменилось глубокой рассеянностью и сонливостью; перед вечером я посмотрел в зеркало и обернулся, ища глазами другого пассажира, но я был один в купе. Неожиданность взволновала меня, я снова посмотрел в зеркало. Это был я, изменившийся, поседевший, тот самый, что сидит перед вами.

Пленер умолк и застенчиво улыбнулся. Взволнованный не меньше его, я мог только жестами выразить свое сочувствие и удивление.

— Встреча с Зеллой,— продолжал он,— неопровержимый факт долгого отсутствия, усвоенный, наконец, мною. Рассказать все это, значит снова пережить странную смесь радостного ужаса и тоски. Меня не хватит на это, я разрыдаюсь. Между прочим, вот уже три дня, как я здесь. Меня мучит новое ощущение — болезненное желание вспомнить все, пережитое за те таинственные десять лет; желание, доходящее до галлюцинации, до грандиозной игры воображения. Вы знаете, мне кажется, что если это удастся, жизнь моя будет озарена таким светом, перед которым радость спасения жизни — то же, что блеск металлической пластинки перед солнцем. Это — ясное, устойчивое, музыкальное ощущение забытого прекрасного.

Он снова умолк, и я не осмелился прервать его тягостное молчание. Искренность его тона делала для меня излишними всякие сомнения. Необычайность положения почти раздавила меня; сад, знакомые аллеи, клумбы — все, что имело до сих пор будничный оттенок, казалось в тот час торжественным и странным, как этот человек, вернувшийся из позабытого мира.

— Я делал попытки вспомнить,— продолжал он,— но все оказалось неудачным. Дубовая роща и поезд, поезд и роща — вот все, что я знаю.

Не знаю почему — в этот момент я решил произвести попытку, которая показалась бы в другое время забавной, но тогда она имела в моих глазах решающее значение. Я сказал:

— Пленер, можете вы представить дубовую рощу в том виде, как это было вечером?

— Да,— сказал он, закрывая глаза,— я ясно вижу ее. Низкие ветви: сквозь них блестит река. Я стоял у большого дерева, лицом к воде.

— Вот так,— заметил я, вставая.— Правая ваша рука прикрывала глаза. Я попросил бы вас встать в этом положении.

Он пристально следил за моими движениями, сомнительно склонив голову, и вдруг, как бы внутренне соглашаясь со мной, встал посредине площадки. Правая его рука нерешительно приподнялась и прикрыла верхнюю часть лица.

— Пленер,— сказал я,— сзади вас, на примятой траве, сидит Зелла. Еще дальше — Дибах, я и другие. Ваша верховая лошадь бродит у ручья, слева. Так.

Он молча кивнул головой, не отнимая руки. Теперь он понимал мою мысль.

— Вы пели о «Графе в изгнании»,— продолжал я.— Советую вам начать с первой строки. Ну, Пленер, милый!

Он запел, и голос его задрожал, как тогда, в роще:

Земля не принимает моих следов,
Они слишком легки...

Песня окрепла и зазвучала так полно, что я боялся пошевельнуться. Напряжение мое было слишком велико, я ждал чуда.

Отдельные моменты этой сцены сливаются в моем воспоминании в ощущение чужой, мучительной радости. Когда он дошел до слов:

Вы вспомните мою тоску — и благословите ее...

И дальше, до заключительных:

Я ухожу от грустных улыбок —
Для полноты торжества
Над теми, кто дешево сожалеет —
И трусливо царит ..

Лицо его повернулось ко мне. Он смеялся долгим счастливым смехом, сотрясаясь от глухих слез, вызванных ярким и внезапным воспоминанием.

Приблизительно через месяц, в одну из красивых ночей, Пленер рассказал мне свою забытую и воскресшую

жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем. Любил, был любим, путешествовал, испытал много оригинальных приключений и впечатлений. Но он в тот день, когда пел у меня в саду, вспомнил только радостные моменты прошлого. Теневая сторона жизни осталась для него по-прежнему забытой и — навсегда.

Если это неудача, то пусть она будет благословенна. Избранных, способных воскресить радость пройденного пути и щедро, как миллионер, забыть долги жизни — совсем немного. Пусть будет больше одним таким человеком.

НОВЫЙ ЦИРК

I

ДОЛЖНОСТЬ

Я выпросил три копейки, но, поскользнувшись, потерял их перед дверями пекарни, где намеревался купить горячего хлеба. Это меня взбесило. Как ни искал я проклятую монету — она и не думала показываться мне на глаза. Я промочил, ползая под дождем, колени, наконец встал, оглядываясь, но улица была почти пуста, и надежда на новую подачку таяла русским воском, что употребляется для гаданий.

Два месяца бродил я по этому грязному Петербургу, без места и крова, питаясь буквально милостыней. Сегодня мне с утра не везло. Добрый русский боярин, осчастлививший меня медной монетой, давно скрылся, спеша, конечно, в теплую «изба», где красивая «молодка» ждала его уже, без сомнения, с жирными «щи». Других бояр не было видно вокруг, и я горевал, пока не увидел человека столь странно одетого, что, не будь голоден, я убежал бы в первые попавшиеся ворота.

Представьте себе цилиндр, вышиною втрое более обыкновенных цилиндров; очки, которые с успехом могла бы надеть сова; короткую шубу-бочку, длинненькие и тонкие ножки, обутые в галоши № 15, длинные космы волос, свиное рыло и вместо трости посох, в добрую са-

жень вышиной. Чучело картинно шагало по тротуару, не замечая меня. Весь трепеща, приблизился я к герою кунсткамеры, откуда он, вероятно, и сбежал. Самым молитвенным шепотом, способным растрогать очковую змею, я произнес:

— Ваше сиятельство. Разбитый отчаянием, я умираю с голода.

Привидение остановилось. В очках блеснул свет — прохожий направил на меня свои фосфорические зрачки. Невообразимо противным голосом этот человек произнес:

— Человека труд кормит, а не бездудие. Работай, а затем — ешь.

— Это палка о двух концах,— возразил я.— Немыслимо работать под кишечную музыку, так сказать.

— А,— сказал он, сморкаясь в шарф, которым была окутана его шея.— Сколько же тебе нужно фунтов в день пищи?

— Фунта четыре, я полагаю.

— Разной?

— Хорошо бы... да.

Урод полез в карман, извлек сигару и закурил, бросив мне спичку в лицо. Это было уже многообещающей фамильярностью, и я вздрогнул от радости.

— Как зовут?

— Альдо Путано.

— Профессия?

— Но,— торопливо возразил я,— что такое профессия? Я умею все делать. В прошлом году я служил у драгомана в лакеях, а в этом рассчитываю быть чем угодно, вплоть до министра. Бездудие же я порицаю.

— Хорошо,— проскрипел он.— Я нанимаю тебя служить в цирке. Обязанности твои не превышают твоих умственных способностей. Потом узнаешь, в чем дело. Жалованье: кусок мыла, вакса, пачка спичек, фунт табаку, четверка калмыцкого чая, два фунта сахарного песку и сорок четвертаков в месяц, что составит десять рублей.

— Быть может,— робко возразил я,— вы назначите мне шестьдесят четвертаков, что составит совершенно точно — пятнадцать рублей.

— Будь проклят,— сказал он.— Идешь? Я зябну.

— Я следую за вами, ваше сиятельство.

II

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Самое пылкое воображение не могло бы представить того, что удалось увидеть мне в этот вечер. Шагая за чудесным патроном, я через несколько минут приблизился к круглому деревянному зданию, освещенному изнутри; у подъезда извозчики и автомобили. На фронтоне сияла огромная, малеванная красной краской, полотняная вывеска:

ЦИРК ПРЕСЫЩЕННЫХ

Небывало! Невероятно!
Раздача пощечин!
Истерика и др. аттракционы

Мы прошли в деревянную пристройку. При свете жестяной лампы сидело здесь несколько человек. Некоторые из них были одеты в шкуры зверей и потрясали палицами; другие, в отличных фраках и атласных жилетах, звенели тяжелыми кандалами на руках и ногах, третьи щеголяли дамскими туалетами и путались в тренах. Волосатые декольте их были ужасны.

— Он будет служить,— вскричал патрон, указывая на меня.

Рев, звон кандалов и жеманный писк приветствовали эти слова.

— Альдо,— сказал патрон,— ты выйдешь на арену со мной. Когда я дерну тебя за волосы, кричи: «Горе мне, горе».

— Да, маэстро.

— Громко кричи.

— Да, маэстро.

Он дал мне пинка, и я, услышав вслед: «Смотри представление»,— выбежал через конюшню к барьеру. Блеск люстр ослепил меня. Цирк был полон, нарядная толпа зрителей ожидала звонка. Осмотревшись, я увидел, что лица публики бледны и воспаленны, синеватые тени окаймляют большинство тусклых глаз; иные же, румяные, как яблоко, лица были противны, на эстраде играл оркестр. Инструменты оркестра заинтересовали меня: тут были судки, подносы, самоварные трубы, живая ворона, которую дергали за ногу (чтобы кричала), роль барабана исполнял толстяк, бивший себя бутылкой

по животу. Капельмейстер махал палкой, похожей на ту, которой протыкают сига. Гром музыки нестерпимо терзал уши. Наконец, оркестр смолк, и на арену выбежал мой патрон с ужасной своей кандально-декольтированной свитой; эти люди тащили за собой собаку, клячу-одра и сидевшего на одре верхом деревенского парня в лаптях.

— Вот,— сказал патрон, указывая на перепуганную собаку,— недрессированная собака.

Раздались аплодисменты.

— Собака эта,— продолжал патрон,— замечательна тем, что она не дрессирована. Это простая собака. Если ее отпустить, она сейчас же убежит вон.

— Бесподобно! — сказал пшют из ближайшей ложи.

— В обыкновенных цирках,— патрон сел на песок,— все дрессированное. Мы гнушаемся этим. Вот, например,— крестьянин Фалалей Пробкин, неклоун. «Неклоун». Это его профессия. Вот — недрессированные — корова и лошадь.

Кое-где блеснули монокли и лорнеты. Публика внимательно рассматривала странных животных и неклоуна Я чувствовал себя нехорошо. В это время, косо поглядев в мою сторону, патрон схватил меня за волосы и вытащил на середину арены.

— Теперь,— сказал он,— чтобы вы не скучали, я буду щекотать нервы. Слушайте вы, негодяи! — Тут его пальцы крепко впились мне в затылок, и я пронзительно заорал:

— Горе мне, горе!

— Да,— продолжал он,— пройдохи, плуты, лгуны, мошенники и подлецы. Облить бы вас всех керосином! Я, Пигуа де Шапоно, даю ряд великих советов. Советы — это второе отделение. Проповедь любви, жизни и смерти! Красивая и интересная жизнь может быть приобретена с помощью следующих предметов: электромотора, мясного порошка и вставных челюстей.

— Горе мне, горе!

— Что касается любви, то лучший рецепт следующий: встав рано, следует обтереться холодной водой, выпить стакан сливок с мадерой, съесть сотню петушьих гребешков, дюжину устриц, пикули, кайенский перец, запить все это стаканом гоголь-моголя, чашкой шоколада,

абсентом и затем купить хорошую лодку. В эту лодку можно заманить женщину... трум-тум-тум.

— Горе мне! — возопил я, хватаясь за волосы, потому что пальцы Пигуа де Шапоно почти вырывали их.

— Относительно смерти,— ораторствовал Пигуа,— посоветую вам, для приобретения бессмертия, ворваться в какой-либо музей, отбить головы у Венер, облить пивом пару знаменитых картин, да еще пару изрезать в лохмотья, и — бессмертие состряпано.

Но дома (если вы попадете домой) нужно написать мемуары, где вы признаетесь, что вы повесили кошку и проглотили живого скворца.

— Горе мне! Больно!..— застонал я.

Публика неистовствовала. Гром одобрения заглушил мой жалобный вопль. Опасаясь, что Пигуа подаст больше советов, чем у меня на голове волос, я вырвался, сшиб с патрона цилиндр и уже осматривался, в какую сторону удирать, как вдруг раздались крики: «Пожар! Спасайтесь! Горим!»,— и началось невообразимое.

III

КОНЕЦ НОВОГО ЦИРКА

Все смешалось. Люди прыгали друг через друга, дрались, падали; женщины, падая сотнями в обморок, загораживали проходы и висли обременительным грузом на руках проклинающих их в эту минуту отцов, мужей и любовников. Арена опустела. Все бросились к боковым проходам, и меня раза три сбили с ног, прежде чем я успел, шагая по головам и плечам, выскочить на наружную лестницу. Огня еще не было видно, но скоро он показался и осветил площадь мрачными отблесками. Проклиная Пигуа де Шапоно, от рук которого до сих пор щемило затылок, я отбежал в сторону от горящего здания и сел на тумбочку, рассматривая пожар.

Пулей вылетали из проходных дверей спасшиеся от огня зрители; остальные же, без сомнения, не успев обессмертить себя, скромно оканчивали жизнь внутри цирка. Мне это понравилось. В нашей бедной жизни так мало развлечений, что на пожар, обыкновенно, сбегаются целые кварталы, и, боже сохрани, чтобы я видел в толпе зрителей сочувствующее погорельцам лицо. Тупо,

страшно, дико смотрит на пожар бессмысленная толпа, и я, как ее сын, мог ли смотреть иначе? Сначала я был действующим лицом, а теперь стал зрителем.

Цирк сгорел быстро, как соломенный. Сгорел. Мертвые срама не имут.

ЗОЛОТОЙ ПРУД

Обращает драгоценности в угли.
(Агриппа)

I

Фуль выполз из шалаша на солнце. Лихорадка временно оставила его, но он отупел от слабости. Глаза Фуля слезились от солнца, бродяга чувствовал себя беспомощнее травяной блохи, упавшей на поверхность пруда. С бесцельной внимательностью следил он за насекомым. Блоха явно тонула, но не могла еще утонуть; вода была для крошечного ее тела слишком плотной средой. «С таким же успехом,— подумал Фуль,— мог бы человек попытаться утонуть в крутом студне».

Шалаш Фуля и его товарища по бегству из тюрьмы — Бильбоа — стоял на отвесном берегу маленького пруда, несомненно, искусственного происхождения. Пруд имел форму сильно растянутого ромба, на противоположном от шалаша берегу, в темных кустах, виднелись остатки стен, груды кирпичей и земли. Лес тесно подступил к самой воде, засорив воду у берегов валежником, листьями и лепестками цветов. Только середина пруда отражала золотой солнечный глаз, прозрачный и чистый; от небольшого пылающего кружка расходилась к берегам тень угрюмых, опрокинутых под водой деревьев. Водоросли темнили еще более прибрежную воду. Пруд был глубок, вода холодна и спокойна.

Утопающая блоха пробила наконец лапками воду и легла на нее брюхом.

«Бильбоа не охотник,— думал Фуль,— едва ли он принесет еду, но есть хочется ужасно, до тошноты. Ах, если бы у меня было немного сил!» Свесив голову над аршинным обрывом берега, Фуль вернулся к блохе. Она

постепенно, барахтаясь, уползала от берега, и Фуль, чтобы не потерять ее из виду, напряг зрение. В том направлении, в каком смотрел он, водоросли были светлее и реже; в их чаще над дном мелькали, блестя, рыбы. Одна из них, неподвижно стоявшая у самых корней водорослей, заинтересовала Фуля неестественным изгибом спины, блестящей как медь; он вгляделся...

Сильные, зоркие глаза его, напряженно рассматривавшие перед тем маленькую точку блохи, освоились с игрой света и теней и легко различали уже в прозрачной, несмотря на трехсаженную глубину, воде край массивного золотого блюда, так похожего, было, на свернутую спину рыбы. Блюдо это лежало косо, нижняя половина его ушла в ил, а верхняя, приподымаясь, горела в одной точке ослепительным зерном блеска, напоминающего фиксацию зажигательного стекла. Фуль взялся рукой за сердце, и оно стукнуло как неожиданный выстрел, бросив к щекам кровь. С глубоким, переходящим в испуг изумлением смотрел Фуль на выступающую из подводных сумерек резьбу золотого блюда, пока не убедился, что точно видит драгоценный предмет. Он продолжал шарить глазами дальше и вскрикнул: везде, куда проникал взгляд, стояли или валялись на боку среди тонкой травы — кубки, тонкогорлые вазы, чаши и сосуды фантастической формы; золотые искры их, казалось, дышали и струились звездным потоком, меж ними сновали рыбы, переваливались черные раки, и улитки, подняв слепые рожки, ползали по их краям, осыпанным еле заметными в воде, выложенными прихотливым узором камнями.

Фуль разорвал воротник рубашки. Он встал, протягивая дрожащие руки к прозрачной могиле сокровища. От жары, слабости и потрясения у него закружилась голова; шатаясь, он стал раздеваться, отрывая пуговицы, не думая даже, выдержит ли его слабое тело глубокий нырок.

II

— Ты хочешь принять ванну? — сказал Бильбоа, проламываясь сквозь кусты. В одной руке он держал солдатское ружье, отнятое у конвоя в момент побега, другой тащил привязанную к палке небольшую дикую свинью.— Когда я был богат и свободен, я тоже прини-

мал ванну каждый день перед завтраком. Вот свежие отбивные котлеты.

— Бильбоа! — сказал Фуль,— что скажешь ты, если мы сможем теперь купить миллион отбивных котлет? А?

Каторжник уронил ружье. Потемневшие глаза Фуля ударили его внезапной тревогой; Фуль, стискивая руки, метался перед ним, дыша хрипло, как умирающий.

— Смотри же,— властно сказал Фуль,— смотри! — Он силой посадил Бильбоа рядом с собою на краю берега.— Смотри, здесь несколько пудов золота. Сначала останови взгляд на этом черном листке, где сломан камыш. Возьми на глаз четверть влево, к плавающей траве. Потом два фута вперед и вниз, под углом 45°. Там, где блестит. Это полупудовая тарелка для твоих котлет.

Он говорил, не отрывая глаз от воды. Вся жажда неожиданного и чудесного, вскормленная долгими годами страданий, ожила в встревоженной душе Бильбоа. Он нырнул глазами по направлению, указанному Фулем, но еще ничего не видел.

— Ты бредишь! — сказал он.

— От блюда,— продолжал Фуль,— во все стороны разбросана золотая посуда. Вот, например, три... нет — четыре золотых кружки... одна смята; затем — маленькие тарелки... кувшин, обвитый золотой змеей, ларец с фигуркой на ящике... О Бильбоа! Неужели не видишь?

Бильбоа ответил не сразу. Золото, разбросанное в беспорядке, понемногу выступало из тени; он различал формы и линии, чувствовал вес каждой из этих вещей, и руки его в воображении гнулись уже под счастливой тяжестью.

— А! — крикнул Бильбоа, вскакивая.— Здесь царский буфет! Я тотчас же полезу за всем этим!

— Мы богаты,— сказал Фуль.

— Мы переедем на материк.

— И продадим!

— Бильбоа! — торжественно сказал Фуль,— здесь более, чем богатство. Это выкуп от судьбы прошлому.

Бильбоа, сбросив одежду, разбежался и нырнул в пруд. Медное от загара и грязи тело его аркой блеснуло в воздухе, спокойная поверхность пруда, хлестнув брызгами, разбежалась волнистым кругом, и ноги пловца, сделав последний над водою толчок, скрылись.

III

Бильбоа пробыл на дне не больше минуты, но Фуль пережил ее как долгий, неопределенный промежуток времени, в течение которого можно разрыдаться от нетерпения. Нагнувшись, едва не падая в воду сам, Фуль гневно топал ногами, пытаясь рассмотреть что-либо в слепой ряби потревоженного пруда. Он, беглый арестант Фуль, был в эти мгновения, как десять лет назад,— барином, требующим всего, чего лишил его суд и позор. Семья, дом в цветах, холеные лошади, комфорт, тонкое белье, книга и почтительный круг знакомых снова возвращались к нему таинственным путем клада. Он думал, что теперь ничего не стоит, переменив имя, вернуть прежнюю жизнь.

Снова всплеснул пруд, и мокроволосая голова Бильбоа подскочила из глубины в воздух. Крайнее изнеможение от задержки дыхания выражало его лицо. Шумно вздохнув, подплыл он к берегу, гребя одной рукой; в другой же, которую он держал внизу, неясно блестело. С тягостным, неопределенным предчувствием следил Фуль за этим неровным блеском; молчание плывущего Бильбоа терзало его.

— Ну?! — тихо спросил Фуль.

Бильбоа в изнеможении ухватился свободной рукой за обрыв берега.

— Мы оба сошли с ума, Фуль,— проговорил он.— Там ничего нет. Когда я нырнул, блеск метался перед моими глазами, и я некоторое время тщетно ловил его. Ты знаешь, у меня одышка. Но я поймал все-таки. Это твои кандалы, Фуль, которые ты пять дней назад разбил камнем и швырнул в воду. Вот они.

К ногам Фуля упали, звякнув, отполированные годами длинные цепи. Он медленно отошел от них.

Бильбоа молча одевался. Он намеренно делал это, стоя спиной к товарищу, чтобы не видеть его лица. Неосновательное возбуждение Бильбоа улеглось, и он, как человек практический по преимуществу, отдался уже привычным мыслям о том, сколько еще дней, для безопасности, следует просидеть в лесу и что делать с дикой свиньей: зажарить ли в золе ногу или, потратив полчаса, устроить блюдо изысканнее, например, котлеты.

Фуль, чувствуя сильную лихорадочную слабость, лег навзничь. Он думал, что, не будь на противоположном берегу пруда безвестных развалин, он, может быть, не увидел бы и золота в собственных кандалах. Но эти развалины так убедительно шептали о преступном богатстве, спрятанном от чужих глаз.

— Я рад хоть, что она потонула наконец,— сказал Фуль.

— Кто?

— Блоха. Но ей все же было легче, чем сейчас мне.

ЗУРБАГАНСКИЙ СТРЕЛОК

I

БИОГРАФИЯ

Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, из коих годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием.

Мой дед, лишившись рассудка на восьмидесятом году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку, единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни омрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать, когда мне было семнадцать лет, ушла в монастырь; как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех, требующих постороннего внимания, случаях. В общих, отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом, скажу лишь, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и т. п. играм, требующим весьма небольшого числа

одинаково настроенных соучастников,— рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутый, сосредоточенный и недоверчивый. Мой отец был корабельный механик; я видел его не часто и не подолгу — он плавал зимой и летом. Кроме весьма хорошего заработка, отец имел небольшие, но существенные по тому времени деньги; мать же, которую я очень любил, редко выходила из спальни, где проводила вечера и дни за чтением Священного Писания, изнурительными молитвами и раздумьем. Отец иногда бессвязно и нежно говорил со мною, что бывало с ним в моменты сильного опьянения; как помню, он рассказывал о своих плаваниях, случаях корабельной жизни и, неизменно стуча в конце беседы по столу кулаком, прибавлял: «Валу, все они свиньи, запомни это».

Я не получил никакого стройного и существенного образования; оно, волею судеб, ограничилось начальной школой и пятью тысячами книг библиотеки моего товарища Андрея Фильса, сына инспектора речной полиции. Фильс был крупноголовый, спокойный и сильный мальчик, я же, как многие говорили мне, лицом и смехом напоминал девочку, хотя в силе не уступал Фильсу. Сдружились мы и познакомились после драки из-за узорных обрезков жести, в изобилии валявшихся вокруг слесарных портовых мастерских. В играх Фильс предпочитал тюремное заключение, плен или смерть от укуса змеи; последнее он изображал вдохновенно и не совсем плохо. Часто мы пропадали сутками в соседнем лесу, поклоняясь огню, шепча странные для детей, у пылающего костра, молитвы, сочиненные мною с Фильсом; одну из них, благодаря ее лаконичности, я запомнил до сего дня; вот она:

«Огонь, источник жизни! От холодной воды, пустого воздуха и твердой земли мы прибегаем к тебе с горячей просьбой сохранить нас от всяких болезней и бед».

Между тем местность, в которой я жил с матерью и отцом, была очень жизнерадостного, веселого вида и не располагала к настроению мрачности. Наш дом стоял у реки, в трех верстах от взморья и гавани; небольшой фруктовый сад зеленел вокруг окон, благоухая в периоде цветения душистыми запахами; просторная, окрыленная парусами, река несла чистую лиловатую воду,— россыпи аметистов; за садом начинались овраги, порос-

шие буками, ольхой, жасмином и кленом; старые, розовые от шиповника, изгороди пестрели прихотливым рисунком вдоль каменистых дорог с золотой под ярким солнцем пылью, и в пыли этой ершисто топорщились воробьи, подскакивая к невидимой пище.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец сказал «Валу, завтра ты пойдешь со мною на «Святой Георгий»; тебе найдется какое-нибудь там дело». Я не особенно огорчился этим. Мне давно хотелось уехать из Зурбагана и прочно стать собственными ногами в густоте жизни; однако я не мог, положа руку на сердце, сказать, что профессия моряка мне приятна. в ней много зависимости и фатальности Я был настолько горд, что не показал этого,— я думал, что если отец тяготится мною, лучше всего уходить в первую дверь.

Мое прощание с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее Она, прощаясь, сказала: «Валу, делай себе зло сколько угодно, но никогда, без причины, другим; сторонись людей». Мы прибыли на катере к пароходу, и отец представил меня грузному человеку; этот человек, полузакрыв глаза, снисходительно смотрел на меня. «Примите его кочегаром, господин Пракс, он будет работать»,— сказал отец. Пракс, бывший старшим механиком, сказал: «Хорошо»,— и этим все кончилось. Отец, натянуто улыбаясь, отошел со мной к борту и стал рассказывать, как он сам, начав простым угольщиком, возвысился до механика, и советовал мне сделать то же. «Скучно жить без дела, Валу»,— прибавил он, и это прозвучало у него искренне Затем, пообещав прислать мне все необходимое — белье, одежду и деньги,— он сдержанно поцеловал меня в голову и уехал.

Так началась самостоятельная моя жизнь. «Святой Георгий» после шестимесячного грузового плавания попал в Китай, где, скопив небольшую сумму денег, я рассчитался. Меланхолическое настроение мое за это время несколько ослабело, я окреп внутренне и физически, стал разговорчивее и живее. Я рассчитался потому, что хотел попробовать счастья на материке, где, как я хорошо знал и слышал, для умного человека гораздо больше простора, чем на ограниченном пространстве затерянного в океане машинного отделения

С врожденным недоверием к людям, с полумечтательным, полупрактическим складом ума, с небольшим, но хорошо всосанным житейским опытом и большим любопытством к судьбе приступил я к работе в богатой чайной фирме, начав с развески. Совершенствуясь и постигая эту отрасль промышленности, я скоро понял секрет всяческого успеха: необходимо сосредоточить на том, что делаешь, наибольшее внимание наибольшего количества заинтересованных прямо и косвенно людей. Благодаря этому, весьма элементарному, правилу я через пять лет стал младшим доверенным своего хозяина и, как это часто бывает, женился на его дочери девушке с тяжелым характером, своевольной и вспыльчивой. Нас сблизило то, что оба мы были людьми замкнутыми и высокомерными; более нежное чувство оказалось крайне непрочно. Мы развелись, и после смерти отца жены поделили имущество.

Здоровый, свободный и богатый, я прожил несколько следующих лет так, что для меня не осталось ничего неизведанного в могуществе денег. Я часто размышлял над своей судьбой. С внешней стороны, по удачливости и быстро наступившему благополучию, судьба эта покрыла меня блеском, а из многочисленных столкновений с людьми я вынес прочное убеждение в том, что у меня нет с ними ничего общего. Я взвесил их прихоти, желания, стремления, страсти — и не нашел у себя ничего похожего на вечные эти пружины, и передо мной самым недвусмысленным образом встал дикий на первый взгляд короткий вопрос: «Как и чем жить?» — потому что я не знал, «как», и не видел, «чем».

Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели, в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым,— приводят к утомлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью — ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения; идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены: я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие, ее болезнь и карикатура; в отвлечении же она имела не более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, томительное и лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека тверди-

ли мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была — отчаяние. Я искал ответа в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений; они знали не больше, чем я, и в мысли их таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных; слушал так, как слушают взволнованный голос признаний; твердил строфы поэтов, смотрел на гибкие, мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний, но в звуках, словах, красках и линиях видел только отчаяние; я открывал его везде, всюду, я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами.

В 189... году я посетил Зурбаган, где не был пятнадцать лет. Я хотел окончить жизнь там, откуда начал ее, и в этом возвращении к первоисточнику прошлого, после многолетних попыток создать радость жизни, была острая печаль неверующего, которому перед смертью подносят к губам памятный в детстве крест.

II

ЗУРБАГАН

Остановиться у родителей я не мог — они давно умерли, а в доме поселилась старуха, родственница отца, которую я менее всего хотел беспокоить. Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город; он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации — электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха, но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты,— делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пу-

зыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.

Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого Странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газет и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу, и яростно следил за действиями, восклицая: «Я это предвидел!» — или: «Совершенно правильная диверсия!» Между тем ходили слухи, что Брен отброшен к лесам Хассавера, и Зурбагану, если вторая армия не овладеет вовремя покинутыми позициями, грозит опасность вторжения.

Я вскользь думал обо всем этом, сидя у раскрытого окна с газетой в руках, текст которой, надо сознаться, более интересовал меня оригинальным размещением объявлений, чем датами атак и приступов. Эти объявления были тщательно подогнаны под упоминание в тексте о каком-либо предмете; например, сообщение об автомобильной катастрофе после слов «лопнули шины» прерывалось рекламным рисунком и приглашением купить шины в магазине X.

В дверь постучали. Я встал и сказал: «войдите», после чего, ожидая появления слуги, увидел высокого, с белым цветком в петлице, крупного, широкоплечего человека. Он, слегка нагнув голову, всматривался в меня с очень деловым, спокойным выражением худого лица. Я тоже пристально смотрел на него, пока оба не улыбнулись.

— Фильс! Валуэр! — разом произнесли мы, и этим наше удивление кончилось. Время сильно изменило товарища детских игр, виски его поседели, а глаза, с навсегда застывшим выражением скупого смеха, обнажали над зрачком узкую полоску белка. Мы помолчали, как бы привыкая путем взаимного осмотра к тому, что от последней встречи до этой прошло много лет.

— Я прочитал твою фамилию на доске гостиницы,— сказал Фильс.

Мы сели.

— Как дышишь, Валу?

— Как попало,— сказал я.— А ты?

— Так же.— Он понюхал цветок и сморщился.— Отвратительный запах, сладкий, как муха в патоке. Слушай, Валу, давай спокойно, по очереди рассказывать о себе. Это, не в пример экспансивным возгласам, сократит нам время. Начинай ты.

Я стал рассказывать, а Фильс тихо покачивал головой и, когда я остановился, заметил:

— Я ждал этого; помнишь, Валу, еще мальчиками мы делились предчувствиями, уверенные, что наша судьба лежит в сторону зигзага, а не прямой линии. Вот что произошло со мной. Я был счастлив так, как могут быть счастливы только ангелы на небесах, и потерял все. В моем несчастии была какая-то свирепая стремительность. После смерти жены один за другим умирали дети, и я с огромной высоты упал вниз, искалеченный навсегда.

Он посмотрел на цветок, вынул его из петлицы и бросил в окно.

— Подарок девицы,— объяснил он.— Я вовсе ее не просил об этом, но старые привычки способны еще заставить меня из вежливости связать кочергу узлом.

Мы помолчали. Я думал о судьбе Фильса и наших пламенных молитвах огню об избавлении нас от всяких бед и несчастий, ясно представляя себе двух босоногих, серьезных мальчиков в тихом лесу, пытающихся, предчувствуя будущее, уйти от холода жизни к жарким вихрям костра. Но огонь потух, зажигать его снова не было ни сил, ни желания.

— Что же у тебя впереди? — спросил Фильс.

— Ничего,— сказал я,— и это без всякой жалобы.

Фильс кивнул головой, зевая так азартно, что прослезился. Расспрашивать далее друг друга было неинтересно и даже навязчиво; все, что еще могли мы сказать о себе, было бы повторением хорошо усвоенного мотива.

— Хочешь развлечься? — сказал Фильс.— Если хочешь, я покажу тебе забавные вещи.

— Где?

— Здесь, и не далее десяти минут ходьбы.

— Шуты? Клоуны? Акробаты?

— Совсем нет.

— Женщины?

— Если ты вспомнил про цветок, которым теперь уже наверное украсил себя первый поэтически настроенный трубочист, то это более выдает тебя, чем меня.

— Я сам женщина,— сказал я,— хотя бы потому, что нуждаюсь в них не более женщины. Какого сорта твои развлечения? Говори начистоту, Фильс!

— Так не годится,— кротко улыбнулся Фильс, и я в этой улыбке понял его характер более, чем в словах; он улыбнулся с выражением совершенной покорности. Я никогда не видел более выразительной и жуткой улыбки.— Не годится. Всякое приличное развлечение требует тайны и неожиданности. Что скажешь ты, если приготовления к зрелищу будут происходить на твоих глазах? Итак, сделайся неосведомленным зрителем. Я могу лишь, для усиления твоего любопытства, а косвенно — для некоторых наводящих размышлений, поведать тебе следующее: странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни; развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одинокость во взглядах, симпатиях и мировоззрении, и в то же время усилилась, как следствие одиночества,— тоска. Герой времени — человек одинокий, бессильный и гордый этим,— совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все это напоминает внезапно наступившую, дурную, дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц, или, наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни — два полюса одного настроения — указывают на решительность и обдуманность; число самоубийств огромно. Простонародье освирепело; насилия, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные и дикие, как сон тигра, дают хроникерам недурной заработок. Усилилось суеверие: появились колдуны, знахари, ясновидящие и гипнотизеры; любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом. Но есть люди без зонтика...

Пока он говорил, смерклось, на улице появились неподвижный свет фонарей, беглые тени, силуэты в окнах. Я слушал Фильса без удивления и тревоги, подоб-

ный зеркалу, равно холодному перед лицом гримасы и горя.

— Это понятно,— сказал я,— время от времени человека неудержимо тянет назад; он конфузится, но недолго; богатая коллекция столетий сидит в нем; так, собственник музея подчас пьет, не пытаясь даже объяснить себе — почему,— пьет кофе из черепа египетского сапожника.

— Зачем объяснения? — сказал Фильс.— Нам в нашей жизни они не нужны. Не так ли?

— Я согласен с тобой.

— Прими же мое приглашение. Я покажу тебе взамен старых зонтиков новый. Соблазнись, так как это заманчиво.

— Хорошо,— сказал я,— пойдем, и если еще есть на свете для меня зонтик, я, пожалуй, возьму его.

III

ДЛЯ НИКОГО И НИЧЕГО

Покинув освещенный подъезд гостиницы, я и Фильс, взявшись под руку, спустились на улицу Гладиатора и шли некоторое время вдоль канала, соединяющего рукава реки. Здесь было мало прохожих, и я, всегда чувствовавший неприязнь к толпе, находился в очень спокойном настроении. Вполголоса, так как оба не любили разговаривать громко, делились мы многими впечатлениями истекших пятнадцати лет. После жаркого дня холодный, сухой воздух ночи освежал голову, и все воспоминания были отчетливы. Через несколько минут Фильс заставил меня свернуть меж двух каменных заборов в небольшой переулок; у дальнего конца его мы остановились; передо мной была высокая, над каменными ступенями, дверь. Фильс поднялся и дернул ручку звонка. Очень скоро я услыхал поворот ключа, и из неяркого света лестницы к нам в темноту нагнулась, с темным от уличного мрака лицом, большая голова на тонкой, костлявой шее. Вполне женским голосом эта голова спросила, дымя зажатою в зубах трубкой:

— Почему вы опоздали, милейший, и кто это с вами?

— Он может,— сказал Фильс.— Ну-ка, пропустите меня.

Мы вошли и стали подыматься по лестнице, а за нами шел хозяин большой головы, одетый в пестрый халат. Невольно я оглянулся и увидел назойливо, с непередаваемой рассеянностью устремленные на меня блестящие голубые глаза. Он смотрел так, как смотрят на карандаши или огрызок яблока.

До сих пор все текло обычным порядком, и я не видел ничего достопримечательного. По обыкновенной лестнице прошел я за Андреем Фильсом в маленький коридор; в самом конце его освещенными щелями рисовалось римское I закрытой двери, за нею слышались разговор, смех и свист. От Фильса мистификации я не ожидал и потому приготовился серьезно отнестись ко всему, что мне придется увидеть. Человек с большой головой, замыкая шествие, что-то сказал; думая, что это относится ко мне, я спросил:

— Что именно?

— А? — вяло отозвался он.

— Я говорю, что не расслышал, что вы сказали.

— А! — Он зашипел трубкой.— Я сказал «тру-ту-ту» и «брилли-брилли»,— и, так как я, опешив, молчал,— добавил: — моцион языка.

Мне некогда было принять это в шутку или всерьез, потому что Фильс уже тянул меня за рукав, распахнув дверь. Я вошел и увидел следующее.

В большой, с плотно занавешенными окнами комнате стоял посредине ее маленький стол. Пол был покрыт старым ковром, у стен, на плетеных стульях, сидели четыре человека; еще двое ходили из угла в угол с руками, заложенными за спину; один из сидевших, держа на коленях цитру, играл водевильную арию; сосед его, вытянув ноги и заложив руки в карманы, подсвистывал весьма искусным, мелодическим свистом. Третий играл сам с собой в орлянку, подбрасывая и ловя рукой серебряную монету. Двое, расхаживающие из угла в угол,— громко, тоном спора говорили друг с другом. Шестой из этой компании, склонившись на подоконник, спал или старался уснуть. Когда мы вошли, Фильс сказал:

— Друзья, вот этот человек, который пришел со мной,— наш гость. Его зовут Валуэр.— Затем, обра-

щаясь ко мне, продолжал: — Валу, представляю тебе ради забавы и поучения очень скромных и хороших людей, вполне достойных, благовоспитанных и приличных.

Нельзя сказать, чтобы я что-нибудь понял из всего этого. Раскланиваясь и пожимая руки, я с недоумением посмотрел на Фильса. Он подмигнул мне, как бы говоря: «Ничего, все будет ясно». Затем, не зная, что делать дальше, я отошел в угол, а Фильс сел за стол, послал мне воздушный поцелуй и стал серьезен.

Прежде чем рассказывать дальше, я должен изобразить наружность каждого члена собрания. Их имена были: Фильс, Эсмен, Суарт, Гельвий, Бартон, Мюргит, Стабер и Карминер. Фильса вы знаете. Эсмен, с толстой нижней губой, небольшим, но округлым брюшком и кривыми ногами, напоминал гордого лавочника. Суарт, человек приблизительно сорока лет, был слеп и мужественно красив; темные очки на его безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Высокий, сутуловатый Гельвий имел тонкие, бескровные губы, длинные, медного цвета, волосы, серые глаза и высоко поставленные, монгольские брови. Бартон, с короткой, бычьей шеей, сильным дыханием, усталым, багровым лицом, пухлыми от пьянства глазами, грузный, неряшливо одетый, был совершенной противоположностью женственному, пепельному блондину Мюргиту, похожему на переодетую девушку. Певучая улыбка Мюргита дышала утонченным, ласковым вниманием. Стабер, вполне актер по наружности, избегал в костюме обычных для этого сословия ярких галстуков и очень модных покроев. Наконец, Карминер, тот самый, что открыл дверь на улицу, был низкого роста; большой, умный и чистый лоб его давил маленькие голубые глаза и всю остальную миниатюрную часть лица, оканчивающуюся младенческим подбородком.

Но самым замечательным и общим для наружности всех этих людей были глаза. Их выражение не менялось: открытый, прямой и ровный взгляд их поражал неестественной живостью, затаенной иронией и (вероятно, бессознательным) холодным высокомерием. Я долго ломал голову, пытаясь вспомнить, где и когда я видел людей с такими глазами; наконец вспомнил: то были каторжники на пыльной дороге между Вардом и Зурбаганом. Вырванные из жизни, в цепях, глухо зве-

невших при каждом шаге, шли они, вне мира, к бессмысленному труду.

Фильс тоном учителя произнес:

— Валуэр, в коротких словах я объясню тебе, кто с тобой в этой комнате. Я и все остальные, каждый по личным, одному ему известным причинам, образовали «Союз для никого и ничего», лишенный, в отличие от других союзов и обществ, так называемой «разумной цели». Первоначально нас было семнадцать человек, но те, кого не хватает здесь по числу, удалились вследствие неудачных опытов и более не придут. Мы производим опыты. Цель этих опытов — испытать, сколько дней может прожить человек, пускаясь в различные рискованные предприятия. Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами то же, что маляр перед Лувром. Отвага, решительность, самообладание, храбрость — все это для нас пустые и лишние понятия, об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безрукого; ничего этого у нас нет, есть только спокойствие; мы работаем аккуратно и хладнокровно.

Единодушные аплодисменты залпом грянули в комнате. Фильс корректно раскланялся, а я хорошо понял сказанное им, но для выражения этого понимания нет сильных и стройных слов; я словно заглянул в белую, дымчатую пустоту без дна и эха.

— Прилично взвешено,— сказал толстый Бартон.

— Слог и стиль,— подхватил Эсмен.

— Венчать его крапивой и розгами,— отозвался Гельвий.

— Перехожу к моей выдумке,— сказал Фильс.— На заводе Северного Акционерного Общества есть паровой молот весом в шестьсот пудов, делающий в секунду с четвертью два удара. Я предлагаю, установив эту скорость движения, прыгать через наковальню с завязанными глазами.

— Пыль и брызги! — расхохотался Стабер.— Недурна выдумка, Фильс, но кто же нас пустит к молоту? Нам просто дадут по шее.

— Деньги пустят,— сказал Фильс.— Зачем нам деньги?

— Мы это обсудим,— решил Карминер.— Давайте отчет.

— Да, отчет, давайте отчет! — заговорили вокруг стола, усаживаясь на стульях.

— Три месяца хожу, а каждый раз интересно,— сказал, облизываясь, Эсмен.

Фильс вынул из ящика стола лист бумаги. С карандашом за ухом, деловито поджатыми губами и бесстрастным взглядом он напоминал аукционного маклера.

— Говорите,— сказал Фильс.— Ну, вы первый, что ли, Карминер.

— Я,— заговорил ворчащим голосом Карминер,— играл с бешеной собакой около бойни.

— Что вышло из этого?

— Укусила она меня.

— Прививку будете делать?

— Нет.

— Хорошо. Но лучше вам недели через три застрелиться.

— Я утоплюсь.

— Дело ваше. Свидетели кто?

— Два мясника,— Леер и Саваро, Приморская улица, № 16.

Болезненный, неудержимый смех готов был вырваться из моей груди при этом лаконическом диалоге, но я быстро подавил его. Лица членов собрания остались невозмутимо серьезны, даже торжественны.

— Мюргит,— сказал Фильс,— вы как?

— Почти ничего,— простодушно ответил юноша, краснея.— Я только обошел перила речной башни.

— Свидетели?

— Стабер и полицейский Гунк.

— Эсмен, вы?

— Я,— сказал Эсмен,— увлекся мелким спортом. Я останавливал спиной трамвай и автомобили. Ни один не переехал меня.

— Это и видно,— заметил Фильс, улыбаясь мне.— Свидетели?

— Трое мальчишек-газетчиков №№ 87, 104 и 26.

— Стабер!

— Была дуэль. Я стрелял вверх, а враг мимо в двадцати шагах.

— Свидетели?

— Капитан Хонс, полковник Риго и врач Зичи.

— Бартон!

— Вчера,— загудел Бартон,— я выплыл через пороги у Двухколенного поворота при низкой воде и прибыл к Новому мосту уже без весел. Свидетели: хроника газеты «Курьер».

— Почтенно,— сказал Фильс.— Ну, а вы, господин Суарт?

Слепой поднял голову, направляя стекла очков мимо лица Фильса.

— Я,— тихо заговорил он,— выпил из трех стаканов один: два были с чистым вином, а третий с не совсем чистым.

— Свидетели?

— Мой брат.

— Теперь Гельвий.

— Я ничего не делал,— сказал Гельвий,— я спал. И видел во сне, что ем хлеб, вымазанный змеиным ядом.

— Свидетелей не было,— кратко заметил Фильс.— А я, господа, повторил несколько раз вот что,— Фильс показал револьвер.— Он на шесть гнезд. Я вкладывал один патрон, поворачивал барабан несколько раз и спускал курок, держа дуло у виска. Именно это я хочу сделать сейчас.

— Если не будет выстрела — только чикнет,— заметил Эсмен.

— Да, чикнет,— спокойно возразил Фильс,— но ведь это интересно м н е.

— Разумеется,— подтвердил Гельвий.— Ну, покажите!

Как ни был я равнодушен к своей и чужой жизни, все же последующая сцена произвела на меня весьма неприятное впечатление. Фильс, под внимательными взглядами членов оригинального союза, сунул в блестящий барабан револьвера один патрон, перевернул барабан быстрым движением руки и взял дуло в рот. Не желая быть смешным, я воздержался от всякого вмешательства, хотя несколько волновался. Глаза всех были устремлены на движения пальцев правой руки Фильса; он сдвинул брови, как бы сосредоточиваясь на чем-то важном и известном только ему, затем кивнул головой и нажал спуск.

Правда, был лишь один шанс против пяти, что безумец размозжит себе череп, но я почему-то приготовился именно к этому, и напряжение мое, встретившее, вместо ожидаемого — по чувству нервного сопротивления, выстрела — металлический спуск курка,— осталось неразрешенным. Неожиданно меня потянуло сделать то же, что сделал Фильс, отчасти из солидарности; но в большей степени толкнул меня к этому острый зуд риска, родственный неудержимому стремлению некоторых людей переходить трамвайные рельсы почти вплотную к пробегающему вагону. Пока члены союза критиковали выходку Фильса, находя ее, в общем, мало эффектной, хотя серьезной, я, выбросив из своего револьвера пять патронов и перекрутив барабан, сказал: — Фильс, мы всегда ведь играли вместе, посмотри, что будет со мной.

— А?! — сказал Фильс печально.— Тебя тоже знобит! Хорошо; прощай или до свидания.

Я закрыл глаза и, невольно холодея, нажал спуск. Курок щелкнул возле уха отвратительным звуком; я опустил руку, поморщившись. В забаве был скверный цинизм.

Никто не повторил за мной этого опыта, и разговор после некоторого молчания стал общим. Через полчаса Карминер прочел нам коротенькую диссертацию о «Законах Мертвого Духа», а Бартон затеял с Гельвием спор о гашише; Гельвий сказал: — Гашиш плюс я — другой человек. Я желаю быть я.— Бартон возразил: — Я же не хочу этого, я надоел себе.— Устав, я условился с Фильсом относительно следующего нашего свидания.

— Что же,— сказал на пороге Фильс,— как зонтик?

— Зонтик,— заметил я,— странноват,— да. Но лучше смолчим. Я ухожу без сожаления; вкусы различны.

— Так,— сказал он, прощаясь,— к этому не привыкнешь сразу.— И я вышел на улицу.

IV

АСТАРОТ

Вернувшись к себе, я понял, что не усну. Перед моими глазами, сменяясь одно другим, всплывали из темноты, беззвучно говоря что-то, лица членов союза; в выражении глаз их, смотревших на меня, не было ни

участия, ни доброжелательства, ни усмешки, ни вражды, ни печали; полное равнодушие скуки отражали эти глаза и совершенное безучастие. Странные, на первый взгляд, поступки имели для них, в силу болезненного отношения к жизни, значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливающийся по парапету башни; Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах; Фильс с револьвером у виска — все это, по-видимому, бессознательно, поддерживало угасающее любопытство к жизни; охладев к ней, они могли принимать ее, как врага, только в постоянных угрозах. Люди эти притягивали и отталкивали меня, что можно сравнить с толпой бродячих цыган на бойкой городской улице: смуглые чуждые лица, непонятный язык, вызывающие движения, серьги в ушах, черные волосы и живописные лохмотья останавливают внимание самых прозаических, традиционно семейных, людей, и внимание это не лишено симпатии; но кто пойдет с ними в табор? Индивидуальность противится выражению самых заветных ее порывов в форме, для нее несвойственной, и та же цыганщина, задевшая сердце скромного человека, найдет выход в песне или разгуле.

Глубоко задумавшись, просидел я, не зажигая огня, до рассвета, когда, посмотрев в окно, увидел перед воротами гостиницы серую верховую лошадь под высоким седлом и слугу, державшего ее в поводу. Через минуту из ворот вышел человек.

Я не могу отказать себе в удовольствии описать этого человека подробно. Человечество иногда выдвигает фигуры и лица, достойные глубокого зрительного анализа, без чего заинтересованный наблюдатель не всегда уяснит г л а в н о е в поразившей его внешности; подобная внешность, лишенная оригинальности дурного тона, очень красноречиво и убедительно заставляет думать, что содержательность зрительных впечатлений не уступает книге; искусство смотреть для очень многих еще тот самый всемирный, но не изученный язык, о котором ревностно твердят нам эсперантисты.

Незнакомцу на взгляд было сорок пять — пятьдесят лет. Плечи его, хотя в остальном он не был ширококостным, угловатые и широкие, позволяли рукам висеть свободно, не прикасаясь к туловищу. Под черными волосами, составляющими как бы продолжение черной шап-

ки, прятались уши; глаза сходились у переносья, линии костлявого носа и лба составляли одну прямую. Глаза резко освещали лицо... От висков до третьей пуговицы жилета струилась бараньим мехом черная борода. В лице вошедшего, именно,— все струилось; другим выражением я неточно определил бы то общее, что есть в физиономии каждого человека; упомянув уже об отвесной линии лба и носа, я перейду к остальным чертам: опущенные углы бровей, глаз и рта с твердой линией губ; падающие в бороду усы; волосы, выбивающиеся из-под шапки и дающие, благодаря густоте, подлинную иллюзию тяжести,— все струилось отвесно, подобно скованному льдом водопаду. Незнакомец был одет в черную суконную блузу, серый, поверх блузы, жилет с синими стеклянными пуговицами, кожаные брюки и сапоги на толстых подошвах; единственной роскошью были серебряные шпоры с глухо звеневшими колесцами.

Рассматривая этого человека, я невольно позавидовал ему. Мне предстоял день убийственного безделья; он же, вероятно, собирался делать хорошо известное, нужное для него дело и был поглощен этим. Смутное решение зародилось во мне, скорее — представление о движении, в котором, как всегда, я находил некоторое рассеяние. Я думал, что мои нервы требуют настоящего утомления. Продолжая обдумывать это, я позвонил и спросил заспанного слугу о неизвестном всаднике.— Это охотник,— сказал слуга, презрительно посмотрев в окно,— дикий и необразованный человек; он, когда останавливается у нас, то спит в конюшне вместе со своей лошадью.

— Очень хорошо,— сказал я.— Мне хочется поговорить с ним.

Слуга ушел. Прошло немного времени, и я, услыхав шаги, открыл дверь. Охотник, сняв шапку, остановился на пороге, осматривая меня и мое помещение. Он не сказал ни слова, но, кончив беглый осмотр, встретился со мной взглядом и протянул руку.

— Астарот,— сказал он, и в его лице появилось выражение нетерпеливого ожидания.

— Что вы скажете насчет хорошей охоты?

— Доброе дело.

— Устройте мне это.

— Где?

— Где! — но вы должны лучше меня знать, «где».

— Я хочу сказать — близко или далеко от города? Чем дальше, тем лучше; если же вы любите стрелять уток, то это можно сделать в первом болоте.

— Я рассчитываю провести с вами три или четыре ночи, за что недурно вам заплачу.

— Что ж! — сказал Астарот после минутного размышления.— Выбирайте сами. По эту сторону гор я разыскал водопой; там найдутся козули, кабаны и козы. По ту сторону много медведей. Еще дальше, вокруг Чистых Озер, я находил бобров и лосей. Если вы легко устаете, лучше не забираться далеко,— дороги малоудобны.

— Возьмем хотя бы медведей.

— Как хотите.

— Сегодня?

— Да.

— Где? Потому что у меня еще нет ни лошади, ни ружья.

Астарот удивленно посмотрел на меня: ему, привыкшему иметь ружье и лошадь всегда, показался, наверное, странным человек, не позаботившийся своевременно обо всем нужном в пустыне.

— Тогда,— холодно сказал он,— я буду ждать вас у реки, в харчевне, на углу Набережной и Полевой улицы, но не долее двух часов дня.

На этом мы и покончили. Астарот уехал, а я, оставшись один, дал комиссионеру несколько поручений, и в полдень у меня было все нужное для похода. Испытав лошадь, я нашел ее выносливой, послушной узде и быстрой; это был четырехлетний гнедой жеребец с белой гривой и нервными, прекрасными глазами; когда его поставили в стойло, он лизнул меня языком по уху, а я сунул руку в мягкую гриву. Поговорив таким образом, мы расстались и выехали в четверть второго. Я не взял с собой ничего, кроме зарядов, штуцера, мешка с провизией и теплого одеяла. Проехав несколько улиц, я мысленно оглянулся, сдержав лошадь. «Не повернуть ли назад?» — твердила усталая мысль... Еще не выполнив случайной затеи, я готов был поддаться скуке и удовлетвориться лишь мыслью, что при желании мне ничего не стоит продолжать путь; остальное дополнялось воображением. В состоянии этом была своеобразная прелесть

сознанного и мучительного равнодушия; однако, уступая логике положения, власти вещей и нетерпеливому шагу лошади, я, махнув рукой, подобрал поводья и выехал к реке рысью, разыскивая Астарота.

V

ГОРНЫЙ ПРОХОД БИГА

Когда я зашел в указанную Астаротом харчевню, он благосклонно посмотрел на меня, сидя за огромным столом с кружкой вина. Против него, обернувшись при моем появлении, помещался невзрачный человек с застенчивым и скромным лицом, одетый почти так же, как Астарот, с той разницей, что вместо шапки с головы его свешивались концы туго обвязанного платка. Я подошел и сел к ним за стол.

— Ну, вот,— сказал товарищу Астарот,— видишь, он здесь! — Потом, указывая на застенчивого человека, объяснил мне: — Он, сударь, поедет с нами; его имя — Биг, это один из отважнейших людей, но он скромен и молчалив.

— Уж ты... скажешь,— краснея, пробормотал Биг унылым голосом.— Вот, честное слово, не люблю я...

Шутливое выражение лица Астарота исчезло, и он, торопливо прикончив кружку, поднялся.

— Биг, нам до заката не успеть в горы,— сказал он.— Выйдем —и марш.

Через кухню мы прошли на маленький двор, где, у коновязей, фыркали и взмахивали хвостами нетерпеливые лошади. Маленькая кобыла Бига исподлобья, как человек, смотрела на своего хозяина. Поговорив о моей лошади и сдержанно похвалив ее, оба охотника простым движением рук очутились в седле, что, несколько медленнее, сделал и я; затем, выехав на солнечную улицу, мы, миновав мост, погрузились в береговые, с высокой травой, луга. направляясь к синему венцу гор, похожему издали на низкие облака.

Держась рядом с Астаротом, я наблюдал спутников. Они были погружены в свои мысли и неохотно отзывались на мои случайные замечания.

Черные глаза Астарота, прячась от солнца, съежились и ушли внутрь, а Биг, рассеянно смотря по сторо-

нам, иногда улыбался и подмигивал мне, как бы желая сказать: «Так-то. Едем». Проехав луг, мы направились далее берегом небольшой речки, причем несколько раз пересекали ее вброд; вода, шумя у ног лошадей, обдавала нас брызгами. Трава заметно редела, переходя в унылую, душную степную равнину, поросшую высохшим кустарником; все чаще попадались серые каменистые бугры, овраги и трещины; от них пахло сыростью и землей; одинокие деревья имели сторожевой вид; холмы, растягиваясь подножиями в сотни сажен, вынуждали нас при подъеме сдерживать лошадей. Из-под копыт, вспыхивая дымком, летела сухая, бурая пыль, а горы, проясняясь, становились пестрыми от хорошо различаемых теперь неровных пятен лесов, но казались почти так же далекими, как от Зурбагана.

Следя за собой, я видел, что отдыхаю в седле душою и телом, как отдыхают от мучительной зубной боли, бегая по комнате. Вещей, о которых я мог бы последовательно и с интересом думать, у меня не было, но голую пустоту воображения и чувств успешно заполняли разные дорожные пустяки. Стремена Астарота, стертые от езды, заставляли меня машинально соображать, сколько времени они ему служат; смотря на голову лошади, я думал, что мысли животных должны напоминать вечно ускользающий из клещей памяти сон. Камни напоминали мне о древности мира, а яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом земли, навеки осужденным без операции смотреть в лицо непонимающему его брату.

Так ехали мы час, и два, и три, и, наконец, унылая местность, достойная в сумрачный день служить вестибюлем ада, кончилась. Мы двигались в заросли, полной валежника, ям, пенистых горных ключей и стволов, вырванных шквалом. Эти препятствия, живописные, но и надоедливые, заставляли коней идти шагом, и я не без удовольствия убедился в выносливости своей лошади.

— Лет восемь назад,— сказал мне Астарот,— нам не миновать бы потратить сутки на переход через горы. Самое удобное для этого место — шесть тысяч футов, где начинаются ледники. Но мы сделаем переход удачнее. Давно уже я и Биг прошли хребет этот, можно сказать, навылет; мы теперь приближаемся к трещине, выходящей по ту сторону настоящим коридором; она попа-

лась нам, конечно, случайно, но это не помешало мне окрестить ее именем Бига, потому что он первый сунулся в дыру. Я, понятно, ехал за ним, и мы, к нашему удивлению, благополучно перебрались, миновав утомительные высоты.

— Ты же сказал, что не мешало бы исследовать щель,— возразил Биг.

— Прекрасно, не будем спорить.

Он нагнулся, присматриваясь к скалистым хрящам, обросшим кустарниками, и у одного из них повернул вправо. Я увидел нечто вроде узкой долины, стиснутой известковыми выступами; здесь росла густая и сырая трава, но далее картина неожиданно изменялась: лес расступился, трава исчезла, и в темной волне холмов обнаружилось резкое углубление с зубцом голубого неба вверху,— это и был проход Бига, как назвал его Астарот. Здесь все остановились, и Биг стал советоваться с товарищем о месте привала. Поговорив, согласились они, что москиты не дадут спать в кустарнике и измучат лошадей; поэтому решено было пустить животных к ручью, а самим устроить привал в ущелье, а затем увести поевших лошадей к себе.

Астарот — впереди, за ним — Биг, и я — сзади углубились в расселину, оставив лошадей без привязи пастись у ручья; я был спокоен за свою лошадь, зная, что она не уйдет от других, прибегающих, как настоящие лошади бродяг, на первый зов или свист. Дно трещины, усеянное известковыми глыбами, слоями осыпавшегося сверху дерна, корнями и мокрое от выступившей кой-где подпочвенной воды,— было весьма неровно. В крутых, тесных изгибах стен, высоко над головой поросших почти скрывающим свет и небо кустарником, образовался воздушный ток, напоминающий мягкий ветер лесов; сырость, застоявшаяся тишина и вечные сумерки придавали этому месту характер мрачный и дикий, вполне отвечающий моему настроению. Но,— что служило для меня развлечением,— я начинал чувствовать голод; когда, пройдя сажен сто, спутники мои остановились на сухом месте — груде земли — и стали, не теряя времени, собирать дерево для костра, я принялся им помогать со всем возможным усердием. Огонь, робко блеснув, разгорелся, наполняя ущелье низко оседающим дымом и красной игрой теней; в этом фантастическом

освещении наши лица казались вымазанными алой краской и углем.

Наш ужин был скромен, хотя съеден по-волчьи. Дневной свет, вяло, но внятно позволявший различать внутренность горной расселины, угас; несколько звезд смотрело сверху на густой мрак, окружавший костер. Астарот, как мне показалось, все время прислушивался, но, заметив, что я вопросительно смотрю на него, принимал свой обыкновенный вид, начиная говорить громче, чем нужно. Он рассказывал о холоде и вьюгах на высоте гор, рыхлых оползнях ледников, прошлогодней экспедиции в поисках медных залежей и недавней охоте, где видел знаменитую волчиху о семи головах, про которую сложилось предание, что она носит в теле двадцать одну пулю и проживет до тех пор, пока не получит свинца прямо в сердце. У этого зверя, по словам охотника, не хватало сущих пустяков: первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой голов, а седьмая была налицо.

— Поэтому она и жива,— заметил Биг,— все стреляли по остальным, кроме седьмой.

— Да,— кратко сказал Астарот и прислушался к тишине, и на этот раз так заметно, что Биг тревожно посмотрел на него.— Ты слышишь что-нибудь, Биг?

Биг закрыл глаза, наклонил голову, затем поднял ее; с минуту они рассматривали один другого, проверяя непонятное для меня — в себе.

Астарот, покачав головой, вытянул шею по направлению к дальнему концу ущелья, хмыкнул и приложил ухо к земле.

— Биг,— прошептал он,— вы подождите здесь, я схожу и скоро вернусь.

— Что случилось? — спросил я.

— Вероятно — обман слуха,— уклончиво, беря ружье, сказал Астарот,— но лучше мне прогуляться.

— Я не думаю,— заметил, привстав, Биг,— это почти невероятно.

Астарот пожал плечами:

— Вот мы увидим,— и он, шурша землей, исчез во тьме.

Биг стал рассеян. Как бы случайно вытаскивал он из костра одну головню за другой и тушил их, засовывая в золу. Не считая уместным праздное любопытство, я

молчал. От пламенного костра осталась кучка огненно-зорких углей, скупо озарявших землю, складной ножик и бляхи седла, на котором я сидел, прислушиваясь к заунывному шелесту невидимой, над головами, листвы. Зная опытность людей, сопровождавших меня, я мог быть уверен, что без причины они не обнаружили бы беспокойства, и беспокойство это, в силу его законности, передалось мне. Казалось, что очень слабо, похоже на звон в ушах, различаю я далекие и странные звуки, но стоило ослабить внимание, как эти смутные звуковые призраки переходили в потрескивание углей или шелест осыпающейся земли. Устав думать о загадках ущелья, я махнул рукой. Биг пристально посмотрел на меня.

— Вы не слышите? — тихо спросил он.

— Нет. А вы?

— Как будто бы — да!..— Биг перебил себя.— Но это возвращается Астарот.

Осторожные, медленные шаги, в силу своеобразной акустики прохода, звучали со всех сторон, как будто к нам двигалась толпа. Я испытал неприятное, нервное ощущение, но, когда Астарот вырос у моего плеча во весь рост, эхо шагов умолкло.

— Костер, пожалуй, не помешает,— сказал он, присев на корточки и раздувая брошенную им поверх углей охапку древесного лома; он кивнул головой Бигу далеко не успокоительно, а тот почесал лоб.— Нельзя идти дальше,— заговорил Астарот; он сказал еще несколько слов, но тут, вспыхнув, заполоскали огненными языками дрова, и я с изумлением увидел новое, совсем переродившееся лицо Астарота. Он был ярко бледен, весел без улыбки и оживлен; веселье, поразившее самую глубину его зрачков, не было простым смехом глаз; в нем светилось столько безумной остроты, значительности и мысли, что я в первый момент отнес это на счет изменчивых колебаний пламени; однако не могло быть сомнений, что охотник испытывает нечто в сильнейшей степени. Он посмотрел на меня взглядом человека, рассматривающего горизонт поверх головы собеседника, и тотчас же отвернулся к Бигу.

— Я прошел,— начал он свой рассказ,— так далеко, что уткнулся руками в поворот и пополз. Через минуту я слышал шум, какой бывает, когда о крышу дробится проливной дождь. Шум переходил в голоса. Я не мог

ничего расслышать, но там, должно быть, говорило или шепталось вполголоса много людей. Тогда я прополз дальше, пока не увидел своих рук. Это был свет. На камне сидел часовой, судя по форме — из волонтеров Фильбанка; он не видел меня и совал прикладом в горевший перед ним костер сучья, которых у стены я заметил большой запас. С меня было довольно, я отступил в тень и вернулся.

— Хорошо,— медленно сказал Биг,— подумаем обо всем этом.— Он закурил трубку.— Надо отдать справедливость Фильбанку: он знает, что делает. Утром Фильбанк будет хозяином в Зурбагане.

— Утром? — спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен.

Астарот не дал мне времени поправиться.

— Утром светло,— сказал он.— Ночью следует опасаться засады — если не в проходе, то при выходе из него; так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден, и Фильбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на Зурбаган и перебьет гарнизон.

— Нам надо вернуться,— сказал Биг.— Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фильбанку проход. Кого это, интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда?

Астарот пристально, как бы взвешивая и что-то рассчитывая, смотрел на Бига; оба они не обращали на меня никакого внимания. Но я и не претендовал на это; мне нравилось безответственное положение зрителя; давая же советы или пытаясь — вообще — проявить свое влияние, я этим принимал на себя известные обязательства, относительно которых, не зная пока, куда они могут клониться, решил быть в стороне.

— Мне пришла в голову одна мысль! — Астарот с живостью подошел ко мне.— Сударь, клянусь вам, что это дело чистое и возможное. Не думайте, что я сумасшедший, выслушайте. Можно остановить Фильбанка. В полуверсте отсюда проход образует угол; стены круты и высоки; более чем пять человек не встанут там рядом. Невелика хитрость убить медведя, и это мы всегда успеем, но если вы не очень боитесь потерять жизнь — Фильбанк отступит. До рассвета, играя в четыре руки, мы поставим между собой и им земляной вал.

— Филь...— начал Биг,— их тысячи, Астарот, но мне такая затея нравится.— Он мечтательно улыбнулся.— Знаете, сударь, ружье и глаз Астарота? Вы должны тогда посмотреть на его работу.

Я понял, что это не шутка, и вздрогнул. Спокойствие Бига поразило меня. Он рассматривал замысел с точки зрения техники и работы,— чудовищную опасность затеи, разумеется, приходилось подразумевать. Предложение, интересное своей колоссальной дерзостью, заставило работать воображение с такой силой, что я встрепенулся.

— Хорошо,— сказал я,— мне нет причин отказываться, я с вами.

— Еще раз!

— Да!

— Еще раз!

— Да!

— О! — сказал Астарот, оставляя меня в покое,— если так, Биг, то не будем терять времени! Скачи и дай знать в Зурбагане, но торопись; середина ночи, путь не близок и труден, патронов немного, оставь свой запас. Есть?

— Есть!

Биг, взвалив на плечо седло и ружье, с головней в руке бросился по направлению к выходу. Это было первым шагом, началом действия, после чего некогда было уже ни говорить, ни закреплять впечатления, и ожидание неизвестного вытеснило из моей головы все остальное.

— Спешите,— сказал Астарот,— возьмем по головне — и за дело!

VI

ФИЛЬБАНК

Я видел, что имею дело с людьми решительными и отважными в такой степени, о которой мы, не будучи ими, едва ли можем составить себе ясное представление. Но это-то и увлекало меня. Я вспомнил Фильса и его друзей, проделывающих бесцельно головоломные вещи. Здесь, в деле, затеянном Астаротом, требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека, исключительная сосредоточенность мысли и ос-

мотрительность. Следуя в потемках за Астаротом, я чувствовал, что проникаюсь глубоким интересом к дальнейшему; обыкновенная стычка, вероятно, не показалась бы мне столь привлекательной.

Идти было трудно и беспокойно. Спотыкаясь о камни, ямы, возвышения, трещины и холмы осыпей, мы шли так скоро, как позволяли условия, и остановились, когда Астарот сказал:

— Мы у поворота. Дальше идти не стоит: здесь наивыгоднейшее для нас место.

Головни, догорев, угасли; по звуку шагов я чувствовал, не видя охотника, что он кружится неподалеку, ощупывая руками стены. Как оказалось потом, он не был вполне уверен, что поворот здесь. Я явственно слышал его и свое дыхание, чего в обычное время не замечаешь, и дыхание это звучало убедительно, как рожок, играющий наступление. Астарот, нащупав меня, сказал, что надо зажечь костер. Долго, ползая на коленях, собирали мы ощупью хворост, гнилье, пни и все, что дождевые потоки годами обрушивали в проход; наконец покончив с этим, я чиркнул спичкой и поджег наваленную у стены груду.

Тогда, выбрав наиболее возвышенное у поворота место (чтобы облегчить труд), мы стали ворочать камни, вкатывая их на возвышение руками и кольями. Поворот уходил влево зубчатым гротом; расстояние между почти совершенно отвесными, с выступами и трещинами, стенами, в том месте, где мы начали кладку, равнялось шести шагам. Тягостное ощущение усиливалось непроницаемым мраком, границы которого далее весьма скудного предела бессилен был раздвинуть огонь.

Охотник укладывал и носил камни, не отдыхая, и я не отставал от него, заражаясь быстротой его движений. Первый ряд, шириною в шесть или семь футов, мы положили легко, второй был возведен уже медленнее; промежутки мы заполняли землей, разрыхляя ее топором Астарота и палками; чем далее, тем труднее становилась наша работа, и я не мог подымать приблизительно на высоту груди некоторых камней; тогда мы взваливали их вместе, упираясь плечами. Усталости я не чувствовал, напротив — особое нетерпение торопливости подгоняло меня, и в этом было своеобразное упоение. Я двигался в страстном хороводе усилий, ускоряя темп их почти до го-

ловокружения; с наслаждением замечал я удобные камни и, взвалив их, шатаясь, в следующий ряд баррикады, спешил за новыми. Иногда, для того, чтобы подбросить в огонь дров, мы прекращали работу,— но уже, невольно оглядываясь, разыскивали глазами новый материал; в одну из таких минут охотник сказал:

— Довольно! Заграждение на высоте нашего роста. Устроим еще амбразуры и прекратим.

Это было действительно последнее, что нам оставалось сделать. Амбразуры мы соорудили из самых больших камней, а внизу, у подножия заграждения, устроили несколько грубых ступеней. Когда все было кончено и поперек ущелья вырос настоящий тупик,— я сел, чувствуя слабость: устало колотилось сердце, с трудом разгибались руки. Меня клонило ко сну. Я сделал попытку встряхнуться, но ослабел еще более и, в состоянии полного изнурения, уронил голову на руки.

— Отдохните, я спать не буду,— сказал Астарот, и я, позабыв все, уснул.— Пора,— сказал, нагибаясь ко мне, Астарот. Я сознавал, что это говорит он, но тотчас уснул опять, и приснилось мне, что охотник спит, а я расталкиваю его, говоря: «Вставайте!» — Вставайте! — повторил Астарот, и я нервно вскочил.

Костер потух. Было еще темно, но вверху ясно обозначались на свежем небе силуэты обрыва. Внизу, присмотревшись, можно было различить, хотя с трудом, хаотическое дно прохода; ущелье напоминало разрыв гигантским плугом. Я тотчас припомнил все. Астарот, стоя у заграждения, раскладывал патроны, чтобы иметь их под рукой; у него был очень деловой вид.

Я подошел к нему, взяв ружье, но видя, что он положил свое,— сделал то же.

— Через полчаса, а может быть, и меньше,— сказал охотник,— мы увидим врага. Встреча будет не из приятных, но шумная и — по-своему — оживленная.

Только теперь я обратил внимание на высоту баррикады, и высота эта показалась мне чрезмерной.

— Мы перестарались, Астарот,— заметил я,— можно было устроить тупик пониже.

— Нет!

— Почему?

— Вы недогадливы. Когда люди начнут падать от выстрелов, нужно, чтобы им было как можно более мес-

та в высоту. В противном случае они закроют собой цель.

— Астарот,— сказал я,— меня интересует нечто более важное. Почему вы, не солдат, даже не горожанин по привычкам и образу жизни, подвергаете себя немалому риску, выступая против Фильбанка?

— Да. Почему? — рассеянно ответил он.— Три часа тому назад я, пожалуй, не нашел бы, что вам ответить. Пока мы таскали камни, все выяснилось. Разве вы всегда знаете, почему делаете то или другое? Но я теперь знаю Потому что это не совсем обыкновенное дело. Будет о чем вспомнить и рассказать. Я скоро начну седеть, а что было у меня в жизни? Полдюжины мелких стычек и безопасные охоты? Нет, мне хотелось бы превратить в войну всю жизнь, и чтобы я был всегда один против всех. Увы, это немыслимо. Всегда кто-нибудь скажет· «Вы поступили правильно, Астарот».

Он произнес это с оттенком спокойной грусти. И я понял, как безмерно жаден и горд этот полудикий человек, считающий несчастьем то, о чем мечтают и чего добиваются миллионы.

— Даже так?

— Именно так. Если бы я знал, что есть где-нибудь второй Астарот, полный двойник мой не только по наружности, но и по душе, я бы пришел к нему с предложением кинуть жребий — ему жить или мне? Мы подвергаемся теперь опасности; поэтому я желаю, чтобы вы узнали меня. Где-то, когда и где — не помню, имел один человек редкую книгу и был уверен, что ни у кого больше на всем земном шаре нет такой же второй книги. Но вот приходят к нему и говорят, что в соседнем городе, у богатого помещика, именно такой экземпляр лежит в хрустальной шкатулке. Тотчас же этот человек взял большую сумму денег и приехал к сопернику. Не говоря ему о своей книге, он купил за бешеную цену второй экземпляр и бросил его, на глазах бывшего владельца, в камин; огонь сделал свое дело. Итак, теперь вы поняли, почему я против Фильбанка? Потому, что Фильбанк не скажет: «Правильно, Астарот!»

С глубоким изумлением смотрел я на этого — воистину — загадочного человека. Он отвернулся, прислушиваясь, и положил мне на плечо руку.

— Фильбанк наступает,— сказал Астарот,— будем встречать гостей.

Небо прояснилось; раннее утро наполнило сумрачный проход унылым светом. Я слышал, закладывая патроны, глухой ропот шагов, позвякивание, шорохи, неопределенный протяжный шум и смутные голоса. Астарот, не отрываясь, смотрел через заграждение; настойчивый взгляд его как бы просил торопиться и не задерживать. Шум превратился в гул; отголоски, проникая эхом позади нас и по всему тревожно оживающему проходу, раздавались со всех сторон. Из-за поворота показались солдаты. Ничего не подозревая, они торопливо, держа ружья наперевес, высыпали на близкое от нас расстояние и с недоумением, а некоторые с испугом — остановились.

Астарот выстрелил, затем — я, целясь в ближайшего; тотчас же два человека, пятясь и вскрикивая, упали назад, и то, что произошло далее, было поистине потрясающе даже для меня, готового ко всему. Проход загудел и взвыл, слабые вначале раскаты гула, полного воплей, крика, звона и угрожающего смятения, отраженные глухим эхом, усилились до громоподобного взрыва. Тысячи людей, стиснутые за поворотом узкими отвесами стен, бились в необычайном волнении. Солдаты, в которых стреляли мы, скрылись; но не прошло и минуты, как новый рой их, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Астарота.

Я был в состоянии никогда мною не испытанного головокружительного увлечения. Мои выстрелы, которые, сдерживаясь, я посылал весьма тщательно, не всегда достигали цели, но Астарот поступал толково. Я не помню в эти минуты ни одного с его стороны промаха. Он хлестал пулями, как бичом, и каждый выстрел его убивал, даже не ранил. Он был вне себя, но меток. Один за другим растягивались, взмахивая руками, солдаты, и в этой сосредоточенно-деловитой стрельбе было столько уверенности, что я невольно взглянул на рассыпанные у локтей Астарота патроны, считая их вместо солдат. В глубине поворота блестели, колыхаясь, штыки, но скоро их и лица солдат туманом окутал пороховой дым, и огонь выстрелов еще ярче заблестел в дыме, принимая красный от-

тенок. Пули, разбиваясь о камни звонкими, отрывистыми ударами или свистя над головой, напоминали о смерти, но в жестокой жуткости их я ловил звуки очарования и немого восторга перед лицом судьбы, подвергнутой столь гневному испытанию.

Прикрытый камнями, целясь в узкую меж ними, не шире трех пальцев, щель, я мог до времени считать себя в безопасности, но опасаясь за ружье, могущее быть подбитым случайной пулей, выставлял дуло самым концом. Я целился и стрелял преимущественно в тех, чей прицел видел направленным на себя. Солдаты, постепенно отступая, стреляли теперь из-за угла поворота, подставляя охотнику для прицела лишь часть головы,— но он поражал их и в таком положении, и именно — в голову. Они падали на свои ружья, а на их месте появлялись другие; я же, сберегая патроны, ждал нового открытого выступления. Вдруг Астарот, прицелившись, опустил ружье: ни людей, ни выстрелов не виделось больше в повороте, и перестрелка умолкла. Трупы, один на другом, лежали более чем внушительно.

— Слушайте, вы! — вскричал охотник.— Слушайте! Скажите Фильбанку, что он не пройдет здесь. Я не один; нас двое, и мы устроим вам очень тесную покойницкую! Уходите!

Никто не ответил ему, но и я и он знали, что те, к кому были обращены эти слова,— слышат.

— Вас двое? — неожиданно сказал, появляясь в глубине поворота человек с белым платком в руке; он махнул им несколько раз и подошел ближе. Он был без ружья и всякого другого оружия; как бы вспухшие глаза его на мясистом бледном лице, лишенном растительности, тонкий, словно запечатанный, рот — были презрительны; он смотрел, прищурившись, и медленно улыбнулся.— Вас двое? Каждого из этих двоих я повешу за ноги; я возьму вас живьем. Я — Фильбанк.

— Разбойник,— сказал Астарот,— если бы не белый платок, я перевязал бы тебе голову красным.

— Бродяга,— ответил, темнея, Фильбанк.— Мундир, который ты видишь на мне, обязывает меня сдержать слово. Долой из этого курятника! Беги!

— Повелитель,— насмешливо возразил охотник,— почему вам хочется идти в эту сторону? Ступайте обратно, там вам не помешает никто. Пока вы идете вперед —

сила на нашей стороне, но, разумеется, никакими усилиями не удалось бы нам задержать вас, если вы вздумаете отступить; самое большее, что мы схватим за шиворот двух.

— Хорошо,— сказал Фильбанк.— Помни! — И он скрылся.

— Это — атака,— сказал, хватая меня за руку, Астарот.— Но нам, может быть, не хватит зарядов. Биг не возвращается. Вы готовы?

— Вполне.

Высокий торопливый рожок заиграл в невидимом повороте и смолк. Тогда я увидел, что может сделать один человек, вполне владеющий искусством стрельбы. Толпа, выбежавшая на нас, расступилась, давая упасть мертвым; их было не меньше шести; шесть пуль вылетело из ружья Астарота скорее, чем я прицелился в одного. И так же, как и в первый раз, испуганные солдаты остановились, но охотник еще раз повторил ужасную операцию — и я увидел множество падающих, как пьяные, обезумевших людей; хватаясь друг за друга, вскрикивали они и умирали на наших глазах в то время, как уцелевшие растерянно смотрели на них.— Попробуйте окопаться! — крикнул охотник. Некоторые повернулись и побежали. Здесь я убедился в преимуществе магазинных ружей перед однозарядными; у меня же и Астарота были именно магазинки — Шарпа и Консидье. Шарповские значительно легче, но Консидье для меня был удобнее по устройству прицела, благодаря которому менее опытный стрелок может быть и не вполне точен, зато быстрее ловит, с небольшою ошибкою, мушку.

Воспользовавшись замешательством наступающих, я решил истратить несколько патронов подряд,— для впечатления. Из них только один пропал даром. Не знаю, что подумал об этом охотник, но я не претендовал равняться с ним в точности. Вероятно, он не заметил этого. Губительная работа захватила его. Волонтеры стреляли залпами, стараясь держаться дальше и не толпой; некоторые, срываясь, подбегали почти вплотную и не возвращались назад, и я вспомнил слова охотника о высоте заграждения. Иногда, сбитые пулей, каменные брызги хлестали меня в лицо; я вытирал кровь и стрелял снова, торопясь предупредить каждого целившегося в меня.

— Двадцать пуль я могу уделить им,— сказал охотник,— двадцать первая для меня. Приберегите и себе,— прибавил он, помолчав,— а то ведь Фильбанк сказал правду.

Слова его не испугали и не взволновали меня. Я мало надеялся на благополучный исход и, сообразив, что могу выстрелить, без риска остаться живым, еще десять раз, всадил первую из десяти в голову толстого волонтера, только что высунувшегося ползком из-за угла поворота. Солдат дернулся и упал.

— О Биг, Биг! — вскричал Астарот, хватаясь за раненое ухо,— скоро я не буду ни слышать, ни видеть, ни стрелять, но ты увидишь, Биг, что не зря оставил заряды! Ведь это трупы!

И он, уже не оберегая себя, вскочил на верхнюю ступень заграждения, показывая мне рукой груду, за которой, как за прикрытием, торчали вспыхивающие молниями штуцера. Спрыгнув, Астарот рассмеялся.

— Довольно! — сказал он.— Дело, как мы умели и могли, сделано. Не пора ли? Нет. Вы слышите? Это — Биг и солдаты!

Я оглянулся. Из-за бугров, маленькие на отдалении, торопливо выскакивали, подбегая к нам, вооруженные люди, и я от всего сердца мысленно поздравил их с продолжением удачного дела.

VII

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Меня вытеснила толпа солдат, и я очутился у стены, шагах в десяти от заграждения, вместе с охотником. К нам подошел Биг.

— Правильно, Астарот! — сказал он, задыхаясь от изнурительного бега в проходе.

Лицо Астарота, блиставшее перед тем упоением торжества, разом погасло, осунулось, и тень ровной грусти мгновенно изменила выражение глаз, замкнуто, чуждо раскатам свалки смотревших на живую запруду, истребительную возню.

— Я сделал это для себя,— сказал Астарот, подумав,— и более мне делать здесь нечего. Уйдем, Биг. Не следует дожидаться конца.

— Да,— подтвердил Биг,— через полчаса здесь будут орудия.

— Тем лучше. Ты останешься?

— Нет,— это дело сделают без меня.

Усталые, изредка оглядываясь на трескучий дым, мы выбрались из прохода. Неподалеку валялись, играя, лошади. Оседлав их, мы тронулись к югу; затем Биг нагнал ехавшего впереди Астарота, и они, тихо разговаривая о происшествиях дня, шагом погрузились в заросль на склоне горы, а я, следуя за ними, спрашивал себя: точно ли произошло все, в чем был я свидетелем и участником? Я грустил о том, что так скоро кончились пленительный бой и тревога, и тьма ночи, и зловещее утро у заграждения; но ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей. Я пережил страстное увлечение и был счастлив, но не желал просто драться, так же как Астарот.

Прекрасный день заливал горы живым водопадом солнца, тающего в тесных изгибах чащи крупным дождем золотых пятен, озаренных листьев и отвесных лучей, цветы вздрагивали под копытами, обрызгивая росой траву, а спутанные корни тропинок вились по всем направлениям, уходя в цветущую жимолость, акацию и орешник. Тогда, пристально осматриваясь кругом, я заметил, что наблюдаю, в особом и новом отношении к ним, все явления, которые раньше были мне безразличны. Явления эти неперечислимы, как сокровища мира, и главные из них были: свет, движение, воздух, расстояние и цель движения. Я ехал, но хотел ехать, двигался, но во имя прибытия; смотрел, но смотреть было приятно. Я освобождался от тяжести. Медленно, но безостановочно, как подымаемый домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть, и я, боясь ее возвращения, с трепетом следил за собой, ожидая внезапного тоскливого вихря, приступа смертельной тоски. Но происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыто стучит звонко и крепко, что ветви трещат упруго, что птица кричит чистым, задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег, что камень дал о подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сижу, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод; я был голоден и хотел спать. И все, что я

слышал, видел, знал и чувствовал,— было так, как оно есть: непоколебимо, нужно и хорошо.

Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны: увлечения, пренебрегающего даже смертью, и она вернулась ко мне юная, как всегда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент; я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь.

Невольно, глядя на ехавших впереди ловких и бесстрашных людей, припомнились мне звучавшие раньше безразлично строки Берганца, нищего поэта, умершего из гордости голодной смертью в мансарде, потому что он не хотел просить ни у кого помощи; и я мысленно повторил его строки:

У скалы, где камни мылит водопад, послав врагу
Выстрел, раненный навылет, я упал на берегу,
Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел,
Палец мой лежит на спуске; точно выверен прицел.
И умолк лиса-убийца; воровских его шагов
Я не слышу в знойной чаще водопадных берегов.

Лживый час настал голодным: в тишине вечерней мглы
Над моим лицом холодным грозно плавают орлы,
Но клевать родную падаль не дано своим своих,
И погибшему не надо ль встать на хищный возглас их?
Я встаю.. встаю! — но больно сесть в высокое седло.
Я сажусь, но мне невольно сердце болью обожгло,
Каждый, жизнь целуя в губы, должен должное платить,
И без жалоб, стиснув зубы, молча, твердо уходить.
Нет возлюбленной опасней, разоряющей дотла,
Но ее лица прекрасней клюв безумного орла.

Вспомнив это, я вспомнил и самого Берганца. Он любил смотреть из окна седьмого этажа, где жил, на розовые и синие крыши города, и простаивал у окна часами, наблюдая, без изнурительной зависти, с куском хлеба в руке певучее уличное движение, полное ярких соблазнов.

В полдень я простился с охотниками. Они уговаривали меня остаться с ними ради охоты, но я был утомлен, взволнован и, поблагодарив их, остался один с своими новыми мыслями. Только к вечеру я попал в Зурбаган и бросился, не раздеваясь, в постель. Не каждому удается испытать то, что испытал я в проходе Бига, но это было, и это — судьба души.

ЛУННЫЙ СВЕТ

I

Пенкаль стоял на пороге кузницы, с тяжелой полосой в левой руке и, заметив приближающегося Брайда, приветливо улыбнулся.

Был солнечный день; кузница, построенная недавно Пенкалем из золотистых сосновых бревен, сияла чистотой снаружи, но зато внутри, как всегда, благодаря рассеянному характеру владельца представляла пыльный железный хаос. Брайд брякнул принесенным ведерком, пожал руку Пенкаля и сел у входа, широко расставив колени. Его шляпа, сдвинутая на затылок, открывала умный лоб; маленькие внимательные глаза с любопытством рассматривали Пенкаля.

— Вы можете его починить, Пенкаль? — сказал наконец Брайд, оборачивая ведро дном кверху.— Оно продырявилось в двух местах, следовало бы положить заплатки, но, может быть, вы знаете и другой способ?

— Хорошо,— ответил Пенкаль. Взяв ведро из рук Брайда, он мягко швырнул его в кучу ломаного железа, потом поплевал на руку, готовясь раздуть тлеющее горно. Брайд вошел в кузницу.

— Поздно вы принимаетесь за работу,— сказал он, пытливо осматривая все углы закопченного помещения.— А у нас вчера была ваша жена, Пенкаль.

Кузнец шумно опустил мех, и воздух загудел в горне ровными вздохами, осыпав кузнеца дождем искр. Брайд переждал минуту, рассчитывая, что Пенкаль откликнется «на жену» и тем подвинет разговор к вопросу, интересующему поселок. Но Пенкаль пристально смотрел на огонь.

— Она побыла немного и ушла,— смущенно продолжал Брайд.— Вид у нее был нельзя сказать, что хороший.

— Ну? — сказал Пенкаль.— Ведь она ходит к вам каждый день.

Брайд принял решение.

— Она жаловалась на вас, что вы... кажется, у нее были заплаканы глаза... Что такое семейная история? Та, где нет дела третьему? Этого я не одобряю. Конечно, если мне что-нибудь говорят — я слушаю, но прида-

вать значение... это не мое дело. Разумеется, говорю я себе, у них были причины. Какие? Мне этого знать не нужно. Пусть живут люди, как им живется. Не так ли, Пенкаль?

— Верно,— сказал кузнец.

Брайд разочарованно поймал муху и грустно бросил ее в горно. Скрытность Пенкаля казалась ему излишней и неприличной осторожностью. Что скрыто за этим покусыванием усов? Но, может быть, все пустяки?

Наступило молчание. Пенкаль бил молотком железо, изредка останавливаясь, чтобы поправить падающие на лоб прямые черные волосы. Когда полоса остыла, кузнец сунул ее в печь и спросил:

— А видели вы длинного кляузника Ритля? Сегодня ночью он катался на лодке, и я просто думаю, что его занесло течением дальше, чем следовало.

Брайд высморкался безо всякой нужды.

— Ну да,— принужденно сказал он, избегая взгляда Пенкаля.— Вот еще Ритль... Он проехал действительно подальше... вслед за вами... и легко могло показаться... Впрочем, это был всегда любопытный человек.

— Не думаете ли вы, что он дурак? — мягко спросил Пенкаль.

— Дурак? Пожалуй...— Лицо Брайда томительно напряглось, в то же время он подумал, что от Пенкаля вряд ли что выудишь.

— Он дурак,— сердито проговорил Пенкаль,— не мешало бы ему придерживаться вашего мнения: пусть люди живут, как им живется, а? Не правда ли?

— Да, да,— неохотно сказал Брайд.— Но я зайду к вечеру за ведерком. Мне ведь не к спеху. Да, нужно еще починить изгородь.

Он встал, помялся немного и ушел, оглянувшись на низкую дверь кузницы. Она была вся освещена буйным огнем; в красноватом блеске двигалась сутулая фигура Пенкаля.

Кузнец стремительно двигал мех, стараясь физическим усилием побороть тяжелое раздражение. Да, еще немного — и все будут подозревать его неизвестно в чем.

Он улыбнулся; врожденной чертой его характера было ленивое отвращение ко всякого рода объяснениям и выяснениям. Не их дело.

Пенкаль кончил работу, закрыл дверь, умылся и медленно пошел домой, к куче неуклюжих зданий поселка. Навстречу, грустно улыбаясь осунувшимся, легкомысленным и красивым лицом, шла его жена; Пенкаль прибавил шагу.

— Здравствуй, коза,— сказал он, целуя ее в голову.— Я еще не был дома после этих двух суток, пойдем скорее, у меня разыгралась охота пообедать сидя против тебя. Клавдия! Подними рожицу!

Замявшись, женщина нерешительно обдергивала бахрому цветного платка, прикрывавшего ее молодые плечи, и вдруг заплакала, не изменяя позы. Пенкаль сдвинул брови.

— Это все чаще, Клавдия,— сказал он, заглядывая ей в глаза.— Ты подумай, есть ли хоть маленькая причина портить глазки? Потом... ты еще ходишь жаловаться на меня; это совсем скверно. Что я тебе сделал?

Женщина вытерла глаза, но они вновь оказались мокрыми.

— Ты сам виноват, Пенкаль,— проговорила она, мешая ноты упрека с горькими всхлипываниями,— почти месяц... каждый день... каждую ночь... Никто не знает, куда ты уходишь. Надо мной посмеиваются. «Пенкаль,— говорят,— о, он молодец мужчина!»... Что ты на это скажешь? Ты ведь ничего не говоришь мне. Раньше делали насчет тебя догадки... теперь говорят шепотом, а когда я вхожу,— молчат и странно смотрят на меня. Может быть, ты делаешь фальшивые деньги, милый... так скажи мне... Я не выдам, но... О, мне так тяжело...

Она умолкла; в ее беспомощно раскрытом рту и прямом взгляде сказывался наивный испуг. Пенкаль обнял жену за талию.

— Я гуляю, Клавдия, я хожу на охоту,— серьезно сказал он.— Ну, вот видишь, я говорю правду, а ты смотришь все-таки недоверчиво. Да, Клавдия, только и всего. Надо было мне сказать тебе это раньше. В самом деле, когда охотник приходит постоянно с пустыми руками... Но пойдем. Я попытаюсь успокоить тебя.

Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и стал спускаться с пригорка, продолжая говорить. Через сто шагов женщина успокоилась. Еще ближе к дому лицо ее выглядело просохшим и успокоенным, но в душе она, вероятно, немного подсмеивалась: вот чудак!

II

Береговой песок, залитый лунным светом, переходил в таинственное свечение сонной воды, а еще дальше — в торжественную, полную немых силуэтов муть противоположного берега.

Был полный разлив. Вода покрыла островки, мысы, огромные высыхающие к концу лета отмели, медлительная сила реки сгладила полуобнаженный остов русла — спокойный момент торжества, делавший лесную красавицу похожей на гигантскую объевшуюся змею.

Пенкаль остановился у кипарисов, сильно подмытых течением, зашлепал сапогами в холодной воде и быстро освободил лодку, привязанную к обнаженным корням деревьев. Пахло сырым, полным весенним воздухом. Опустив весла, Пенкаль различил легкие человеческие шаги и выпрямился.

Он повернулся. Низкий обрыв, изборожденный трещинами, мешал рассмотреть что-либо, но неизвестный предупредил Пенкаля и вышел из тени деревьев. Шагах в пяти от Пенкаля он остановился, заложил руки за спину и наклонил голову. Это был Ритль, торговец; в лунном свете хорошо обрисовывалось его длинное, с выпяченным животом туловище. Подстерегающий взгляд торговца назойливо обнял кузнеца, дрогнул и ушел в землю.

— Никак, вы собрались ехать? — подобострастно, но цепко спросил Ритль.— А я почему-то думал, что вы спите. Вышел я, знаете ли, пройтись, приставал ко мне утром сегодня этот бродяга Крокис, все настаивал, чтобы я сделал скидку, и страшно меня расстроил. Другим он говорил: «Ритль упрям, но я возьму у него брезенты». Каково? Брезенты действительно принадлежат ему. Пойдет дождь, и товар подмокнет. Дернул меня черт положиться на его совесть! Впрочем, вы заняты, а то я хотел ведь попросить у вас совета, Пенкаль. Вы, что же, испробовать новую винтовку? На взморье, говорят, появились лоси. Эх, в молодости и я был охотником!

Пенкаль опустил цепь и, не отвечая, хотел вскочить в лодку. Ритль подошел ближе.

— Какой вы, однако, скрытный,— произнес он,— ну, бог с вами. Честное слово, Пенкаль, если бы вы знали, как все заинтересованы вашим поведением!

Пенкаль усмехнулся. В первую минуту ему захотелось обругать Ритля, но, удержавшись от резких слов, он сообразил выгоду своего положения; можно внешне, страшным и удивительным для других образом исказить правду. Тогда, если и будут говорить о таинственных отлучках Пенкаля, то лишь в одном смысле.

— Ритль,— сухо сказал Пенкаль,— я всегда думал, что вы порядочный человек.

— Я?! — вскрикнул Ритль.— Не знаю, как понять это... но если...

— Вот, слушайте. Чего проще было бы мне сказать вам: Ритль, вы шпионили. Поддавшись бабьим пересудам и толкам бездельников, сующих нос в чужие дела, вы сегодня следили за мной и видели, как я подошел к лодке.

— Никогда в жизни! — пылко вскричал Ритль.

— Шутник вы! Зачем мне и вам все эти брезенты? Подошли бы вы просто и сказали: «Пенкаль! Я чертовски любопытен, это большой недостаток, но что с этим поделаешь? Куда это вы ездите ночью и зачем? Со мной прямо делаются корчи, когда я подумаю, что вы имеете право что-то скрывать и не расскажете никому».

Ритль нерешительно раскрыл рот.

— Ну, что же...— путаясь, начал он.— В сущности... да ведь и не я один... как хотите...

— Да?! — сказал Пенкаль.— Если вы поклянетесь, что ни одна живая душа... поняли? Тогда я расскажу вам все, без утайки. Хотите?

Глаза торговца блеснули и приблизились к кузнецу.

— О! Пенкаль! — заорал он в восторге.— Я всегда стоял за вас горой! Провались я, если вы не лучший человек на свете! Разве я сомневался в вас, хотя бы одну секунду? Нет, право, вы очаровали меня!

— Поклянитесь,— сказал серьезно Пенкаль, вполне уверенный, что через полчаса клятва будет нарушена.

— Клянусь громами и моими доходами! — воскликнул Ритль.— Вы можете быть покойны. Я всегда вас считал особенным человеком, Пенкаль, и ваше доверие... да что там!

— Хорошо,— сказал Пенкаль.— Сядем.

Он сел, Ритль опустился рядом с ним на большой камень. Тени их резко чернели на воде. Пенкаль поглаживал колено правой рукой, как будто любуясь им; это

движение было характерно для него в минуты сосредоточенности.

— Из глупости,— начал Пенкаль.— Из пустяка. Из обрезка крысиного хвоста сочиняются всевозможные истории. Так обстоит дело и со мной. Вот вы выслушаете меня и придете домой в полной уверенности, что совсем нечего было выдумывать о Пенкале легенды и расстраивать его глупую, еще доверчивую жену россказнями о том, что Пенкаль фабрикует в лесу фальшивые монеты или что он завел в городе трех любовниц... Не вы, так ваша жена. Нет? Тем лучше, тогда перейдем к делу.

Здесь нужно было загадочно улыбнуться, и Пенкаль сделал это, смотря прямо в глаза Ритля рассеянным взглядом кошки, усевшейся перед собакой на недосягаемой вершине забора. Торговец выжидательно хихикнул; бледное лицо кузнеца и тишина лунной реки производили на него необъяснимо жуткое впечатление.

— Две недели назад,— продолжал Пенкаль, заботливо разглаживая колено,— я возвращался из города на этой вот лодке, но не рассчитал время и тронулся в путь, когда уже начинало темнеть. Дул сильный противный ветер, да и попал я в сильную полосу течения. Вы знаете, я не охотник выбиваться из сил, когда это не представляет необходимости, поэтому, завернув к Лягушачьему мысу, вытащил лодку на песок, развел огонь и устроил себе ночлег из свежих сосновых веток. Было совсем темно. Вы знаете, Ритль, что если долго смотреть в огонь, а потом сразу отвести глаза, то мрак кажется еще гуще. Представьте же мое удивление, когда, вдоволь насытившись видом раскаленных углей, я повернул голову и почувствовал, что светает. «Не может быть, чтобы наступило утро»,— сказал я себе и вскочил на ноги. Но действительно было совсем светло. Я не могу подобрать название этому свету, Ритль, он был как дневной или яркий лунный, но без теней. Все было освещено им: спящая, молчаливая земля, лес, река, тихие облака вдали,— это было непривычно и странно. Я подошел к воде. Оставим описание того, что чувствовал я в это время; три слова, пожалуй, годятся сюда: страх, радость и удивление. Вода стала прозрачной, как воздух над деревенской изгородью, я видел дно, чистые слои песка, бревна, полузанесенные черноватым илом, куски досок; над ними, медленно шевеля плавниками, стояли рыбы, большие и

маленькие, сеть водорослей зеленела под ними, внизу, совершенно так же, как луговые кустарники под опускающимися к ним птицами.

Я отвернулся, подумав, что умираю и что это последний трепет воображения, потом увидел лес и вздохнул, а может быть, ахнул. Я никогда не видел леса таким прекрасным, как в эту ночь. Проникнутый тем же золотистым, неярким светом, он виден был вглубь на целые мили,— и это весной, в самом буйном цветении; стволы, чешуйки древесной коры, хвойные иглы, листья, цветы, даже маленькие — не больше булавки — самые нежные и тонкие побеги,— все это буквально соперничало друг с другом в необычайной отчетливости.

Пенкаль посмотрел на Ритля. Торговец несколько отодвинулся и сидел теперь на расстоянии четырех шагов.

— Поразительно,— пробормотал Ритль.

— Я лег на спину,— продолжал Пенкаль,— потому что был сражен и напуган. Костер слабо трещал вблизи меня. Я думал о том, кто зажег эту гигантскую лампу без теней, осветив спящую землю так, как мы освещаем комнату среди ночи. Мои соображения были бессильны. В этот момент он подошел ко мне.

— Он? — глухо спросил Ритль, мигая расширенными глазами.

— Да, он и маленькая полуголая женщина. Она крепко жалась к нему. Вид у нее был слегка дикий в этом странном капотике из кленовых листьев, но не лишенный кокетства, впрочем, вряд ли она сознавала, чего ей не хватает в костюме. Я имею некоторые причины подозревать это. Он же был одет и довольно курьезно: представьте себе человека, первый раз надевшего полный городской костюм,— естественно, что он не умеет себя держать. Так было и с ним: тугие воротнички, должно быть, страшно утомляли его, потому что он беспрестанно вертел головой, а также вытаскивал манжеты из рукавов и по временам среди разговора пристально рассматривал свои запонки. Был он совсем маленького роста и показался мне застенчивым добряком. Женщина крепко держала его за руку, прижимаясь к плечу; изредка, когда он говорил что-нибудь, по ее мнению, неподходящее или лишнее, слегка щипала его, отчего он смущенно умолкал и грустно обращался к запонкам.

Я сел, они приблизились и остановились...

— Ого! — сказал Ритль, побледнев и ежась на своем камне.— Как вы могли выдержать?

— Слушайте дальше,— спокойно перебил Пенкаль.

— Вы спали,— сказал он, приседая как-то странно, словно его сунули под гидравлический пресс,— а я не знал. Нас разбудили, мы тоже спали, но вот она испугалась...— Он посмотрел на женщину.— Сегодня утром, видите ли, прошел этот... ну, вот, хлопает по воде, коробочкой, постоянно горит. Да, так она не выносит этого железного крика, хотя многие утверждают, что он поет недурно, и только дым...

— Пароход,— сказал я.

Он прищурился и посмотрел на меня пристально.

— Да, вы так говорите,— согласился он,— все равно. И она дрожит целый день. Я кормил ее, сударь, уверяю вас, она кушала сегодня и расстроилась совсем не потому, что она голодна... но она не может... Как только этот па... или что-то такое, так и история.

Женщина тихонько ущипнула его за ухо, и он сконфузился.

— Знаете! — воскликнул он с жаром, вдоволь повертев свои запонки.— Мы ушли бы отсюда, но... нам совершенно не с кем посоветоваться. Все, как и мы, ничего не знают. Говорят, правда, что вверх по реке есть тихие области, где нет этих... вообще беспокойства,— а я не знаю наверное.

В свою очередь, я пристально посмотрел на него. Глаза его очень переменчивого цвета напоминали лесные озерки в разное время дня; они то тускнели, то разгорались и переливались всеми цветами радуги.

— Там города,— продолжал он, показывая рукой к морю и ежась, как от сильного холода.— Они строятся из железа и камня. Я не люблю этих... ну, как их? До... до...

— Домов,— подсказал я.

— Вот именно.— Он, казалось, чрезвычайно обрадовался, что я так быстро помогаю ему.— Да, домов... но как, вверх по реке, есть эти штуки?

— Семь городов,— сказал я.— И много строится новых.

Он был сильно озадачен и долго сидел задумавшись. Потом засмеялся, тронув меня за плечо, с довольной улыбкой мальчика, поймавшего воробья.

— Вот что,— произнес он,— камень и железо — правда?

— Конечно.

— Ну, так о н и их не достанут. Здесь нет камня и железа до самых гор. О н и останутся в дураках.

Я улыбнулся.

— А эти,— сказал я,— коробочкой?

— Па-рра-ходы? — с усилием произнес он и опечалился.— Вы думаете?

— Без сомнения.

Пока он переваривал этот новый удар, женщина внимательно водила пальцем по коже моего сапога, отдергивая свою нежную руку каждый раз, когда я шевелил ногой.

— Тогда мы уйдем,— полувопросительно сказал он.— Нет никакого расчета оставаться здесь. И все уйдут. Леса опустеют. Я слышал, что не будет лесов и даже травы? Куда-нибудь да уйдем.

Мне стало жалко их, Ритль, этих маленьких лесных душ; но чем я мог им помочь?.. Я горевал вместе с ними. Так сидели мы втроем, молча, среди живой тишины, в кротком, печальном оцепенении.

— Я слышал еще,— виновато сказал он,— что будто дело произойдет так: везде будет железо и камень, и парра-ходы, и ничего больше А потом о н и снова захотят жить с нами в близком соседстве; устанут, говорят, они от этого... элек...

— Электричества.

— Да, да. Ну, так мы пока можем побыть и в изгнании. Как вы думаете насчет этого?

В этот момент я услышал тихий и ровный плач; он напоминал шелест падающих сосновых шишек.

— Ну,— сказал о н,— так усни. Чего же плакать?

Женщина продолжала рыдать на его плече. Из ее маленьких, светлых глаз катились быстрые слезы.

— Я хочу спать,— твердила она,— а надо опять идти... идти...

Он повернулся к ней, и оба растаяли, затрепетали прозрачными силуэтами на освещенном песке, затем исчезли. Я встал, Ритль; было темно, костер шипел мокрыми от росы сучьями.

После этого я встречал их каждую ночь. Они приходили и исчезали, но между жалобами от них можно было

узнать многое о их жизни. Я это делаю — беру лодку и еду. Вчера мы обсуждали, например, скверные черты в характере волка. Вы видите...

Пенкаль повернулся. Камень был пуст; вдали замирали быстрые шаги Ритля.

«Я напугал его,— подумал молодой человек,— теперь он считает меня бесноватым или — что все равно — приятелем самого черта. Но я, кажется, сам позабыл о его присутствии. Это ведь лунный свет...»

Он не договорил и посмотрел вверх, где чистая луна сочиняла ему сказку о его собственной замкнутой и беспредельной душе. Затем, обойдя лужи, Пенкаль сел в лодку, толкнул веслом заскрипевший песок и растворился в прозрачной мгле.

III

— Где же его искать?

— В аду.

— Без шуток, говори, куда держать?

— Держи пока прямо. А потом — на свет.

После мгновенного замешательства, вызванного коротеньким диалогом, весла заработали так быстро, что рулевой качнулся назад. Несколько минут прошло в совершенном молчании, затем тот, кто рекомендовал отправиться в ад, глухо проговорил:

— Темно. Подлей масла в фонарь, Син; он гаснет.

— Я предлагаю вернуться,— заявил Паск.

— Вернись,— ответил с недобрым оттенком в голосе мрачный человек.— По воде ты дойдешь до берега, а там сядешь в лодку.

Остальные захохотали. Смех их показал шутнику, что слова его немного смешны, и он засмеялся после всех сам, совершенно несвоевременно, потому что в этот момент Энди ушиб себе ногу веслом и застонал с кроткой яростью ангела, проворонившего пару приличных душ.

— Луна скрылась,— сказал Паск.— и очень кстати. Кружись до утра, Льюз.

— Нет,— сказал мрачный человек, названный Льюзом,— дело должно быть сделано. Я хочу посмотреть дьявольские игрушки Пенкаля... или запою песенку под названием: «Ритль, береги ребра!», а то...

Он стих и погрозил кулаком зюйд-весту. Четыре силуэта мужчин, обведенные каймой борта в тусклом свете дымного фонаря, плыли над водой, усиленно загребая веслами. Паск спросил:

— Возможны ли такие шутки?

— То есть мы — дураки,— скорбно поправил Льюз.— Не мешало бы воротиться и расспросить Ритля, а? — Льюз дернул рулем.— Я мог бы рассказать вам,— проговорил он,— как один человек... какой — все равно, зашел на кукурузное поле.

Прошло пять минут, пока Син осведомился, чего ради этот несчастный подвергся такой странной участи.

— Он утонул,— задумчиво пояснил Льюз,— и утонул потому, что это было не кукурузное поле, а озеро. Поняли?

Кто-то вздохнул. Энди повернул голову.

— Огонь влево,— сказал он, переставая грести.

Нетерпеливое, отчасти жуткое ожидание достигло крайнего напряжения. Льюз направлял лодку. Слева под лесом, у большой песчаной косы трепетал красный огонь костра. Маленький, одинокий, он тихо манил парней; может быть, там сидел Пенкаль.

Без команды, словно по уговору, Син, Энди и Паск бережно загребли веслами, словно не вынимая их из воды, отчего лодка бесшумно, как окрыленная, скользнула к земле и остановилась, толкнувшись о подводные кряжи.

— Ну, выходи,— смущенно проговорил Льюз.

Все двинулись кучкой, молча, подавленные тишиной и предчувствием разочарования. Пенкаль сидел на корточках у огня; в котелке, повешенном над угольями, что-то шипело и булькало; смеющиеся глаза вопросительно остановились на Льюзе.

— Вот погреемся! — неестественно сказал Син, избегая глядеть на кузнеца.

Льюз мрачно улыбнулся, присев боком к огню; Паск остановился в отдалении; Энди для чего-то снял шапку и подбросил ее вверх.

— Так вы прогуливаетесь,— сухо сказал Пенкаль.

— Мы? — спросил Энди.— Да... мы... ехали и... увидели этот огонь... но... Льюз потерял спички... и вот... понимаете... курить захотелось... Верно я говорю, Льюз? Ну... мы и того... Здравствуйте!

Котелок покачнулся. Серая пена заструилась в огонь, чадя и всхлюпывая на угольях. Пенкаль бросился снимать варево, поддел котелок палкой и бережно поставил на землю.

— Это суп,— сказал он.— Хотите?

Четыре человека недоверчиво переглянулись и протянули Пенкалю руки.

— Прощайте! — сказал Энди.— Мы должны ехать: нам нужно... Льюз, закури трубку.

Льюз сделал это, подпалив усы, так как дрожали руки, и затем все удалились, переговариваясь вполголоса о таинственных, недоступных для глаз их, лесных жителях.

Когда их фигуры, раскачиваясь, ушли во мрак,— из-за туч выглянула луна и затопила тревожным блеском далекую линию противоположного берега.

ЗАГАДКА ПРЕДВИДЕННОЙ СМЕРТИ

I

Чудовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергайля; он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним, как ощущение и мысль,— в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка — толщину шеи.

Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, мучительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощуще-

ние взрыва мозга, паралич отделенных от головы, но чувствуемых еще некоторое время конечностей,— и забвение — подобного, созданного силой воображения, точного знания казни Эбергайль достиг не сразу. Постепенно, ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергайль нащупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых, подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. Итак, он получал сначала бессвязные, противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но, упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно: шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя — в каждом из этих воображаемых состояний — мысленному удару топора, и делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинало, как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно, правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшем им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти.

Накануне казни, встав рано, Эбергайль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками, сзади, из-под затылка, со всей болью представления об этом, и, поборов, таким образом, физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиленный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятому, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара,— Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но, если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, исчезала отчетливая подробность и ясность ужаса,— Эбергайль падал духом. Страх, тяжкий, как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожи-

данность ужаса, что было для него нестерпимо; он хотел знать.

Под вечер Эбергайля посетил ученый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщовом колпаке и таком же халате; незабываемое,— хотя, по внешности, обыкновенное,— лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз — завтра утром, и то,— в случае ясной погоды.

«Его мозг в огне»,— подумал Коломб.

Эбергайль действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Коломбе и вспыхнули: он увидел еще одну шею, в которую без труда сунул топор.

— Во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы,— кротко сказал Коломб,— это, может быть, развлечет вас.

— Развлечет,— сказал Эбергайль.

— Как вы совершили преступление?

— Два выстрела.

— Нет,— пояснил Коломб,— мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью?

— Да. Я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены и увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: «а-га!», и он попятится, затем упадет сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избегнуть новых выстрелов, но, падая, умрет через пять секунд. Все произошло именно так; некоторое актерство в его падении я заметил потому, что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая; и знал, что делает.

— О чем думали вы эти дни?

— О шее и топоре.

— А сегодня? — записывая, сказал Коломб.— Сегодня вы думали, мой друг, конечно, о количестве времени, остающемся вам, не так ли?

— Нет. О топоре и шее.

— А сейчас?

— О топоре и шее.

— Можете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора?

— Нет,— злорадно сказал Эбергайль,— я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора.

II

На рассвете спавший Эбергайль вскочил, дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. Его разбудил долгий звон ключа. Он тотчас, пока еще не открылась дверь, выхватил из окрашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь: точное переживание удара по шее — и замер, окаменев. Вошел начальник тюрьмы, без солдат, и тотчас же притворил дверь.

— Успокойтесь,— сказал он.— Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но, жалея вас, пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Эбергайль.

— Я или Эбергайль? — спросил тот, хитро прищуриваясь.

— Вы, Эбергайль.

— Я, Эбергайль. Очень хорошо. Дайте пить.

Он поднес кружку к губам и расхохотался в воду, так что расплескал все.

— Церемония экзекуции,— сказал начальник тюрьмы,— будет выполнена вся, но топор не опустится.

— Не?!.— спросил Эбергайль.

— Нет.

— Опустится или не опустится?

— Не опустится.

Он хотел прибавить еще несколько слов о необходимости предсмертной «игры», но Эбергайль вдруг упал на колени и поцеловал его сапог, и поцелуй этот был тяжел от счастья, как удар молотом.

Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными — от крови губ Эбергайля, губ, не пожалевших себя.

Эбергайль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полон мгновением, хотел думать о нем, но не мог, потому что внезапная слепота мысли — результат потрясения — сделала его счастливым животным. Бешеный восторг, подобно разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергайль тонул в нем. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе,— до огней в доме и сумеречных звезд неба. И мысль вернулась к нему.

— Да! Ах! — сказал Эбергайль.— Славная, милая каторга! Я буду на каторге, буду жить! Как хорошо работать до изнурения! Хорошо также волочить ядро, чувствовать себя, свою ногу, живую! Замечательное ядро. Рай, а не каторга!

Снова загремел ключ, и Эбергайль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он, как мог, потрясенным, но покорным судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой, азартной толпы к месту казни. Эбергайль слышал, как кричали: «Убийца!» и радостно повторял: «Убийца». Он ласково подмигнул кричавшим ругательства и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора.

III

Взойдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергайль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжелой игры. Плаха в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядела совсем не безобидно, и это, хотя не смутило Эбергайля, но поразило его совпадением с его собственным, точным представлением о ней,— в вопросе о шее и топоре. Возле плахи, на небольшой скамье, в раскрытом красном футляре блестел топор, и Эбергайль сразу узнал его. Это был тот самый то-

пор полумесяцем, с круглой дубовой ручкой, который вчера утром невидимо рассек ему шею.

Эбергайль невольно снова соединил в уме три вещи: поверхность плахи, свою шею и острие, входящее в дерево сквозь шею; он убедился благодаря этому, что точное знание сложного в своем ужасе истязания осталось при нем. Тотчас же, с присущей ему живостью и неописуемой силой воображения создал он новое знание — знание отсутствия удара, и стал слушать чтение приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке.

Лицо палача, заурядное своей грубостью, ничем не выделившей бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергайля; в лице этом, благодаря власти безнаказанно, при огромном стечении народа, днем, отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования.

За пустым пространством вкруг эшафота смотрела на Эбергайля тихо дышащая толпа.

Палач подошел к Эбергайлю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал:

— Господин Эбергайль, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз, сами же станьте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный, плоский удар.

Эбергайль стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу, под его глазами, был шероховатый, свежий настил с небольшой щелью меж досок. Он слышал запах дерева и зелени.

Голос сзади сказал:

— Палач, совершайте казнь.

Не видя, Эбергайль знал уже, что в следующее мгновение топор поднят. Он ждал, когда ему прикажут встать. Но все молчали, и он продолжал стоять в своей неудобной позе минуту, другую, третью, ясно чувствуя течение времени. Молчание и неподвижность вокруг продолжались.

«Тогда ударит,— мертвея, подумал Эбергайль.— Меня обманули».

Страшная тоска остановила его хлопающее по ребрам сердце, и точное знание удара неудержимо озарило его. Он судорожно глотнул воздух, чувствуя, как, после про-

бежавшего по всему телу огненного вихря, шея его стремительно вытянулась и голова свесилась до помоста; затем умер.

Человек в перчатках, приподняв топор, услышал:

— Остановитесь, палач. Казнь отменяется.

Палач опустил топор к ногам. Через мгновение после этого голова Эбергайля, продолжавшего неподвижно стоять у плахи, отделилась от туловища и громко стукнула о помост под хлынувшей на нее из обрубка шеи, фыркающей, как насос, кровью.

* * *

— Палач ударил,— сказал Консейль.

Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял фельетониста за пуговицу жилета.

— Палач не ударил.— Он поднял руку вверх, изображая движение топора.— Топор остановился в воздухе вот так, и, после известных слов прокурора, описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду.

— В таком случае...

— Голова упала сама.

— Оставьте мою пуговицу,— сердито сказал Консейль.— Теперь, действительно, будут спорить, сама или не сама упала голова Эбергайля. Но если вы оторвете пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно.

— Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Эбергайля...

— Да, но вы академик.

— Оставим это,— сказал Коломб.— Очевидность часто говорит то, что хотят от нее слышать. Эбергайль — великий стигматик.

— Прекрасно! — проговорил, выходя из кофейни, через некоторое время, Консейль.— Я осрамлю вас завтра, Коломб, в газете, как восхитительного ученого! А, впрочем,— прибавил он,— не все ли равно — сама упала голова или ее отсекли? И что хуже — рубить или заставить человека самому себе оторвать голову? Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придется хорошо подумать об этом.

ИСТОРИЯ ТАУРЕНА

(Из похождений Пик-Мика)

I

ЗАПАДНЯ

Я был схвачен, посажен неизвестными мне людьми в карету и увезен. Некоторое время — спазмы, удушья и сильнейшее сердцебиение, явившиеся результатом внезапного испуга,— заставили меня думать, что наступил последний момент. Я ждал смерти. Волнение прошло, и я отдышался, но не мог произнести ни одного слова. Мой рот был натуго затянут платком, а руки скручены сзади тонким, но крепким ремнем. Со мной, в карете, сидело двое. Они смотрели по сторонам, как жандармы, не любящие встречаться взглядом с глазами пленника. Один — справа — был рослый черноволосый парень, с неуловимо фатальным обликом черт, присущим людям, готовым на все. Сосредоточенно-мстительное выражение его лица было почти болезненным. Второй, уступая первому в росте и сложении, обладал прелестными голубыми глазами, напоминающими глаза женщины.

Он был безусловно красив, и по контрасту с изящным лицом это же самое фатально-роковое в его лице производило отталкивающее впечатление. Из того, что мне не завязали глаз, я понял, как мало боятся меня эти два человека, решившие, очевидно, заранее, что мне в другой раз увидеть их не придется. Иначе говоря, их намерения относительно меня были вне спора. Меня хотели убить.

Я знал, и знал очень хорошо, что в фактах жизни моей и даже в помыслах нет никакого повода для насилия над моей личностью. Чтобы окончательно убедить себя в этом, я проследил мысленно свою жизнь от пеленок до похищения. Она была безгрешна и незначительна. Следовательно, похищение явилось результатом какой-то непонятной, но несомненной ошибки.

Не зная все-таки, что произойдет дальше, я переживал сильный страх. Мы выехали на окраину городка и свернули к морю, где в узкой полосе прибрежного тумана обрисовывались хмурые, без окон, постройки; вероятно — склады или сараи. Колеса скрипели по мокрому

от утреннего дождя песку, и, наконец, карета остановилась против старых деревянных ворот. Меня высадили, втолкнули в калитку и провели через заваленный ржавыми якорями двор в небольшой, кирпичный подвал.

Теперь, когда мне, по-видимому, предстояло уже нечто определенное — смерть, плен или свобода,— я приободрился и рассмотрел с большим вниманием окружающее. За грязным столом деревянным сидело пять молодцов, приблизительно в тридцатилетнем возрасте, в обычных городских, сильно потертых костюмах. Лица их я припоминал потом, в данный же момент мне бросилось в глаза то, что все они смотрели на меня с чувством удовлетворения и нетерпения. На столе горела свеча, слабо озаряя призрачным рыжим светом полутемные углы подвала, полного сора, сломанных лопат и пустых ящиков, а дневной свет, скатываясь со двора по ступенькам, едва достигал стола. Вероятно, это было случайным местом для заседания, смысл и цель которого пока были темны.

Я стоял, поматывая головой с завязанным ртом, с видом лошади, одолеваемой мухами. Мне развязали руки. В тот же миг я сорвал затекшими пальцами туго стягивавший лицо платок и перевел дух. Нервно дергающийся, с крикливым лицом, человек, сидевший на председательском месте, т. е. в центре, сказал:

— От того, насколько вы будете чистосердечны и откровенны, зависит ваша жизнь.

II

ДОПРОС

Раньше чем кто-либо успел вставить еще слово — я разразился протестами. Я указывал на недопустимость — со всех точек зрения — подобного бесцеремонного, ужасающего обращения с каким бы то ни было человеком. Я упомянул, что мой адрес известен и во всякую минуту можно придти ко мне со всеми делами, даже такими, которые требуют похищения. Я объяснял, что служу в почтамте и неповинен в сообщничестве с подонками общества. Я сказал даже, что буду жаловаться прокурору. В заключение, дав понять этим людям всю

силу потрясения, перенесенного мной, я развел руками и, горестно усмехаясь, сел на пустой ящик.

Человек с криклизым лицом сказал пронзительным, как у молодого петуха, голосом:

— Дело идет о вашей жизни. Не думаю, чтобы вы выпутались. Все же откровенность может помочь вам, если окажется, что этого вы заслуживаете.

— Бандит! — взревел я, сжимая руки.— Что случилось?! Каким планам вашим я помешал?!

Другой товарищ его, вялый, как чахоточная улитка, задумчиво погрыз ногти, уперся руками в стол и, кашляя, начал:

— Знали вы Таурена Байю?

Я знал Байю. Неопределенное предчувствие света, готового, наконец, разрушить этот кошмар, заставило меня тряхнуть памятью. Но я не мог ничего припомнить.

— Байя? — переспросил я.— Знаю. Три месяца бутылочного знакомства.

— Может быть... может быть... Дайте нам объяснение.

— Охотно.

Вялый человек пристально осмотрел меня, вытащил из кармана клочок бумаги и протянул мне. Надев очки, я прочел семь слов, выведенных ужасным почерком, как попало. Местами перо прорвало бумагу. На ней было написано: «Телячья головка тортю. Пик-Мик знает все».

Я мог бы засмеяться теперь же, но удержался. То, что мне показалось смешным теперь, относилось именно к телячьей головке, связи же ее с моим похищением я еще не видел. Я ждал.

— Вы уличены,— сказал председатель.— Смотрите, как он побледнел! Предатель!

— Расскажите вы,— спокойно возразил я.— Расскажите все, имеющее касательства к этой дрянной бумажке. Я вижу, что ослеп. Я недогадлив. Дайте мне нить.

Председатель, усмехаясь над предполагаемым притворством моим, сказал мне, что они анархисты, что член их сообщества, Таурен Байя, уличенный в сношениях с полицией и успевший уже выдать шесть человек, убит третьего дня товарищами. На вопрос о причинах гнусного своего поведения, он ответил кривой улыбкой. В него выпустили две пули. Байя упал, вскричав: — «Бумагу!» Умирающий, еле водя рукой, с усмешкой на

влажном от предсмертного пота лице, успел написать многозначительную фразу, которую прочел я.

Председатель не кончил еще повествования, как я, не в силах будучи одолеть безумный смех, закрыл руками лицо и стоял так, трясясь и плача от хохота. В зловещем, темном тумане этого дела истина показала мне бесстрастное свое лицо, глубокое и спокойное, как вода озера, баюкающего трупы и водяные лилии; но озеро ни сквернее, ни чище, и так же смотрят в него небо и человек.

III

ПОКАЗАНИЕ

То, что я сообщил анархистам, было принято ими, вероятно, за шутку, так как, окончив рассказ, я увидел направленные на себя дула револьверов; но не будем предупреждать событий.

— Видите ли,— сказал я,— месяца три назад я познакомился с господином Байей в кабачке «Нелюдимов», где так хорошо дремлется после обеда у солнечного окна среди мух. Большинство знакомств завязывается случайно; наше не составляло исключения. Байя пришел со своим хлебом и сыром. Взяв полбутылки вина, он принялся насыщаться с завидным аппетитом молодости. Я смотрел на него в упор, заинтересованный его жизнерадостным, краснощеким лицом; он обернулся, а я раскланялся.

В тот день со мной не было друзей, обычных спутников моих по местам таинственным и приятным, и я, как общительный человек, хотел подцепить парня. Я понравился Байе своим видом скромного учителя, своим тихим голосом и оригинальными замечаниями. Горячо обсуждая общественные и политические вопросы, мы, взяв еще бутылку вина, немного охмелели, и тут, хлопнув меня по плечу, Байя сказал:

— Проклятые буржуа!

— Вот именно,— подтвердил я,— они все мерзавцы.

— Я анархист,— сказал он, бросая в рот крошки сыра,— а вы?

— Пикмист.

— Крайний?

— Немного.

Тут он потребовал объяснений. Я сказал ему несколько темных фраз, пересыпав их цитатами из Анакреона и Джона Стюарта Милля. Сделав вид, что понял, он посмотрел в пустой стакан и вздохнул.

Я был голоден; вкусный пар кушаний, заказанных мною, взвился над столом.

— Господин Байя,— сказал я,— позвольте вас угостить.

Его лицо выразило высокомерие и презрение.

— Я ел,— сказал он, отворачиваясь от соблазна.— Герои Спарты ели кровяную похлебку. Роскошь развращает тело и дух.

— Все-таки,— возразил я,— вы, может быть, шутите. Это довольно вкусно.

— Нет, я скромен в привычках. Класс населения, к которому принадлежу я, питается хлебом, сыром и вареным картофелем. Я был бы изменником.

Положив ложку и вытерев губы, я сосредоточенно, с оттенком сурового сарказма в голосе и настоящим одушевлением развил Байе миросозерцание опыта и греха, доказывая, что человеку ничто человеческое не чуждо. Самые отчаянные софизмы я так принарядил и украсил, что Байя улыбнулся не раз. Чудеса в нашей власти Байя съел телячью головку тортю. Блюдо это требует в целях насыщения, некоторой настойчивости. Мы взяли еще по порции.

— Хорошая,— сказал Байя,— я раньше не пробовал.

Вечерело. Около третьей бутылки я задремал, а когда очнулся, Байя исчез. Бросая ретроспективный взгляд в туманную глубину истории, мы видим международные осложнения, родителями коих были глупые короли и не менее глупые королевы, считавшие нужным громить соседа каждый раз, как только сосед по рассеянности в письме напишет «...и прочая...» — два, а не три раза. Примером ничтожных причин и больших последствий явился Байя. Четыре раза встретил я его в ресторане «Подходи веселее», и каждый раз требовал он тельячью головку. Это стало его коронным кушаньем, раем, манией. В пятый раз он сообщил мне, лениво требуя Шамбертэна, что хочет повеселиться. Я ободрил его, как только умел. Пятая наша встреча ознаменовалась коротеньким диалогом (за неимением тельячей головки по-

следовал соус из раковых шеек и Клоде-Вужо). Байя сказал: «Маленький ручеек впадает в маленькую реку, маленькая река — в большую реку, а большая река — в море. Я думаю, что впаду в море». «Аллегория!» — заметил я, подмигнув Байе. «Это много говорит моему сердцу,— сказал он,— выпьем стаканчик». В шестой раз он влез на фонарный столб закурить сигару и крикнул: «Смерть буржую!» Я утешил его. Через неделю мы столкнулись у граций, и Байя, обливаясь слезами, сказал, что продал ящик револьверов. Затем он впал в мрачно-игривое настроение разрушителя. «Быть может, через неделю мне снесут голову,— сказал Байя,— немножко солнца, вина и женщин хочется всякому молодому человеку. За мной следят». И больше я не видал его.

Таков был рассказ мой судьям, слушавшим напряженно и гневно. «Ясно,— заключил я,— что для такой жизни, какую повел несчастный Таурен Байя, нужны были деньги. Он взял их у ваших врагов. Отсюда предательство. Мрачный юмор записки ясен: простреленный сразу двумя пулями, он не мог уже ни на что больше надеяться и отомстил вам мистификацией. Горьким смехом над собой самим полны эти строки, выведенные предсмертной дрожью руки. Я сказал правду».

— Буржуа! Вы умрете! — вскричал молчавший до того анархист.— Не может видевший нас в лицо выйти живым отсюда.

Пять револьверов окружили меня. С неистовством, мыслимым лишь в грозной опасности, я отпрыгнул назад, толкнул к судьям растерявшегося своего конвоира и вылетел по ступенькам вверх. Выстрелы и свист пуль показались мне страшным сном. Я был уже у ворот, в двадцати шагах расстояния от преследователей. Снова раздались выстрелы, но как трудно попасть в бегущего! Я мчался берегом, у самой воды, к далекой деревне.

Я был теперь вне опасности. Некоторое время за мною еще гнались, но мне ли, взявшему приз в беге на олимпийских играх, бояться любителей? Моей скорости могли бы позавидовать автомобиль и верблюд. Через минуту я пошел шагом, переводя дыхание и оборачиваясь; на светлом песке неправильным треугольником, замедляя шаг, трусили мои враги.

Еще немного — и они остановились, повернули, ушли. Я не сердит — я жив,— а если бы умер, мне тоже не было бы времени рассердиться. Грустно опустив голову, я шел скорым шагом к деревне, проголодавшийся, мечтая о молоке, свежей рыбе и размышляя о Таурене. От телятины погибла идея.

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

(Рукопись XVIII столетия)

I

НЕМНОЖКО ИСТОРИИ

Все знают великого полководца Ганса Пихгольца. Я узнал о нем лишь на одиннадцатом году. Его подвиги вскружили мне голову. Ганс Пихгольц воевал тридцать лет со всеми государствами от Апеннин до страшного, каторжного Урала и всех победил. И за это ему поставили на площади Трубадуров памятник из настоящего каррарского мрамора с небольшими прожилками. Великий, не превзойденный никем Ганс сидит верхом на коне, держа в одной руке меч, в другой — копье, а за спиной у него висит мушкетон. Мальборук — мальчишка перед Гансом Пихгольцем.

Таково было общее мнение. Таково было и мое мнение, когда я, двенадцати лет от роду, выстругал деревянный меч и отправился на городской выгон покорять дерзкий чертополох. Ослы страшно ревели, так как это их любимое кушанье. Я выкосил чертополох от каменоломни до старого крепостного вала и очень устал.

На тринадцатом году меня, Валентина Муттеркинда, отдали в цех поваров. Я делал сосиски и шнабельклепс и колбасу с горошком, и все это было очень вкусно, но скучно. Я делал также соус из лимонов с капорцами и соус из растертых налимьих печенок. Наконец, я изобрел свой собственный соус «Муттеркинд», и все очень гордились в цехе, называя меня будущим Гуттенбергом, а фатер дал гульден и старую трубку.

А Ганс Пихгольц, стоя на площади, посмеивался и величался.

Я ненавидел его, завидовал ему, и он не давал мне спать. Я хотел сам быть таким же великим полководцем, но к этому не было никакого уважительного повода. Фатерланд дремал под колпаком домашнего очага, пуская вместо военных кличей клубы табачного дыма. Все надежды свои я возлагал на римского папу, но папа в то время был вялый и неспособный и под подушкой держал Лютера. Тайно я написал ему донос о ереси на юге Ломбардии, угрожая пасторами, с целью вызвать религиозную драку, но тихий папа к тому времени помер, а новый оказался самым скверным католиком и, смею думать, был очень испуган, прочтя письмо, так как ничего не ответил.

Содрогаясь о славе, я в один прекрасный день швырнул в угол нож, которым резал гусей, и отправился к начальнику стражи. Проходя мимо полицейской патрульной Ганса Пихгольца, я, подняв высоко голову, сказал:

— Тридцать лет, говоришь, воевал? Я буду воевать сто тридцать лет и три года.

II

ЛЮБОВЬ

Меня приняли, дали мне лошадь, латы, каску, набедренники, палаш и ботфорты. Мы дежурили от шести до двенадцати, объезжая город и наказывая мошенников. Когда я ехал, звенело все: набедренники, латы, палаш и каска, а шпоры жужжали, как майский жук. У меня огрубел голос, выросли усы, и я очень гордился своей службой, думая, что теперь не отличить меня от Пихгольца: он на коне — и я на коне; он в ботфортах — и я в ботфортах. Проезжая мимо Пихгольца, я лениво крутил усы.

Природа позвала меня к своему делу, и я влюбился. Поэтическая дочь трактирщика жила за городскими воротами, ее звали Амалия, ей было семнадцать лет. Воздушная фигурка ее была вполне женственна, а я рядом с ней казался могучим дубом. У нее были очень строгие, нравственные родители, поэтому мы воровали свои невинные поцелуи в ближайших рощах. Разврат к тому времени достиг в городе неслыханных пределов, но Амалия ни разу еще не села на колени ни к кому из

гостей своего трактира, хотя ее усердно щипали: бургомистр, герр Франц-фон-Кухен, герр Карл-фон-Шванциг, Эзельсон и наши солдаты. Это была малютка, весьма чистоплотная и невинная.

В воскресенье я назначил свидание дорогой Амалии около Цукервальда, большой рощи. Было десять часов, все спали, и ни один огонь не светился на улицах города Тусенбурга.

Отличаясь всегда красивой посадкой, я представлял чудную картину при свете полной луны, сияющей над городской ратушей. Черные в белом свете тени толпились на мостовой, когда я подъехал к воротам и приказал отпереть их именем городской стражи. Но лунный свет, как и пиво, действовали на меня отменно хорошо и полезно, и я был пьян во всех смыслах; от пива, луны и любви, так как выпил на пивопое изрядно. Подбоченясь, проехал я в Роттердамские ворота и пустился по пустынной дороге.

Приближаясь к назначенному месту свидания, я ощутил сильное сердцебиение; лев любви сидел в моем сердце и царапал его когтями от нетерпения. У разветвления дороги я задержал лошадь и крикнул: «Амалия!» Роща безмолвствовала. Я повернул коня по ветру и снова крикнул: «Амалия, ягодка!» Эхо подхватило мои слова и грустно умолкло. Я подождал ровно столько, сколько нужно, для того чтобы шалунья, если она здесь, кончила свои шутки, и нежно воззвал: «Амалия!»

В ответ мне захохотал филин глухим, как в трубку пущенным, хохотом и полетел, шарахаясь среди ветвей, к темным трущобам. До сих пор уверен я, что это был дьявол, враг бога и человека.

Я натянул удила, конь заржал, поднялся на дыбы и, фыркая от тяжелой моей руки, осел на задние ноги.— «Нет, ты не обманула, Амалия, чистая голубка,— прошептал я в порыве грустного умиления,— но родители подкараулили тебя у дверей и молча схватили за руки. Ты вернулась, обливаясь слезами,— продолжал я,— но мы завтра увидимся».

Успокоив, таким образом, взволнованную свою кровь и отстранив требования природы, я, Валентин Муттеркинд, собирался уже вернуться в казарму, как вдруг слабый, еле заметный свет в глубине рощи приковал мое внимание к необъяснимости своего появления.

III

БЕСЕДА

Знаменитый полководец Пихгольц сказал однажды, в пылу битвы: «Терпение, терпение и терпение». Ненавидя его, но соглашаясь с гениальным умом, я слез, обмотал копыта лошади мягкой травой и двинулся, ведя ее в поводу, на озаренный уголок мрака. Насколько от меня зависело,— сучья и кустарники не трещали. Так я продвинулся вперед сажен на пятьдесят, пока не был остановлен поистине курьезнейшим зрелищем. Аккуратный в силу рождения, я расскажу по порядку.

Прямо на земле, в шагах десяти от меня, горели, зажженные на все свечи, два серебряных канделябра, очень хорошей, тонкой и художественной работы. Перед ними, куря огромную трубку, сидел старик в шляпе с пером, желтом камзоле и сапогах из красной кожи. Сзади его и по сторонам лежало множество различных вещей; тут были рапиры с золотыми насечками, мандолины, арфы, кубки, серебряные кувшины, ковры, скатанные в трубку, атласные и бархатные подушки, большие, неизвестно набитые чем узлы и множество дорогих костюмов, сваленных в кучу. Старик имел вид почтенный и грустный; он тяжело вздыхал, осматривался по сторонам и кашлял.— «Черт побери запоздавшую телегу,— хрипло пробормотал он,— этот балбес испортит мне больше крови, чем ее есть в этих старых жилах»,— и он хлопнул себя по шее.

Пылая жаром нестерпимого любопытства, я вскочил на захрапевшую лошадь и, подскакав к старику, вскричал: «Почтенный отец, что заставляет ваши седины ночевать под открытым небом?» Человек этот, однако, на мой добродушный вопрос принял меня, вероятно, за вора или разбойника, так как неожиданно схватил пистолет, позеленел и согнулся. «Не бойтесь,— горько рассмеявшись, сказал я,— я призван богом и начальством защищать мирных людей». Он, прищурившись, долго смотрел на меня и опустил пистолет. Мое открытое, честное и мужественное лицо рассеяло его опасения.

— Да это Муттеркинд, сын Муттеркинда? — вскричал он, поднимая один канделябр для лучшего рассмотрения.

— Откуда вы меня знаете? — спросил я, удивленный, но и польщенный.

— Все знают,— загадочно произнес старик.— Не спрашивай, молодой человек, о том, что тебе самому хорошо известно. Величие души трудно спрятать, все знают о твоих великих мечтах и грандиозных замыслах.

Я покраснел и, хотя продолжал удивляться проницательности этого человека, однако втайне был с ним согласен.

— Вот,— сказал он, показывая на разбросанные кругом вещи, и зарыдал. Не зная, чем помочь его горю, я смирно сидел в седле. Скоро перестав плакать, и даже быстрее, чем это возможно при судорожных рыданиях, старик продолжал: — Вот что произошло со мной, Адольфом-фон-Готлибмухеном. Я жил в загородном доме Карлуши Клейнферминфеля, что в полуверсте отсюда. Клейнферминфель и я поспорили о Гансе Пихгольце. «Великий полководец Пихгольц»,— сказал Карлуша и ударил кулаком по столу.— «Дряннейшенький полководишка»,— скромно возразил я, но не ударил кулаком по столу, а тихо смеялся, и смех мой дошел до сердца Клейнферминфеля.— «Как,— вне себя вскричал он,— вы смеете?! Пихгольц о ч е н ь великий полководец»,— и он снова ударил кулаком по столу так, что я рассердился. — «Наидрянне-дрянне-дрянне-дрянне-дряннейшенький полководчичишка»,— закричал я и ударил кулаком по Клейнферминфелю. Мы покатились на пол. Тогда я встал, выплюнул два зуба и пошел в город, где остался до ночи, чтобы насолить Клейнферминфелю. Ты давно из города, юноша?

— Едва ли будет полтора часа,— поспешно ответил я, желая выслушать конец дела, поведение в коем Готлибмухена было весьма справедливо.

— Я час тому назад,— сказал Готлибмухен, смотря на меня во все глаза,— сорвал голову Пихгольцу.

— Так, так-так-так-так-так-так-так!

— Да. На площади никого не было. Я взлез на каменного коня, сел верхом сзади Ганса Пихгольца и отбил ему голову тремя ударами молотка и бросил эту жалкую добычу в мусорный ящик.

Не удержавшись, я радостно захохотал, представляя себе зазнавшегося Ганса без головы...

— Голубчик,— сказал я.— Голубчик!..

— А?
— Он ведь, Ганс...
— Угу.
— Не совсем...
— А?
— Не совсем... великий... и...
— Он просто ничтожество,— сказал Готлибмухен.— Так ведь и есть. Стой,— думал я,— запоешь ты, Клейнферминфель, когда узнаешь, что Гансу отбили голову. Я вернулся и увидел, что вещи мои выброшены во двор; этот негодяй, почитатель Ганса Пихгольца...
— Как! — вскричал я, хватаясь за эфес.— Он смел...
— Ты видишь. Я взял телегу и, навалив, как попало, все свое имущество, приехал сюда, под кров неба, делить горькую участь бродяг. Но ты не беспокойся, храбрый и добрый юноша,— прибавил он, заметив, что я очень взволнован,— я переночую на этих подушках, завернувшись в ковры, а перед сном почитаю библию. Добрый крестьянин приедет за мной утром и отвезет меня в город.
— Нет,— возразил я,— я отправлюсь за телегой и перевезу вас сейчас.
— Хорошо,— сказал он, подумав,— но с условием, что ты возьмешь от меня пять золотых монет.
Он вынул их так охотно, что я не стал спорить, хотя и очень удивился его щедрости. Отныне Пихгольц бессилен был давить меня своей славой — у него не было головы. Я рвался в город, чтобы взглянуть, гордо поднять свою голову.
— Жду тебя, сын мой,— кротко сказал старик и прибавил: — седины старости и кудри юности — надежда отечества.
Стиснув в порыве гордости зубы, я взвился соколом и понесся галопом в город.

IV

ВЕНЕЦ НЕСЧАСТЬЯ

Я объехал четыре раза статую Ганса Пихгольца. Голова у него тут как тут. Возможно, что это лишь призрак несуществующей головы. Я слез с коня, влез на Пихгольца, облизал и обнюхал голову. Твердая, каменная голова. Ничего нельзя возразить. Я вспотел. Мне

показалось, что Ганс повернул голову и захохотал каменным смехом. Если я поеду уличать во лжи Готлибмухена, он скажет, что я дурак, а я, вот именно, не дурак. Я решил оставить его в лесу с его канделябрами и коврами. Испуганный, усталый и злой, не удовлетворив к тому же требований природы, я вернулся в казармы и лег спать. Всю ночь скакал надо мной Ганс Пихгольц, держа в руках оскалившую зубы голову.

Утром позвал нас начальник стражи и громко топал ногами и велел скорее собираться в загородный дом Клейнферминфеля и сказал, что его ограбили. Он прибавил еще, что в Клейнферминфеле глубоко сидят четыре пули и что, если их вытащить, ничего от этого не изменится.

Я был женой Лота (Готлибмухен! Молчу!). Вечером, когда я пошел удовлетворять требования природы и сговориться насчет свидания, я увидел небесную голубку Амалию на коленях у герр фон-Кухена, и она обнимала его и герр фон-Шванцига, а Шванциг щипал ее.

— Ах-х!

МЕРТВЫЕ ЗА ЖИВЫХ

I

БЕГСТВО

Комон, иначе именуемый — Гимнаст,— начал игру с правительством. Почтенная игра эта угрожала так плотно, что утром, заслышав на коридоре ласковый перезвон шпор, Комон, не медля секунды, перестал завтракать. Он встал, выпрямился, все еще с набитым, жующим по инерции ртом; затем, решительно выплюнув непрожеванный сыр, поднял револьвер и подошел к двери.

— Откройте,— многозначительно воскликнул некто из коридора.

— Сколько вас? — спросил Комон.— Я спрашиваю потому, что, если вас очень много, вы не поместитесь все в одной комнате.

— Комон, именуемый Гимнаст. Откройте.

— Я потерял ключ.

— Ломайте, ребята, дверь.

— Я посмотрю на вас в дырочку,— сказал Гимнаст.

Он выстрелил несколько раз сквозь доски, соображая в то же время, куда бежать. Шум и грохот за дверью показал ему, что там шарахнулись. Он подбежал к окну, заглянул в шестиэтажное, узкое пространство улицы, перегнувшись в сторону таким могучим усилием, что тело несколько мгновений держалось за подоконник только носками, поймал водосточную трубу. Через минуту он спрыгнул на мостовую без шапки и с револьвером в зубах, напоминая кошку, уносящую воробья.

Осмотревшись, Гимнаст побежал с быстротой ящерицы. Вид бегущего человека не сразу разбудил инстинкты погони в уличной толпе, сновавшей вокруг. Прохожие остановились; некоторые из них, с видом лунатика, медленно пошли за бегущим, вопросительно смотря друг на друга, затем, вдруг сорвавшись, как будто им дали сзади пинка, бессмысленно помчались, крича: «Держи его, лови. Не пускай».

Комон был ловок и неутомим в беге. Согнувшись, чем уменьшал сопротивление воздуха, бросался он с одной стороны улицы на другую, вился вокруг карет, столбов, омнибусов, газетных киосков, распластывался, когда чувствовал на себе хватающую руку, и преследователь летел через него кувырком. Если бы ему пришлось бежать в пустом месте, Комон давно бы опередил всех, но как немыслимо пловцу опередить воду, так Гимнаст не мог оставить за собой город; за каждым углом, в каждом переулке и повороте, срывались за ним, хрипло крича, новые охотники; уличные собаки, бессознательно копируя людей, хватали Комона за пятки с грозным и воинственным лаем.

Четыре раза, спасаясь от поимки, Гимнаст оборачивался, швырял пули, и каждый раз происходило некоторое смертельное замешательство. Наконец, выбежав на площадь, Комон увидел, что к нему мчатся со всех сторон, и улизнуть трудно. Тогда, повинуясь инстинкту, матери всех человеческих дел, беглец ринулся в Исторический музей, опрокинув швейцара, взвился по роскошной лестнице в третий этаж и остановился, соображая, что делать; он употребил на это секунду.

II

НЕПОЧТЕНИЕ К ПРАОТЦАМ

Музей только что открыл свои двери, и публики еще было немного. Комон бросился, не обращая внимания на изумленных посетителей, через множество зал, в самую длинную, кривую и сумеречную, напоминающую лес от множества загромождавших ее витрин, подставок, щитов с оружием, целого войска мумий и ширм, похожих на театральные кулисы; по ширмам этим, живописно блестя на темном бархате, висели кольчуги, латы, шлемы, набедренники, топоры, луки, стрелы, арбалеты, мечи, палаши, кинжалы и сабли. Древние золотые венцы греческих героев покоились на столбах; лес копий, знамен и бунчуков таился в углах. Каждая вещь здесь взывала к бою, вооружению, сопротивлению, ударам и натиску.

Первое, что сделал Комон,— это баррикаду у захлопнутой за собой двери. Он навалил на нее трех оглушительно зазвеневших стальных рыцарей времен Меровингов, на рыцарей бросил полдюжины фараонов Верхнего Нила, вместе с их раскрашенными ящиками; поверх всего опрокинул, сломав, несколько витрин с монетами, которые раскатились по полу совершенно так, как раскатывались, если их просыпали при Гамилькаре Барке. На это Комон употребил две минуты.

С тою же быстротой, следствием большой нервности и физической силы, Гимнаст, отбросив пустой револьвер, одел тяжелую мягкую кольчугу, шлем, опустил забрало и немного замешкался; при виде исключительного разнообразия оружия глаза его разбежались. С арбалетами он не умел обращаться, луки были без тетивы, кинжалы и сабли не внушали почтения. Комон был во власти своих кольчуги и шлема, он как бы припоминал в себе далекое прошлое человечества. Ему хотелось дорого и недурно продать жизнь. Гимнаст выбрал меч, огромный, сверкающий и тяжелый, каким, вероятно, не раз крошила железная саксонская рука звонких латников. Меч был внушителен. Гимнаст взмахнул им над головой, затем, для пробы, обрушил страшный удар на одну из мумий; дерево, треснув, распалось, и запеленутый фараон кубарем вылетел из него, распространяя за-

пах старомодных духов, которыми был пропитан весьма старательно.

Догадливость не изменила Комону при виде столь древнего явления; проворно затолкав фараона в угол, Гимнаст, с мечом в руках, втиснулся в египетскую могилу, прикрыв себя другой половиной ящика. Дверь, тем временем, поддаваясь усилиям солдат и сторожей, глухо звенела латами валявшихся на полу рыцарей. Комон стоял в душной ароматической тьме ящика и прислушивался. Скоро ворвалась, судя по шуму, целая толпа людей, с криками разбежались они по длинным проходам зала, и Гимнаст слышал их, полные бешенства, возгласы:

— Все сломано.

— Ай, и деньги тут, на полу.

Кто-то шепнул, задыхаясь:

— Я возьму парочку, а?

Другой шепот:

— Тащи, чего зевать. Тсс...

— Негодяй. Сумасшедший. Стреляй его.

— Где он? Р-р-р-р...

— Лови. Дави. Хватай.

— О-о. Э-э. А-а.

Неосторожное движение Гимпаста выдало его. Он случайно толкнул колепом крышку, она упала прежде, чем он успел придержать ее, и в общем смятении глазам врагов предстал воин средневековья, с занесенным мечом. Он двинул им на первого солдата (незащищенного, разумеется, кольчугой) и отрубил ему, наискось, от плеча к бедру, верхнюю часть организма.

III

КОМОН, т. е. БАЯРД

Злополучная участь испорченного солдата на мгновение ужаснула остальных, а затем грянули выстрелы. Револьверные пули, однако, не пробили хорошо сработанную кольчугу; тем не менее удары их были сквозь сетку весьма сильны и болезненны. Гимнаст бросился на врагов. Он рубил без жалости и пощады, навстречу ему подымались хрупкие клинки сабель, но что могли они сделать против двадцатипятифунтовой стали в сильных

руках. Комон, воистину, уподобился Баярду. Две головы отсек он, упавших на раздробленное стекло витрин, и стекло стало красным. Один поплатился рукой, а несколько — даже рукой вместе с плечом; у этих быстро закатились глаза. И скоро стало пусто вокруг Комона, но сам он, раненный пулей в мякоть ноги, видел, что не продержится перед новым натиском.

— Бежали робкие грузины,— вскричал Гимнаст и бросился к выходу, расчищая себе путь своим Дюрандалем. Любопытные, столпившиеся у подъезда, разбежались при виде страшного, со слепым железным лицом, человека — так быстро, что потом сами удивлялись своей подвижности.

Комон схватил первого попавшегося извозчика, бледного от ужаса, столкнул его, швырнул меч в голову толстому лавочнику и так крикнул на лошадь, что она помчалась, как беговая И Комон благополучно удрал. Это бывает. Простое вдохновение часто выручает человека лучше всяких расчетов.

Ничего не может быть действительнее описанного мною происшествия.

ПУТЬ

I

Замечательно, что при всей своей откровенности Эли Стар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии; это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен; может быть, он думал, что ему не поверят.

Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер, не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел (нет — он с силой плюхнулся в кресло), и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами.

— Кестер,— сказал он наконец,— думаете ли вы, что Эли порядочный человек?

Я встал, снова сел и вытаращил на него глаза.

— Вы выпили немного, Генникер,— сказал я.— Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите.

— Вчера,— сказал он таким голосом, как будто читал по книге завещание одного из персонажей романа,— вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он просидел с нами, как истукан, почти не разговаривая, до вечера.

После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Эли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада.

— Ну, что? — немного встревоженный спросил я.— Вы поссорились?

— Нет,— сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи,— но между нами все кончено. Я не буду его женой.

Пораженный, я встал; первой моей мыслью было отыскать Эли. Синтия угадала мое движение.— Он ушел,— сказала она,— ушел так поспешно, что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать.— Она рассмеялась злым смехом; действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?

Я засыпал ее вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Эли ушел, отказался от своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер.

Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик хлыста бешено извивался на полу. Для меня это было еще большей неожиданностью.

— Может быть, он скажет тебе в чем дело,— продолжал Генникер.— До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом.

Я взял шляпу и трость.

— Посиди здесь, Генникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его последний раз? Раньше вчерашнего?

— В прошлое воскресенье, за городом. Он шел от парка к молочной ферме.

— Да,— подхватил я,— постой, вы встретились.

— Да.

— Ты поклонился?

— Да.

— И у него был такой вид, как будто он не замечает твоего существования.

— Да,— сказал изумленный Генникер.— Но тебя ведь с ним не было?

— Это не трудно угадать, милый; в то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу; но он смотрел сквозь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я ухожу, Генникер, к нему; я умею расспрашивать.

II

В серой полутьме комнаты я рассмотрел Эли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки.

— Это ты, Кестер? — спросил Стар.— Прости, здесь темно. Нажми кнопку.

В электрическом свете тонкое юношеское лицо Эли показалось мне детски-суровым — он смотрел на меня в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе.

— Эли! — громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение.— Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось?

— Ничего,— процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться.— Я попрошу прощения и напишу Синтии письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодяй. Тогда меня оставят в покое.

— Конечно,— сказал я мирным тоном,— ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже. Элион Стар, я тебя спрашиваю — отбросим шутки в сторону,— почему ты обидел эту прекрасную девушку?

Эли беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопил его; мы молчали.

— Расскажешь,— подозрительно сказал он, испытующе взглянув на меня.— Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер,— конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе в чем дело, то погублю все. Вы — то есть ты и Генникер — отправите меня с доктором и будете уверять Синтию, что все обстоит прекрасно.

— Эли, я даю слово.

Не знаю почему,— эти мои вялые, неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок его душе.

Он как будто повеселел. «В самом деле»,— говорили его глаза. Но он все еще колебался; казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Эли высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне:

«Две недели назад утром я проснулся в тоскливом настроении духа и тела. К этому обычному для меня в последнее время состоянию примешивалось непонятное, тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого, торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда; я был в четырех стенах.

Я вышел на улицу, погруженный в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразил маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением (потому что это центральная часть города) рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, п р о ш е л с к в о з ь х о л м, да, он погрузился в него по пояс и удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман.

Я оглянулся, Кестер; город принимал странный вид: дома, улицы, вывески, трубы — все было как бы сделано из кисеи, в прозрачности которой лежали странные

пейзажи, мешаясь своими очертаниями с угловатостью городских линий; совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город. Случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения, когда все окружающее двоится в глазах? Это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях, с той разницей, что для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга — два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами.

Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожившего меня до полного паралича мысли; пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленный, я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины — дикие кусты, ручей, пересекавший улицу.

С наступлением вечера двойственность стала тускнеть; еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город.

На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться; тот же странный, великолепный пейзаж сверкал сквозь очертания города; я мог изучать его, не поднимаясь с постели. Широкая, туманная от голубой пыли, дорога вилась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде, полной лиловых теней. Неизвестные, полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге; то был настоящий живой поток; скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор; смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении, с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо, перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение.

Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии — все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца.

Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть, Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин — ясны, как весенний поток.

Снова с наступлением темноты я перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь, по комнатам. Куда идут эти люди? — спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу изо дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами Я пойду с ними. Я твердо решил это, я завидую глубокой уверенности их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, немыслимые для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления с т е п н о й д о р о г и».

Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент, я действительно верил тогда, что Эли видит что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качества одной хорошей лечебницы.

Я ушел, оставив Эли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, расспросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Генникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Эли пришлось поместить газетную публикацию:

«Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин, с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос; вышел из дома с небольшим ручным саквояжем в 11 ч. утра. Указавшему ме-

стопребывание Стара будет выдано хорошее вознаграждение».

В солидной, купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне:

— Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Элиона Стар? Он был ваш друг.

— Да, помню,— сказал я.

— Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание.

Я встал.

— Да... бедняга,— продолжал хозяин,— он умер в отрепьях, с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын.

— Он лежал совершенно спокойно,— сказал отцу Эли врач,— казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно — улыбка. Мертвый, он улыбался.

Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. «Он улыбался». Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?

РАССКАЗ БИРКА

Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.

— Неужели,— сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки,— не-у-же-ли вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я ког-

да-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?

Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.

— Нет,— возразил он, принимая прежнее положение,— я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.

— Но и не с того света? — вскричал журналист.— Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и соврите что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.

Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:

— Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактическими, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я — человек, абсолютно лишенный так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рассказ убедителен лишь при наличности мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: «Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок», не только убеж-

дает нас в действительности убийства, но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности.

Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы ввернуть следующее замечание:

— Только не страшное!

— Страшное? — спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком.— Нет, э т о не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей,— самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.

Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным, таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.

— Еще в молодости,— заговорил Бирк,— я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я» и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.

Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые

промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.

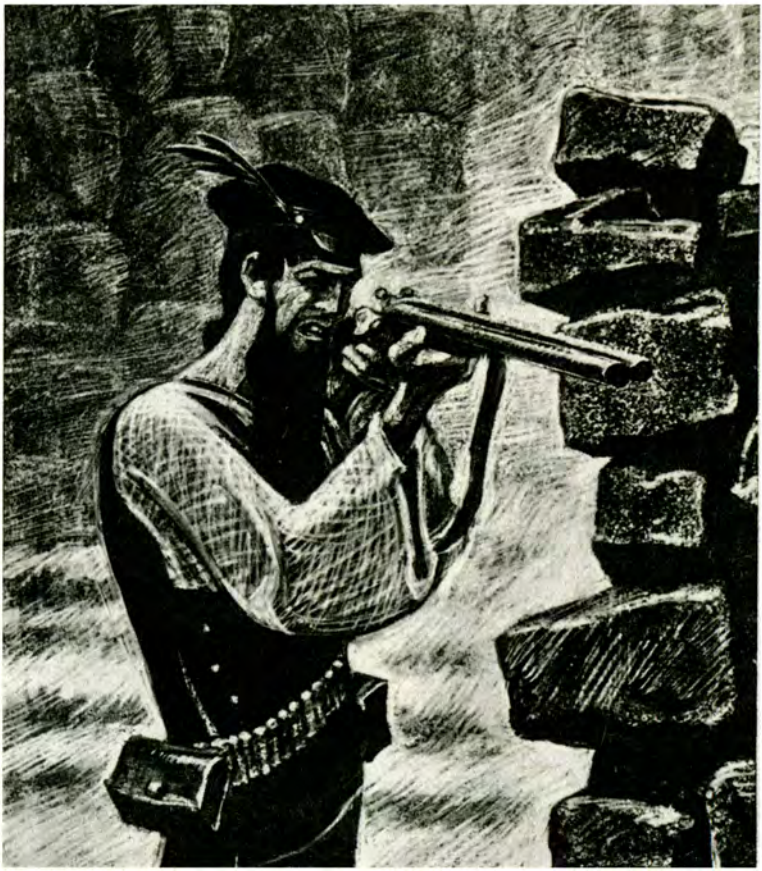
Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупа. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел,— я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка — причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личико в кровавую массу.

Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.

Повторяю: я все это в и д е л и с л ы ш а л, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни ф о р м ы людей, колеблющиеся, размахивающие руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.

Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни

«ЗУРБАГАНСКИЙ СТРЕЛОК»



«ЗУРБАГАНСКИЙ СТРЕЛОК»

как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясные представления о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвивается над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не неимоверная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общежитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.

Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с ф о р м ы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.

От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные,

однотонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:

Кривая линия. Прямая линия. Впечатление т е н и, доставляемое городом. Впечатление с в е т а, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеблющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.

Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.

Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произиес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок: мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взведя курок, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое

последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.

К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь. Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.

Странно — но этот эпизод развлек меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду — человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.

Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием, молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их

беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание,— птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной.

Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.

Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к Новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой, скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебегали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.

Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.

Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набо-

ром слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой, маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.

Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте — будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплывись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.

Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению — видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родственника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающими в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием — таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать беззвучно,

я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.

Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.

Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.

Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:

— Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.

— Пожалуйста, сударь,— ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом.— Боюсь, не отсырели ли спички.

— Спички? — сказал я, поворачиваясь в их сторону,— спички есть у меня. Берите.

И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:

— Вы очень вежливы!

— Да, по мере возможности! — Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся.— Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.

— Вы чрезвычайно вежливы,— настойчиво повторил маленький.

— Да, это странно,— отозвался глухим басом другой.— Какая нынче прекрасная погода!

— Погода так хороша,— подхватил я,— что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?

Он, не сморгнув, ответил:

— Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.

— Другими словами,— сказал я, потеряв терпение,— я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.

Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную.

— Вас двое,— сказал я,— против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун — человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.

И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.

Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.

С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если соображение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения — я б ы л у ж е в о р о м, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.

Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.

И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей — и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их — я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бесцельно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой,— рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом,— все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.

Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.

— Если конец должен быть, дверь откроется.

Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.

Новый прилив возбуждения схлынул — я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.

Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть конец? Я

представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня — вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо,— обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда напрашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) к о н ц а не будет.

И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер — клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что н и ч е г о н е т. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение — к отступлению, простое бессознательное движение мысли — к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела — почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я — з н а л, ч т о б у д е т.

Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.

Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнующее до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.

Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погрузившись в себя, замер от ожидания.

Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.

Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.

Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание... Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему — дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуловимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, щупая дверь.

Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясущимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так — не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма,— я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.

Это была моя комната; все, начиная с мебели и кончая безделушками на камине,— было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои,

письменные принадлежности — все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.

Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был — я.

Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих переглянуться. Он продолжал:

— Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:

— Вы осмотрели всю комнату?

— Да.

— В ней никого не было?

— Совершенно.

— Вы осмотрели кровать?

— Да.

— Кто лежал на этой кровати?

— Она была пуста.

— Теперь,— сказал я,— будьте добры, взгляните на наружную дверь.

С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:

— Здесь были воры! Дверь сломана!

И он выпустил град ругательств.

Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.

— Потом вы вернулись к себе?

— Нет,— протянул он, полузакрывая глаза,— я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.

— А потом? — спросил журналист с тонкой улыбкой.— Потом с вами ничего не было?

— Ничего,— задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:

— Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и... и...

— И горя,— сказала женщина, просившая о нестрашном.

P. S. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент г о р я. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: «Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей,— самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках». В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.

ПРОИСШЕСТВИЕ В КВАРТИРЕ Г-ЖИ СЕРИЗ

«Мало на свете мудрецов, друг Горацио».

Шекспир наизнанку.

I

Калиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были

еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда: Ньютоново яблоко, Лавуазье и т. п., но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевременно убедились в них[1]. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калиостро. бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего отечества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смешении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: «помер, где-нибудь; тайно, стыдливо помер; помер, как пить дать». И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин — Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым знанием: постижением начала вселенной — занятие, малопонятное игроку на биллиарде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрейцеров,— он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи; она, забушевав, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех измерений.

---

[1] Принцесса Ламбаль, подруга Марии-Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная Цветочница — прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленные острия пик санкюлотов по приказанию Теруан-де-Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году.

II

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефиротами, элементалами Белой магии,— Калиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт Добра, направленный против Самоэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям.

— Мадим, Цедек, Шелом-Иезодот,— тихо сказал он,— ко мне! Моя мысль — моя воля!

Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов; контуры эти колебались, светились — напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание—и пол скрипнул под их ногами.

Цедек был сефирот прямоты, Мадим — страшной силы, Шелом-Иезодот — разрушителем оснований, то бишь принципов.

— Цедек, разбей воздух на запад,— сказал Калиостро,— Мадим, уничтожь пространство, а ты, Шелом-Иезодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей!

Вновь вспыхнул свет; фантомы исчезли; беззвучный ураган молнией пролетел от Армуна к Бельгии; пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя и что должно было послужить взяткой сефиротам за единение с Разумом событий, именуемым Ацилут.

III

В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сериз. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый, правильный лоб, мягкий профиль, темнорусые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый, и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез — тяжесть ресниц.

Госпожа Сериз занималась вот каким делом: она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу; в этом романе Альберт Вуаси тоже ушел на войну и у него тоже была жена. Разумеется, г-жа Сериз сделала эту жену собой, а господина Вуаси — господином Сериз. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее: если Вуаси благополучно вернется, то и Сериз благополучно вернется, а если Вуаси неблагополучно вернется, то и Сериз последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, г-жа Сериз тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную кем-то на переплете: «Дико и некультурно вырывать страницы; на это способен только немец; стыдитесь, неизвестный вырыванец!»

Увы! последние страницы были вырваны! А г-жа Сериз и не подозревала этого! Гадание, таким образом, кончалось на следующих словах: «Шатаясь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по...». Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Г-жа Сериз топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он, к какому такому «по...». Если это — пороховой погреб — от Вуаси мало чего осталось. Если — по...лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если — по...гибели, то... каждый понимает, что это значит и не следовало писать такой глупый роман.

Видя огорчение госпожи Сериз, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому

взводу сефиротов. То были: Бина, сефирот Разумного действия, Хесед, сефирот Сострадания и Нэтцах — Стойкость победы. С крыльев их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов.

— Я думаю,— сказал Калиостро,— я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль — мое приказание!

Тотчас же сефироты проникнись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнулся: ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед г-жой Сериз, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться — на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она не увидела.

— Здравствуйте, г-жа Сериз! — сказал Вуаси-Бина, оправляя гусарский ментик,— «...следнему неприятельскому солдату».

— Г-н Вуаси! — строго заявила г-жа Сериз.— Вы исчезли с триста пятнадцатой страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное «по...».

— Так,— сказал Вуаси-Бина.— Я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен.

— Так ли, г-н Вуаси?

— Да, это так. Поверьте, мне лучше знать: ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие.

— Значит, вы благополучно вернулись?

— Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу,— в известных целях.

Г-жа Сериз покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так выразительно, что Бина-Вуаси счел долгом помочь ей.

— Г-н Сериз, конечно, здоров,— сказал он.— Он вернется.

— Вы думаете?

— Я знаю это. Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков.

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

«МАЛЕНЬКИЙ ЗАГОВОР»

Г-жа Сериз, в виде благодарности, заинтересовалась положением самого Вуаси.

— Так вы, значит, женились на мадемуазель Шеврез?

— Как полагается.

— По любви?

— Да.

— И были ей хорошим мужем?

— Сударыня,— возразил Вуаси-Бина,— автор в противном бы случае не сел бы писать роман.

Г-жа Сериз растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота: материя, коей был облечен он, распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление.

— Что это? — сказала она, вздрагивая.— Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я? Ах, тоска, тоска! Был здесь г-н Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив.

Она томилась, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить г-жу Сериз, это во-первых, и внушить ей Радостную уверенность — во-вторых. Сефирот оживил фотографию г-на Сериз, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд г-жи Сериз упал на этот портрет — с ним произошли поразительные, странные вещи: левая рука ловко закрутила черный, молодой ус; один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно не безобразным образом, и г-жа Сериз окаменела от удивления А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что г-жа Сериз, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хесед; тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины и Радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказало ей; она бессильна была решить — было то, что было, или же было то, чего не было? Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.

IV

Третий сефирот, Нэтцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал своею крепкой, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовив-

шихся пробить г-на Сериз. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе; отдых Нэтцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак,— тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел; или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов.

Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. «Есть ли душа у немца?» — размышлял сефирот. Оставим его решать этот вопрос: мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается.

Калиостро посмотрел в зеркало Свенденборга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул наверх, к высокому потолку, где в сумерках снегового вечера тихо плавали чудесные лилии Ацилута — Мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был Разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт Разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это.

Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран; гордые, голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро, а на великолепных рогах белел снег.

— Ступай, дикий, ступай,— сказал Калиостро,— немного вниз и немного налево! Там есть еще довольно травы.

Баран исчез, и был ему по его бараньему положению — травяной кусок хлеба.

Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун, в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все, описанное здесь,— истинно, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхеридиона, читаемую по воскресеньям:

«Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне, по благости твоей, мир и здоровье и яви свою милость мне, слабому твоему созданию!»

ЭПИЗОД ПРИ ВЗЯТИИ ФОРТА «ЦИКЛОП»

I

— Завтра приступ! — сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом — капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся.— Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник!

Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему.

— Жму вашу руку, Егер,— вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс.

— По-моему — рано; осада еще не выдержана,— ровно повышая голос, заявил Гельвий.

— Значит, я буду завтра убит,— сказал Геслер и встал.

— Почему — завтра? — спросил Егер.— Не верьте предчувствиям. Сядьте! Я тоже поставлю несколько золотых. Я думаю, господа, что перед опасностью каждый хоронит себя мысленно.

— Нет, убьют,— повторил Геслер.— Я ведь не жалуюсь, я просто знаю это.

— Пустяки! — Егер взял брошенные карты, стасовал колоду и стал сдавать, говоря: — Мне кажется, что даже и это, то есть смерть или жизнь на войне, в воле человека. Стоит лишь сильно захотеть, например, жить — и вас ничто не коснется. И наоборот.

— Я фаталист, я воин,— возразил Крисс,— мне философия не нужна.

— Однако сделаем опыт, опыт в области случайностей,— сказал Егер.— Я, например, о ч е н ь х о ч у проиграть сегодня все деньги, а завтра быть убитым. Уверяю вас, что будет по-моему.

— Это, пожалуй, легче, чем наоборот,— заметил Гельвий, и все засмеялись.

— Кто знает... но довольно шутить! За игру, братцы!

В молчании продолжалась игра. Егер убил все ставки.

— Еще раз! — насупившись, сказал он.

Золото появилось на столе в двойном, против прежнего, количестве, и снова Егер убил все ставки.

— Ах! — вскричал, горячась, Крисс.— Все это идет по вольной оценке.— Он бросил на стол портсигар и часы.— Попробуйте.

Богатый Гельвий утроил ставку, а Геслер учетверил ее. Егер, странно улыбаясь, открыл очки. Ему повезло и на этот раз.

— Теперь проиграться трудно,— с недоумением сказал он.— Но я не ожидал этого. Вы знаете, завтра не легкий день, мне нужно отдохнуть. Я проверял посты и устал. Спокойной ночи!

Он молча собрал деньги и вышел.

— Егер нервен, как никогда,— сказал Гельвий.

— Почему?

— Почему, Крисс? На войне много причин для этого.— Геслер задумался.— Сыграем еще?!

— Есть.

И карты, мягко вылетая из рук Геслера, покрыли стол.

II

Егер не пошел в палатку, а, покачав головой и тихонько улыбаясь мраку, перешел линию оцепления. Часовой окликнул его тем строгим, беспощадным голосом военных людей, от которого веет смертью и приказанием. Егер, сказав пароль, удалился к опушке леса. Пред выросшими из мрака, непоколебимыми, как литые из железа, деревьями, ему захотелось обернуться, и он, с тоской в душе, посмотрел назад, на черно-темные облака, тучи, под которыми лежал форт «Циклоп». Егер ждал последней, ужасной радости с той стороны, где громоздились стены и зеленые валы неприятеля. Он вспомнил о неожиданном выигрыше, совершенно ненужном, словно издевающемся над непоколебимым решением капитана. Егер, вынув горсть золота, бросил его в кусты, та же участь постигла все остальные деньги, часы и портсигар Крисса. Сделав это, капитан постоял еще несколько времени, прислушиваясь к тьме, как будто ожидал услышать тихий ропот монет, привыкших греться в карманах. Молчание спящей земли вызвало слезы на глаза Егера, он не стыдился и не вытирал их, и они, свободно, не видимые никем, текли по его лицу. Егер думал о завтрашнем приступе и своей добровольной смерти. Если бы он

мог — он с наслаждением подтолкнул бы солнце к востоку, нетерпеливо хотелось ему покончить все счеты с жизнью. Еще вчера обдумывал он, тоскуя в бессоннице, не пристрелить ли себя, но не сделал этого из гордости. Его положение в эти дни, после письма, было для него более ужасным, чем смерть. Егер, хоть было совсем темно, вынул из кармана письмо и поцеловал смятую бумагу, короткое, глупое письмо женщины, делающей решительный шаг.

«Прощай навсегда, Эльза»,— повторил он единственную строку этого письма. Мучительным, волнующим обаянием запрещенной отныне любви повеяло на него от письма, гневно и нежно скомканного горячей рукой. Он не знал за собой никакой вины, но знал женщин. Место его, без сомнения, занял в сердце Эльзы покладистый, услужливый и опытный Магуи, относительно которого он недаром всегда был настороже. Самолюбие мешало ему просить объяснений. Он слишком уважал себя и ее. Есть люди, не способные ждать и надеяться; Егер был из числа их; он не хотел жить.

Медленно вернулся он к себе в палатку, бросился на постель и ясно, в темноте, увидел как бы остановившуюся в воздухе пулю, ту самую, которую призывал всем сердцем. Неясный свет, напоминающий фосфорическое свечение, окружал ее. Это была обыкновенная, коническая пуля штуцеров Консидье,— вооружение неприятеля. Ее матовая оболочка была чуть-чуть сорвана в одном месте, ближе к концу, и Егер отчетливо, как печатную букву, различал темный свинец; пятно это, величиной в перечное зерно, убедительно, одноглазо смотрело на капитана. Прошла минута, галлюцинация потускнела и исчезла, и Егер уснул.

III

Белый туман еще струился над землей, а солнце пряталось в далеких холмах, когда полк, построенный в штурмовые колонны, под крик безумных рожков и гром барабанов, бросился к форту. «Циклоп», построенный ромбом, блестел веселыми, беглыми иллюминационными огоньками; то были выстрелы врассыпную, от них круто прыгали вперед белые, пухлые дымки, хлеща воздух сотнями бичей, а из амбразур, шушукая, вслед за тяжелы-

ми ударами пушек, неслись гранаты. Егер бежал впереди, плечо к плечу с солдатами и каждая у с л ы ш а н н а я пуля наполняла его холодным сопротивлением и упрямством. Он знал, что той пули, которая пригрезилась ночью, услышать нельзя, потому что она не пролетит мимо. Солдат, опередивший его на несколько шагов, вдруг остановился, покачал головой и упал. Егер, продолжая бежать, осмотрелся: везде, как бы спотыкаясь о невидимое препятствие, падали, роняя оружье, люди, а другие, перескакивая через них, продолжали свой головокружительный бег.

«Скоро ли моя очередь?» — с недоумением подумал Егер, и тотчас, вспахав землю, граната разорвалась перед ним, плюнув кругом землей, осколками и гнилым дымом. Горячий, воздушный толчок остановил Егера на одно мгновение.

— Есть! — радостно вскричал он, но, встряхнувшись, здоровый и злой, побежал дальше.

Поле, по которому бежали роты генерала Фильбанка, дробно пылилось, как пылится, под крупным дождем, сухая грунтовая дорога. Это ударялись пули.

«Как много их,— рассеянно думал Егер, подбегая к линии укреплений.— Дай мне одну, господи!» — Нетерпеливо полез он первый по скату земляного вала, откуда, прямо в лицо, брызгал пороховой дым. За капитаном, скользя коленями по гладкому дерну, ползли солдаты. На гребне вала Егер остановился; его толкали, сбивали с ног, и уже началась тесная, как в субботней бане, медленная, смертельная возня. Гипноз битвы овладел Егером. Как в бреду, видел он красные мундиры своих и голубые — неприятеля: одни из них, согнувшись, словно под непосильной тяжестью, закрывали простреленное лицо руками, другие, расталкивая локтями раненых, лезли вперед, нанося удары и падая от них сами; третьи, в оцепенении, не могли двинуться с места и стояли, как Егер, опустив руки. Острие штыка протянулось к Егеру, он молча посмотрел на него, и лицо стало у него таким же измученным и счастливым, как вчера вечером, когда он пришел к товарищам сообщить о приступе. Но о штык звякнул другой штык; первый штык скрылся, а под ноги Егеру сунулся затылком голубой мундир.

Капитан встрепенулся. «Нет, госпожа Смерть! — ска-

зал он.— Вы не уйдете». Он бросился дальше, ко рву и стенам форта, где уже раскачивались, отталкиваемые сверху, штурмовые лестницы. Его торопили, ругали, и он торопил всех, ругался и лез, срываясь, по узким перекладинам лестниц. Он бросался в самые отчаянные места, но его не трогали. Многие падали рядом с ним; иногда, отчаявшись в том, чего искал и на что надеялся, он вырывался вперед, совсем теряясь для своих в голубой толпе, но скоро опять становилось кругом свободно, и снова бой завивал свой хриплый клубок впереди, оттесняя Егера. Наконец, улыбнувшись, он махнул рукой и перестал заботиться о себе.

IV

Дней через шесть после взятия форта в палатку Егера зашел генерал Фильбанк. Капитан сидел за столом и писал обычный дневной рапорт.

— Позвольте мне лично передать вам письмо,— сказал Фильбанк,— после того, что вы показали при штурме «Циклопа», мне приятно лишний раз увидеться с вами.

— Благодарю, генерал,— возразил Егер,— но я был не более, как...— Взгляд его упал на почерк адреса, он, молча, сам взял письмо из рук генерала и, не спрашивая обычного позволения, разорвал конверт. Руки его тряслись. Медленно развернув листок, Егер прочел письмо, вздохнул и рассмеялся.

— Ну, я вижу...— холодно сказал Фильбанк,— ваши мысли заняты. Ухожу.

Егер продолжал смеяться. От смеха на глазах его выступили слезы.

— Извините, генерал...— проговорил он,— я не в своем уме.

Они стояли друг против друга. Генерал, натянуто улыбаясь, пожал плечами, как бы желая сказать: «Я знаю, знаю, как частный человек, я сам»...— сделал рукой извиняющий жест и вышел.

— О глупая! — сказал Егер, прикладывая письмо к щеке.— О глупая! — повторил он так мягко, как только мог произнести это его голос, охрипший от команд и дождей. Он снова перечитал письмо. «Дорогой, прости Эльзу. Я поверила клевете на тебя, мне ложно до-

казали, что я у тебя не одна. Но я больше не буду».

— Ах вы, глупые женщины! — сказал Егер.— Стоит вам соврать, а вы уже и поверили. Я счастливый человек. За что мне столько счастья?

Затуманенными глазами смотрел он прямо перед собой, забыв обо всем. И вот, тихо задрожав, на полотнище палатки остановилось, как солнечный зайчик, неяркое, конусообразное пятно. Центр его, заметно сгущаясь, напоминал пулю. Конец оболочки, сорванный в одном месте, обнажил темный свинец.

Егер закрыл глаза, а когда открыл их, пятно исчезло. Он вспомнил о безумном поведении своем в памятное утро взятия форта и вздрогнул. «Нет, теперь я не хочу этого, нет».— Он перебрал все лучшие, радостные мгновения жизни и не мог найти в них ничего прекраснее, восхитительнее, божественнее, чем то письмо, которое держал теперь в руках.

Он сел, положил голову на руки и долго, не менее часа, сидел так, полный одним чувством. Когда заиграл рожок, он не сразу понял, в чем дело, но, поняв, внутренно потускнел и, повинуясь привычке, выбежал к построившейся уже в боевой порядок роте. Наступал неприятель.

Стрелки рассыпались, выдвигаясь цепью навстречу неприятельскому арьергарду, откуда, словно приближающийся ливень, летела, рассыпаясь, пыльная линия ударяющих все ближе и ближе пуль. Егер, следуя за стрелками, ощутил не страх, а зудливое, подозрительное беспокойство, но тотчас, как только глухие щелчки, пыля, стали раздаваться вокруг него, беспокойство исчезло. Его сменила теплая, благородная уверенность. Сильным, спокойным голосом отдал он команду ложиться, улыбнулся и упал с пробитой головой, не понимая, отчего земля вдруг поднялась к нему, бросившись на грудь.

— Удивительно крепкие пули,— сказал доктор в походном лазарете своему коллеге, рассматривая извлеченную из головы Егера пулю.— Она даже не сплюснулась. Чуть-чуть сорвало оболочку.

— Это не всегда бывает,— возразил второй, умывая темные, как в перчатках, руки,— и пуля Консидье может, попав в ребро костяка, разбиться.

Он стал рассматривать крошечный, весом не более пяти золотников, ружейный снаряд. У конца его была слегка сорвана оболочка и из-под нее темнел голый свинец.

— Да, гуманная пуля,— сказал он — Как по-вашему, дела капитана?

— Очень плохо. На единицу.

— С минусом. Геслер был крепче, но и тот не выжил.

— Да,— возразил первый,— но этот счастливее. Он без сознания, а тот умер, не переставая кричать от боли.

— Так,— сказал второй,— счастье условно.

ЗНАМЕНИТАЯ КНИГА

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАЧЕТ

— Не может быть...

— Вы шутите...

— Это арабские сказки.

— Однако это так... Повторяю... мне тридцать пять лет, и я до сих пор не знаю женщины.

Человек, взбудораживший наше мужское общество таким смелым, исключительно редким заявлением, стоял прислонившись к камину и сдержанно улыбался. Голубые, холодные глаза его смотрели без всякого смущения и, казалось, ощупывали каждое недоверчиво и любопытно смеющееся лицо.

Однако солидные манеры этого человека, интеллигентная внешность и спокойная уверенность голоса произвели впечатление, выразившееся в том, что возгласы утихли и в физиономиях отразилось напряженное, тоскливое ожидание целого ряда анекдотов и пикантных повестушек, приличествующих случаю.

После короткой паузы доктор Клушкин, человек очень нервный, очень веселый и очень несчастный в личной жизни, выпрямил скептически поджатые губы, потянул носом и пристально посмотрел на девственника. Тот вежливо улыбнулся и коротко повел широкими плечами, как бы сознавая свою обязанность дать в данном случае надлежащие объяснения.

— Я с большим удовольствием слушал ваш разговор,— сказал этот господин, представленный нам хозяином под фамилией Громова,— и теперь действительно жалею, что молодость моя прошла... сухо. Собственно говоря, к чему бы делать мне такое признание. Но бывают минуты, когда случайные стечения обстоятельств, слу-

чайный разговор, анекдот зажигают желания и дразнят тело, наполняя его бессознательным тяготением к этой стороне человеческой жизни, жгучей, таинственной и...

— Да, но позвольте,— сухо перебил доктор, нервно ерзая на стуле и вскидывая пенсне повыше.— Вы говорите, что вы... ну, одним словом... вполне.

— Совершенно.

— И — никогда?

— Всецело.

— Ни-ни..?

— Могу вас уверить в этом.

Доктор вдруг побагровел, прыснул и хихикнул так громко, что сконфузился сам. Снисходительно улыбнулись остальные.

Дело происходило в курительной комнате богатого инженера, после хорошего обеда и основательной выпивки. Дамы перешли в гостиную, а мы, люди тугого кошелька и веселого расположения духа, удалились сюда, отчасти для пищеварения, отчасти для того, чтобы выкурить по сигаре и поболтать, пока не приготовят столы для карт. Надо сказать, что заявление Громова пришлось как нельзя кстати. Запас нескромных анекдотов уже иссякал и теперь явилась большая надежда воскресить угасавшее оживление...

— Скажите... э-э...— спросил доктор, отделавшись от душившего его смеха: — вы развиты нормально?

— Да.

— Влюблялись?

— Конечно.

— И...

— Как видите.

Сказав это, Громов отряхнул пепел сигары на каминную решетку и полузакрыл глаза. Доктор встал, шумно отодвинул стул, подошел к Громову и, взяв его двумя пальцами за пуговицу сюртука, сказал печальным подвыпившим голосом:

— Вредно-с. Вы расстраиваете себя, свой организм, губите умственные способности... Да-с...

— Ну что же,— улыбнулся Громов,— видно уж так мне на роду написано...

— Но,— сказал худой плешивый фельетонист, похожий на картонного Мефистофеля,— но... почему же? Это же странно... Красивый, здоровый человек, умный...

— О,— смутился Громов, и лицо его приняло виноватый оттенок, — дело очень просто... Я не имею успеха.

— Да,— обрадовался толстый учитель, заикаясь и причмокивая.— Я пп-они-мм-аю вас... Вв-ы... ззз-астенчивы... а-а... жж-енщины... этт-ого н-не-ллю-ббят...

— Да. Я застенчив и, представьте, застенчив как-то болезненно. Одна мысль о том, что мне могут засмеяться в лицо, обливает меня с ног до головы холодным потом.

— И..? — хихикнул фельетонист.

— Ну.. и идешь себе прочь.

Все дружно расхохотались.

— А я хотел бы,— вздохнул Громов.— Хотел бы знать, что такое страсти, супружество, весь этот особый таинственный мир, скрытый от меня...

— Позвольте,— заволновался пивовар, жирный и необычайно кроткий человек с глазами навыкате.— Если вы хотите — я...

Он, грузно пыхтя, протискался между стульев и, подвалившись к Громову, таинственно зашептал ему что-то на ухо. Физиономия пивовара выражала сладостное и блаженное самоуглубление в тайны жизни. Громов серьезно усмехнулся и кивнул головой раза два. Но у пивовара, когда он отошел, в кротких масляных глазах изображалась полная огорошенность.

Художник сидел, все время склонив на бок черную, кудрявую голову, и в его раскрасневшемся от вина лице таилось вдохновенное глубокомыслие. Вдруг он встряхнулся, ударил рукой по колену и закричал:

— Меня убили. Ха-ха. Убили. Ну, ей богу же, я не вру... Женщины. Женщинами полон свет. Они везде. Они как воздух, как вода, везде, на улицах, площадях, в театрах, подвалах, кафе. В церквах, лугах и лесах. На крышах На чердаках. На башнях. На колокольнях. Под ногами, над головой. И вы не знаете женщины?.. А... Чудеснейшего, любопытнейшего, святейшего, развратнейшего существа в мире вы не знали? А духи вы нюхали? Цветы целовали? В лесу гуляли? Наконец — ели, пили, спали? Так как же вы не знаете жен-щины..?

Он остановился, перевел дыхание и посмотрел на Громова, стараясь придать взгляду торжественную строгость, но это не удалось. Его пухлые, румяные губы расплывались в жизнерадостную улыбку, а глаза лукаво смеялись лукавыми блестками.

— Постойте,— воскликнул доктор.— Это ненормальность, несправедливость. Как так. Да есть же, наконец, женщины... жрицы любви. Хе. Что вы, в самом деле...

Громов пожал плечами.

— Боюсь,— сказал он — Ну, что вы будете делать.

— Да-а,— протянул фельетонист, ковыряя в зубах,— вы того... действительно незадачливый... Ну, а как .. в теории-то... вы представляете... того...

— Д-да, конечно... но... Я как-то избегал вообще всякого общества и... Вообще, у меня большие пробелы в этом отношении...

— Слушайте, господа,— сказал доктор, воодушевляясь и подымая вверх пухлый, белый палец,— вот перед нами человек который... не смеется, а... плачет. Но, клянусь вам, в моей практике был такой случай...

Захлебываясь и горячась, он рассказал нам своим скрипучим, нервным голосом историю о том, как он заставил жениться одного человека, дав ему прочесть скабрезный роман.

Рассказ то и дело прерывался громкими одобрительными возгласами. Но после этого фельетонисту тоже захотелось рассказать что-нибудь из этой области, и он, еле дав доктору кончить, пустился в необыкновенное фантастическое повествование о бесчисленных совращениях, романах, изменах во всех частях света.

Скоро заговорили все. Сочинялись небывалые истории, никем и никогда не слышанные анекдоты; упоминались имена несуществовавших женщин, сверхтрогательные идиллии и любовные объяснения, в которых рассказчик неизменно участвовал сам, соблазнял, похищал и покупал. Присутствие человека, никогда не знавшего женщины и, следовательно, завидующего всякому поцелую, полученному другим мужчиной, действовало пришпоривающим образом. Каждый хотел, чтобы ему, именно ему, а не другому, завидовал Громов; чтобы его, именно его, рассказчика, женщины, рожденные фантазией в необычайном количестве,— казались желанными, прекрасными и доступными только тому, кто сочинил их.

Прошло немного времени, и пол, казалось, был сплошь усыпан осколками разбитых невинностей и супружеских честей. И только тогда, когда лакей пришел доложить, что столы готовы и нас, скромных отшельников,

просят пожаловать — родник эротической поэзии иссяк. Забытый Громов стоял у камина и докуривал сигару.

В глазах его сверкало живейшее, искреннее любопытство.

— Так вот, батенька,— сказал доктор, подмигивая и тыча Громова в жилет указательным пальцем,— такое дело... Ну, идемте... Ну, идемте... А кстати, я представлю вас Нине Алексеевне... да вы ее знаете... Нет? Ба, простите, совсем забыл, что вы приезжий... Ну — это... знаете, я вам доложу... По секрету: три года назад хотел из-за нее стреляться... Как честный человек...

Все тронулись и, войдя в гостиную, увидели несколько новых, незнакомых лиц, а между ними — и женщин.

А когда навстречу Громову поднялась красавица в белом шелковом платье и крепко пожала его почтительно протянутую руку, Громов сказал, улыбаясь и смотря в сторону...

— Господа... позвольте представить... моя жена.

Я с некоторым любопытством посмотрел направо и налево. Там, где секунду назад стояли фигуры наших недавних собеседников,— виднелись окаменевшие, шире обыкновенного раскрытые рты.

И только учитель спросил, беспомощно двигая челюстями:

— Кк-ак..? Вв-а-шш-а жж-ена..?

ТАЙНА ЛЕСА

I

Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перегоняя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.

Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, пахучий сумрак полян,— чего еще требовать от земли—жалкой, пригородной земли севера? Бродить в лесу вечером — значит купаться в теплой, смолистой ванне.

Лес, или парк — как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болтливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.

Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые зигзаги, прерываемые более или менее широкими, утоптанными местами, где она садилась, а он клал ей голову на колени, примащиваясь в траве. Охотники оставляли глубокие, запутанные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу, ведшую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться, ни сворачивать.

Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку, попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной ночи, земля!» — говорило небо, закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.

Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки вставали перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.

Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, двигающимися изумрудами: погасло небо.

Все медленнее шел полировщик — и были тому причины. Жена поджидала его с сжатыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех детей, ночевал не дома, а на кровати с ситцевыми занавесками, бок о бок с купленным за два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.

Совесть его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обдумал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок, ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек,— он отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками. Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.

II

Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей и сну,— полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыбаясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить взлохмаченная, костлявая, плоскогрудая женщина, требуя денег. Да, он решился переночевать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь — сутки прочь. Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег — свернулся, встал — встряхнулся.

В глубоком молчании тишины прозвучал отрывистый, тупой звук, охнуло эхо, и все стихло. И стало еще тише, чем раньше. Полировщик остановился, прислушался, лениво махнул рукой и снова побрел, тяжело придавливая сапогами скользкую хвою. Он мог бы, конечно, лечь просто там, где стоял, но ему все время казалось, что впереди, шагов за пять — пятнадцать, приготовлено какое-то место поудобнее. Но это был просто лес — трава, корни, кусты и кочки.

Он шел, пока не споткнулся, сунувшись на четвереньки, лицом в мелкий рябинник. Руки его уперлись в мягкое, податливое; ноготь скользнул по пуговице. Толчок был довольно силен, и полировщик выпрямился скорей, чем упал, приготовляясь на всякий случай к возражению действием.

Лежащий безмолвствовал. Мало того — он даже не захрапел и не перевернулся на другой бок, как это принято у порядочных пьяниц, когда их тревожат.

— Ох, сердце мое! — сказал испуганный полировщик, хватаясь за левый бок, и стал искать спички. Они у него были раньше, а теперь упорно не находились...

— Почему же нет спичек? — обиженно спросил полировщик.— А были хорошие спички, пороховые. Спички, которые в жилетном кармане — и сбегли! Вот покури теперь тут, кузькина мать, покури!

— Хорошо,— продолжал он после некоторого размышления.— Я, представьте, иду ночью — и ежели еще в потемках пьяное туловище спящее, то я без спичек не могу осветить его физиономии! Спишь! Спи, спи,

приятель. до сладостного утра. Где ты, там и я. Жилеточку постелю, пиджачком накроюсь, чтобы, значит, дух теплый из глотки под мышки шел, а в головы, с вашего позволенья, пьяное благородие, сунем кустик. Так оно все и выйдет.

И, разговаривая, он стал укладываться, довольный близким соседством пьяного, но живого тела, быть может, знакомого слесаря или литейщика, с которым завтра они будут таращить друг на друга заспанные глаза, вздрагивая от резкого холода. Прежде, чем лечь, он ткнул спящего в бок и, стоя на коленях, долго прислушивался к хриплому, рвущемуся дыханию. А тот был неподвижен и молчалив.

III

Полировщику не спалось. Тьма беззвучно клубилась перед его глазами; хвоя колола шею; он вертелся, вздыхая и охая, как самый добродетельный человек, мучимый совестью за кражу в детстве соседского яблока. Тысячи ушей выросли на его голове; телом, сапогами и брюками, даже последней пуговицей ловил он разнообразный шепот леса, микроскопические звуки тишины, сонные голоса ночи. Вкрадчивая, напряженная тревога смотрела ему в глаза густым мраком. Рядом хрипел пьяный.

Полировщик, поворочавшись минут пять, лег на спину. Душная, смолистая сырость распирала его легкие, ноздри, прочищенные воздухом от копоти мастерской, раздувались, как кузнечные меха. В грудь его лился густой, щедрый поток запахов зелени, еще вздрагивающей от недавней истомы; он читал в них стократ обостренным обонянием человека с расстроенными нервами. Да, он мог сказать, когда потянуло грибами, плесенью или лиственным перегноем. Он мог безошибочно различить сладкий подарок ландышей среди лекарственных брусники и папоротника. Можжевельник, дышавший гвоздичным спиртом, не смешивался с запахом бузины. Ромашка и лесная фиалка топили друг друга в душистых приливах воздуха, но можно было сказать, кто одолевает в данный момент. И, путаясь в этом беззвучном хоре, струился неиссякаемый, головокружительный, хмельной дух хвойной смолы.

Полировщик лежал, слушая, как глухо, с замираниями и перебоями, стучит его сердце, отравленное алкого-

лем. Томительное волнение боролось в его душе с дремотой. Сон убежал вдруг, большими, решительными скачками; мысли, похожие на шелест ночного ветра, наполнили голову; тонкая, капризная грусть стеснила волосатую шею. Полировщик вздыхал, охал; темные невысказанные желания распирали его. В траве, резко отделенные ничтожным пространством, ползли сосредоточенные, извилистые шорохи.

Сперва ухо поймало два или три из них, но потом их прибавилось; невидимая армия насекомых пробиралась в стеблях и хвое, снуя по всем направлениям, и чудилось, что тихо, чуть слышно, звенит трава. Измученный смех совы просыпался в глубине леса. Вслед за этим детский, отчаянный плач зайца резнул ухо и смолк. Прошла минута безмолвия; где-то поблизости разбуженная, маленькая, как орех, синкагайка пропела печальным, милым, отрывистым свистом, фыркнула крыльями и утихла. Кукушка подала голос, ее отчетливые, мелодичные восклицания звучали подобно металлическому шарику, подскакивающему на медном подносе. И с недалекой реки жалобной флейтой пропел кулик, вспархивая над сонной водой.

— Мать честная, отец праведный! — сказал полировщик.— Одно беспокойство, а не то, чтобы что-нибудь.

Нестройная армия воспоминаний маршировала в его возбужденной голове. Палящий, краснощекий, голубоглазый деревенский зной полудня вспыхнул и закружился ослепительным светом. Уютный простор полей пестрел крыльями голубей, лохматыми, увядающими снопами и движущейся вереницей красных бабьих платков. Синяя жидкость озер среди зеленых, плюшевых отворотов осоки.

Крупное дыхание вспотевших лошадиных тел, темные силуэты людей на фоне красной зари. Божественный, великолепный запах земли, сладкий, как только что подоенное молоко, и острый, как запах женщины!

Но это были только расстроенные нервы. Душа этого человека, разбуженная лесом, тянулась к земле, свободной от унылого буханья машинных прессов и мелкой железной пыли, отравлявшей растительность. Он испытывал тяжелое, бессознательное, хныкающее страдание и умиление перед неизвестным, трогающим его щедрой мощностью сил, брызжущих во все стороны, как кровь

из раненого, полнокровного тела. Он только сказал, вспоминая слова песни:

Хорошо бы во лесочке
Под-ехать ко милочке...

К себе он чувствовал сладкую, тягучую жалость и глубокую ненависть за все: нищету города и слякоть подвала, убийственный монотонный труд и золотушных детей. И за то, что никак не мог уяснить — чего же он хочет, и чего не хочет, и где же радость?

Крупное, трехэтажное ругательство выползло на его губы и скорчилось, придавленное безмолвием. Щеки полировщика вздрагивали, а слезящиеся, узенькие глаза скупо точили на них нудную, соленую влагу. Он повернулся лицом к земле и поцеловал ее в колючую хвою нежным, исступленным лобзанием, как целуют грудь женщины.

Но едва ли знал он, почему это так вышло: голова, проспиртованная суточным пьянством, одиночество, расстроенные вконец нервы...

Желтые лоскутки солнца, блеклая ржавчина сосновых стволов и пестрые, цветные лужайки. Небо еще бледно, заспано и холодновато-холодновато, как утренняя вода для горячего, после сна, лица.

Полировщик проснулся. Пробуждение его было резко от холодного воздуха, ночная сырость, постепенно проникая в одежду, копила там дрожь утреннего озноба; полировщик, содрогаясь всем телом, сел, застучал зубами и осмотрелся.

Пьяница лежал рядом, ничком. Тело его, одетое в приличный черный костюм, напоминало положением своим букву Т — раскинутые и согнутые в кистях, ладонями вверх руки. Его шляпа высовывалась из-под лица смятым краем, коротко остриженные, чёрные волосы смотрели на полировщика слепым взглядом затылка. Сохраняя в лице выражение осторожной предупредительности, полировщик нагнулся, взял руку соседа, испуганно подержал ее несколько моментов и выпустил, рассматривая круглыми, как пуговицы, глазами почерневшую кровь лица. Из-за уха к щеке лежащего тянулась запекшаяся, неровная полоса, и пьяный вчера — сегодня стал для полировщика трупом.

Опущенная рука хлопнулась на траву и, повернувшись, приняла прежнее положение. Возле нее лежал револьвер, полузакрытый стеблями.

— Караул,— закричал полировщик, пятясь, как лошадь от узды.— Ай! Ай! Ай!

Весь в жару от волнения, он то подходил ближе, то оглядывался, топтался, кружась вокруг мертвого, охая бессмысленно, торопливо ругаясь. Труп казался ему обманщиком, чем-то вроде пройдохи, клянчащего на бутылку, и возбуждал в нем острое любопытство, смешанное с презрением.

— Дурак... ах ты господи! Дурак! — выпячивая губы, тянул он.— Руки на себя наложить, какие же это способы... а?

Бодрый от сна, он вспомнил, какой он хороший мастеровой, как его уважает начальство, как в следующую получку он непременно, непременно принесет домой все, решительно все, до одной копеечки, и почувствовал к мертвецу презрительную жалость, нечто вроде презрения мужика к барину, выпиливающему по дереву. Затем, струсив, что его могут увидеть здесь, возле трупа, поспешными, большими шагами зашагал в сторону, туда, где по просвечивающей среди деревьев тропе тянулись группы рабочих.

Монотонная ярость гудка будила окрестности. Пар насмешливо выдувал:

Для рабов —
Ни полей,
Ни цветов!

КОШМАР

I

Каждый вечер, перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные, художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами, смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что ника-

кое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступления, любовь с сомнительным исходом,— не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе.

Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными, раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы и мнения другого были заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, а жену слушать, пока чрез определенное, небольшое количество страниц не приходил крепкий, здоровый сон.

В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились: жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге; а я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я мешался в ее, женское дело; но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука:

— Ну и ладно. Если ты ничего не понимаешь, то, сделай одолжение, замолчи.

— Однако я не раз давал тебе советы,— возразил я,— и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение только принципиально.

— Держи его про себя, свое мнение,— отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева.— Вот.

— Милая,— сказал я, смеясь,— ты бы легла. Ты сонная и раздражаешься. А платья посмотришь завтра; торопиться, кажется, некуда.

— Ну, я уж не могу,— сказала жена, нерешительно рассматривая голубой шелковый лиф.— Начала, так надо кончить. А если скучаешь, почитай мне.

Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготовляясь прочесть рассказ известного, давно не писавшего литератора.

— Ну, слушай,— сказал я.— «Тяжелые дни», глава первая.

— Знаешь, Павлик,— встрепенулась жена.— Я лучше завтра это сделаю. Надо будет и нафталином пересыпать. А?

— Конечно,— усмехнулся я,— ведь это же я и сказал тебе две минуты назад.

— Спасибо.

— Не за что.

Наступило короткое молчание.

— Крошка,— сказал я.— Ты, детка, капризничаешь. Бай-бай пора... Ложись-ка, ложись.

— Спа-ать...— зевнула Ольга.— Скучно. А ты мне почитай, пока я усну...

— Ну, разумеется.

Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывал, какая часть туалета сейчас снимается Ольгой. Вот легкий, упругий треск — это расстегивается кофточка; неуловимый, интимный шум — падают юбки; мягкое волнение воздуха — распущены волосы. Стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими, теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал:

— Пол холодный, и ты простудишься.

Она сонно улыбнулась прищуренными глазами и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо.

— Бр... вот холодище,— капризно протянула она.— Завтра с утра — все печи; слышишь, Павля?

— Слышу,— сказал я; разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать.

Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, и одно место, довольно яркое и с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо.

— Оля. Не находишь ли ты, что автор врет? Оля...

Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое, медленное дыхание ее грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет.

Я мысленно повторил, снова улыбнувшись, строки, показавшиеся мне избитой чепухой:

— «Нет свободы; нет никакой свободы... Только мысль разве свободна, да и то, как подумаешь, что ничего-то мы не знаем,— так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович...»

— Нет, Григорий Абрамович,— мысленно обратился я к лицу, выведенному автором в образе юноши, жаждущего подвига,— врет ваш автор.

Мне сильно хотелось спать, и я, даже при большом усилии, не мог бы стройно продумать и высказать свое опровержение. Но казалось мне, что если я, скромный, среднеодаренный человек, бухгалтер большого банка, из мелкого, голодного ничтожества выбился повыше, к незаметному, но полезному интеллигентному труду, женат на хорошенькой доброй женщине и свободен в своем двухсотпятидесятирублевом бюджете,— то есть у меня некоторое право поспорить с автором рассказа. Я сам работал, сам прошел все стадии борьбы за право жить и быть сытым,— а никто другой.

Положив книгу на столик, я обвел глазами красивую, со вкусом выбранную обстановку жениной спальни, и мирная тишина теплой, уютной освещенной комнаты приятно отозвалась во мне спокойным, любовным сознанием трудности жизни и прочности своего места в ее сутолоке. Ольга крепко спала и смешно двигала сонными, розовыми пальцами, полузакрытыми шелком стеганого одеяла. Осторожно поднявшись, я оправил подушку, поцеловал жену в маленькое, оголившееся плечо, захватил свечку и вышел в свою, соседнюю комнату.

II

Очень хорошо помню, что за ужином в этот день не было съедено ничего тяжелого или сырого, ничего возбуждающего, что могло бы расстроить желудок или нервы. Но когда я лег, закурил папиросу и потушил огонь, то сразу неприятно убедился, что заснуть — по

крайней мере сейчас — мне не удастся. Не было привычного, хорошо знакомого и приятного чувства усталости во всем теле, желания потянуться, закрыть глаза; напротив, я чувствовал себя странно легко и беспокойно, как будто теперь утро и я только что встал.

Тоскливое сознание этого было мне хорошо знакомо. Обыкновенно в подобных случаях я нетерпеливо двигался на кровати, без конца курил, думал в темноте о чем-то бессвязном, таинственном и неуловимом, чутко отмечая малейший шорох, малейший скрип потолка в уснувшей квартире. Потом тяжело засыпал и вставал поздно, с головной болью и скверным аппетитом.

Тьма, наполнявшая спальню, не была полной, напряженной чернотой ночи, настраивающей бессонного человека болезненным пугливым ожиданием неопределенных звуков и навязчивых мыслей. Поэтому я решил не зажигать огня и постараться задремать.

Слабый месячный свет падал в окно, и переплет рамы на фоне тускло-голубоватых стекол казался толстой, черной решеткой. Столы, стулья и предметы, висевшие на стенах, выделялись из сумрака тяжелыми пятнами, хмурыми и неподвижными. За стеной, в комнате жены, громко и пугливо, как беспокойное сердце, стукал маятник, и по временам, переставая думать, я с автоматической тупостью начинал мысленно повторять вслед за ним: «Ук... ук... ук...»

Не помню, сколько так прошло времени, но постепенно мною стала овладевать странная тяжесть, соединенная с беспокойством и желанием двигаться. Я высвободил руку из-под одеяла, вытянул ноги, но тело было свинцовым, жарким и, как я ни поворачивался, томление не проходило.

Человек я физически вполне здоровый, крепкий, не легко устающий, и если бы такой упадок сил, соединенный с почти полным отсутствием мысли, наступил после трудной, изнурительной работы или сильных треволнений,— это было бы в порядке вещей. Но в этот день я даже не выходил из дома, день был воскресный. Продолжая удивляться и досадовать на предстоящую бессонную ночь, я невольно стал прислушиваться к странному, незнакомому звуку, медленно и тихо проникшему в глубокую тишину ночи. Звук равномерно

усиливался, рос, затихал и снова наполнял комнату своим одиноким, легким присутствием.

В темноте чувства обостряются. Думая, что меня, быть может, обманывают мои собственные, бессознательные движения, производящие легкий, незаметный днем шум, я закрыл ладонями уши и совсем замер, вытянувшись лицом вверх. Потом отнял руки и прислушался. По-прежнему глухо и сонно стучал маятник, углубляя царящую тишину, но так же, как минуту назад, ровный, легкий шум, похожий на шарканье калош за окном, вздыхал в темноте, таял, как притаившийся человек, и оживал вновь.

Тихонько, опираясь руками на кровать, я встал и, напряженно ступая босыми ногами, осмотрел стены и мебель. Луна скрылась за тучами, стало темнее. Комната молчала зловеще и хитро; казалось, тысячи невидимых, зорко натянутых струн пронизывали по всем направлениям воздух, проникая в мозг, тело; тысячи струн, готовых крикнуть и загреметь при малейшем стуке или резком движении.

Дверь в спальню жены, плотно закрытая мной, смутно выделялась из мрака огромным, расплывающимся четырехугольником. По-прежнему неуловимый, вздыхающий звук полз в темноте, и вдруг, как-то сразу, неожиданным сотрясением мысли, вспыхнувшим, подобно зажженной спичке, я понял, что звук этот — р о в н о е, г л у б о к о е д ы х а н и е ж е н ы, крепко спящей за толстой стеной комнаты и плотной, ковровой драпировкой двери.

Еще не убедившись в реальности этого открытия, я поверил ему и испугался. Новый звук заворочался в темноте — биение моего собственного всколыхнувшегося сердца. В самом деле, даже громкий, оживленный разговор был всегда плохо слышен из одной комнаты в другую и доносился лишь невнятным, слабым гулом. Теперь же легкое дыхание спящего человека раздавалось вполне ясно и так близко, что невольно казалось, будто человек этот дышит здесь, рядом со мной.

Испугавшись, я машинально схватил ручку и приоткрыл дверь. Холодное прикосновение меди слегка успокоило меня, а затем встревожило еще больше, так как, просунув голову в дверь, я убедился в правильности своего заключения; действительно, это было дыха-

ние моей жены, наполнявшее теперь ее комнату едва слышными, ровными колебаниями.

Растерявшись и вздрагивая от холода, я затворил дверь, стараясь не скрипнуть, и вдруг весь затрясся в припадке дикого, животного ужаса. Мгновенное, сильнейшее сотрясение разбило все мое тело, разразившись тоскливым, неудержимым воплем. Я задыхался. В ужасе и тоске, хватаясь руками за горло, я старался хлебнуть воздуха и не мог. Потолок низко опустился надо мной, и все вокруг, черное, хмурое, кинулось прочь. Заплакав тихими, пугливыми взвизгиваниями, я стукнулся рукой о кровать, очнулся и сел.

III

Некоторое время мысли мои были так безобразно хаотичны, что я с трудом мог дать себе отчет, где нахожусь. Наконец сознание вернулось ко мне, но тело все еще ныло и содрогалось, как от противного, омерзительного прикосновения. В ушах носился далекий, плывущий звон, ноги дрожали от слабости, слегка подташнивало. Голубоватый свет месяца тусклой пылью озарял письменный стол и серебрил черные переплеты окна.

Мне было так страшно, так непонятно овладевшее мною состояние, что я ни минуты более не мог оставаться один. Но что же делать? Разбудить Ольгу и, быть может, испугать ее? Все равно. Я побуду немного с ней, приду в себя и усну. Остановившись на этой мысли, я встал с кровати, но тут же с крайним удивлением заметил, что ноги отказываются мне повиноваться. Они гнулись, как веревки, и тянули вниз. Опустившись на колени, я пополз к дверям, хватаясь за стулья и жалобно вскрикивая. Вместе с тем, в голове бродила сонная и детская мысль, что если жена увидит меня стоящим на коленях, то не рассердится, а укутает и поцелует.

Дрожа от нетерпения и глухой, тяжелой тоски, я подполз к двери и вдруг легко и быстро поднялся на ноги. Произошло это без всякого усилия с моей стороны, словно посторонняя сила мягко встряхнула меня и подняла вверх. Страх исчез, сменившись ожиданием успокаивающей близости живого человека и смеха над

своей развинченностью. Но когда я медленно отворил дверь, то сразу и с некоторым смущением увидел, что попал не в женину, а в чужую комнату.

IV

Или, вернее сказать, я не был еще уверен окончательно, чья это спальня — Ольги или посторонней, незнакомой мне женщины. Произошло какое-то неожиданное и странное перемещение хорошо известных предметов. Прежде всего — свет. Жена моя, засыпая, никогда не оставляла огня в комнате. Теперь же по стенам и потолку разливался слабый, желтоватый отблеск, проникавший из неизвестного источника. Большое зеркало из трех овальных стекол, висевшее раньше на стене, соединявшей обе комнаты, очутилось теперь вместе с маленьким мягким диваном против меня, и сбоку его висела прибитая булавками картинка, рисованная карандашом. Картинка изображала мельницу, еловый лес, плоты, и раньше этого рисунка, как я хорошо помню, у Ольги никогда не было. Все остальные предметы сохраняли прежнее положение.

Но больше всего удивило меня то обстоятельство, что Ольга или женщина, которую я принимал за Ольгу, хозяйка этой комнаты, лежала на диване, одетая и, по-видимому, крепко спала. Я сильно сконфузился, мелькнула мысль, что это действительно незнакомое мне лицо, что она может проснуться и испугаться, увидя у себя в поздний ночной час дрожащего, полусонного мужчину босиком и в нижнем белье. Однако неудержимое любопытство преодолело стыд и заставило меня подойти ближе к дивану.

Женщина спала, несомненно, и крепко. Кофточка на ее груди была расстегнута; из-за лифа вместе с кружевом рубашки просвечивало нежное, розоватое тело. Вглядевшись пристальнее, я убедился, что это действительно Ольга, подошел смелее и тронул ее за плечо.

Она зашевелилась, проснулась, но, прежде чем открыть глаза, хихикнула гадкой, хитрой, больно уколовшей меня улыбкой. И затем уже, медленно вздрогнув ресницами, подняла к моему лицу непроницаемый, омерзительный взгляд совершенно зеленых, как трава, лукавых, немых глаз.

Я вздрогнул от непонятного, таинственного предчувствия грядущего страха, непостижимого и панического. Взял ее за холодную, гибко поддавшуюся руку и сказал:

— Пойдем, но не надо. Вставай, но не лежи.

Сейчас нельзя припомнить, зачем это было сказано. Но тогда я знал, что слова мои важны, значительны, имеют какой-то особый, понятный лишь ей и мне смысл. Она лежала неподвижно, гадко улыбаясь, и притягивающе глядела сквозь мою голову в дальний, закрытый тьмой угол комнаты.

Тысячи голосов, испуганных, захлебнувшихся ужасом, содрогнулись во мне звонкими, истерическими выкликами, подступая к горлу и сотрясая все тело той самой горячечной, туманящей сознание дрожью, которую я испытал во сне. Как будто молния ударила в комнату и, ослепив глаза, показала весь ужас, всю тайну творящегося вокруг. Тут только я заметил, что у Ольги не русые, как всегда, а неприятно-металлически золотистые волосы, что она — и о н а и не о н а.

Я бросился к ней, схватил ее на руки, зарыдал, прижался к ее груди мокрым от слез лицом, тискал, тормошил, а она легко, как кукла, поворачивалась в моих руках, по-прежнему зло, ехидно смеялась в лицо. Глаза ее стали больше и зеленее.

Без памяти, в состоянии близком к помешательству, я потащил ее на кровать. Мне казалось, что стоит лишь бросить эту, так странно изменившуюся женщину на подушки и провести рукой по ее щеке, как она сейчас же станет прежним, хорошо мне известным близким человеком. Но, когда, шатаясь от тяжести, я подошел к кровати, то увидел на ней — другую, настоящую Ольгу, с милым и добрым лицом, спокойно спящую, как будто вокруг не было ни тайны, ни страха, ни тоски.

Я положил женщину с зелеными глазами на Ольгу и вдруг бессознательно ясным движением мысли понял, что жена не проснется, пока я не задушу эту чужую, неизвестную женщину.

Я задушил ее быстро, нечеловеческим усилием мускулов и отбросил. Она стукнулась о пол, мертво улыбнувшись искаженным, почерневшим ртом.

— Оля,— сказал я, дрожа от тоски и бешенства,— Оля!

Жена спала. Я повернул ее голову, попытался открыть глаза. Веки вздрогнули, и был момент, когда, как показалось мне, она просыпается. Но лицо шевельнулось и приняло снова спящее, мучительно-спокойное выражение. Потом тихая улыбка тронула углы губ, и Ольга открыла глаза.

Они смотрели с горькой, страдальческой покорностью, пытаясь что-то сказать. Плача от невыразимой жалости к себе и к ней, я гладил ее по лицу и тупо повторял:

— Оля. Да встань же. Ведь я люблю тебя... Оля!

Нет, она не проснется. Я убедился в этом. А если... Еще, еще одно, самое главное усилие.

— Оля,— сказал я,— мы пришли, а ты лежишь. Если все будут лежать,— что же это в самом деле? Подожди!

И здесь я проснулся уже действительно, проснулся в состоянии, близком к отчаянию, с мокрым лицом и с горячечным пульсом.

V

Почувствовал я себя таким разбитым, таким немощным, что даже мой мозг, еще полный сонного бреда и диких, таинственно убегавших образов, не в состоянии был заставить тело вскочить и кинуться в соседнюю комнату, под защиту присутствия другого, живого человека. Чувствовал я себя так, как если бы, идя по обрыву горной кручи, упал, разбился, потерял сознание; а потом, открыв глаза, стал припоминать, что произошло.

Прошла минута, другая, и, когда безумно колотившееся сердце успокоилось, а грудь вздохнула ровнее, мною овладел детский, беспомощный страх и омерзительное, содрогающее воспоминание. Ясность пережитого была так реальна, что я, вскочив с кровати и направляясь в комнату жены, не был уверен, что не встречу там желтого света и женщины, задушенной мною. Организм мой вдруг потерял привычное равновесие, колеблясь между фантомами и ожиданием реальной, действительно существующей бессмыслицы. Открыв дверь, я быстро подошел к жене и разбудил ее.

Должно быть, я весь дрожал и говорил странно, потому что, когда проснулась жена и увидела мой темный силуэт, в движениях ее и голосе скользнули сонная, испуганная растерянность и непонимание. Она приподнялась, а я жался к ней, щупал ее руки, плечи, целовал голову, стараясь убедиться, что это не сон, а живой человек, и все время повторял слабым, всхлипывающим голосом:

— Оля, милая. Это ты? Ты? Да?!. Ох, что я видел — Олечка, Оля!..

И вдруг маленький, колючий страх съежил меня. Что, если это не Ольга, а та женщина, и у нее зеленые глаза?

Она обнимала меня, называла нежными именами и успокаивала. Два или три раза я пытался рассказать ей свой сон — и не мог; при одном воспоминании об этом все тело знобила мерзкая, гадкая дрожь.

— Павлик,— сказала жена,— это оттого, что ты лежал на спине.

Сон прошел у нее, и она лежала с открытыми глазами.

— Да,— пробормотал я,— пожалуй, ты права.

— Выпей валерьянки, милый,— вспомнила Ольга.— Ну, зажги свечку и выпей.

Я и сам сознавал необходимость этого. Но тьма, окружавшая нас, и яркие воспоминания сонных видений, при одной мысли о том, что надо встать, двигаться в бесшумной, ночной пустоте, снова наполняли душу тупым, беспредметным страхом. Все вокруг, что не было мы, двое, казалось мне странно живым, враждебным, притаившимся только на время, готовым сойти со своих мест и зажить особой, таинственной жизнью, лишь только я закрою глаза.

В окнах тускло белели снежные крыши, светилась воздушная пустота, накрытая темным куполом. Там было тихо, так же странно тихо, как и везде ночью. Все, что раньше казалось нелепым и диким, теперь вдруг оживало передо мной, наполняя мир призраками, лохматыми лешими, домовыми с хитрыми, седенькими бородками, ночными кошками, черными, как чернила на белом снегу крыш; зелеными водяниками, там, далеко, за чертой города ведущими свою непостижимую, удивительную жизнь; оборотнями, маленькими мышами, кото-

рые, может быть, вовсе не мыши, а гномы. И, крепко прижавшись к жене, гладившей меня по голове, как маленького мальчугана, я осторожно думал о том, что, может быть, и в самом деле, она — не она, что вдруг озолъется в комнате странный свет и блеснет из-под одеяла гадкая, гнетущая улыбка ночного призрака.

Видя, что я лежу молча, притворяясь спящим, жена встала сама, зажгла свечку и налила мне в рюмку валерьяновых капель. Свет мало успокоил меня, и, принимая рюмку из рук Ольги, я с некоторым страхом посмотрел на ее лицо. Но это были ее, озабоченные голубые глаза и распущенные, русые волосы.

— Детка,— сказал я,— а ведь, ей-богу, мне кажется, что я все еще сплю.

Она засмеялась, и я тоже улыбнулся, думая про себя, что все-таки еще неизвестно — сплю я или нет.

Жена потушила свечку, легла на кровать и спрятала мою голову под одеяло, а я лежал там в душном, темном мраке, упираясь щекой в ее плечо, лежал, как бедный, загнанный дикарь, измученный бесчисленными фетишами, и глупо, блаженно улыбался, стараясь уснуть. Вскоре мне это удалось. Но последняя мысль, мелькавшая в засыпающем мозгу,— была та, что я — и солидный господин в золотых очках, проверяющий конторские счеты, платящий свои долги и принимающий гостей по субботам,— что-то различное.

А что — я так и не мог решить.

Утром я вскочил свежий, бодрый, с душой такой ясной и радостной, как будто она умылась. Ольга еще крепко спала. Солнце торопливо бросало в сияющие стекла окон длинные зимние лучи.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗА ВСЕХ

I

Кильдин, Крыга и Иванов сидели в кафе. Все они были давно знакомы, давно надоели друг другу, но тем не менее каждый вечер проводили вместе три-четыре часа, сходясь как бы случайно. На самом же деле каждый уже с утра, если не искал, то думал об остальных, забе-

гал в ресторанчики, оглядывая ряды поднятых с бокалами рук, наконец попадал в кафе, здоровался, улыбался, и через минуту уже думал про себя, что говорить им троим не о чем.

Так и было. Но в этот раз Крыга пришел навеселе. От него пахло вином и бриллиантином: он получил деньги. Обыкновенно неразговорчивый, хроникер разошелся. Он умел, когда хотел этого, оборвать анекдот на интереснейшем месте, прищуриться на шелковую юбку ночной бабочки, обвести чмокающих губами слушателей застывшим взглядом и расцвесть снова, увлекая за собой в мир похотливого смешка и ужасающего простотой солдатского остроумия. Спор его был меток и зол, рассказы о пережитом — картинны, остроты принадлежали к числу тех, над которыми смеются, подумав.

Устав, он посмотрел в стороны. Из зеркала в зеркало метались фигуры проходящих людей, имеющих обманчивый вид сытой и благообразной толпы, цветы шляп женщин бросались в глаза более, чем неживые их лица; у телефона, поглядывая на часы, толпились смуглые молодые люди, а три ряда мраморных столиков держали в одной плоскости, как бы разрезая пополам, сидящую обкуренную толпу. Из булочной шел запах горячего хлеба и отпотевшего сахара.

— Крыга, а у тебя деньги есть? — сказал Иванов.

— Есть.

— Поедем!

— Куда?

— Да хоть бы на поплавок.

Иванов расточительным жестом бросил из жилетного кармана на стол рубль.

— Это тебе в долю. И напьемся.

Крыга почесал нос.

— Я бы поехал,— сказал он,— да мне нужно... Ах, вот что: кто эта дама? Смотри, пожалуйста: от голубой шляпы и розового лица кудри ее кажутся синими.

— Ты зубы заговариваешь,— нетерпеливо вздохнул Кильдин,— а здесь душно, выйдем на воздух. Человек, получите. Сколько? Чай — десять, верно, папиросы и лимонад — двадцать пять... а разве я кофе пил? Да да, по-варшавски... да, да... это возьмите себе... Ну, вот и все.

— Человек,— с достоинством подхватил Иванов,— сколько с меня? Сельтерская с сиропом — пятнадцать, папиросы — десять... кулебяка? Кулебяка... Пятачок ваш.

Пока двое рассчитывались, Крыга смотрел в сторону. Злобная, тоскливая скука охватила его. Это кафе он знал десять лет, сотни вечеров судорожной, грошовой, ломаной жизни прошли здесь, между стаканом чая и папиросой, профессиональной улыбкой девушек и сосаньем набалдашника палки, и вдруг, как у школьника от затянувшегося урока, бросился в ноги зуд, нервное нетерпение и тревога тела, утомленного бесцельным сидением.

— Ну, идем, что ли,— вскакивая, сказал Крыга,— здесь, как в горячем тесте: липнешь и мокнешь.

Не зная еще по слабохарактериости, куда попадет: на иллюминованный поплавок к белой под утро реке, или домой, в тишину уснувшего здания, Крыга с Ивановым и Кильдиным вышел на улицу.

II

Шествие совершалось в молчании. Кильдин думал, что Крыга, уклоняющийся от поплавка, просто не понимает прелестей жизни. Иванов размышлял о делании шара клопштоссом через весь биллиард, о женщинах, знакомых и незнакомых, проходящих мимо и существующих в его воображении. Крыга скучал.

— Мухи дохнут,— сказал он,— изобретем что-нибудь.

— Все изобретено,— мрачно возразил Иванов.

— На поплавок надо идти,— с худо скрываемым раздражением произнес Кильдин.

Трамвай с шумом рассекал воздух. Еще видя невидное людям солнце, блестела адмиралтейская игла, городовые чинно подымали белые палки, и множество — среди всяких других — двигалось над тротуаром нежных лиц женщин с равнодушно смотрящими глазами, чистых в своей неизвестности, ярких и безответных.

Приятели шли, замедляя шаг; им некуда было торопиться, и они не знали, куда идут. Крыга почти с ненавистью взглянул на шагающего рядом Иванова и остановился.

— Куда идем? — сказал Крыга.— Мне что-то не по себе. Я, видимо, протрезвел. С души воротит. Что мы

будем делать на поплавке? Выпьем графин водки? Общение душ устроим? Тайну неба похитим? Прекрасную незнакомку встретим? Графин, два графина, три графина,— хочешь ты сказать, Иванов... Допустим — три. Мы, черт его знает,— монстры какие-то. Нам всем вместе неполных сто лет, здоровья для Петербурга довольно, дураками тоже не назовешь, а ведь над нами любой богомолке заплакать не оскорбительно.

— Для разнообразия и я на эту тему поговорить люблю,— сказал, зевая, Кильдин,— да ведь все это не настоящее...

— Ты идиот,— перебил Иванов,— тут как-то в рассеянной толкучке этой ловишь по частям вечное. Раздражает — да, не удовлетворяет — да, а все-таки здесь ближе к себе, понимаешь, чувствуешь свою сущность.

— А вот что,— сказал Крыга,— выйдем из шаблона хоть раз, побродим в одиночку... Нате вам по пяти рублей, обойдите вы от зари полгорода: может, хоть вас автомобиль переедет,— все-таки интереснее.

— А что же! — лукаво, но горячо, в тон Крыге, произнес Иванов.— Сделаться на час искателем приключений! Давай деньги, дорожные расходы необходимы.

Кильдин, приободрившись, протянул руку.

— И мне,— сказал он.— Но ведь ты придумал интересную штуку, Крыга... Только знаешь что? Дай мне еще рубль, я тебе завтра отдам.

— Нет! — уже увлеченный случайной своей выдумкой, вскричал Крыга.— Ведь может же быть что-нибудь.

На миг каждый поверил этому,— тон голоса Крыги прозвучал детской верой в дракона. И каждому из них дракон был необходим, как воздух и хлеб; дракона же не было, лишь в зоологическом саду крылатое из картона туловище дышало горящей паклей, а Брунегильда Ляпкова держалась за хребет чудовища безопасней, чем за ременную петлю трамвая.

Миг, как всякий миг, кончился скоро, оборвался на голубой вспышке проволоки; ни говорить, ни думать об этом более не хотелось; однако, еще будучи в плену выдумки, Крыга сказал:

— И я бродячую бессонницу делить буду. До завтра в кафе! Если б хоть одному из нас повезло!

Поговорив немного, все трое разошлись в разные стороны. Иванов, сжимая в кармане и в кулаке золотой, подошел к углу, с перехваченным радостью горлом купил двадцать пять штук папирос, взял под руку жизнерадостную брюнетку, позвал извозчика, сел и поехал.

Кильдин, бессознательно улыбаясь, вышел к Пассажу, понял, что жить радостно и легко, взял под руку задорно болтливую блондинку, позвал извозчика, сел и поехал.

Крыга сказал себе своими словами: «Ерунда пришла в голову: нет приключений, городок глух, нем и жесток» — остановил печальную рыженькую, раздумал, сказал: «Прощайте», позвал извозчика, сел и поехал спать.

Взвесив шансы на интерес, последуем мы за ним.

III

По дороге домой Крыга думал о прелести черных ночей юга, блаженстве темноты, когда, забывая свет, мирно отдыхает натруженное за день тело, а глаза спокойно, не вглядываясь, остаются открытыми.

Белый, без улыбки и блеска свет томил город глухим раздражением ночи, лишенной своего естественного лица — мрака. Извозчик сидел понурясь. Он спал, а просыпаясь,— зло дергал вожжами и бормотал что-то непонятное.

Наконец, он остановился, а Крыга, слезая у железных ворот дома, где жил, испытал ту небольшую радость суетливого горожанина, когда после коварных, но деловых, пустых, но нужных свиданий, посещений и встреч возвращается он домой, к постели и книге.

Щелкнув французским ключом, Крыга вошел в переднюю, а потом в комнату. Представляя, как Иванов и Кильдин обходят глухие набережные, мосты, заплатанные вывесками переулки, где кошки с деловым видом обнюхивают тумбу, а женщины в нижних юбках, сжимая под накинутой шалью пустые бутылки, перебегают дорогу, Крыга невесело усмехнулся. Приятели думают о нем то же самое, а он — изменник, но результат — ясно — один. Те двое тоже придут домой,— дальше идти некуда.

В комнате было светло, как на рассвете. Крыга подошел к настежь открытому окну, куря папироску. Тихий лежал внизу двор, а впереди, чередуясь с зеленью берез и лип, тянулись хребты крыш. Золоченые купола церквей казались в отдалении туманным рисунком. Где-то стучала машина электрической станции.

«Хорош Петербург,— подумал Крыга,— люблю я этот чудесный город, сам не знаю за что. Может быть, потому — что он, как истинное сокровище, не знает и не ценит себя сам; это русский Париж, русская в нем душа, и весь он похож на то, как будто остановился живой человек с высоко поднятой головой, забродило в ней столько, что и сил нет сделать все сразу, дышит тяжело грудь; грустно и хорошо».

В этот момент с Невы, ухая в отдаленных улицах резкими вздохами, вылетел к окну крыши гибкий, поражающий даже привычное ухо странностью звука, пронзительный вопль сирены. Прошла минута, в течение которой Крыга старался согласовать бессознательно тихое свое настроение с тревожным криком реки, и вдруг за стеной слева,— так неожиданно, что журналист, не успев опомниться, вздрогнул и затрясся всем телом,— раздался долгий оглушительный вопль, точное подражание стальной глотке.

Вопль стих, возвратилась разбитая на мгновение вдребезги испуганная тишина, а Крыга еще стоял, как человек, смытый за борт, захлебывался испугом и вздрагивал. Сильное биение сердца удерживало его на месте; взяв себя в руки, Крыга выбежал на цыпочках в коридор и, потянув соседнюю дверь, взглянул в щель. За спиной стула на столе лежал голый локоть. Тотчас же рука пошевелилась, стул отодвинулся; молодой, в одном нижнем белье, человек подкрался босиком к двери, остановился в двух шагах от нее и принялся, наклонив слегка голову, нервно теребить маленькие усы.

Крыга и он стояли друг против друга, лишь случайно не встречаясь глазами. Лицо неизвестного — так как, по-видимому, это был новый жилец, которого Крыга еще не видел,— лицо это выражало крайний предел загнанности и угнетения. Сильно блестели глаза; рот с опущенными углами сжимался и разжимался, словно в него попал волос, и человек движениями губ стремился удалить раздражающее постороннее тело.

— Да он повесится,— сказал Крыга,— надо войти туда.— И вызывающе постучал.

Неизвестный, выпрямившись, отбежал к столу, сел и, сунув руки между колен, уставился на дверь таким полным страха и тоски взглядом, как если бы сейчас должен был вкатиться локомотив. Не дожидаясь ответа, Крыга отворил дверь и вошел.

К его удивлению, сосед поднялся с изменившимся выражением лица, немного сконфуженного, но улыбающегося той улыбкой, когда человек знает, что ему скажут. Крыга, притворив дверь, сказал:

— Вы, пожалуйста, извините, но я подумал, что с вами случилось бог знает что... Я прямо не в состоянии был сидеть в комнате. Что такое? Меня зовут Крыга.

— Пафнутьев,— сказал молодой человек,— у меня бессонница, я в дезабилье, прошу извинить.

— Мне показалось...— взволнованно начал Крыга, пристально, с немного жутким чувством смотря на Пафнутьева,— что это самое... вы... расстроены, вероятно?

Пафнутьев покорно и виновато улыбнулся, отводя взгляд. Сидел он, согнувшись, в такой позе, как если бы был разбит параличом, но не желал показывать этого.

— Вот не знаю. Не передашь. В этой сирене какое-то заразительное отчаяние.

Наступило молчание. Маленький растрепанный человек сидел перед Крыгой и улыбался.

— Вы откуда?

— Из Рязани,— сказал Пафнутьев,— я здесь три месяца.

— Учитесь?

— Да. Студент.

— А знакомые у вас есть?

— Нет.

— Как нет? — удивился Крыга.— Чтоб в Петербурге не завелись знакомые?

— Да нет же! — упрямо и сердито повторил Пафнутьев.— Нет никого. Я людей боюсь,— с неловкой искренностью прибавил он,— так вот сжимаешься, сжимаешься, да нет-нет, кто-нибудь и уязвит, и тогда одно отвращение.

— А родственники есть?

— Нет.

— Совсем нет?

— Совсем нет,— весело улыбаясь, подтвёрдил Пафнутьев.

— Вам надо лечиться,— серьезно сказал Крыга,— что же это, ведь пропадете так?

— Пропаду,— вдруг зло и глухо бросил Пафнутьев; вскочив, он быстро забегал по комнате, шлепая босыми ногами.— Да, нервы расстроены, денег нет! И черт их дери, пропаду, так пропаду... А зачем жить? Скучно, холодно... Холодно,— остановившись и подергивая, как от озноба, плечами, повторил он.— Да вы идите, вам спать нужно, я уж не закричу.

— Ах, милый,— сказал Крыга,— слушайте, я вам валерьянки дам. Хотите? Уснуть-то ведь нужно.

— Не надо мне валерьянки,— сказал Пафнутьев, забегал, суетясь руками по незастегнутому вороту рубашки, остановился и, посмотрев рассеянно на Крыгу, прибавил: — Валерьянки?.. А дайте, отлично.

Крыга, торопясь, вышел, плотно закрыв дверь. В полутьме коридора разбуженные криком и разговором жильцы высунулись из дверей, притаив дыхание; видны были только заспанные, обеспокоенные лица и руки, придерживающие дверь.

— Что там? — шепотом спросила курсистка с усиками.

— Да маленькое приключение,— сказал Крыга,— так, городская мелочь, шелуха жизни; человек пропадает — только и всего.

Курсистка сделала озабоченное, недоумевающее лицо.

— Что с ним, припадок?

— Нет, насморк. Я ему валерьянки дам.

Когда Крыга вошел снова, Пафнутьев, кутаясь в одеяло, сказал:

— Черт его знает, еще погонят отсюда.

— Зачем? — сказал Крыга.— Скажите, что во сне кошмар был. Полсотни накапайте. Уснете.

— Усну. Спасибо.

Крыга сунул ему графин и ушел спать. За стеной было тихо.— «Нет, теперь не уснешь,— собираясь раздеваться, сказал Крыга,— гвоздем засел в голове крик, весь дом насторожился после него. Так вот что...»

Он взял шляпу, вышел на улицу и, чувствуя с некоторым удовольствием, что есть законный предлог по случаю бессонницы выпить, исчез в ресторане.

IV

Франтоватый, выспавшийся Кильдин, увидев Крыгу, лениво взмахнул бровями, как бы говоря: «да, вчера пошалили, а впрочем, ничего особенного» — сосредоточенно поздоровался, корректно сел, сдвинув колени, высморкался и развалился на стуле, погрузив большие пальцы рук в верхние карманы жилета.

— Мало сегодня в кафе народа,— сказал Кильдин.— А где Иванов?

— Нет Иванова,— усмехнулся Крыга,— он придет, а ты расскажи.

— Что?

— А что вчера говорили.

Кильдин гордо вздохнул.

— О, есть приключения и приключения,— веско сказал он,— но ты, жестокий материалист, хочешь фактов.

— Факты, конечно, были,— серьезно, с завистливым, вытянутым лицом произнес Крыга,— я знаю все: ты встретил солнечную женщину, прелесть девической мировой души, и сказкой прошла ночь.

— Почти,— нагло сказал Кильдин,— но это все вне фактов, это особенное: улыбка, жест и полное соединение взглядами.

— Здравствуйте,— сказал, роняя стул, Иванов.— Я так торопился; если бы вы знали...

— Знаю,— подхватил Крыга,— улыбка, жест и полное соединение взглядами.

— Это о чем? — холодно спросил Иванов.

— Она была спелого золотистого цвета,— невозмутимо продолжал Крыга,— ее несло по течению вниз с нимбом над головой, ты спас ее, а потом снял носки и повесил их на Тучковом мосту; солнышко высушит.

— Я буду пить черный кофе,— сказал Иванов и нахмурился.— Но ты, Крыга... ты, кроме шуток, что вчера делал?

— Да все то же.— Крыга зевнул, говоря.— Удел тут один, братцы,— улыбка, жест и полное соединение взглядами.

МАЛИННИК ЯКОБСОНА

I

Геннадий долго сидел на набережной, щурясь от солнца и задумчивого речного блеска, пока острая тоска внутренностей не заставила его снова встать и идти на ослабевших ногах. Требовательный, злобный голод подталкивал его вперед, к маленьким тесным улицам, где в окнах домов меланхолически пахло воскресными пирогами, маслом, изредка и легким спиртным дыханием подвыпивших обывателей.

Сплевывая, чтобы не так тошнило от голодной слюны, попадавшей в пустой желудок обильными, раздражающими глотками, Геннадий плелся в теневой стороне домов, стиснув за спиной веснушчатые, покоробленные трудом руки. Он был плюгав, тщедушен и неповоротлив; наивные голубые глаза сидели в его по-воробьиному взъерошенном, осунувшемся лице с выражением тоскливого ожидания. Он хотел есть, все его существо было проникнуто этой глубокой, священной мыслью. Рабочие, эстонцы и латыши, шли мимо него под руку с чисто одетыми женщинами и девушками.

«Жрали уже...» — завистливо подумал он, кряхтя от негодования.

Улица загибала вниз, к набережной, и Геннадий снова увидел воду, но не повернул обратно, а двинулся вдоль реки, по узкой полосе мостовой. Маленький, старинный городок отошел назад, навстречу попадались телеги, рыбачьи домики, лодки, плоты. Через две-три сотни шагов Геннадий остановился, присел на выдавшийся из глинистого откоса камень, свернул «собачью ногу» из махорки и хмуро плюнул в пространство.

Перед ним, переливаясь вечерним светом в зеленой полосе берегов, катилась река; у правого берега, разгружаясь и нагружаясь, стояли иностранные парусные корабли, паровые шхуны и барки. Свернутые паруса, реи, просмоленные, исцарапанные погрузкой борта дышали крепкой морской жизнью, свободой и тяжелым трудом и чем-то еще, похожим на затаенную тоску о далеком, всемирной родине, гармоничных углах мира, беспокойной свободе.

— За тридевять земель,— коротко вспомнил Геннадий.

Чужие страны развернулись перед ним, как противоположность его собственному, полуголодному существованию. Он представлял себе неимоверно тучные, бархатного чернозема поля, здоровеннейших, краснощеких людей, огромной величины коров, лоснящихся богатырей-коней, синее, аккуратно дождливое небо и отсутствие странников. Хозяева этой прекрасной страны ходили в ослепительно-ярком платье, не расставаясь с золотом.

Докурив, Геннадий тоскливо осмотрелся вокруг. Чужой город вызывал в нем легкую, тревожную злобу чистотой и уютностью старинных маленьких улиц; протянуть руку за милостыней здесь было почему-то труднее, чем в любом другом месте. Он встал, тихо, сосредоточенно выругался и зашагал по берегу с твердым решением попросить кусок хлеба у первого попавшегося окна.

II

Деревянный одноэтажный дом, к которому подошел Геннадий, стоял почти у самой воды. На кольях, возле небольших мостков, сушился невод; в окне, уставленном горшками с растениями, колыхались чистые занавески. На крыльце, у почерневшей, массивной двери сидел, покуривая английскую трубку, человек лет семидесяти, колоссального роста, одетый в кожаную, подбитую красной фланелью куртку и высокие сапоги. Лицо, изъеденное ветром и жизнью, пестрело множеством крепких, добродушных морщин, рыжие волосы, выбритая верхняя губа и умные зрачки серых глаз сделали его похожим на грубое стальное изделие, тронутое желтизной ржавчины.

— Здрасьте! — сказал Геннадий, угрюмо ломая шапку.

Старик кивнул головой. Геннадий натужился, вобрал воздуху и вдруг, жалко улыбаясь, сказал:

— Не будете ли так добры, Христа ради, кусок хлеба безработному? Верьте совести — не жравши два дня.

— Работай...— меланхолически произнес старик, пуская трубкой дым. Лицо его стало натянутым и рассеянным.— Работа есть, много работы есть.

— Игде? — с отчаянием воскликнул Геннадий.— Вот ей-богу, каждый так говорит, а поди достань ее.

Хлопок грузили малость, это верно, а опосля и затерло. И то есть, как я попал сюда — не приведи бог!

— Марта! — крикнул старик и по-эстонски прибавил несколько слов, в тоне которых Геннадий уловил спокойное приказание.— Ты из Питера?

Геннадий открыл рот, но в это время на крыльцо вышла круглая, быстрая в движениях девушка, с загорелыми босыми ногами, протягивая ему кусок хлеба и новенький монопольный грош. Он взял то и другое, хлеб сунул за пазуху, а грош повертел в руках и неловко зажал в ладони.

— Премного благодарствуйте,— сказал он, отойдя в сторону.

Старик молча кивнул головой, девушка смотрела вслед удалявшемуся Геннадию прямо и равнодушно. Свернув в ближайший, каменистый, вытянутый меж двух высоких заборов переулок, Геннадий торопливо присел на корточки и съел хлеб.

Полуфунтовый кусок мало утолил его вожделение; высыпав с ладони в рот быстро высохшие крошки, он встал, голодный не менее, чем десять минут назад. Новенький, красноватый грош тупо блестел в его задрожавших от еды пальцах; Геннадий скрипнул зубами и злобно швырнул монету в побуревшую от жары крапиву.

— Чухна рыжая,— сосредоточенно выругался он, облизывая припухлым языком сухие губы. Небо и десны ныли, натруженные сухой жвачкой.— Рыбу жрут, мясо... небось,— продолжал он, вспоминая невод и кур, бродивших у калитки.— Мужик... тоже!..

Саженный забор, торчавший перед ним острыми концами почерневших от дождя вертикальных досок, кой-где расходился узенькими, молчаливыми щелями. Низ их скрывался в репейнике и крапиве, середина зеленела изнутри, и изнутри же верхние концы щелей пылали нежным румянцем, словно там, в огороженном небольшом пространстве, светилось вечерней зарей свое, маленькое, домашнее, пятивершковое солнце. Геннадий прильнул глазом к забору, но не увидал ничего, кроме зеленой, красноватой каши. Угрюмое любопытство бездельника, которого раздражает всякий пустяк, подтолкнуло Геннадия. Осмотревшись, он подхватил валявшийся невдалеке кол, приставил его к забору и, подтянувшись на

длинных, цепких руках, выставился по пояс над заостренными концами досок.

Перед ним был малинник, принадлежавший, без сомнения, тому самому старику эстонцу, с которым он разговаривал десять минут назад. Внутренний фасад дома горел в низком огне вечернего солнца отражением стекол, яркими цветами, рассаженными по длинным, полным сочного чернозема ящикам, и путаницей кудрявых вьюнков, громоздившихся на водосточные трубы. Все остальное пространство высокого заграждения рябило багровым светом наливающейся малины.

— Госпожа ягодка! — умилился Геннадий, и в сердце его дрогнуло что-то родное, крестьянское, в ответ безмолвному голосу этого взлелеянного, выхоленного, как любимый ребенок, крошечного куска земли. Он пристально рассматривал отдельные, рдеющие на солнце ягоды, и челюсти его сводило от сладкой, кисловатой слюны.

III

Геннадий спрыгнул и отошел в сторону. Малинник, пылающий ягодами, стоял перед его глазами; сквозь серый забор, заросший со стороны переулка крапивой и одуванчиками, мерещились ему пышные, высокие лозы, рассаженные на одинаковом расстоянии друг от друга, и зубчатая листва, обрызганная красным дождем. Вершины лоз, заботливо подвязанных, каждая отдельно, суровой ниткой к высоким кольям,— соединялись над узкими проходами, образуя длинные своды из переплета стеблей, освещенных листьев и ягод. На разрыхленной, чисто выполотой земле тянулся дренаж.

Геннадий взволнованно переступил с ноги на ногу. Древний огонь земли вспыхнул в нем, переходя в глухой зуд мучительной зависти. Бесконечные, оплаканные пóтом поля, тощие и бессильные, как лошади голодной деревни,— выступили перед ним из вечерних дубовых рощ. Соломенные скелеты крыш, чахлые огороды, злобная печаль праздников и земля — милая, грустная, больная, близкая и ненавистная, как изменяющая любимая женщина.

— Эх-ма! — угрюмо сказал Геннадий.— Чухна проклятая!

Расстроенный, он вновь подошел к забору. Бесконечно враждебным, похожим на издевательство, казался ему этот клочок земли; мужик выругался, стукнул кулаком в доску, ушиб пальцы и побледнел.

Это не было пламенное бешенство оскорбленного человека, когда, не рассуждая, не останавливаясь, совершает он, охваченный яростью,— все, что подскажет закипевшая кровь. Холодная, нетерпеливая злоба руководила Геннадием, неопределенное, мстительное настроение, где голод и одиночество, брошенный кусок хлеба и чужой, мужицкий достаток смешивались в тяжком чувстве заброшенности. Трусливо озираясь, Геннадий вскарабкался на забор, тяжело спрыгнул и очутился в зеленой тесноте лоз.

Пряная духота, тишина, полная предательского внимания, и легкий шум крови привели его в состояние некоторого оцепенения. Присев на корточки, он с минуту прислушивался к дремотному дыханию сада, ощупывая глазами пятна теней и света; отдышался, шмыгнул носом и, убедившись, что людей нет, прополз в глубину. Оборванный, исхудавший, трясущийся от ненависти и страха, он напоминал крысу, облитую светом фонаря во тьме погреба. Еще что-то удерживало его руки, словно упругий лесной сук — идущего человека, но, понатужившись, мужик встал, поднял ногу и сильно ударил подошвой в ближайший кол.

Стебли, затрещав, вытянулись на земле. Стиснув зубы, Геннадий бросился всем телом в кусты, топча, ломая, выдергивая с корнем, скручивая и вихляя листья; брызги свежей земли летели из-под его ног и с корней выхваченных растений. Дух разрушения, близкий к истерическому припадку, наполнял его дрожью сладострастного исступления. Перед глазами кружился вихрь, пестрый, как лоскутное одеяло, через две-три минуты малинник напоминал вороха разбросанной, гигантской соломы. Пошатываясь, потный от изнурения, мужик подошел к забору. Спину знобило, усиленные скачки сердца расслабляли, перебивая дыхание. Заторопившись, он стал карабкаться на забор, срываясь, подскакивая, шаркая ногами по дереву; но через мгновение увидел рыжую голову Якобсона, вытянул вперед руки и замер.

Эстонец постоял на месте, раскачиваясь, как мед-

ведь, и вдруг положил ладони на плечи Геннадия. Горло старика клокотало и всхлипывало, как у человека с падучей, он хотел что-то сказать, но не смог и бешено обернулся к искалеченным кустам сада. Тогда Геннадий увидел, что рыжие вихры Якобсона тускнеют. На голову старика садилась таинственная, белая пыль: он быстро седел. Тягучий ужас раздавил мужика.

— Ты что делал? — хрипло спросил эстонец.

— Пусти! — взвизгнул Геннадий, подымая руки к лицу. Но его не ударили. Железные, пытливые пальцы давили плечи так, что болела шея.

— Ты ломал! — сказал шепотом Якобсон. От горя и волнения он не мог вскрикнуть и судорожно мотал головой.— Что будем делать теперь?

«Убьет!» — подумал Геннадий, тоскливо следя за прыгающими зубами эстонца. Мужику захотелось забыть, убежать вон, уткнуться лицом в землю.

— Я работал,— продолжал Якобсон,— десять лет. Ты приходил. Ты просил хлеба. Я дал тебе хлеб. Зачем был неблагодарным и ломал?

— А вот и ломал! — почти бессознательно, срывающимся голосом произнес Геннадий.

Отчаяние толкало его к вызову.

— Бей! Что не бьешь? Ломал! Э-ка! Чухна проклятая!

Загнанный, он озверел и теперь готов был на все. Пересохший язык бросил еще одно бессмысленное ругательство. Но не Якобсона хотел оскорбить он, а все, что появилось неизвестно откуда, рядом с обездоленной пашней, первобытным веретеном и мякиной: город, господа, книги, звон ресторанного оркестриона — неведомыми путями соединились в его сознании с нерусским, выхоленным куском земли. Но он не смог бы даже заикнуться об этом.

Старик согнулся, и вдруг голова его куда-то исчезла. В тот же момент Геннадий задохнулся от сотрясения, увидел под собой край забора, вверху — небо и грузно шмякнулся в переулок, затылком о камень. Багровый свет брызнул ему в глаза; он вскрикнул и потерял сознание.

Через полчаса он очнулся и сел, покачиваясь от слабости. Острая боль рвала голову. Поднявшись, мужик нащупал дрожащими пальцами висок, мокрый от кро-

ви, и заплакал. Это были теплые, злые слезы. Он плакал, неведомо для себя, о беспечальном мужицком рае, где — хлеб, золото и кумач.

ЦИКЛОН В РАВНИНЕ ДОЖДЕЙ

I

— На запад, на запад, Энох! Смотрите на запад! — прокричал Кволль, стремительно проносясь мимо. Его белый парусиновый пиджак вздувался на спине пузырем от ветра, с ровным, унылым гудением стлавшегося по полю. Дрожки Кволля подпрыгивали, как угорелые, и чуть не опрокинулись, зацепившись за глубокую колею.

Почти в тот же момент Кволль, дрожки и лошадь скрылись в облаках едкой, красноватой пыли, поднятой копытами. Энох вытер рукавом пот и поднял голову; то же, но быстрее его, сделали два сына его, работавшие с ним.

— Жип,— сказал фермер,— кто кувыркался тут по дороге и кричал, что надо смотреть на запад?

— Кволль, отец,— ответил Жип, бросая лопату.— И он прав, в другой раз за деньги не увидишь того, что теперь делается. О-ох! — вскричал он,— да, это плохие шутки!

Три пары широко раскрытых глаз устремились к закату, и три вздоха соединились в один.

Солнце стало неярким. Низко над горизонтом, тускло и мрачно смотрело оно на желтую кукурузу Эноха; невидимая тяжесть ложилась от его красного диска на струящееся море стеблей, и низкие, как отколовшиеся пласты неба, облака приняли красный оттенок меди. Западная часть неба покраснела и стала мутной, словно за сто миль обрушились миллионы возов кирпичного щебня. Свет исчез: прямой, лучистый свет солнца превратился в прозрачную, красноватую муть, мгновенно лишая красок яркую зелень придорожных канав, ставших вдруг серыми, словно их облили купоросом. Затих ветер, земля, пропитанная удушьем, молчала. Отчаянно голося, хохлатый удод взлетел вверх, забил крыльями и пустился наперерез поля.

— Риоль! — сказал младшему брату Жип,— я как будто рассматриваю тебя сквозь красное стекло.

Энох, покрытый смертельной бледностью, с проклятием поднял руки и взмахнул сжатыми кулаками. Все кончено! Труды целого лета, постоянное беспокойство, мечты о прикупке земли — все превратится в вороха смятой соломы и обломки изгородей. Ну-ну! Он не ожидал этого.

Закат неудержимо притягивал его гневные, испуганные глаза. Отвратительный, красный пожар неба напоминал чью-то огромную, поднятую для удара ладонь.

Риоль тяжело вздыхал, судорожно почесывая затылок. Ноздри у Жипа бешено раздувались, он пристально посмотрел на отца и коротко рассмеялся. Фермер побагровел.

— Идиот! — заревел он.— Улыбнись-ка еще!

Жип стиснул зубы. Трепет, похожий на зуд и смех, проникал во все его существо. Его горе, мучившее его бессонницей и тяжелыми ночными слезами, казалось, нашло себе выход в притаившемся неистовстве атмосферы. Он не боялся, а наоборот, замер в бессознательном ожидании немедленного и грозного разрешения.

— Марш домой!— проворчал старик.— С богом плохие шутки. Это за грехи, слышишь, Риоль?

Охваченный отчаянием, он сразу осунулся и медленно шагал с непокрытой головой по дороге, изредка останавливаясь, чтобы бросить на запад взгляд, полный тоски и страдания. Риоль шел следом, испуганный, молчаливый; Жип замыкал шествие.

В полях, заворачивая и свивая метелками верхушки кукурузных стеблей, уже крутились маленькие, сухие вихри. Восток тонул в ранних сумерках, и сумрачно скрипели деревья, кланяясь обреченным полям.

— Риоль,— сказал Жип,— ты, конечно, поспешишь к Мери? Передай ей, что я озабочен ее участью не менее, чем своей. Всем нам грозит смерть

Юноша с тоской посмотрел на брата.

— Ее не тронет,— убежденно проговорил он.— Мы — другое дело. Мы, может быть, заслуживаем наказания. А она?

— Риоль,— быстро проговорил Жип,— ты знаешь — мне весело.

Риоль вспыхнул. Поведение брата казалось ему предосудительным.

— Веселись,— сдержанно сказал он, прибавляя шагу, потому что налетевший порыв ветра толкнул его в спину.— Мне жалко людей. Жип,— что будет с ними?

— Ничего особенного. Поотрывает головы, снесет крыши.

— Жип! Безбожник! — закричал Энох, оборачиваясь и потрясая заступом: — Я проломлю тебе череп и наплюю на то, что ты мне сын! Какой черт вселился в тебя?

— Бежим! — простонал Риоль.— Бежим. Слышите, слышите?!

Далекий ревущий гул обнял землю. Энох остановился, ноги его подкосились и задрожали. Ему казалось, что тысячи поездов летят изо всех точек горизонта к центру, которым был он.

— Бежим! — подхватил он.

И все трое пустились стремглав к видневшейся невдалеке крыше фермы, дыша, как загнанные, очумелые лошади.

II

Первый удар циклона со стоном и лязгом рванул землю, замутив воздух тучами земляных комьев, сорванными колосьями и градом мелкого щебня. Ревущая ночь слепила, валила с ног, била в лицо. Жип лег на землю ничком и некоторое время пытался сообразить, в каком направлении лежит ферма. Затем, сдвинув на лицо шляпу, решил, что лучше и безопаснее остаться пока здесь, в поле, где нет стен и твердых предметов.

— Отец! Риоль! — вскричал он, пытаясь рассмотреть что-нибудь.

Разноголосый вой бешено прихлопнул его слова, точно это был не крик человека, а стон мухи. Крутящаяся тьма неслась над спиной Жипа. Он встал, повинуясь безумию воздуха и чувствуя, что неудержимое возбуждение организма толкает его двигаться, кричать, что-то делать. Но в тот же момент, как подстреленный, хлопнулся в дорожную пыль и покатился волчком, инстинктивно защищая лицо. Идти было немыслимо. Он лег поперек дороги, упираясь то ногами, то руками, в

то время, как вихрь перебрасывал его по направлению к ферме.

Так прошло несколько минут, после которых все тело Жипа заныло от ссадин и ударов о почву. Временами он думал, что наступает конец мира, все умерли и только он, Жип, еще борется с безумием воздуха. Попав в канаву, Жип заметил, что циклон несколько ослабел. Быть может, то был случайный, ничего не значащий перерыв — трагедии, но ветер дул ровно, с силой, не угрожающей пешеходу смертью или полетом в воздухе.

Жип сделал попытку — встал и, с усилием, но устоял на ногах. Вихрь гнал его вперед, не давая остановиться. Он пробежал несколько саженей и с размаха ударился локтем о что-то твердое. Быстрее молнии другая рука Жипа обвилась вокруг невидимого предмета: это был столб или дерево.

— Улица,— сказал Жип, задыхаясь от вихря.

Теперь его самым мучительным желанием было отыскать Мери живую или лечь рядом с ее трупом. Жип побежал в сторону, тыкаясь о разрушенные стены; непонятная, почти ликующая ярость руководила его движениями. Это было временное безумие, восторг ужаса, но все совершающееся вокруг казалось Жипу давно ожидаемым и почему-то необходимым.

— Мери! — кричал он, падая и вскакивая,— Мери! Риоль!

III

Катастрофы полны неожиданностей, и крутящая сумятица ощущений в сердцах людей не дает им времени вспомнить впоследствии фактическую цепь событий, потому что все — земля и небо, и ум, потрясенный бешенством окружающего,— одно.

Тьма бледнела. Вся мелочь, весь земной мусор, труды людей, превращенные в грязный сор, пронеслись и очистили воздух, ставший теперь серым, как лицо больного перед лицом смерти. Прежняя сила воздуха густела над опустошенной равниной, и облака, не поспевая за ветром, рвались в клочки, как паруса воздушного корабля, гибнущего на высоте.

Жип перешагнул кучу бревен; помутившиеся глаза его остановились на лице Мери. Она сидела на корточ-

ках, прижавшись к уцелевшей части стены, Риоль сидел возле нее, прижавшись к коленям девушки, как зверь, ищущий защиты.

— Остатки людей, остатки имуществ! — прокричал Жип, нагибаясь к Риолю.— Все кончено, не так ли, Мери? Все кончено.

— Все кончено! — как эхо отозвалась девушка.

— Мери,— продолжал Жип,— уйдем отсюда! Я пьян сегодня, пьян воздухом и не знаю, слышишь ли ты меня, потому что мой голос слабее бури! Брось этого размазню Риоля! Мы построим новый дом на новой земле.

— Ты — сумасшедший! — сказал Риоль, расслышав некоторые слова Жипа.— Пошел прочь!

— Мери! — продолжал Жип.— Я не знаю, что делается со мною, но я нисколько не стыжусь братца. Я при нем говорю тебе: когда он еще не целовал твоих рук, я любил тебя!

— Жип! — тихо сказала Мери, и Жип почти прижался щекой к ее губам, чтобы расслышать, что говорит девушка.— Жип, время ли теперь заводить ссору? Мы можем умереть все. Все разорены, Жип!

Жип прислонился к стене. Из груди его вырывалось хриплое, отрывистое дыхание, разбитый, осунувшийся, с кровавыми подтеками на лице, он был страшен. Но в душе его совершалось странное торжество: обойденный любовью, этот угрюмый парень радовался разрушению. В отношении его была явлена справедливость,— он понимал это.

— Кволли, Томасы, Дриббы и им подобные! — кричал он, приставляя руку ко рту: — Да, я давно знал, что пора это сделать по отношению ко всей этой дряни! Кто смеялся на похоронах Рантэя? Кто ограбил мать Лемма? Кто сделал подложные свидетельства на аренду Бутса и выудил у него процессами все денежки? Кто довел до чахотки Реджа? Послушайте, есть справедливость в ветре! Я рад, что смело всех, рад и радуюсь!

Он продолжал бесноваться, притопывая ногой в такт словам. Девушка плакала.

Риоль вынул револьвер.

— Жип,— сказал он,— уйди. Ты враг нам. Уйди или я застрелю тебя. Сегодня нет братьев — или друзья, или враги. Уйди же!

— Жип! Риоль! — воскликнула Мери.

Новая туча каменного града, сухих веток и стеблей кукурузы обрушилась на головы трех людей. Жип вынул револьвер, в свою очередь.

— Если это правда,— прокричал он,— то я ведь никогда не был неповоротливым! Сегодня все можно, Риоль, потому что нет ничего, и все стали, как звери! Прочь от этой девушки!

Мери встала, белая, как молоко.

— Убей и меня, Жип,— сказала она.

— О — ах! — вскричал Жип: — Люби мертвого!

И он выстрелил в грудь Риолю. Юноша повернулся на месте, затрясся и медленно упал боком. В тот же момент худенькая рука Мери с силой ударила Жипа по лицу, и он взвыл от ярости.

— Пусти же, подлец! — сказала девушка.

Но он уже ломал ее руки, притягивая к себе, приведенный в неистовство кровью, лязгом циклона и беззащитным девичьим телом. И вдруг, как разбежавшийся тапир, сраженный ядом стрелы,— упал вихрь. В воздухе еще кружилась солома, пыль, щепки, но все это падало вниз подобно дождю Настала гнетущая тишина.

Жип вздрогнул и выпустил девушку. Это было ощущение чужой руки, опущенной на плечо. Закачавшись, с внезапной слабостью во всем теле Жип выбежал на дорогу.

Он увидел взлохмаченные, исковерканные, обезображенные поля, снесенные крыши, жилища, развалившиеся по швам, как ветошь; домашнюю утварь, разбросанную в канавах, сломанные деревья; одинокие фигуры живых.

И только что пережитое хлынуло в его душу тоскливой жалобой небу, земле и людям.

КСЕНИЯ ТУРПАНОВА

I

Жена ссыльного Турпанова, Ксения, оделась в полутемной прихожей, тихонько отворила дверь в кладовую, взяла корзину и, думая, что двигается неслышно, направилась к выходу. Из столовой вышел Турпанов.

Ксения смущенно засмеялась, делая круглые невин-

но-виноватые глаза и наспех соображая, как обмануть мужа. Но он уже увидел корзинку.

— Куда ты, Ксенюшка? — спросил хорошо выспавшийся Турпанов.

— Я — в лавочку... муки надо и соли.— Она открыла дверь, но муж схватил ее за руку и стал целовать в ухо.

— Не надо муки, не надо соли,— проговорил он,— на дворе сыро, слякоть.

— Я резиновые надела,— сказала молодая женщина.— Пусти меня.

— Пошли девушку.

— Но я не могу без свежего воздуха, мне надо гулять, я засиживаюсь.

— Ну, иди, иди,— лениво сказал Турпанов, расчесывая бороду гребешком.

Ксения кивнула головой и сбежала по лестнице. На дворе ей встретился Кузнецов. Это был круглоголовый, серый, семинарского типа человек, лет под тридцать, в рыжем драповом пальто, скучный и нездоровый.

— Дома Влас Иванович? — спросил он, вяло здороваясь, и, получив утвердительный ответ, поднялся наверх.

— Раздевайтесь,— сказал Турпанов.— Жену видели? Что нового?

Кузнецов хмыкнул, потирая озябшие руки, долго смотрел в глаза Турпанову и, словно очнувшись, скинул пальто.

— А? Нового? — сказал он.— Ничего нового нет. Я спрашивал у мужиков, когда река встанет. Никто ничего не знает. Лет тридцать, говорят, такой зимы не было. Теперь ведь шестое. А?

— Да, шестое ноября.— Турпанов расстегнул воротник сорочки, выпятив круглую, белую, волосатую грудь, и стал растирать ее ладонью.— Я хорошо выспался. Надоело сидеть на острове.

Поздняя северная зима сильно угнетала жителей Тошного острова. Река медлила замерзать; легкое ледяное сало, а потом более крупный, сломанный оттепелями лед плыл, загромождая русло грязно-белой коркой; по временам льдины скоплялись у берегов, примерзали, и вода затягивалась стекловидным полувершковым льдом; он держался ночь, а утром таял, дробился и уплывал в море. Маленькие пароходы, бегавшие летом из города к

острову и обратно, постепенно перестали ходить совсем. Тошноостровцы вздыхали о санной дороге и маялись.

— Пароходы больше не пойдут, я думаю,— сказал Турпанов.— А хорошо бы в город попасть Пообедать в ресторане, сходить в кинематограф, даже просто пройтись по улицам.

— Глафира Федоровна вчера мужа за обедом ругала,— захохотал Кузнецов,— я даже в тарелку прыснул. «Дурак, идиот, скотина», а он сидит и краснеет. Вчера зашел к Меркулову; он сидит и бьет себя по коленке молоточком — купил специально молоточек. На одной ноге стоял,— забавно смотреть. Сухотку спинного мозга отыскивает.

— Значит, все по-старому,— усмехнулся Турпанов.— А в табурлет сыграем?

Расположившись в одной из трех комнат турпановской квартиры, они сыграли несколько партий. Выиграл Кузнецов. Карты скоро надоели. После унылого молчания, во время которого каждый думал о своем, куря папиросу за папиросой, Кузнецов встал и собрался идти обедать. Посещение им Турпанова не имело другой цели, кроме потребности потолкаться в чужом доме; это было обычное бестолковое, хмурое хождение ссыльных друг к другу На острове, в деревне их было семь человек, они жили замкнуто, хотя и виделись часто, говорили о пустяках и втихомолку сплетничали. Ксения не была ссыльной, она приехала к мужу с юга. Жизнь на севере казалась ей тоскливой и мрачной.

II

Короткий ноябрьский день переходил в сумерки. Трехверстная ширина реки убегала в редком тумане к смутным контурам городских зданий, церквей и зимующих у набережной морских пароходов; издали, с острова, все это казалось зубчатой тоненькой лентой. Медленно плыл, кружась, грязный, изрытый дождями лед; на льдинах сидели вороны; сиплое карканье их надоедливо будило тишину. У дамбы, среди обмелевших лодок, стояли мужики; большой карбас, спущенный на воду, тыкался кормой в камни. Мужик без шапки, растрепанный, под хмельком, кричал:

— Кладь тащи, Емельян, да доски, доски приволоки, ловчае!

Мужик, стоявший на дамбе, отчаянно махал руками в сторону переулка, откуда, медленно потягивая сани с грузом, осторожно, чтобы не оступиться на гололедице, выступала пегая лошадь. Рядом с лошадью шел высокий, кривоплечий старик без седины, с темным лицом.

— Привороти корму,— закричал он,— таскай, сто пудов взял, шестеро вас поедет, али как?

— Все тут,— сказал мужик без шапки и, широко расставляя ноги, потащил зашитый в рогожу ящик. Это были сельди из коптильни высокого старика Татарьина. Он поставлял их в городские рыбные лавки.

Остальные, скупо и медленно шевелясь, как во сне, поснимали с саней груз, закладывая им середину карбаса. Борта сели почти вровень с водой. Гора ящиков, прикрытая рогожей, разделяла корму от носа. Молодой парень в желтой клеенчатой винцероде принес две длинные тесовины,— переходить, если понадобится, лед у городского берега.

— Степан Кирилыч, увезите и меня, пожалуйста,— сказала, проходя, Ксения.

Татарьин обернулся. Он был хозяин дома, в котором жили Турпановы.

— Садись, барыня, увезу,— деловито сказал он, шлепая сапогами по луже.

Мужики, бросив работу, тупо смотрели на барыню; один, неизвестно почему, ухмыльнулся, почесав за ухом. Ксения спустилась к воде. Мутно-желтая пена двигалась вдоль карбаса, шурша льдом. Маленькая, темно-русая женщина слегка боялась этой суровой воды, утлого карбаса, загадочных мужиков, льдин, серого неба, но в то же время боязнь приводила ее в легкое восхищение. Ей казалось, что плыть на карбасе совсем не обыкновенное дело, которым сотни лет, изо дня в день, занимается население, а такое же загадочное и новое, как, например, дрессировка змей. Самое себя она чувствовала теперь тоже не балованной городской женщиной, а новой, расположенной к мужикам и мужицкому Ксенией, которую мужики не могут только видеть, а если б увидели, то загалдели бы в ее присутствии, не стесняясь.

В то время, когда она, смотря на карбас и реку, думала, что все готово и можно ехать, мужики действительно загалдели все сразу, и нельзя было понять, в чем дело; тон голосов их заставил бы непривычного че-

ловека подумать, что случилось что-то такое важное, что ехать совсем нельзя. Покричав, все, однако, успокоились и начали размещаться. Четверо сели на носу, в весла, один — на корме; Татарьин подошел к Ксении, говоря:

— Садитесь, барыня, на скамеечку.

Ксения ступила одной ногой на борт, ожидая, что от этого карбас сразу наклонится и черпнет воды, но судно почти не шелохнулось. Татарьин бросил на сиденье кусок брезента; в карбасе было тесно и сыро.

— Садитесь вот, посушее. Поехали. С богом!

III

Татарьин держал руль. Короткий плеск четырех весел мерно удалял карбас от берега. Черные кучи домов отходили в сторону и назад. Ксения сидела лицом к корме, плотно обтянув юбкой ноги; ей было слегка холодно и чуть-чуть страшно. За ее спиной и за грудой ящиков невидимые гребцы о чем-то говорили вполголоса; разговор их был отрывист и глух. «О чем бы таком интересном подумать?» — мысленно произнесла Ксения. Но мысли были только о том, что непосредственно относилось к настоящему положению. Она думала, что муж будет в большом недоумении, узнав об ее поездке, пожалуй, обеспокоится, а потом, когда завтра она вернется,— обрадуется и удивится. Она любила его сильной, думающей любовью. «Такой большой и славный, очень милый»,— мелькнуло в голове Ксении.

Дул ровный, холодный ветер; мужики умолкли, а Татарьин, изгибаясь во все стороны, рассматривал проходящий лед, и Ксении казалось, что мужики не разговаривают потому, что ее присутствие их стесняет. От этой мысли ей стало неловко, она спросила более громко, чем было нужно:

— А сегодня назад поедете?

— Там видно будет,— сказал Татарьин и, помолчав, прибавил: — Из Заостровья попадать плохо теперь...

— Из Заостровья?

— Плохо попадать,— продолжал мужик, очевидно, следуя своим мыслям.— Попажа плохая. Сала там понаперло, вот что. А с Кикосихи ездиют, вчера мясо везли хорошо, слободно.

Водяное пространство, казавшееся раньше загроможденным льдом, теперь, когда карбас плыл по середине реки, немного очистилось. Только у городского берега стояла ровная, белая полоса. Сырой ветер знобил, студил ноги; Ксения, не выдержав, встала, переминаясь и подергивая плечами.

— Озябли, хе-хе! — сказал гребец с мочальной бородкой.— Город уже недалеко, чаю попьете.

Татарьин, меж тем, разговорившись, тянул низким, негромким голосом рассказ о том, как шесть лет назад плыл из Соломбалы с пикшуем, а отец лежал пьяный и захлебывался водой, хлеставшей через борт.

— Нахлебался, протрезвел маленько,— сказал коптильщик,— и в ухо мне как звизданет: «Ты, говорит, Хам, а я Ной, отец я твой, ты это чувствуй» — однако, свалился опять, вот какие дела.

Ксения слушала, смотря на серую, длинную воду, уходившую к далеким берегам Заостровья и Тошного хмурым простором. Большие льдины, покрытые снегом и грязью, текли к морю; некоторые из них, шипя, ползли у самого карбаса. Сумеречный узор города показался вблизи, дома и пароходы как будто вырастали, подымаясь из воды. Ехали уже около часа, у Ксении окоченели руки; сзябшаяся, боясь пошевельнуться, чтобы не озябнуть еще больше, она тоскливо посматривала на берег, мечтая выскочить из неуклюжего карбаса, пробежаться по улице, согреться, зайдя в магазин.

Карбас плыл теперь в рыхлом береговом льду, на носу стоял мужик, раскачивая суденышко; карбас, переваливаясь с боку на бок, давил своей тяжестью лед; льдины, хрустящие, перемешанные как хлеб, накрошенный в молоко, спирали борта, гребцы отталкивали их баграми, крича: «Ну еще, Василий, обопрись ловчае, оттяни назад, не мешкай, дьявол, в русло попадай, норови, норови еще!» Карбас медленно и шатко скользил к пристани; наконец обмерзшие мокрые ступени каменного трапа поплыли у ног Ксении. Татарьин дернул багром, и карбас остановился.

— Вылезайте! — сказал он, помогая окоченевшей женщине. Она поднялась на пристань и улыбнулась от удовольствия.

— А назад скоро? — Ксения порывалась бежать, мужики, уложив багры, таскали селедку.

— Не мешкайте уж, барыня,— сказал коптильщик,— дотемна ехать надо.

Ксения, порывшись в кошельке, сунула ему тридцать копеек. Мужик охотно и быстро спрятал в карман, говоря: «Ну что, стоит ли, благодарим вас». Уходя с пристани, молодая женщина долго еще слышала шорох льдин, быстрый плеск весел и ровный гул ветра.

Возвратившись через час, нагруженная покупками, резавшими ей пальцы петельками тонких бечевок, усталая и запыхавшаяся, она не увидела ни мужиков, ни карбаса. Два других, причаленные в том же месте, были пусты, покачивались, и на дне их, жулькая и почмокивая, переливалась накопившаяся вода. Было почти темно, глухо и ветрено.

IV

Турпанов, после ухода Кузнецова, вспомнил, что жены долго нет, оделся, прошел к лавочке, увидел за стойкой мужика, рассматривающего картинки старых журналов, и спросил:

— Жены моей не было у вас?

— Нету,— сказал мужик,— не приходили.

«Что за черт,— подумал Турпанов,— не ушла ли она к Антоновым?» Но, тут же вспомнив, что жена Антонова давно в ссоре с ним из-за спора о «самоценности жизни», оставил эту мысль и прошел на берег. Из казенки шел парень с двумя четвертями под мышкой, трезвый, деловито посматривая на бутылки.

— Голубчик,— спросил Турпанов,— не видал ли ты барыню в белой шапке? Это моя жена,— прибавил он, думая, что так парню будет понятнее, зачем он об этом спрашивает.

— В белой? — переспросил парень.—Это Турпаниха, стало быть... видел никак супругу вашу,— поправился он,— на татарьинском карбасе давеча проехали в город, верно они, глаз у меной такой... приметливый.

Турпанов пожал плечами, покачал головой и, обеспокоенный, подошел к воде. В темнеющей дали, шурша, двигался невидимый лед, свистел ветер.

«Ну, Ксения,— подумал Турпанов,— зачем это?» Неужели правда? Ни вчера, ни сегодня между ними не

было разговора о необходимости ехать. С почты, кроме газет, нечего было ожидать, знакомых в городе не было. «Ксения, что же это? — твердил Турпанов.— А вдруг утонет... нет, пустяки... а вот простудится, сляжет, хрупкая»... И почему-то обманула его.

Ничего не понимая и начиная от этого слегка раздражаться, Турпанов медленно двинулся по дороге среди голых зимних кустов к мысу. Черные вечерние избы глухо проступали слева, среди замерзших полей; огонек спасательной станции горел высоко на мачте меж тусклых звезд. Мысли о Ксении, доехала ли она и когда вернется, преследовали Турпанова.

Он вдруг ясно и живо представил ее, бесшумную, иногда грустную молчаливо, подчас веселую тем внутренним, смеющимся, тихим и невнным весельем, которое непременно в конце концов передавалось ему, как бы он ни хандрил.— «Ах ты, славная Ксеничка»,— сказал Турпанов, с удовольствием чувствуя, что любит жену, и вспомнил, что ему часто приходила в голову мысль: любит ли он ее.

«Вот странно, даже дико,— подумал он,— как же не люблю?» И опять стало страшно, что она утонет. Сам он чрезвычайно боялся воды, и ко всему, отмеченному риском, к рекам, лесу, охоте и оружию, относился с брезгливым недоумением интеллигента,— полумужчины, неловкого, головного человека.

— Сегодня приедет, как же иначе,— вслух сказал Турпанов.— Жена сбежала! — шутливо усмехнулся он. И вспомнил, что у Меркулова действительно убежала жена, не вынеся бедности в ссылке с мужем-истериком. Турпанов старался представить, могла ли бы сделать то же самое его Ксения. Вопрос этот интересовал его, но не беспокоил, отношения их были ровные и заботливые. «Мы все-таки с ней разные,— мои идеалы, например, чужды ей». Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными, а остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцовавшейся картине.

«Да, Ксения... человек внутренне свободный,— размышлял, прогуливаясь, Турпанов,— а все-таки...» Что

«все-таки»,— он хорошенько не знал. На языке сбивчивых туманных мыслей его — это выражало животное чувство превосходства мужчины. Она спорила редко, а если спорила, то утверждала всегда что-нибудь шедшее вразрез со всеми его установившимися понятиями, и было видно, что высказанное принадлежит ей. «Пожалуй, я не знаю ее,— подумал Турпанов,— и не надо знать, так лучше, может быть, она просто недалекая, но добрая».

Он перешел дорогу, думая повернуть назад, как вдруг заметил двигающийся, неясный силуэт человека, идущего навстречу Очертания фигуры показались ему знакомыми. Через минуту он поклонился и обрадовался. Это шла Марина Савельевна Красильникова, ссыльная, вдова убитого на войне офицера; на Тошном ее звали попросту Мара. Турпанов разглядел ее улыбку, выразившую веселье и зябкость Полная, белокурая и высокая, она в темноте казалась стройнее и меньше.

— А, здравствуйте.— более бодрым, чем всегда, голосом сказал Турпанов.— Вы гуляете?

— Да вышла пройтись. А вы?

— Тоже. Я провожу вас,— сказал Турпанов.— Знаете, жена в город уехала. И не предупредила. Я вот хожу и ломаю голову: зачем?

— Ну, по хозяйству что-нибудь, а вы беспокоитесь?

— Нет, зачем же...— Турпанов перебил себя: — Ну что, как дни вашей жизни?

— А вот скоро срок мой оканчивается,— радостно и серьезно заговорила Мара.— Вы, бедняжки, будете здесь сидеть, а я уеду. Уеду,— повторила она, как бы стараясь полнее представить прелесть освобождения.— В Москве остановлюсь на месяц; там ведь у меня, знаете, знакомства... Два года жизни убито. Теперь догоняй! И догоню...

— Вы можете,— медленно произнес Турпанов, сбоку оглядывая женщину. Она шла рядом с ним, на одном и том же небольшом расстоянии. Про нее ходили смешные и раздражающие сплетни, а сослали ее за дело о каком-то партийном спектакле. Турпанов сказал:

— Рисковать будете?

Мара сдержанно засмеялась.

— О, нет! Довольно с меня. По горло сыта!

— Вы откровенны.

— И вы будьте таким.— Она посмотрела на него внимательно, строго.— Актеры вы все, и плохие, плохенькие. Ну, чего там? Какая еще революция? Живы — и слава богу.

— Позвольте же, Мара,— начал было Турпанов, но вдруг убедительно и просто почувствовал, что спорить, а тем более горячиться не о чем.— «Все это странно, однако,— подумал он,— неужели я..,— но об этом не хотелось даже думать.— Доступна, или недоступна?— глухо подумал он.— Ну и свинья я, а Ксения?»

— Ваша жена сегодня приедет?

— Не знаю,— сказал Турпанов,— а вот что интересно!.. Да, она не приедет, конечно, уже темно и ветер. В гостинице переночует, я думаю... Так интересно, я говорю, вот что: в молодости мы треплемся черт знает как, и теперь...

— Ну, и что же? — усмехнулась Мара.

— Да все равно.— Ему хотелось изменить разговор в легкую и двусмысленную игру словами, но он не мог уловить подходящего момента. В том, что жена уехала, а он идет с нравящейся ему женщиной и не знает ее отношения к себе, было что-то жестокое и приятное.

— Слушайте,— сказал вдруг Турпанов, втягиваясь в это немного хмельное, немного лукавое настроение,— а пойдемте ко мне. Вы ведь у меня никогда не были,— повторил он, вспомнив, что Мара лишь две недели переведена на остров из уездного города,— а у меня хорошо, городская квартира. Ну, как? Есть конфекты.

— Если есть конфекты,— помолчав, сказала Мара,— завернем. Только я ненадолго. А что у вас хорошая квартира, то этим меня, знаете ли, не удивишь.

— Да разве я хотел вас удивить?

— Ну, не хотели, а подумали.

— Глупости,— сказал Турпанов, сердясь на то, что действительно это подумал.— Налево в переулочек.

У крайней избы села, видя, что Мара нерешительно ступает по льду лужиц, он хотел взять ее под руку, но почему-то не сделал этого. Они подошли к дому, где жил Турпанов. Крутая, темная лесница вела наверх; женщина оступилась, Турпанов поддержал ее неловко за локоть, теплый и упругий, и заметил это; и от этого стало душно. Чиркнув спичкой, Турпанов отворил дверь, стоя возле Мары и тупо следя за движениями ее

рук, сбрасывающих пальто; огонь подошел к пальцам, обжег их; Турпанов взял другую спичку, а женщина засмеялась.

— Что же вы, зажгите лампу,— сказала Мара,— или в темноте будем сидеть?

— Виноват! — Он бросился в столовую и, сняв зеленый колпак лампы, осветил комнату. Мара села к столу, оглядываясь, держась как бы принужденно, Турпанов стоял. Он вдруг забыл, что нужно что-нибудь говорить, занимать гостью, или вызвать ее самое на разговор; грудь, шея и руки женщины, ее полное, овальное, затаенно-дерзкое лицо путали все мысли Турпанова; трусливое волнение наполняло его; он сделал усилие, остыл и, подойдя к буфету, вынул коробку.

— Пожалуйста, прошу вас,— сказал Турпанов, стараясь быть просто корректным, но, против воли, сердце стучало быстрыми, замирающими толчками.

— Эта комната вашей жены? — громко, шелестя конфектной бумажкой, спросила Мара.

— Да, вот посмотрите.— Турпанов взял лампу и пошел в соседнюю комнату, но гостья не встала, а только кивнула головой, и он вернулся.— Там она устроилась...

— Да, мило у вас,— сказала Мара и принялась есть конфекты.

«Однако, нужно же говорить что-нибудь»,— думал Турпанов.

— Знаете, я недавно читал Бельше, «Любовь в природе»...

Она молчала, ела, откинув голову к стене; сомкнутые губы двигались сосущими движениями, и было видно, что молчание нисколько не стесняет ее. Турпанов, стараясь не смотреть на Мару, сбивчиво и путано говорил о Бельше, и чем больше говорил, барабаня по столу пальцами, тем яснее становилось ему, что Мару Бельше вовсе не интересует. Она смотрела на него пристально, блестящими глазами и молчала. Сердце Турпанова успокоилось, но осталось ровное, тяжелое раздражение. Посидев немного, он встал, принялся ходить по комнате, говоря о Бельше, синдикалистах, перемене министра, мужиках и, взглядывая на Мару, видел одно и то же, в одном и том же положенин, здоровое, молчаливое лицо со странными, неотступно глядящими на не-

го глазами. «Чего она,— подумал Турпанов,— я человек женатый, однако, и все это дурь... Самка...»

Поговорив, он замолчал, не слыша ни «да», ни «нет». Прошла минута; Мара развернула еще конфекту, а Турпанов, посмотрев на нее, улыбнулся, остановился взглядом на подбородке, и вдруг желание стало мучительным, почти нестерпимым.

— Как вы смотрите,— сказал Турпанов,— вот вы какая...

— Какая? — Она тихонько зевнула.— Ведь и вы тоже смотрите.

«А что если»,— мелькнуло в голове, но Турпанов смутился и встал. И, встав, увидел, что глаза Мары взглянули на него еще прямее и проще. Он подошел к ней с перехваченным спазмой горлом и, не думая ни о чем, ужасаясь тому, что хотел сделать, и в то же время бессильный воспротивиться жгучим толчкам крови, положил руки на плечи Мары. Она смотрела прямо ему в глаза, не отодвинулась и не пошевелилась, а Турпанов, продолжая ужасаться и радоваться, нагнувшись, поцеловал ее в бровь неловким и не давшим ему никакого удовольствия поцелуем. Он весь дрожал, губы его кривились; чувствуя, что теперь все можно, с душой замкнутой, даже слегка враждебной цветущему телу Мары, путаясь, расстегнул пуговицы на пышной груди, и захмелел.

«А Ксеничка, как же я... но я ее люблю, это во мне зверь»,— бормотал мозг Турпанова; и вдруг без слов, качнувшись стремительно с закрытыми глазами, Мара левой рукой охватила его шею, притянула голову Турпанова к горячему бюсту; она стала вся неловкой, покрасневшей и жадной.— «Конфекты, Бельше... теперь надо крепко целовать»,— подумал Турпанов и, весь затрепетав, вырвался, готовый закричать от страха... Быстрые шаги сзади замерли отчаянной тишиной. Он обернулся, ослабел и, задыхаясь от растерянности, увидел жену.

V

Ксения долго стояла на пристани, прислушиваясь к гулу ветра, оглядываясь и соображая, поедет ли теперь кто-нибудь на остров, или же ей действительно придется ночевать в городе.

Озадаченная, она не могла даже долго возмущаться Татарьиным, уехавшим, не дождавшись ее. Надоевший деревенский остров теперь, когда на него почти невозможно было попасть, казался таким близким и родственным ей, что у Ксении тоскливо, от нетерпения, сжалось сердце. Темная река шумела у ее ног; Ксения представила себе мужа, выбегающего на берег прислушаться, не плещут ли вдали весла, и почувствовала себя виноватой, почти преступницей. Это происходило оттого, что именно так тоскливо чувствовала бы она себя на его месте.

Поспешные шаги нескольких человек и стук телеги заставили ее обернуться; пятеро крестьян, три мужика и две бабы шли сзади ломовика, таща корзины с пустыми кадушками из-под молока, проданного днем. Лошадь остановилась у воды, огромный человек в кацавейке прыгнул в затрещавший карбас и принялся вычерпывать скопившуюся в нем воду. Тусклый фонарь пристани освещал погруженные на телегу мешки, остановившихся неподвижно баб и Ксению, подошедшую к ним. Колосс, черпавший воду, вылез на край мола, вытирая руки о штаны. Ксения сказала:

— Вы, кажется, едете на остров?

— Из Тошного, кладь вот наберем и пошли.

— Возьмите меня.

— С-с удовольствием! — Мужик зашмыгал носом, отвернулся, скрутил папироску, закурил ее, и блеснувший огонь спички осветил его круглое, темное лицо с маленькими глазами.

— Терентий,— закричал он суетливым, самодовольным голосом,— вот барыня просится, взять што ль?

Сутулый старик, встряхиваясь под съезжавшим со спины мешком и семеня к каменным ступеням, под которыми ожидал карбас, крикнул:

— Пущай, много ли весу в ей!

— Мы завсегда,— сказал круглолицый, поворачиваясь к Ксении и выставляя ногу каким-то особенно картинным вывертом: — значит, сочувствуем. Как я был серый мужик,— продолжал он,— а служил я в конной гвардии, в Петербурге, и что такое политиканы не знал, ну, то есть... понимаете... да.

Он подвинулся ближе и дохнул в лицо Ксении сивухой. Она молчала. Мужик затянулся папиросой и, не

успевая договорить, потому что другой крикнул ему: — таскай мешки, че-ерт! — пятясь задом, пробормотал:

— Как вы произошли курс вашей гимнастики и науки, а мы водяную часть, потому не боимся! Мне хоть сейчас скажи кто: «Иван, беги по льду» — и готово; это нам нипочем.

Он исчез в карбасе, укладывая мешки, и, видимо, форся, так как каждое движение других вызывало с его стороны взрыв авторитетных восклицаний.

Телега, постукивая, отъехала; бабы, волоча корзины и охая, уселись в корме. Третий мужик, вялый и благообразный, все время вытирая рукой рот, словно съел гадость, топтался на лестнице и, наконец, сел к мачте на корточках. Ксения поместилась против баб. Старик сел к рулю; круглолицый, толкая всех и немилосердно качая судно, поставил парус. Карбас сидел глубоко в воде; зыбь, полная льдин, терлась у самых бортов.

— Поехали! — сказал старик.— Темь, ну да и это бывало. С богом!

Он сдернул шапку, перекрестился, и этот механический жест без слов дал понять Ксении, что ехать теперь опасно и неудобно, но желание скорей попасть домой вытесняло страх. Она только бессознательно и доверчиво улыбнулась; улыбка эта выражала бессловесную просьбу к ночной реке — не очень пугать. Карбас отъехал, раздвигая льдины медленным, неуклонным движением.

— Ой, страшно,— равнодушно сказала баба и замолчала. Другая грызла орехи, встряхивая головой и шумно отплевываясь. Холодный, сильный ветер рвал воду; карбас приподняло, положило на бок, ударило о борт льдиной, отчего он весь затрясся и заскрипел, подбросило снова, взмыло еще выше и мягко швырнуло вниз.

— Вовремя поехали! — закричал старик, вертя руль.— Леший, прости господи, Иван мешкает который раз, наказанье с парнем.

— А что я тебе? — сказал круглолицый.— У меня часов нет, я не барин, не господин; ходил, верно, не доле тебя.

Ветер дул в бок, левый борт черпал воду, по временам бешеные скачки ветра срывали гребни, обдавая лица плывущих ледяной сыростью. Впереди на далеком

берегу острова светился огонь спасательной станции, и старик упорно держал на него, хотя невидимые толчки залитых водой льдин повторялись все чаще и неожиданнее. Мужик, сидевший ранее на корточках, а теперь ставший на колени, держась за мешок, заговорил заискивающим, искусственно-веселым голосом:

— Развело, значит, да не попусту; попусту-то зворыхает куда сильнее, лед, значит, ест волну эту самую, утюжит, а то беда.

— Лет пятьдесят езжу, знаю,— быстро заговорил старик, видимо, говоря для барыни, так как все мужики знали, что каждый из них может рассказать о реке,— а в туман, либо морок путался часов по десять, отец еще учивал; смотри,— говорит,— по уху: как ветер дует; дует он тебе правильно, по одному месту, так и держись и-и, держи, говорит... головы не ворочай, слушай ветра, заместо компаса он... А то по волоску.

— По волоску лучше не надо,— с жаром подхватил стоявший на коленях мужик,— вот дым, ежели папироску закурить — унесет, а волосок никуда не денешь, он на башке; отпусти его, он и показывает.

Оба замолчали; карбас, стиснутый волной и льдиной, круто положило на бок, отнесло в сторону, и парус, выйдя из ветра, тревожно заполоскал, почти касаясь воды. Ксения встала; мешок муки упал к ее ногам, придавив завизжавших баб.

«Мы утонем»,— подумала Ксения, но это был не страх, а жуткое, тяжелое возмущение. Со всей силой молодой жизни почувствовала она грозный, потопивший ее мрак, темную даль реки, беспомощность, отсутствие любимого человека, и ей захотелось жить не иной, а именно такой жизнью, какой жила она до сих пор и лучше которой, как показалось теперь, быть не может.

Старик, бросаясь, как угорелый, выдернул мачту, другой отпихивал багром льдину. Карбас кренило, он зачерпнул воды и остановился. И вдруг среди общего смятения раздался глухой, булькающий шум, льдина ушла под киль, карбас пошевелился, выпрямился и стал качаться.

— Весла бери,— крикнул старик,— весла, снесет вас, неуповоротные, греби што ль!

Несколько мгновений продолжалась возня, скрип уключин, беспомощные толчки, кряхтенье и брань — и

все кончилось! Ветер дул с прежней силой, но волнение почти прошло, судно зашло за мыс.

— Ой, страшно,— снова сказала баба, охая и плюхаясь на мешок.— Что и делается, поехала я с вами!

— Пронесло, и слава богу,— сказал старик, и Ксения второй раз почувствовала, что была настоящая, серьезная и большая опасность.

VI

У дома Ксения остановилась и, запыхавшись, перевела дух, так как шла очень скоро, почти бежала, замирая от нетерпения и волнения. Душа ее, полная нежного оживления, влюбленности и хитроватой радости, торопилась высказаться; уже на ходу она улыбалась, представляя, как встретит ее муж, и какой нескончаемый, с восклицаниями, притворно-сердитыми упреками и вопросами начнется меж ними разговор, пока он снимет ее калоши, а она шапку. Как всегда, когда ей особенно хотелось быть с мужем, Ксения старалась думать об этом вскользь, и ей было чуть-чуть стыдно от сознания, что она теперь женщина и что меж ней и одним из бесчисленных мужчин нет ничего тайного. Поднимаясь по лестнице, она сунула руку в карман, где лежало нечто, купленное ею в городе; это был подарок мужу, часы с монограммой, которым завтра, в день своего рождения, он должен удивиться и обрадоваться. Пока же она решила сказать, что в город ехать совсем не думала, и это вышло случайно: вспомнила, что нужно кое-что по хозяйству.

Открыв дверь, Ксения увидела блеснувший свет лампы, заслоненной спиною мужа, быстро подошла и остановилась, еще продолжая машинально улыбаться. Турпанов с широко открытыми, помутившимися глазами подскочил к ней, отступил, огляиулся на Мару и побледнел. Мара инстинктивно закрыла грудь, хихикнув нервным смешком; глаза ее сузились, вспухли и заслезились; сделавшись вдруг некрасивой, вороватой и жалкой, пунцовая, она, быстро дыша, застегивала грудь.

Ксения подняла руку, машинально проводя ею по глазам, перевела взгляд с мужа на женщину, отошла в угол, продолжая неудержимо улыбаться, побелела и крепко зажмурилась. Тоскливое, холодное изнеможение

овладело ею, два-три тупых слова — бессмысленных и случайных — заменили на мгновение ясность мысли, ноги ослабели, она прислонилась к столу и оцепенела, болезненно усталая, готовая закричать от боли. Мара, резко вскочив, бросилась в переднюю; Турпанов, мигая, захлебываясь от напряжения и потерянности, сказал:

— Ты не подумала ли... Марине Васильевне было, знаешь, нехорошо, легкое головокружение...— Он замолчал и жалким, громким голосом прибавил: — Ну, как мы съездили, маленькие путешественники?

— Куда? — сказала Ксения через силу, со страхом, что он будет теперь лгать, просить прощенья, извиваться. Ей было невыразимо стыдно от мысли, что муж может узнать об ее поездке. Часы, лежавшие в кармане, были ей отвратительны, смешны, глупы и тривиальны. Они могли быть нужными и важными, почти живыми,— раньше, но все это было оплевано.— Я была здесь, в гостях, но засиделась.

— Ксюша,— застонал Турпанов, ломая себе пальцы и делая мучительное лицо,— это был психоз, ей-богу, поверь мне, не надо катастроф, это был не я: я же люблю тебя!

Но говоря это, он чувствовал, что обращается к чужой, случайно зашедшей сюда женщине; пристальные, отталкивающие его глаза жены были теми новыми глазами человека, которыми он смотрит раз в жизни и, осмыслив ее по-новому, умирает верно, просто и стремительно для всех, кроме себя. Ксения молчала; передумать и осознать все, случившееся так резко, было ей не под силу. Мужчина, стоявший перед ней, сильно напоминал ей Власа, но был чужой.

— Ну, прощай, Влас,— тихо сказала Ксения, и ей стало жаль себя за то, что она не может какими-нибудь другими, такими же простыми, но огненными словами передать ему всю силу боли и ужаса. Она тронулась к выходу, обернулась и прибавила:— За что?

— Ксения! — закричал Турпанов.— Куда же, что за шутка, я не допущу! — Он бросился к ней, хватая ее за руку; она молча и сосредоточенно вырывалась; Турпанов уступил, думая, что этим смягчит ее. Она вышла без слез, еще не зная, что сделает: поедет ли в другую деревню, где можно переночевать, или наймет карбас к

вокзалу, поедет по чистому и тихому рукаву, в темноте, с горем в душе и звездами над головой.

Турпанов, сбегая по лестнице вслед за Ксенией, бессвязно просил и плакал. На крыльце он остановился, совершенно упавший духом; маленький, стройный силуэт женщины быстро уходил в тьму. Скрипел снег; за овином пел пьяный, отчетливо выговаривая:

Было дело под горой,—
На каку нарвался!
Раз-другой поцеловал,
Три часа плевался!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.

Редклиф

I

Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег — мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.

Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: — «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:

— Я это, Ячевский; можно?..

За дверью начался спор; женщина испуганно спрашивала: — «где же мне... где же мне»,— а быстрый, злой голос мужчины твердил: — «ну, выйди, я тебя прошу... слышишь... надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите»,— и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег»,— и неловко сказал:

— Извините, Пестров, я помешал... супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.

— А, да... ну, отлично,— бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.

— Вот как... живете вы,— медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало — голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.

— Вы... выпьете чаю? — спросил Пестров; крикнул за перегородку: — Геня, самовар... впрочем, не надо.— Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал:— Я забыл купить сахару... булочная, кажется, заперта... Нет.

— Я совсем, совсем не хочу чаю,— поспешно ответил Ячевский,— вы, пожалуйста, не беспокойтесь.— После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел.— Нет... я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?

— Да,— словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону.— Я очень занят.

За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.

— Не давай ножницы Мусе,— зло крикнул Пестров,— я говорил ведь! — Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь:

— Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.

Ячевский приятно улыбнулся и встал.

— Да, это хорошо,— сказал он,— ну... будьте здоровы, извините.

— Помилуйте,— шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и тряся руку Ячевского, лицо же его было попрежнему затаенно враждебным,— помилуйте, заходите... нет, непременно заходите,— закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.

Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:

— Хорошо, я... спасибо...— и вышел на улицу.

II

Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал:— Отчего же вы не зажжете лампу?

— В ней, Казик, нет керосина,— зевнул Гангулин.— Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?

— Нет.— Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение.— Хозяева же легли спать,— прибавил он,— я мог бы занять у них. Нехорошо.

— Наплевать,— бросил Кислицын.— Физиономии наши друг другу известны.

В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.

— А вы как? Что нового? — сказал он.

— Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село»,— продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул.— У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.

— Ты видел?

— Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.

Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте

сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих. Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.

Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:

— Гангулин, вы спите?

— Нет.— Гангулин откинулся на спинку стула.— А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.

Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:

— Я раньше был очень разговорчив и сообщителен, а теперь выветрился.

— Почему? — рассеянно спросил Кислицын.

— А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах — прохладное состояние души.

— Слушайте,— после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын,— вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню — что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот,— как мне показалось спросонок, заключавший в себе что-то лихорадочно важное,— пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не

могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться — среднее между белым и черным, но не серое, и чрезвычайно щемящее... На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов — я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.

Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.

— Это мистика,— наставительно произнес Гангулин,— а ты — тоскующий белый медведь!

Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.

— Нет, правда, что же это может быть,— сказал он,— «тоска, зверь, белое»?

— Бывает,— тихо заметил Ячевский,— еще и не то в тишине. Бывает иногда...— Он смолк и быстро закончил:— Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.

— Ну,— сказал Гангулин,— только не страшное.

— Вот что,— Ячевский приподнялся на локте, и в воздушной месячной полосе блеснули его глаза.— В ослепительно-белом кругу меловых скал бродит небольшой, нервный зверь-хищник. Не знаю только, какой породы. Небо черно, луна светит; зверь беспомощно мечется от скалы к скале, ища выхода, припадает к земле. крадется в тени, бьет хвостом, воет и прыгает высоко в воздухе, а иногда станет, как человек. Положение его безвыходное.

— В темноте бродят всякие мысли,— задумчиво проговорил Кислицын,— нет, мне решительно не нравится жить в этом городе.

Никто ие ответил ему, но все трое, скользнув памятью в глубину прошедшего года, сморщились, как от скверного запаха. Жизнь города слагалась из сплетен, выносимой на показ дряблости, мелочной зависти, уныния, остывших порывов и скуки.

Из тишины выделился однообразный, призрачно далекий, тоненький звон колокольчика, замер, затем, после короткого перерыва, раздался вновь, окреп и, медленно приближаясь, пронесся мимо окна, рисуя воображению пару лохматых лошадей, сонное лицо внутри качающегося на ходу возка и свежий, бегущий в рыхлом снегу, след саней.

— Иной раз,— сказал Ячевский,— после бесконечных взаимных жалоб мне кажется, что в нашем терпеливо-безнадежном положении мы, все ждем появления какого-то неизвестного человека, который вдруг скажет давно знакомое. Но от этого произойдет нечто такое, как если сонному бросить в лицо лопату снега или крепко натереть уши.

— Послушайте,— оживился Гангулин,— я вспомнил рассказ о том, как одна сельская учительница...

Он не договорил, так как в сенях скрипнуло, треснул настил, раздались увесистые шаги, и дверь стремительно распахнулась, взрывая теплую духоту помещения хлынувшим из сеней холодом. Ячевский встал. Вошедший остановился у печки.

III

— Кто это? — спросил, недоумевая, Гангулин. В полумраке чернела высокая фигура закутанного человека; он сказал низким, незнакомым всем голосом:

— Вы — ссыльные?

— А вы кто? — спросил, зажигая спичку, Ячевский,— мы — да, ссыльные.

Перед ним стоял покрытый до пят меховой одеждой широкоплечий, неопределенного возраста, человек. В обледеневшем от дыхания вырезе малицы [1] скупо улыбалось красное от мороза лицо, безусое, скуластого типа; спутанные русые волосы выбивались из-под шапки на круглый лоб, черные, непринужденно внимательные глаза поочередно смотрели на присутствующих. Спичка погасла.

— Я тоже ссыльный,— однотонно и быстро сказал вошедший,— я бегу из Усть-Цильмы, сюда меня довез здешний мужик... Я рассказываю все, вам нужно знать, почему и как я зашел сюда..

— Зачем же, все равно,— немного теряясь, перебил Ячевский,— садитесь, все равно.

— Нет, я скажу.— Речь беглеца потекла медленнее.— Здесь город, я еду на вольных перекладных, паспорт фальшивый, мужик ищет лошадей на следующий перегон. Сидеть в избе, среди разбуженных мужиков и

---

[1] Малица — меховой мешок с капюшоном и рукавами.

баб, быть на глазах, врать, ждать, может быть, час,— неудобно. У них памятливые глаза. Ямщик указал вас, я зашел, а теперь разрешите мне ожидать у вас.

— Странно спрашивать,— сдержанно отозвался Кислицын.

— Да садитесь, какие же церемонии,— засмеялся Ячевский.— Как вам удобнее. Но вот темно, это случайно, а неприятно.

— Мы придумаем,— сказал неизвестный и что-то проговорил заглушенным одеждой голосом; он скидывал малицу, ворочаясь и принимая в темноте уродливые очертания и пыхтя. Мех шумно упал на пол.— Да.— отдуваясь, но заботливо и покойно продолжал он,— я говорю — нет ли у вас лампадки?

— Ну, как же, мы про это забыли,— радостно удивился Ячевский,— конечно, есть.

Он скрылся в углу, затем осторожно поставил на стол запыленную лампадку и зажег фитиль. Остатки масла, треща, прососались сквозь нагар огоньком величиною с орех, месячное окно померкло, тени людей, колеблясь, перегнулись у потолка.

Приезжий, в свою очередь, быстро пробежал взглядом по усатому, с детскими глазами, лицу Кислицына, брезгливым чертам Гангулина, задумчивому, легкому профилю Ячевского и, двигая под собой стул, подсел к свету, застегнув на все пуговицы двубортный темный пиджак, из-под которого, шарфом обведя короткую шею, торчал русский воротник кумачовой рубахи.

Гангулин, потупясь, рассматривал ногти, Ячевский обдумывал положение, а Кислицын спросил:

— Вы давно в ссылке?

— Шесть дней,— показывая улыбкой белые зубы, сказал проезжий.

Гангулин взглянул на него круглыми глазами, проговорив:

— Быстро.

— Быстро? Что?

— Быстро вы убегаете, очертя голову, стремительно.

— Так как же,— сказал проезжий,— я не могу путешествовать с меланхолическим, томным видом, скандировать, останавливая лошадей на лесных полянах,

чувствительные стихи, а затем, потребовав на станции к курице бутылку вина, ковырять в зубах перед каминной решеткой, вытягивая к тлеющим углям благородные, но усталые ноги... Я впопыхах...

Он, подняв брови, ждал, когда рассмеются все, и, дождавшись, громко захохотал сам.

— Значит,— сказал Гангулин,— значит, вы улепетываете?

— Вот именно.— Проезжий, вытащив из кармана портсигар, угостил всех и закурил сам, говоря: — Слово это очень подходит. Но мне, видите ли, здесь не нравится. Я не привык.

— Вас могут поймать; поймают — риск,— серьезно сказал Ячевский.

— Ну... поймают...— Он сморщился и развел руками, как будто, услышав иностранное слово, переводил его в уме на свой, скрытый от всех язык.— Поймают. Разве вы, делая что-нибудь, останавливаетесь в работе потому только, что не угадываете ее успеха или фиаско? Так все.

Три человека с чувством любопытствующего оживления смотрели на него в упор. Кислицын сказал:

— Куда же, если не секрет, едете?

— А, боже мой,— уклончиво ответил проезжий,— мало ли где живут...— Он заметил по выражению лица Кислицына, что собеседники готовы рассмеяться и что его слушают с удовольствием.— Вы думаете, конечно, что я словоохотлив,— верно, поговорить люблю, это здорово, к тому же дух мой опережает меня, и теперь он далеко, а это действует, как вино. Так что же? Да, вы спрашиваете... У вас здесь еще зима, а там,— он махнул рукой в угол,— начало весны.

— Весна дальнего севера,— брезгливо сказал Гангулин,— не очень приятна. Бледное солнце, изморозь, сырость, чахоточная и нудная эта весна здесь.

— Весна в наших краях,— заговорил, помолчав, проезжий,— весна сильная; такая веселая ярость, что ли. В один прекрасный день всходит весеннее солнце и топчет снег; он загорается нестерпимым блеском, сердится, пухнет, проваливается и вот: черная с прутиками земля, зеленые почки, белые облака, вода хлещет пото-

ками, брызжет, каплет, звенит; так вот некоторые у рукомойника женщины утром — смокнут до нитки. Потом земля сохнет,— тоже быстро, появляется трава, коровы с бубенчиками и вы,— в белом костюме, на руке же у вас висит нежно одна там... шалунья. Ей-богу.

— Даже слюнки потекли,— сердито сказал, смеясь, Гангулин.

Кислицын, не переставая улыбаться, кивнул безотчетно головой, и всем троим глянул в лицо апрель, когда синяя разливается холодными реками весна.

— Вы жили в деревне? — после недолгого молчания спросил Кислицын.

— Да.

— Как там?

— Плохо.

— А ссыльные?

— Нос на квинту.

— Да,—угрюмо сказал Гангулин,—вы жили, может быть, всего дня два, но проживи вы два года... Это я к тому, что тяжело жить.

Проезжий ничего не ответил. Затрепанный номер иллюстрированного журнала, валявшийся на столе, привлек его внимание: он перевернул несколько страниц, пробежал глазами рисунок, стихотворение и встал.

— Ямщика нет,— озабоченно проговорил он,— мужик хотел зайти сказать — и не идет. Свинья.

— Я предложил бы закусить вам, да нечего,— покраснев, сказал Ячевский,— пустовато.

— Я не голоден,— быстро сказал проезжий,— правда, не голоден

Он вздохнул и обернулся. Неслышно оттянув дверь, вполз заиндевевший мужик, перекрестился и стал у порога; озорное, хилое лицо мужика хитро смотрело вокруг.

— Едем,— вскочил проезжий.

— Уготовил,— откашливаясь в кулак, пробормотал мужик.— Лошадей наладил, как стать, в одночасье, свояк едет мой, пару запрег вам.

— Ах ты, умная миляга,— сказал неизвестный,— хитрая, жадная, но умная; ну, так я готов, веди меня.

Он проворно надел малицу, рукавицы, шапку и подошел к столу. Все стояли, мужик у печки вытирал усы, стряхивая сосульки в угол.

— Прощайте, спасибо.— Проезжий крепко тряхнул протянутые руки, добавив: — Может, увидимся.

— Жаль, уезжаете,— располагаясь к этому человеку, простодушно сказал Кислицын,— опять сядем и заскучаем.

— Полноте,— ответил, неповоротливо двигаясь, человек в мехах,— скука... Я еду, думаю... все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высыпаться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно ненавидеть... подлости отвечать пощечиной, благородству — восхищением, презрению — смехом, женщине — улыбкой, мужчине — твердой рукой... Тело из розовой стали будет у нас, да... А я все-таки заболтался. Прощайте.

Он поклонился и вышел, а мужик, мотнув головой, опередил его, загремев по лестнице. Кислицын, стоя у двери, улыбнулся в то место тьмы, где, как думалось ему, находится лицо беглеца, и, так же задумчиво улыбаясь, закрыл дверь. Огонь, сильно колеблясь, трепетал в пыльном стекле лампадки мутным погибающим светом.

IV

У оврага, возле кривой избы, где ныряющая в перелесок дорога чернела при луне навозом и выбоинами,— стояла, поматывая головами, пара кобыл; подвязанный к дуге колоколец тупо брякал, а мужик, расставив ноги, затягивал мерзлый гуж. Тут же, по привычке оглядываясь во все стороны, бросал в возок охапки сена проезжий, поверх сена растянул ватное одеяло, устроил выше, для головы, подушку и стал ходить от избы к возку и обратно, нетерпеливо дергая головой. В мутной, холодно осиянной дали темнел черный лес; черные, без огней, избы, изгороди тянулись от леса к городу; тени, как сажа на молоке, резали глаз. Две собаки лаяли за версту от оврага, но так звонко, словно вертелись за спиной.

— Тпру-у,— подымая голову, зашипел мужик,— околеть тебе, нечистая сила, калека, падло несчастное. Тпрусь.

— Шевелись, борода, ехать надо,— сказал проезжий,— раньше смотреть надо было.

Мужик, молча тряхнув оглоблей, нахлобучил шапку, потоптался, шмыгнул носом и свалился боком на облучок, вытянув ноги, как неумеющие ездить верхом дамы, а пассажир, колыхая возок, разлегся внутри и блеснул спичкой, закуривая.

— Ну, тряси вожжами,— сказал он,— поехали... Да смотри, по деревням зайцем лупи, бутылка водки в кармане, тебе отдам.

— Уж я такой,— деловито оживился мужик,— со мной ничего... ничего, покойно, значит, сенца взял.

— Постойте,— запыхавшись, крикнул Ячевский. Он подбежал из-за избы и, торопясь, смущенно улыбнулся, заглядывая в возок.

— Это, ведь, вы... сейчас... были там... так вот я..

Он запнулся, и возбуждение его улеглось.

— Ах, вы,— сказал пассажир,— что вы, пальцы отморозите, зачем пришли?

— Я,— снова заговорил Ячевский, покоряясь внезапному чувству беспомощности, в котором задуманное разом обмякло и перегорело,— я очень прошу меня извинить, задерживаю. не можете ли вы... наложенным платежом русско-немецкий словарь, сделайте одолжение.

Горький стыд потопил его. В возке точками блестели глаза.

«Зачем я все это говорю? — подумал Ячевский.— Никакой словарь не нужен, и черт вас всех побери».

— Словарь? А какой? — нетерпеливо спросил проезжий, заворочался и прибавил: — Ну, хорошо. только это?

— Да, больше ничего, извините,— тихо сказал Ячевский.— Моя фамилия Ячевский. До востребования.

— Прощайте,— раздалось из возка,— трогай.

Ячевский отошел в сторону, а коренная, тряхнув дугой, рванула возок, и лошади побежали мелкой рысью. Воровской дребезг колокольца рассыпался по оврагу коротким эхо, на бугре, падая вниз, возок скакнул, мужик занес кнутовище над головой, и снежный вихрь, брызнув из-под копыт, комьями полетел в возок. Скрип полозьев, удаляясь, затих.

Ячевский, растирая отмороженную щеку, долго смотрел в перелесок, зяб и думал, что все, вероятно, к

лучшему. Он шел с целью просить неизвестного беглеца достать и выслать ему хороший подложный паспорт; этому помешали различные практические соображения.

«Бежать,— думал Ячевский, идя домой,— это, в сущности, не так просто, чего я? Шальная вспышка; сорвался, побежал... русско-немецкий словарь, противно все это. Два года — пустяки. И здесь люди живут».

Он спустился к занесенному снегом мостику; на перилах его, вися грудью и подбородком, какой-то захмелевший, без шапки, человек скользил, шаркая ногами, и горько плакал навзрыд.

ГЛУХАЯ ТРОПА

I

Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция,— геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей,— неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю — от двенадцати до двух—в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу,— маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спа́ла, и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей — в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек — второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники.

Лес,— тихий, как все серьезные, большие леса, с нескончаемыми озерами и ручьями, давно уже приучил участников экспедиции к замкнутости и сосредоточенному молчанию. Шли они по узкой, полузаросшей брусникой и папоротником, тропке, протоптанной линялыми глухарями, зайцами и охотниками. По манере нести ружье угадывался, отчасти, характер каждого. Штуцер бельгийской фирмы висел на прочном ремне за спиной Афанасьева, не болтаясь, словно прибитый гвоздями; Благодатский нес винтовку впереди себя, в позе человека, всегда готового выстрелить,— это был самозабвенный охотник и любитель природы; скептик Мордкин тащил шомпольное ружье под мышкой, путаясь стволом в кустарнике; последний из четырех, с особенным, раз навсегда застывшим в лице выражением спохватившегося на полуслове человека,— не давал своему оружию покоя: он то взводил курок, то вновь опускал его, вскидывал ружье на плечо, тащил за ремень, перекладывал из левой руки в правую и наоборот; звали его Гадаутов. Он шел сзади всех, насвистывал и курил.

Дремучая тропа бросалась из стороны в сторону, местами совершенно исчезая под слоем валежника, огибая поляну или ныряя в непроходимый бурелом, где в крошечных лучистых просветах розовели кисти смородины и пахло грибом. Лиственница, ель, пихта, красные сосны, а в мокрых местах — тальник,— шли грудью навстречу; под ногами, цепляясь за сапоги, вздрагивали и ломались сучья; гнилые пни предательски выдерживали упор ноги и рушились в следующий момент; человек падал.

Когда свечерело и все, основательно избив ноги, почувствовали, что усталость переходит в изнеможение,— впереди, меж тонкими стволами елей, показалась светлая редина; глухой ропот невидимой реки хлынул в сердца приливом бодрости и успокоением. Первым на берег вышел Афанасьев; бросив короткий взгляд вперед себя, как бы закрепляя этим пройденное расстояние, он обернулся и прикрикнул отставшим товарищам:

— Берем влево на пароход!

Все четверо, перед тем как тронуться дальше, остановились на зыбком дерне изрытого корнями обрыва. Струистая, черная от глубины русла и хмурого неба по-

верхность дикой реки казалась мглой трещины: гоняясь за мошкарой, плавали хариусы; тысячелетняя жуть трущоб покровительственно внимала человеческому дыханию. Ивняк, закрывая отмели, теснился к реке, он напоминал груды зеленых шапок, разбросанных лесовиками в жаркий день. Противоположный, разрушенный водой берег был сплошь усеян подмытыми, падающими, как смятая трава, чахлыми, тонкими стволами.

— Никогда больше не буду курить полукрупку,— сказал Гадаутов.— Сале мезон, апизодон, гвандилье; варварский табак, снадобье дикарей Дома куплю полфунта за четыре рубля. Барбезон.

Его особенностью была привычка произносить с окончанием на французский лад бессмысленные, выдуманные им самим слова, мешая сюда кое-что из иностранных словарей, засевшее в памяти; вместе это напоминало сонный бред француза в России

— Прекрасно,— отвечая на свои мысли, сказал Мордкин.— Поживем, увидим.

Постояв, все двинулись берегом. Справа, неожиданно показываясь и так же неожиданно исчезая, прорывался сквозь ветки сумеречный блеск реки; изгибаясь, крутясь, делая петли, тропинка следовала ее течению. Временами на ягоднике, треща жирными крыльями, взлетала тетерка, беспокойно кричали дрозды, затем снова наступала тишина, баюкающая и тревожная. Благодатский увидел белку; она скользила по стволу сосны винтом, показывая одну мордочку. Когда прошел еще один короткий лесной час, и все кругом, затканное дымом сумерек, стало неясным, растворяющимся в преддверии тьмы, и сильнее запела мошкара, и небо опустилось ниже, Афанасьев остановился Наткнувшись на него, перестали шагать Благодатский, Мордкин и Гадаутов, Афанасьев сказал:

— Мы заблудились.

II

Он сказал это не возвышая и не понижая голоса, коротко, словно отрубил. Тотчас же все и сам он испытали ощущение особого рода — среднее между злобой и головокружением. Конец пути, представляемый до сих пор где-то поблизости, вдруг перестал даже существо-

вать, исчез; отбежал назад, в сторону и исчез. После недолгого молчания Мордкин сказал:

— Так. Излишняя самонадеянность к этому и приводит. Это все левые Афанасьевские тропинки.

— «Левые» тропинки,— возразил Афанасьев, резко поворачиваясь к Мордкину,— открыты не мною. Маршрут записан и вам известен. От Кушельских озер по езженной дороге четыре версты; тропинками же — семь поворотов влево, один направо, и еще один влево, к реке. Чего же вы хотите?

— Это значит, что мы где-то сбились,— авторитетно заявил Благодатский.— А где же пароход?

— Черт скушал,— сказал Гадаутов.— Может быть, позади, может быть, впереди. Мы шли верно, но где-то один из семи прозевали, пошли прямо. Куда мы пришли? Я не знаю — Пушкин знает! Пойдем, как шли, делать нечего. Нет, погодите,— крикнул он вдруг и покраснел от волнения,— ей-богу, это место я знаю. Ходил в прошлом году с Зайцевым. Видите? Четыре дерева повалились к воде? Видите?

— Да,— сказал хор.

— Карамба. Оппигуа. Недалеко, я вам говорю, недалеко, даже совсем близко.— Уверяя, Гадаутов резко жестикулировал.— Отсюда, прямо, как шли, еще с версту,— не больше. Я помню.

Он выдержал три долгих, рассматривающих его в упор, взгляда и улыбнулся. Он верил себе. Афанасьев покачал головой и пошел быстро, не желая терять времени. Гадаутов шел сзади, жадно и цепко осматриваясь. Место это казалось ему одновременно знакомым и чуждым. Глинистая отмель, четыре склоненные к воде дерева... Он рылся в памяти. Миллионное царство лесных примет, разбросанных в дебрях, осадило взвихренную его память ясно увиденными корягами, ямами, плесами, гарями, вырубками, остожьями, дуплами; собранные все вместе, в ужасающем изобилии своем, они составили бы новый сплошной лес, полный тревожного однообразия.

Черная вода справа открывалась и отходила, поблескивала и пряталась за хвойной стеной; от ее обрывистых берегов и мрачных стрежей веяло скрытой угрозой. Через несколько минут Гадаутов снова увидел че-

тыре тонкие ели с вывернутыми корнями — двойник оставленной позади приметы. А далее, как бы издеваясь, потянулся берег, сплошь усыпанный буреломом; подкошенные водой и ветром стволы нагибались подобно огромным прутьям, и трудно было отличить в этих местах один аршин берега от соседнего с ним аршина — все было похоже, дико и зелено.

— Куда мы идем? — спросил Мордкин, оборачивая к Гадаутову лицо, вымазанное грязным потом пополам с кровью раздавленных комаров.— Парохода нет и не будет! — Он взмахнул ружьем и едва не швырнул его на землю.— Я ложусь спать и не тронусь с места. Я более не могу идти, у меня одышка! Как хотите...

Излив свое раздражение, он хлопнул рукой по вспухшей от укусов шее и, шатаясь на дрожащих ногах, тихо пошел вперед. Гадаутов, не отвечая Мордкину, исчез где-то в стороне и, наполняя лес медвежьим треском, вернулся к товарищам. Лицо его дышало светлой уверенностью.

— Если бы не моя память,— сказал он, тоскливо чувствуя, что лжет или себе, или другим,— то, клянусь мозолями моих ног, не знаю, что стали бы делать вы. Поперечный корень под моими ногами, выгнутый кренделем, то же, что пароход. Это место я помню. Мы скоро придем.

Искренний его тон смыл расцветающие на бледных лицах кривые улыбки. Ему никто не ответил, никто не усомнился в его словах: верить было необходимо, сомнение не имело смысла. Глухие сумерки подгоняли людей; обваренные распухшие ноги ступали как попало, вихляясь в корнях; угорелые от страха и изнурения, четыре человека шли версту за верстой, не замечая пройденного; каждое усилие тела напоминало о себе отчетливой болью, острой, как тиканье часов в темной комнате.

— Пришли,— сонным голосом произнес Мордкин и отстал, поравнявшись с Гадаутовым. Гадаутов прошел мимо, но, чувствуя на спине тяжесть, отскочил в сторону, а Мордкин скользнул по его плечу и плашмя упал в кусты, согнувшись, как белье на веревке; это был обморок.

— Эй,— сказал Гадаутов, чуть не плача от утомления и испуга,— остановитесь, бараны, потеряем полчаса на медицину и милосердие! Он упал сзади меня. Анафема!

III

Идти за водой не было ни у кого сил. Афанасьев, положив голову Мордкина себе на колени, бесчеловечно тер ему уши; Мордкин вздохнул, сел, помотал головой, всхлипнул нервным смешком, встал и пошел. Через пять шагов Афанасьев схватил его за руку, взял за плечи и повернул в другую сторону. Очнувшись, Мордкин пошел назад.

— Скоро придем,— тихо сказал Гадаутов.— Темно; это пустяки; держись берегом у воды. Вы знаете, чем я руководствуюсь? Рядом стоит двойной пень; я шел тут в прошлом году.

Все спуталось в его голове. Иногда казалось ему, что он спит и сквозь сон, стряхивая оцепенение, узнает места, но тут же гасла слабая вера, и отчаяние зажимало сердце в кулак, наполняя виски шумом торопливого пульса; однообразие вечернего леса давило суровой новизной, чуждой давним воспоминаниям. Время от времени, различив в чаще прихотливый изгиб дерева или очень глубокую мургу,— он как будто припоминал их, думал о них мучительно, сомневаясь, убеждаясь, воспламеняясь уверенностью и сомневаясь опять. На ходу, задыхаясь и выплевывая лезущих в рот мошек, он устало твердил:

— Как я вам говорил. Вот бревно в иле. Осталось, я думаю, не совсем много. Скоро придем.

Один раз в ответ на это раздался истерический взрыв ругательств. Все шли быстро и молча; срываясь, шаг переходил в бег, и за тем, кто бежал, пускались бежать все, не рассуждая и не останавливаясь. Слепое стремление вперед, как попало и куда попало, было для них единственным, самым надежным шансом. Сознание вытеснялось страхом, воля — инстинктом, мысль — лесом; словесные толчки Гадаутова напоминали удар кнута; смысл его восклицаний отзывался в измученных сердцах таинственным словом: вот-вот, здесь-здесь, сейчас-сейчас, там-там.

Никто не заметил, как и когда исчез свет. Мрак медленно разбил его на ничтожные, слабые клочки, отсве-

ты, иглы лучей, пятна, теплящиеся верхушки деревьев, убивая, одного за другим, светлых солдат Дня. Мгла осела в лесную гладь, сплавила в яркую черноту краски и линии, ослепила глаза, гукнула филином и притихла.

Идти так, как шли эти люди дальше, можно только раз в жизни. Разбитый, истерзанный, с пылающей головой и пересохшим горлом, двигался человек о четырех головах, на четвереньках, ползком, срываясь, тыкаясь лицом в жидкую глину берега, прыгая, давя кусты, ломая плечом и грудью невидимые препятствия, человек этот, лишенный человеческих мыслей, притиснутый тоской и отчаянием, тащил свое изодранное тело у самой воды еще около часа. Сонное журчание реки перебил голос:

— Кажется, сейчас мы будем на месте. Еще немного, еще!

Это сказал Гадаутов, усиливаясь сделать еще шаг. Руки и колени не повиновались ему. Затравленный тьмой, он упал, сунулся подбородком в землю и застонал.

В этот момент, оглушая четырехголового человека потрясающим холодом неожиданности, нечеловеческий, пронзительный вой бросился от земли к небу, рванул тьму, перешел в певучий рев, ухнул долгим эхом и смолк.

Крики с берега, ответившие гудку парохода, превзошли его силой сумасшедшей радости и жутким, хриплым, родственным голосом зверей. Падая на мостки, но пытаясь еще пустить в ход подгибающиеся колени, Гадаутов сказал.

— Я говорил. И никогда не обманываю. Же пруа д'аржан.

«ОНА»

I

У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости.

А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на пароходной палубе, в час розового предрассветного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки,— он молился, молитвой заключая тревожный, грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:

«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз,— дозволь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»

А ночь безмолвствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в щелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.

Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:

— Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!

В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слагал он темный милосердный облик его и молился ему.

Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него — звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен

ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.

Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.

Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.

Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.

— Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!

И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходням, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!

Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!

Я ищу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню, как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, похожей на тебя, и, нагнав, проклинаю ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распущу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.

Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторо-

ну. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал подымать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь приливала к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.

Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз — воспоминание — все рос, двигаясь, как лавина, и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.

Он кричал:

— Не хочу! Не надо!

Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда...

II

В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не видался с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.

Они сели: он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.

— Я вчера ждала вас,— сказала девушка,— и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?

Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:

— Зачем ждали. Разве не все равно вам?

В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:

— Если вы... я не знаю. Если вам все равно — конечно... Пройдемтесь. Скучно сидеть.

Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как — он взял ее руки — горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы — и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:

— Милая! Милая! Простите меня!

Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близилось могучее биение радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто — он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто — он не помнит.

И девушка — его возлюбленная, его радость, встала, и он — без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее раскрасневшееся лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.

— Скажите мне: «Я люблю вас!»

Он повторял, стыдливо и смущенно:

— Я люблю вас! Люблю вас! Нет — т е б я люблю!..

Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:

— Можно мне обнять тебя?

Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения...

III

Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутливо-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.

Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи подруг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.

Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неутомимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов алел в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.

И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото; последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок, расплачивались и уходили, а он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыханием его было страдание, и молитвой была тоска его.

IV

С тех пор прошло пять лет.

Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.

Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.

О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.

Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его втупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.

Но упорно, неотступно, как мученик — смерть, как ученый — великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.

Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах и клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:

— Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.

В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в

больших книгах с золотыми обрезами, в кипах листков и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:

— Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.

Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его — уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской — ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами,— сокровище, его любовь и молитву.

Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.

— Где ты? Где ты? Я распущу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоска моя. Я буду целовать следы ног твоих...

V

Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:

— Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?

Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:

— Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.

— Я люблю рыбу под белым соусом,— говорила женщина.— Не надеть ли мне еще калоши, дружочек? Я в комнате не ношу шляп

Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала обиженным, визгливым голосом:

— Ревет! Вот дурак!

— Не нужно...— бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда.— Не нужно. Разве ты — она?

Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:

— Погладь меня... Ну, погладь же... Приласкай... Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я,— милый, да?..

Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:

— Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..

Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.

Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.

День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.

VI

Улицы становились пустыннее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестевших скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.

С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длинные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он,— шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не сознавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:

— Не знаю. Я забыл часы дома.

Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:

— Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!

Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.

Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к

буквам вывески. У широких, распахнутых дверей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.

«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индейцы и Ков-Бои»...

Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:

— Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!

Колокольчик в его пальцах неутомимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.

Вокруг сидело десять — двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты, развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.

За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:

— Мама, они хотят спать?

— Тсс! — сказала болезненная женщина, ее мать.— Сиди смирно.

— Петушки,— сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку.— Мама, петушки?

Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.

Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Движется жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.

Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидавшему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.

Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.

— Он поехал,— сказала девочка и тронула за плечо мать.— Мама, он поехал, тот мальчик!..

— Молчи,— сказала женщина.— А то придет трубочист и унесет тебя.

Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.

VII

Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.

— Она!

Она — его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!

Она — схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задыхающуюся душу. Тень от шляпки упала на его лицо. Остановилась! Пошла!

Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задыхаясь, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния...

— Вера! Вера!

Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал...

Она испугалась, побледнела... Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они — их двое...

Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.

Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромный, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.

Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей,— маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:

— Я заметил его еще раньше... Он не взял сдачи — вы подумайте — с пяти франков!..

ТИХИЕ БУДНИ

I

Евгения Алексеевна Мазалевская приехала на лето в деревню к родственникам. Это были ее дядя и тетка по мужу, жена его. Мать девушки умерла, когда дочери минуло шесть лет, отец же, директор гимназии, жил в Петербурге, один. Он был человек желчный и жестокий, нетерпимый к чужому мнению, честолюбивый и резкий, странное соединение бюрократа и либерала. По отношению к дочери он был настоящим Домби, хотя славянская кровь мешала ему выдерживать эту марку вполне. Несомненно, что девушку он любил, так же, как и она его, но с его стороны любовь была раздражительная и деспотическая, требующая подчинения своим взглядам; с ее — простая, но замкнутая и гордая, так как старик

никогда почти не высказывался прямо, а лишь замысловатыми, похожими на ребус намеками, и мог привести кого угодно в исступление неожиданными поворотами от скупой мягкости к беспричинному или, по крайней мере, невыясненному озлоблению. Это были тяжелые, обидные для молодой девушки отношения. Причина их крылась, конечно, в характере отца, но причина эта, как и внутренняя его жизнь, для Евгении были секретом. Ее постоянно тянуло к отношениям простым и сердечным, но многие впечатления жизни сложились так, что, утратив ясную непосредственность души, она стала замкнутой и пугливой, внутренно умолкла, как оторопевший от неожиданного оскорбления человек, и проходила жизнь с печальным недоверием к ней, стараясь быть в стороне.

Разумеется, эта бледная городская девушка с удовольствием ушла на время от тяжелых отношений с отцом, от службы (она служила в конторе медицинского журнала) и, улыбаясь летним удовольствиям, отправилась к дяде, которого видела один раз в жизни. Дядя, помещик, страдающий постоянными неудачами в разведении кукурузы, персиков, аргентинских огурцов и других разорительных для северного кармана вещей, рассеянно смотрел на племянницу поверх очков наивными глазами благодушного дворянина, совал ей в руку сельскохозяйственные брошюрки, рассказывал о клубнике, а по утрам, с газетой в руках, усердно растирая лоб, стучал в дверь Евгении. «Смотри-ка,— говорил он, входя,— удивительнейшее сообщение: оказывается, что в египетском сфинксе эти черти, как их... бельгийцы... открыли храм. Вот удивительно». Видя мужика, он страдал, морщился и говорил «вы», на что мужик почтительно возражал: «Так ты, батюшка, Пал Палыч, ужо отколупни выгону, без эстого где же?» Управляющий, он же староста деревенской церкви, воровал, как хотел. Павел Павлович прекрасно играл на рояле, во время игры его лицо становилось дельным и энергичным. Города он не любил; служил раньше по выборам, но бросил, говоря: «Что с ними поделаешь — повернут, как хотят». Его жена, Инна Сергеевна, томная, с болезненным, лимонного цвета, лицом, рыхлая дама, могла часами вспоминать Петербург. Супруги иногда ссорились, шепотом, без увлечения, с досадливой скукой в сердце. Инна Сергеев-

на, вздыхая, говорила мужу: «Паша, я отдала тебе все, все,— вы узкий, неблагодарный человек»,— на что, вытирая вспотевшие очки, Павел Павлович отвечал: «Кто старое вспомянет, тому глаз вон». Гости, боясь скуки, ездили к ним редко и неохотно.

Евгения Алексеевна проводила время в прогулках, чтении, раздумьи, сне и еде. Через две недели она заметно поправилась, порозовела, в глазах появился здоровый блеск. Ленивая тишина лета укрепила ее. В это же самое время в губернском городе соседней губернии произошло следующее.

II

Молодой человек Степан Соткин, из мещан, после долгого отсутствия вернулся домой. Он прослужил три года, где и как придется, в разных местах России: кассиром на пароходе, весовщиком на станции, кондуктором и агентом полотняной фирмы. Он не переписывался с родителями почти год, так что, по возвращении, для него было большой и серьезной новостью известие о смерти старшего брата, в силу чего Степану Соткину приходилось тянуть жребий. Призывных в этом году было немного, льготный жребий требовал счастья исключительного, а забраковать Соткина не могли, потому что это был человек здоровый, рослый и быстрый.

Вечером в саду под бузиной произошло семейное чаепитие. Старик Соткин, вдовец, сторож казенной палаты сказал:

— Отымут тебя, Степан. Гриша померши, а тебе — лоб. С Петькой останусь.

— Это еще неизвестно,— ответил Степан.— Я, собственно, к военной службе охоты никакой не имею.

После четырех лет скитаний он думал о солдатской лямке с ненавистью и отвращением. С шестнадцати лет Соткин привык жить вполне независимо, переезжая из города в город, тратя, как хотел, свои силы, труд и деньги. Ему вспомнилась бойкая, цветная Москва, голубая Волга, гул ярмарки в Нижнем, нестройная музыка Одесского порта; перед ним, окутанный паровозным дымом, бежал лес. И Соткин покрутил головой.

— Да, неохота,— повторил он.

— Выше ушей не прыгнешь,— сказал старик.— Бе-

жать, что ли? В Англию. Два года восемь месяцев,— авось стерпишь.

Соткин вздохнул и, выйдя побродить, зашел в пивную. Там, сжав голову руками, он просидел за бутылками до закрытия и, тщательно обсудив положение, решил, что служить придется. Жизнь за границей и манила его, но и пугала невозможностью вернуться в Россию. «Служить так служить,— сказал он, подбрасывая в рот сухарики,— так и будет».

Его назначили в Пензу. Обычное недоумение и растерянность новобранцев перед новыми условиями жизни (в большинстве — «серых» деревенских парней), а также наивное тщеславие их, удовлетворяемое красными новенькими погонами, треском барабана и музыкой, были чужды Соткину. Как человек бывалый и развитой, он быстро усвоил всю несложную мудрость шагистики и вывертывания носков, выправку, съедание начальства глазами, ружейный механизм и — так называемую «словесность». Ровный, спокойный характер Соткина помогал ему избегать резких столкновений с унтерами и «старыми солдатами», помыкавшими новичками. Он не старался выслужиться, но был исполнителен. Все это не мешало ближайшему начальству Соткина — подвзводному, взводному, фельдфебелю и каптенармусу (играющему, обыкновенно, среди унтеров роль Яго; теплое, хозяйственное положение каптенармуса — предмет зависти — делает его сплетником, интриганом и дипломатом) — относиться к молодому солдату холодно и неодобрительно.

Есть порода людей, к которым можно, изменив, отнести слова Гольдсмита: «Я вполне уверен, что никакие выражения покорности не вернут мне свободы и на один час». Соткин мог бы сказать: «Никакие усилия быть образцовым солдатом не доставят мне благоволения унтеров».

Соткин принадлежал к числу людей, которые обладают несчастной способностью, находясь в зависимости, вызывать, без всякой своей заботы об этом, глухую беспричинную вражду со стороны тех, от кого люди эти зависят. Провинностей по службе и дисциплине за ним никаких не было, но внутреннее отношение его к службе, вполне механическое и безучастное,— неуменье заискивать, вылезать, льстить, изгибаться и трепетать — вы-

ражалось, вероятно, вполне бессознательно, в пустяках: случайном, пристальном или беглом взгляде, улыбке, тоне голоса, молчании на остроту унтера, спокойных ответах, быстрых движениях. Он чистил фельдфебелю сапоги, не морщась, но только по приказанию; другие же, встав рано, с непонятным сладострастием угодливости работали щетками. Он, кроме всего этого, пил каждый день чай с белым хлебом и не должал маркитанту. Солдаты уважали его, а мелкая власть, холодно поблескивая глазами, смотрела на Соткина туманно-равнодушным взглядом кота, созерцающего воробьев в воздухе.

Такие отношения, разумеется, рано или поздно, должны были обостриться и выясниться. Наступил лагерный сбор. За Сурой раскинулись белые, среди зеленых аллеек, палатки О-ского батальона. Солдаты, возвращаясь с учебной стрельбы, хвастались друг перед другом меткостью прицела, мечтая о призовых часах. Соткин, стреляя плохо, редко пробивал мишень более чем двумя пулями из пяти. Первый окрик фельдфебеля: «Соткин, смотри!» — и второй: «Ворона, а еще в первой роте!» заставили его целиться тщательнее и дольше; однако, более чем на три пули махальный не показывал ему красный значок. Через месяц перешли к подвижным мишеням.

На горизонтальном вращающемся шесте, за триста шагов, медленно показываясь из траншеи и пропадая, выскакивали поясные фигуры. Взвод стрелял лежа Удушливая, огненная жара струила над полем бесцветные переливы воздуха, мушка и прицельная рамка блестели на солнце, лучась, как пламя свечи лучится прищурившемуся на нее человеку. Целиться было трудно. Вдали, на уровне глаз, ныряли, величиной с игральную карту, двухаршинные поясные мишени.

Соткин, удерживая дыхание, прицелился и дал мишени исчезнуть с тем, чтобы выстрелить при следующем ее появлении.

Мишень появилась. Соткин выстрелил, пуля, выхлестнув далеко пыль, запела и унеслась. Он истратил зря и остальные четыре патрона, не попал.

— Под ранец,— сказал ротный. Соткин густо покраснел и насупился. Ему приходилось в первый раз отбы-

вать наказание. Досада и беспричинный стыд овладели им, как будто он, действительно, чем-то замарал себя в глазах окружающих, но скоро понял, что стыдно лишь потому, что придется стоять истуканом в полном походном снаряжении два часа, все будут смотреть и хоть мысленно улыбаться.

Рота, кончив стрельбу, с молодецкими песнями о «генерал-майоре Алхаз» и «крутящемся голубом шаре», вернулась в лагерь. Соткина разыскал взводный.

— Соткин,— равнодушно сказал он, кусая губу,— оденься и на линейку.

Солдат, выслушав приказание, вернулся в палатку, повесил на себя все, что требовалось уставом,—манерку, патронташи, скатанную шинель, сумку, взял винтовку и вышел, готовый провалиться сквозь землю. Красный, как пион, Соткин смотрел в холодное лицо унтера едва не умоляющими глазами. Унтер, осмотрев снаряжение, отвел Соткина к середине линейки и поставил лицом к лагерю...

— Так-то,— сказал он и посмотрел на часы, а затем ушел.

Соткин взял «на плечо». Солдаты, проходя мимо него, бросали косые взгляды — так странно было видеть под ранцем именно Соткина. Он, обливаясь потом, мучился терпеливо и стойко; нестерпимо жгло солнце, накаливая затылок, и от жары в ноющем от тяжести и неестественного положения руки теле пробегал нервный озноб. Седой фельдфебель, улыбаясь в усы, подошел к Соткину, открыто и ласково посмотрел ему в глаза и так же ласково произнес:

— Ближе носки. Локоть.

Прошло два часа. Соткина отпустили, он пришел в палатку и долго, делая вид, что чего-то ищет, рылся в сундучке, избегая разговаривать с товарищами. Смущение его прошло только к вечеру.

Через день снова была стрельба, но на этот раз — случайно или нет — Соткин попал из пяти четыре. Солдат облегченно вздохнул.

— В первый разряд попадешь,— монотонно сказал ему, проходя в цепи, взводный,— на приз выйдешь, часы получишь.

Он, конечно, смеялся. Соткин так это и понял, но только махнул рукой, думая: «Собака лает — ветер но-

сит». Их глаза встретились на одно лукавое, немое мгновение, и Соткину стало ясно, что унтер определенно и жестоко будет ненавидеть его за все, что бы он ни сделал, плохо или хорошо — все равно, за то, что он — Соткин.

Прошло несколько дней. Взвод чистил ружья. Тряпочка, навернутая на конец шомпола, давно уже выходила из дула чистой, как стиранная, и Соткин стал собирать разобранную винтовку. Ефрейтор, наблюдающий за работой, подошел к Соткину.

— Дай-ка взглянуть.— Он поднес дуло к глазам, обратив другой конец ствола к солнцу, смотрел долго, увидел, что вычищено отлично, и поэтому заявил:

— Три. Протирай еще.

— Там ничего нет,— возразил Соткин, показывая протирные тряпки,— вот, посмотрите.

— Если я говорю...— начал ефрейтор, пытаясь подобрать выразительную, длинную фразу, но запнулся.— Почисти, почисти.

Соткин для виду поводил шомполом в дуле минут десять, но уже чувствовал подымающийся в душе голос сопротивления. Этот день был для него исключительно неприятным еще потому, что утром он потерял деньги, восемь рублей, а вечером произошло обстоятельство неожиданное и крутое.

Человек тридцать солдат, поужинав, собрались в кружок и, под руководством организовавшего это увеселение фельдфебеля, пели одну за другой солдатские песни. Слушая, стоял тут же и Соткин. У него не было ни слуха, ни голоса, поэтому, не принимая участия в хоре, он ограничивался ролью человека из публики. Разгоряченный, охрипший уже фельдфебель, без шапки, в розовой ситцевой рубашке, простирая над толпой руки, яростно угрожал тенорам, выпирал басов и тушевал так называемые «бабьи голоса», обладатели которых во всех случаях были рослыми мужиками. Стемнело, в городе блеснули огоньки.

— Соткин, пой,— сказал фельдфебель, когда песню окончили.— Ты не умеешь, а?

— Так точно, не умею.—Соткин улыбнулся, думая, что фельдфебель шутит.

— Ты никогда не пел?

— Никогда.

— Постой.— Фельдфебель вышел из круга и, подойдя к солдату вплотную, внимательно осмотрел его с ног до головы.— Учись. «До-ре-ми-фа»... Ну, повтори.

— Я не умею,— сказал Соткин и вдруг, заметив, что маленькие глаза фельдфебеля зорко остановились на нем, насторожился.

— Ну, пой,— вяло повторил тот, полузакрывая глаза.

Соткин молчал.

— Ты не хочешь,— сказал фельдфебель,— я знаю, ты супротивный. Исполнь приказание.

Соткин побледнел; в тот же момент побледнел и фельдфебель, и оба, смотря друг другу в глаза, глубоко вздохнули. «Так не пройдет же этот номер тебе»,— подумал солдат.

— Сполни, что сказано.

— Никак нет, не умею, господин фельдфебель,— раздельно произнес Соткин и, подумав, прибавил: — Простите великодушно.

Радостная, веселая улыбка озарила морщины бравого служаки.

— Ах, Соткин, Соткин,— вздыхая, сказал он, сокрушенно покачал головой и, сложив руки на заметном брюшке, весело оглянулся. Солдаты, перестав петь, смотрели на них.— Иди со мной,— сухо сказал он, более не улыбаясь, сощурил глаза и зашагал по направлению к городу.

Взволнованный, но не понимая, в чем дело, Соткин шел рядом с ним. За его спиной грянула хоровая. Невдалеке от лагеря тянулся старый окоп, густо поросший шиповником и крапивой; в кустах этих фельдфебель остановился.

— Учили нас, бывало, вот так,— сказал он, деловито и не торопясь ударяя из всей силы Соткина по лицу; он сделал это не кулаком, а ладонью, чтобы не оставить следов. Голова Соткина мотнулась из стороны в сторону. Оглушенный, он инстинктивно закрылся рукой. Фельдфебель, круто повернув солдата за плечи, ткнул его кулаком в шею, засмеялся и спокойно ушел.

Соткин неподвижно стоял, почти не веря, что это случилось. Обе щеки его горели от боли, в ушах звенело, и больно было пошевелить головой. Он поднял упавшую фуражку, надел и посмотрел в сторону лагеря. Солдаты пели «Ой, за гаем, гаем...», в освещенных дверях маркитантской лавочки виднелись попивающие чаек унтеры. Смутно белели палатки.

— А меня бить нельзя,— вслух сказал Соткин, обращаясь к этой мирной картине военной жизни.— Меня за уши давно не драли,— продолжал он,— я не позволю, как вы себе хотите.

Он посидел минут пять на земле, глотая слезы и вспоминая противное прикосновение кулака, затем пробрался в палатку, накрылся, не раздеваясь, шинелью и стал думать.

Впереди было два года службы. За это время могло представиться еще много случаев для вспыльчивости начальства, а Соткин, человек не из любящих покорно сносить оскорбления, мог, не удержавшись, вспылить, наконец, сам, что обыкновенно вело еще к худшему. Он знал по рассказам историю некоторых солдат, затравленных до каторги; это происходило в такой последовательности: светлый и темный карцер, карцер по суду, дисциплинарный батальон, кандалы. Но трудно было ожидать перемены ветра. Воспоминания говорили Соткину, что начальство, перебивающее окриком: «Эй ты, профессор кислых щей, составитель вакцы,— на молитву!» — какой-нибудь пустяшный рассказ солдатам об Эйфелевой башне,— пользуется своей властью не только в деловых целях, но и потому, что это власть, вещь приятная сама по себе, которую еще приятнее употребить бесцельно по отношению к человеку душевно сильному. В этом был большой простор для всего.

«Могу здесь погубить свою жизнь, на это пошло»,— думал Соткин. Наконец, приняв твердое решение более не служить, он уснул.

Через день Соткина утром на перекличке не оказалось. Фельдфебель написал рапорт, ротный написал полковому, полковой в округ; еще немного чернил было истрачено на исправление продовольственных ведомостей, а в городских и уездных полициях отметили, почесывая спину, в списках иных беглых и бродящих людей, мещанина Степана Соткина.

III

— Очень люблю я ершей,— сказал Павел Павлович, подвигая жене тарелку,— только вот мало в ухе перцу.

Обедали четверо — дядя, тетка, Евгения Алексеевна, и старый знакомый Инны Сергеевны, которого она знала еще гимназистом,— Аполлон Чепраков, земский начальник. Это был человек с выпуклым ртом и такими же быстро бегающими глазами; брил усы, носил темную бородку шнурком, похожую на ремень каски, имел курчавые волосы и одевался, живя в деревне, в спортсменские цветные сорочки, обтянутые по животу широким, с цепочками и карманами, поясом. Особенным, удивительным свойством Чепракова была способность говорить смаху о чем угодно, уцепившись за одно слово. Он гостил в имении четыре дня, ухаживал за Евгенией Алексеевной и собирал коллекцию бабочек.

— Да, в самом деле,— заговорил Чепраков,— ерш с биологической точки зрения, ерш, так сказать, свободный — одно, разновидность, а сваренный, как, например, теперь,— он ковырнул ложкой рыбку,— предмет, требующий луку и перцу. Щедрин, так тот сказку написал об ерше, и что же, довольно остроумно

— Пис-карь,— страдальчески протянул Павел Павлович,— пис-карь, а не ерш.

— А,— удивился Чепраков,— а я было... Я ловил пискарей... когда это... прошлым летом... Евгения Алексеевна,— неожиданно обратился он,— вы напоминаете мне плавающую в воде рыбку.

— Аполлон,— вздохнула Инна Сергеевна, жеманно сося корочку,— посмотрите, вы сконфузили Женю, ах, вы!

— Галантен, как принц,— добродушно буркнул Павел Павлович.

Девушка рассмеялась. Большой, легкомысленный Чепраков больше смешил ее, чем сердил, неожиданными словесными выстрелами. Он познакомился с ней тоже странно: пожав руку, неожиданно заявил: «Бывают встречи и встречи. Это для меня очень приятно, я поражен»,— и, мотнув головой, расшаркался. Говорил он громко, как будто читал по книге не то что глухому, а глуховатому.

— Аполлон Семеныч,— сказала Евгения,— я слышала, что вы были опасно больны.

— Да. Бурса мукоза.— Чепраков нежно посмотрел на девушку и повторил с ударением: — Мукоза. Я склонял голову под ударом судьбы, но выздоровел.

Этой темы ему хватило надолго. Он подробно назвал докторов, лечивших его, лекарства, рецепты, вспомнил сестру милосердия Пудикову и, разговорившись, встал из-за стола, продолжая описывать больничный режим.

Обычно после обеда, если стояла хорошая погода, Евгения уходила в лес, начинавшийся за прудом; дядя, покрыв лицо платком, ложился, приговаривая из «Кармен»: «Чтобы нас мухи не беспокоили»,— и засыпал в кабинете; Инна Сергеевна долго беседовала на кухне с поваром о неизвестных вещах, а потом шла к себе, где возилась у зеркала или разбирала старинные кружева, вечно собираясь что-то из них сделать. Чепраков, захватив сетку для бабочек, булавки и пузырек с эфиром, стоял на крыльце, поджидая девушку, и, когда она вышла, заявил:

— Я пойду с вами, это необходимо.

— Пожалуйста.— Евгения посмотрела, улыбаясь, в его торжественное лицо.— Необходимо?

— Да. Вы — слабая женщина,— снисходительно сказал Чепраков,— поэтому я решил охранять вас.

— К сожалению, вы безоружны, а я, как вы сказали,— слаба.

— Это ничего.— Чепраков согнул руку.— Вот, пощупайте двуглавую мышцу. Я выжимаю два пуда. У меня дома есть складная гимнастика. Почему не хотите пощупать?

— Я и так верю. Ну, идемте.

Они обогнули дом, пруд и, перейдя опушку, направились по тропинке к местной достопримечательности — камню «Лошадиная голова», похожему скорее на саженную брюкву. Чепраков, пытаясь поймать стрекозу, аэропланом гуляющую по воздуху, разорвал сетку.

— Это удивительно,— сказал он,— от ничтожных причин такие последствия.

— Ну, я вам зашью,— пообещала Евгения.

— Вы, вашими руками? — сладко спросил Чепраков.— Это счастье.

— Да перестаньте, — сказала девушка, — идите смирно.

— Нет, отчего же?

— Оттого же.

«Право, я начинаю говорить его языком»,— подумала девушка. Говорливость Чепракова парализовала ее; она с неудовольствием замечала, что иногда бессознательно подражает ему в обороте фразы. Его манера высказываться напоминала бесконечное, надоедливое бросание в лицо хлебных шариков. «Неужели он всегда и со всеми такой? — размышляла Евгения.— Или рисуется? Не пойму».

Остро пахло хвоей, муравьями и перегноем. Красные стволы сосен, чуть скрипя, покачивали вершинами. Чепраков увидел синицу.

— Вот птичка,— сказал он,— это, конечно, избито, что птичка, но тем не менее трогательное явление.— Он покосился на тонкую кофточку своей спутницы, плотно облегавшую круглые плечи, и резко почувствовал веяние женской молодости. Мысли его вдруг спутались, утратив назойливую хрестоматичность, и неопределенно запрыгали. Он замолчал, скашивая глаза, отметил пушок на затылке, тонкую у кисти руку, родинку в углу губ. «Приятная, ей-богу, девица,— подумал он,— а ведь, пожалуй, еще запретная, да».

— А я завтра в город,— сказал он,— масса дела, разные обязательства, отношения; четыре дня, прекрасно проведенные здесь, принесли мне, собственно, физическую и духовную пользу, и я снова свеж, как молодой Дионис.

— А вы любите свое дело? — спросила, кусая губы, Евгения.

— Как же! Впрочем, нет,— поправился Чепраков.— Я — не кто иной, как анархист в душе. Мне нравится все грандиозное, страстное. Мужики — свиньи.

— Почему?

— Они грубо-материальны.

— Но ведь и вы получаете жалованье.

— Это почетная плата, гонорар,— веско пояснил Чепраков. Он коснулся пальцами локтя Евгении, говоря: — К вам веточка пристала,— хоть веточку эту придумал после долгого размышления.— Теперь вот что,— серьезно заговорил он, бессознательно попадая в нуж-

ный тон,— что говорить обо мне, я человек маленький, делающий то, что положено мне судьбою Вы, вы как живете? Что думаете, о чем мечтаете? Что наметили в жизни? Вот что интереснее знать, Евгения Алексеевна.

— Это сразу не говорится,— заметила девушка.

— Ну, а все-таки? Ну, как?

Искусно впав в искренность, Чепраков сам не знал, зачем это ему нужно; вероятно, он переменил тон путем бессознательного наблюдения, что люди застенчивые часто говорят посторонним то, что не всегда скажут людям более близким, а зачем нужно ему было это, он не знал окончательно.

Они подошли к камню. «Что же я скажу?» — подумала Евгения. Она не знала, какой представляет ее Чепраков, но чувствовала, что не такой, какая она есть на самом деле. В этом, а также в особом настроении, происходящем от того, что иногда случайный вопрос собирает в душе человека его рассеянное заветное в одно целое,— была известная доля желания рассказать о себе. Кроме того, ей было почему-то жаль Чепракова и казалось, что с ним можно, наконец, разговориться без птичек и Дионисов.

— Видите ли, Аполлон Семеныч,— нерешительно начала она, садясь на траву; Чепраков же, подбоченясь, стоял у камня,— у меня в жизни два требования. Я хочу, во-первых, заслужить любовь и уважение людей, во-вторых,— находиться в каком-нибудь большом, очень нужном и важном деле и так тесно с ним слиться, чтобы и я, и люди, и дело,— было одно. Понимаете? Впрочем, я не умею выразить. Но это найти мне не удается, или я не гожусь,— не знаю. Но ведь трудно, не правда ли, найти такое, в чем не были бы замешаны страсти и личные интересы, честолюбие. Это меня, сознаюсь, пугает. Личная жизнь не должна путаться в это дело ничем, пусть она течет по другому руслу. Тогда я жила бы, как говорят, полной жизнью.

— Н-да,— протянул Чепраков, усаживаясь рядом,— не многим, не многим дано. Я глубоко уважаю вас. А что вы скажете о главном,— главном ферменте жизни? То сладкое, то... одним словом — любовь?

— Ну, да,— быстро уронила Евгения,— конечно...—

Она смутилась и разгорелась, затем, как бы оправдываясь и уже сердясь на себя за это, прибавила: — Ведь все равны здесь, и мужчины.

— А как же! — радостно подхватил Чепраков.— Даже очень.

Девушка рассмеялась.

«А я, ей-богу, попробую,— думал Чепраков,— молоденькая... девятнадцать лет... жизни не знает...— Далее он продолжал размышлять, по привычке, как говорил, рублеными фразами: — Как занятно пробуждение любви в женском сердце. Долой лозунги генерала Куропаткина. Милая, вы неравнодушны ко мне. Иду на вы».

— Евгения Алексеевна,— выпалил Чепраков,— вот где была бурса мукоза, а? Посмотрите.

Он быстро засучил брюки на левой ноге по колено, обнажив волосатую икру и белый рубец. Евгения, внезапно остыв, удивленно смотрела на Чепракова.

— Что с вами? — спросила она, вставая.

— Это мукоза.— Чепраков обтянул брюки.— Какая белая кожа... и у вас тоже... рука.

Евгения машинально посмотрела на свою руку и увидела, что эта рука очутилась в руке Чепракова, он поцеловал ее и прижал к левой стороне груди.

— Ну, оставьте,— спокойно, но изменившись в лице, сказала Евгения.— Руки прочь.

— Нет — отчего же? — наивно сказал Чепраков.— Это внезапное, глубокое.

Девушка подняла зонтик, повернулась и неторопливо ушла. Чепраков стоял еще некоторое время на месте, жестко смотря ей вслед, потом фальшиво зевнул, прошел другой тропиночкой в усадьбу, взял удочку и просидел на речке до ужина.

За столом он избегал смотреть на Евгению, а она на него; это про себя отметила тетка. На другой день утром Чепраков уехал в город, успев на прощанье шепнуть молчаливой девушке:

— Я пережил тонкие, очаровательные минуты.

IV

Евгения держала в руках письмо, с недоумением рассматривая школьный, полумужской почерк. Наконец, потеряв надежду угадать, от кого это письмо, так как в уездном городе знакомых у нее не было, а штемпель на конверте гласил. «Сабуров». девушка приступила к чтению.

— Что, что такое?..— вскричала она вне себя от изумления и обиды. Держа письмо дрожащей рукой, она нагнулась к нему, растерявшись от неожиданности,— так много было в нем обдуманной злобы, яда и издевательства.

«Милостивая государыня,
Госпожа Евгения Алексеевна.

Не знаю, прилично ли молодой девушке из благородных (хороши благородные) таскаться с женатым человеком. Вас, видно, этому обучают. Скажите, как вам не стыдно. Если вы так ведете себя, значит, хороши были ваши родители. Аполлоша мне все рассказал. Некрасиво довольно с вашей стороны, барышня. Хотя мы и не венчаны, а живем, слава богу, четвертый год. А я отбивать своего мужчину не позволю. Если вы в него влюблены, советую забыть, треплите хвост в другом месте. На интеллигентность вашу никого вы себе не поймаете, лучше оставьте про себя.

Готовая к услугам
Мария Тихонова».

Прочитав до конца, Евгения Алексеевна опустила руки и беспомощно осмотрелась. Болезненный, нервный смех душил ее. Она даже не сразу поняла, от кого это письмо. Отдельные фразы, и наиболее оскорбительные, одна за другой появились перед нею в воздухе, как на экране, подавляя своей внушительной безапелляционностью; это походило на сон, в котором, желая бежать от страшного явления, не можешь двинуться с места. Она даже подумала, не мистификация ли это того же Чепракова, грубая, сумасшедшая, но все же мистификация; однако трудно было придумать нарочно что-либо подобное такому письму. Старый страх перед жизнью охватил девушку, она угадывала, что человек роковым образом беззащитен душой и телом; и даже у Зигфри-

да, с головы до ног покрытого роговой кожей, было на спине место, величиною с древесный лист, пропустившее смерть. Вся печально-смешная сцена третьего дня, с «бурса мукозой» и целованием рук, ожила перед девушкой; жгучая краска стыда залила ее с ног до головы при мысли, что — это было больнее всего — случайная ее откровенность известна Марии Тихоновой в подозрительной передаче, приобретая смысл нелепо позорный и вызывающий, вероятно, хихиканье.

Евгения сидела у себя наверху одна, и это помогло ей оправиться от оскорбительной неожиданности. Случись такая история лет на пять позже, она, должно быть, отнеслась бы, внешне, к этому несколько иначе: или совсем не ответила бы на письмо, или написала бы спокойный, внятный ответ. Но в теперешнем своем возрасте она не научилась еще взвешивать обстоятельства, продолжая считаться с людьми близко и очень подробно, до конца. Адрес Тихоновой в письме был; автором, видимо, руководило известное любопытство вызова. Евгения Алексеевна посмотрела на часы: шесть. Желая прекратить лично и как можно скорее то, что она еще считала недоразумением, девушка, приколов шляпу и взяв письмо, сошла вниз.

Ей предстояло одолеть четыре версты пешком; не было никакого предлога сказать, чтобы запрягли лошадь. Она вышла с заднего крыльца на деревню, обернулась, посмотрев, не следит ли за ней кто из домашних, и быстро направилась к городу, видимому уже с ближайшего холма красным пятном казенного винного склада, белыми колокольнями и садами. Волнение не покидало ее, наоборот: чем ближе она подходила к темным заборам Сабурова, тем нестерпимее казалось медленно сокращающееся расстояние. Девушка была твердо уверена, что заставит слушать себя и что ей дадут все нужные объяснения.

Наконец, она вошла в город. Евгения бывала здесь раньше. Ступая по нетвердым доскам тротуаров, густо обросших крапивой с ее острым, глухим запахом, девушка вспомнила один вечер, когда, возвращаясь с концерта заезжего пианиста в гостиницу, где поджидал ее, чтобы уехать вместе, Павел Павлыч, неторопливо шла по улицам. Городок засыпал. Еще светились кое-где красные и лиловые занавески; на высокой голубятне сон-

но гурлили голуби; на площади, у всполья, доигрывали последнюю партию в рюхи слободские мещане; старый нищий, стоя в темноте на углу, разводил, бормоча нетрезвое, руками; из раскрытых окон квартиры воинского начальника неслась плохо разученная «Молитва девы»; мужики, сидя на тумбочках у трактира, галдели о съемных лугах. От оврагов веяло сыростью ледяных ключей. Чистый блеск звезд теплился над черными крышами. У пристани, бросая мутный свет фонарей в мучные кули, стоял пароходик «Иван Луппов»; мачтовые огни его против черных, как разлитые чернила, отмелей противоположного берега казались иллюминацией.

Она вспомнила эту мирную тишину, удивляясь обманчивости тишины, ее затаенным жалам; ей было даже неловко идти со своим возмущением среди маленьких, опрятных, в зелени, домов, покосившихся, хлипких лачуг, деревенской пыли, безобидной желтой краски и дремлющих мезонинов. Разыскав дом и улицу, Евгения с тяжелым нервным угнетением, наполнившим ее внезапной усталостью, позвонила у желтой парадной двери. Ей открыла унылая беременная женщина.

— Госпожа Тихонова дома? — спросила Евгения, и вдруг ей захотелось уйти, но она пересилила страх. Женщина, разинув рот, смотрела на нее; это было нелепо и тяжко.

— А я сейчас... они дома,— сказала, скрываясь в сенях, женщина.

В окне, сбоку, метнулось приплюснутое носом к стеклу лицо с выражением жадного любопытства.

— Просят вас,— сказала, возвратясь после томительно долгих минут, унылая женщина. Она широко распахнула дверь и уставилась на Евгению, как бы сторожа ее взглядом. Девушка, глубоко вздохнув, вошла в низкую комнату с канарейками, плющом и венскими стульями. У дальней двери, скрестив на высокой груди пышные, как булки, руки, стояла чернобровая, с розовым лицом, дама в сером капоте.

— Кого имею честь?..— процедила дама, осматривая Евгению Алексеевну.

Девушка заговорила с трудом.

— Я — Мазалевская,— сказала она, сжимая пальцы, чтобы сдержать волнение,— я хочу вас спросить, почему вы, не дав себе труда... Вот ваше письмо.— Она протянула листок гордо улыбающейся Тихоновой.— Пожалуйста, объясните мне все, слышите?

— И при чем тут труд? — громко заговорила дама, внушительно двигая бровями.— И нечего мне вам объяснять. И нечего мне говорить с вами. А что Аполлон передо мной свинья, это я тоже знаю. И уж, если, поверьте мне, милая, мужчина говорит: «Ах, ах, ах! Она имеет ко мне склонность»,— да если завлекать человека разными там материями, то уж, простите, нет; ах, оставьте. Я не девчонка, чтобы меня за нос водить. И более всего удивляюсь, что вы даже пришли; это так современно, пожалуйста.

У девушки задрожали ноги, она посмотрела на Тихонову взглядом ударенного человека и растерялась.

— Ну, послушайте,— задыхаясь, выговорила она,— это бессмысленно, разве же вы не понимаете? Я...

— Где же уж понимать,— сказала дама,— мы — уездные.

Евгения не договорила, повернулась, вышла на улицу и разрыдалась. Стараясь удержаться, она поспешно прижимала ко рту и глазам платок; машинально шла и машинально останавливалась; редкие прохожие, оборачиваясь, смотрели на нее подолгу, а затем переводили взгляд на заборы, деревья и крыши, словно именно там скрывалось нужное объяснение; один сказал, гаркнув: «Что, сердешная, завинтило?» Осилив спазмы, девушка увидела Чепракова, он переходил улицу, направляясь к квартире Тихоновой. Нисколько не удивляясь тому, что случайно встретила этого человека, скорее даже с чувством облегчения, Евгения Алексеевна остановила его на углу. Чепраков, перестав махать тросточкой, снял фуражку, попятился и замигал так тревожно, что нельзя было сомневаться в том, что о письме он знает.

Чепраков, выдавая себя, молчал, не здороваясь, даже не притворяясь удивленным, что видит Мазалевскую в городе.

— Вы знаете про письмо? — сурово спросила девушка.

Чепраков, изгибаясь, развел руками.

— Я... я... я...— спутался он.— Я хотел ее посердить.

Евгения Алексеевна пристально посмотрела в его спрятавшиеся глаза, махнула рукой и пошла из города медленной походкой усталого человека.

V

Прежде, чем выйти к чаю, Евгения тщательно умылась холодной водой и подошла к зеркалу. Следы недавнего расстройства исчезли. Причесываясь, окутав себя пушистыми, ниже колен, волосами, девушка в сто первый раз переживала этот, неизгладимый в ее возрасте, случай, но все тише, все ближе к спокойной грусти. Она уже не возмущалась, а недоумевала. В ее жизни, проходившей в тени, было похожим на это случаям место и ранее, но не образовалось привычки к ним,— она переживала их каждый раз всеми нервами; нечто похожее на боязнь людей выработалось в ней постепенно и незаметно. Она и сейчас уловила резкое пробуждение этого чувства.

— Чего же бояться? — вслух сказала Евгения Алексеевна, пытаясь понять себя. Воспоминания образно показывали ей, что страшно незаслуженны злое отношение людей, злорадство и бессознательная жестокость, от которых не защищен никто. Она вспомнила несколько примеров этого по отношению к себе и другим... Особенно ясно Евгения Алексеевна увидела себя на улице Петербурга и в Крыму.

На улице, поравнявшись с девушкой, человек, внушительной и степенной осанки, остановился, ударил ее очень сильно кулаком в грудь и спокойно прошел, даже не обернувшись. А в Крыму, за пансионным столом, во время обеда, упитанный щеголь-коммерсант, еще молодой человек, блистающий кольцами и алмазами, очень хорошо видя, что слова его неприятны и возмутительны, спокойно говорил о своих кражах во время Японской войны, обращаясь к любовнице и другу-проводнику. Изредка он обращался и к остальным.

— Вы просите перестать? Ну, что вы! Вы жертвовали на раненых, а эти деньги у меня в кармане. Сорок тысяч.

Евгения Алексеевна, сойдя вниз, выпила крепкого чаю. Обычный, почти беспредметный разговор с родственниками она вела машинально.

— Женечка,— сказала под конец, как бы невзначай, Инна Сергеевна,— позавчера Аполлон... мне показалось... вы не поссорились?

— Нисколько.— Она спокойно посмотрела на тетку и улыбнулась.

Уже смеркалось, когда, желая побыть одной, Евгения обогнула полный облаков пруд. Она шла опушкой, сумеречные поля открывались слева, под утратившей блеск сонной синевой неба птицы глухо перекликались в лесу, опущенное забрало полутьмы скрыло его низкие дневные просветы. У изгороди дергал коростель. Евгения остановилась, пустынная тишина окрестностей понравилась ей; она стояла и думала.

— Ложись спать,— сказал позади голос,— хотя ты дятел и рабочая птица, однако береги силы.

Мазалевская вздрогнула и повернулась к невидимому оратору. Его не было видно, он сидел или лежал в темных кустах.

Дятел, не переставая, звонко долбил дерево.

— Несговорчивый,— продолжал голос,— хотя бы ты обучился моему языку. А-мм-меэм-ма-ам, а-ам, ме-е. Хохлатик.

Голос смолк, а из кустов вышел человек с котомкой за плечами, в старом картузе, лаптях и с клюкой, вроде употребляемых богомольцами; он хотел перескочить изгородь, но, заметив Евгению, скинул картуз и протянул руку.

— А-м-м-мее-ма-а-ам-ме-е,— промычал он, показывая на рот.

— Немой? — спросила Евгения.

Человек кивнул, выразительно смотря на руку и кошелек барышни.

— Хоть ты и рабочая птица,— неожиданно для себя сказала Евгения, протягивая мелочь,— однако береги силы.

— Подслушали,— вдруг произнес совершенно отчетливо мнимый немой и конфузливо усмехнулся.

— Это вам для чего же?

— Есть надобность,— уклончиво сказал человек.

— Вы не бойтесь меня,— подумав, сказала Евгения. Любопытство ее было сильно задето.

Человек осмотрелся.

— Так что же, неинтересно вам ведь,— неохотно за-

говорил он.— Просто беглый солдат. Невелика птица. Видите — паспортишко есть, купил кое-где, но, извините,— брехать не умею. На ночлеге же, известное дело, или на меже где, мужик напоит,— поболтать любят, интересуются прохожим. Ну, понимаете,— проврешься, а особенно на ночлеге. Опасно. Я от одного железнодорожного сторожа бегом спасался; охотиться, видите ли, за мной старик начал, а что ему в этом? Разумеется, подумав, прикинулся я немым, так и иду. В Одессу. Там у меня знакомые есть; устроят. За месяц, верите ли, десятка слов не сказал с людьми, иногда разве поболтаешь сам с собой от скуки; да вот вы, вижу, вреда не сделаете,— заговорил.

— Не сделаю,— рассеянно подтвердила Евгения.

— То-то. Спасибо за мелочишку.

Соткин перескочил изгородь, махнул картузом и зашагал, встряхивая котомкой, к деревне.

— Ну, слава богу,— сказала Евгения, подымаясь на крыльцо усадьбы,— теперь я, пожалуй, тоже кое-что знаю.

Она думала, что надо жить подобно этому солдату, что человек, скрывший себя от других, больше и глубже вникнет в жизнь подобных себе, подробнее разберется в сложной путанице души человеческой. Это бродило в ней еще смутно, но повелительно. Она начинала понимать, что в великой боли и тягости жизни редкий человек интересуется чужим «заветным» более, чем своим, и так будет до тех пор, пока «заветное» не станет общим для всех, ныне же оно для очень многих — еще упрек и страдание А людей, которым и теперь оно близко, в светлой своей сущности — можно лишь угадать, почувствовать и подслушать.

МАЛЕНЬКИЙ ЗАГОВОР

I

— Садитесь, поговорим,— ласковым голосом сказал Геник, подвигая стул очень молодой девушке, на вид не старше семнадцати лет.— Мне поручено объясниться с вами и, что называется,— во всех деталях.

Гостья застенчиво улыбнулась, села, оправляя коричневую юбку тонкими, слегка задрожавшими пальцами, и устремила на Геника пристальные большие глаза, темные, как вечернее небо. Геник мысленно побарабанил пальцами, оседлал другой стул и спросил:

— Как меня нашли?

— Я вас отыскала скоро... Хотя вы живете в таком глухом углу... Я даже улицы такой раньше не знала.

— Улицу эту выстроили специально для меня! — пошутил Геник.— Смею вас уверить.

— Еще бы! — слабо улыбнулась она.— Для нас с вами другие места приготовлены.

— Каркайте, каркайте... Что же— улицу через прохожих отыскали?

Девушка отрицательно покачала головой.

— Нет,— поспешно сказала она,— мне объяснил Чернецкий, что улица эта выходит в числе прочих на Армянскую. Я ее всю и прошла, в самый конец.

Геник сделал серьезное лицо.

— Это хорошо! — заявил он, одобрительно кивая.— Всегда нужно стараться как можно меньше расспрашивать прохожих. Особенно в деле особой важности.

Девушка с уважением окинула глазами небрежно оседлавшую стул, худую и коренастую фигуру Геника. Даже и эту тонкость он считает важной — должно быть, замечательный человек.

— Ваше имя— Люба? — спросил юноша.

— Да.

Наступило короткое молчание. Девушка рассеянно оглядывала комнату, пустую и неуютную, где, кроме пунцовой розы, алевшей на столе в дешевом запыленном стакане, не на чем было остановиться и отдохнуть глазу. В широкое, настежь отворенное окно, вместе с теплым ветром и шелестом цветущей черемухи, плыл солнечный свет, щедро заливая грязные обои голых стен пыльно-золотистыми пятнами, на фоне которых, беззвучно и неуловимо, как ночные бабочки в свете лампы,— трепетали мелкие, пугливые тени ветвей и листьев, глядевших в окно.

Стол был пуст — ни книг, ни брошюр. Видимый печатный материал валялся на полу, в образе скомканной газеты. В углу — чемодан, койка более чем холостого

вида и тяжелая дубовая трость. Зато пол был щедро усеян окурками и спичками.

— Нам, пожалуй, серьезно придется сейчас беседовать...— сказал Геник, рассматривая девушку.— Вы, конечно, против этого ничего не имеете?

Люба расширила глаза и нервно повела плечами. Странно даже спрашивать об этом.

— Что же я могу иметь? — тихо и вопросительно проговорила она.— Чем серьезнее, тем лучше.

Последние слова прозвучали просьбой и, отчасти, задором молодости Лицо Геника стало непроницаемым; казалось, оно потеряло всякое выражение. Он сильно затянулся папиросой, окружая себя голубыми клубами дыма, и сказал уже совсем другим, твердым и отчетливым голосом:

— Хорошо

Люба ждала, молча и неподвижно. Глаза ее прямо, с покорностью ожидания, смотрели на Геника.

— Хорошо! — повторил он медленнее и как бы в раздумье.— Так вот что, Люба, для удобства и большей продуктивности разговора, мы сделаем так: я буду спрашивать, а вы отвечать... Идет?

— Все равно,— сказала девушка, напряженно улыбаясь.— Это как на допросе.

— Ну, да... Видите ли — это, по некоторым соображениям, важно для меня.

Люба молча кивнула головой.

— Да. Так вот: скажите, пожалуйста,— сколько вам лет?.. Это нескромно, но, надеюсь, вам не более двадцати, так что,— мы, конечно, не рассоримся.

— В августе будет восемнадцать...— слегка покраснев, сказала девушка.— А что?

— Хм...

Новые клубы дыма и новый окурок на полу. Геник достал и зажег свежую, третью по счету, папиросу.

— Я так боялась этого! — тихим, срывающимся голосом заговорила Люба, и ее лицо, правильное и нежное, внезапно покрылось розовыми пятнами.— Того... что... может быть... моя молодость... может там... помешать, что ли... но...

Геник досадливо махнул рукой.

— Что молодость? — с неудовольствием перебил он.— Не в молодости дело... А в вас самих... Но, одна-

ко, мы уклонились... Скажите — сколько человек в вашем семействе? И кто они?

— Четверо,— неохотно, удивляясь тому, что ее спрашивают о таких, совершенно посторонних вещах, сказала девушка.— Мама... я... папа, потом сестры две...

— Старше вас?

— Нет... где же старше... Еще гимназистки...

— И вы ведь, Люба, учились в гимназии?

— Я? Училась...

— Д-аа...— Геник вздохнул и уставился через открытое окно в сад: — Все мы вкушали когда-то от этой премудрости. У меня есть братишка, маленький глупый человек. Так вот он пришел однажды из класса и начал с чрезвычайно сосредоточенным и мрачным видом колотить ногами о дверь. Я его и спрашиваю: «Ты, Петька, что делаешь?» А он скорчил свирепое лицо и говорит: «Прах от ног своих отрясаю».

Люба задумчиво улыбнулась, не сводя с Геника больших, наивно-серьезных глаз, и медленно наклонила вперед голову, как бы приглашая говорить дальше. Геник обождал несколько мгновений и перешел в деловой тон.

— Ко мне вас направил Чернецкий? — спросил он, сосредоточенно грызя ногти.

— Да...

— Он рассказал мне о вас все! — заявил Геник, отрываясь взглядом от ровного, чистого лба девушки.— По общему мнению... у нас, видите ли, было совещание... вам решено не препятствовать и... помогать...

Люба заволновалась и нервно покраснела до корней волос. Краска быстро залила маленькие уши, высокую, круглую шею и так же быстро отхлынула назад к сильно забившемуся сердцу.

Она так боялась, что ее заветная мечта не исполнится. Но грозный момент, очевидно, придвигался и теперь стал перед ней лицом к лицу в этой убогой, обыкновенной на вид и жалкой комнате.

Геник встал, шумно отодвинул стул и зашагал от стола к двери. Люба механически следила за его движениями, желая и не решаясь спросить: что дальше?

— Не связаны ли вы с кем-нибудь? — быстро и немного смущаясь, спросил Геник.— Нет ли для вас чего-

нибудь дорогого?.. Семья, например...— Он не пожалел о своих словах, хотя мгновенная неловкость и боль, сверкнувшие в глазах девушки, сделали молчание напряженным. Геник повторил, тихо и настойчиво:

— Так как же?

— Я, право... не знаю...— с усилием, краснея и ежась, как от холода, заговорила она.— Нужно ли это... спрашивать... Я же сама... пришла.

— Вы вправе, конечно, недоумевать,— сказал, помолчав, Геник,— но, уверяю вас... Хотя, впрочем... Вам отчего-то трудно говорить об этом... хорошо, но скажите мне, пожалуйста, только одно: у вас нет близкого человека, кроме... ваших родных?

Он остановился посредине комнаты, ожидая ответа с таким видом, как если бы от этого зависело все дальнейшее течение дела. Люба подняла на него растерянный взгляд, снова покраснела и смешалась. По дороге сюда мечталось о чем угодно, кроме этого непонятного и мучительного вопроса.

— Я потому спрашиваю,— сказал Геник, желая вывести девушку из затруднения,— что нам нужно знать, будет ли у вас кому ходить в тюрьму, в случае... Если «да», то кивните, пожалуйста, головой.

Кивок этот, хотя Люба его и не сделала, он угадал по опущенным, неподвижно застывшим ресницам. Через мгновение она снова подняла на него свои темные, с ясным голубым отливом глаза.

Ветер мягко стукнул оконной рамой и шевельнул брошенную на пол газету. Геник подошел к окну и сейчас же отошел прочь. Люба вздохнула, нервно стиснула хрустнувшие пальцы и выпрямилась.

— Так, значит, вам не жалко жизни? — равнодушно, полуспрашивая, полуутверждая, сказал Геник.— А?

Люба облегченно рассмеялась углами рта. Слава богу,— вопросы о домашних делах покончены. Хотя странный, немного торжественный в своем равнодушии тон Геника по-прежнему держал ее настороже... Она отбросила за ухо темные непокорные волосы и сказала:

— Как жалко? Я не знаю... А вам разве не жалко?

Девушка нетерпеливо задвигалась на стуле, и меж тонких бровей ее мелькнула легкая, досадливая склад-

ка. Если Геник желает болтать, может выбрать другое место и время. А ей тяжело и совсем не до разговоров.

Он же, казалось, вовсе не спешил удовлетворить ее нетерпение. Широкая спина Геника неподвижно чернела у окна, загораживая свет, и только дым шестой папиросы, улетая в сад, показывал, что это стоит живой, задумавшийся человек.

В комнате напряженно бились две мысли, и маятник дешевых стенных часов, казалось, равнодушно отбивал такт неясным, упорным словам, таинственно и быстро мелькавшим в мозгу. Наконец Геник отошел в глубину комнаты, снова уселся верхом на стул и спросил громким, неожиданно резким голосом:

— Твердо решаетесь?

— Да! — безразлично, с поспешностью утомления сказала девушка.

Глаза ее встрепенулись и загорелись. Казалось — новая волна внутреннего напряжения поднялась в этот пристальный, ждущий взгляд и нервным толчком хлестнула в лицо Геника.

— Теперь вот что...— заговорил он, смотря в сторону.— Вы, значит, поедете за сто верст отсюда в ***ск...

Лицо Любы отразило глубокое недоумение.

— Простите, я не понимаю...— нерешительно сказала она, понижая голос.— Ведь... Мне Чернецкий сказал, что все здесь... что все готово и... завтра вечером... Также, что от вас я узнаю все инструкции и получу...

Геник с досадой бросил папиросу.

— Вы слушайте меня! — резко, почти грубо перебил он и, заметив, что Люба вспыхнула, добавил более мягко: — Положение изменилось. Фон-Бухель уехал сегодня утром и приедет только через месяц.

Девушка молча, устало кивнула головой.

— Этот месяц вы проживете там и будете держать карантин. Что такое карантин — вы знаете или нет?

— Да, я слышала что-то... изоляция, кажется?

— Вот... Жить будете по чужому паспорту... Я вам его сейчас дам. Никаких знакомств. Переписываться нельзя...

— А если...

— Постойте... Вот вам адрес; запомните его и не записывайте ни в каком случае: Тверская, дом 14, квартира 15. Марья Петровна Кунцева.

Она подняла глаза к потолку и по гимназической привычке зашевелила губами, стараясь запомнить. Потом слабо улыбнулась и сказала:

— Ну, вот. Готово...

— Прекрасно, Люба. Так вот. я даже не буду вас наставлять разным конспиративным тонкостям. Там вам все расскажут, устроят и прочее. Приехав, вы скажете лично, самой Кунцевой, следующее: «Я от Геника».

— «Я от Геника»,— с уважением к человеку, имя которого отворяет двери, прошептала девушка.— Только... ради бога... зачем я должна ехать?

— Видите ли,— с сожалением пожал плечами Геник,— так решено комитетом... Вы здешняя, и всякие следы ваших с нами сношений должны быть уничтожены. Поняли?

— Да.— Люба весело кивнула головой.— Значит, все-таки выйдет. Я так счастлива...

Геник неопределенно крякнул и хотел сказать что-то, но раздумал. Глаза девушки, блестевшие странным, тихим светом, удержали его.

— Поезд идет сегодня вечером в 10 часов,— сказал он, помолчав, усталым и решительным голосом.— Видеться вам с кем-нибудь перед отъездом решительно нет никакой необходимости...

— Так сегодня? — удивилась Люба.— Так скоро?..

— Ну, вот что! — рассердился Геник.— Если вы хотите, то знайте, что от того, уедете ли вы сегодня или нет — зависит все... Я вам сказал.

— Я еду, еду! — поспешно, с растерянной улыбкой сказала девушка.— Хорошо...

Наступило молчание. Портсигар Геника опустел. Он с треском захлопнул его и встал. Люба тоже встала и сделала движение к столу, где лежала ее шляпа.

— Постойте! — вспомнил Геник.— А деньги? Вот, берите деньги.

Он вынул кошелек и протянул, не считая, несколько бумажек. Девушка спокойно спрятала их в карман. Она брала их не для себя, а для «дела».

— Вот и паспорт...

— Спасибо... вам...

Голос ее слегка дрогнул, а затем Люба сделала ма-

ленькое усилие, сжала губы и спокойно посмотрела на Геника.

Нет, он решительно не в состоянии выносить этот напряженный голубой взгляд. Стукнуть стулом, что ли, или прогнать ее? Геник деланно зевнул и сказал, холодно улыбаясь:

— Ну, вот и все. Так идите теперь и... постарайтесь не опоздать на поезд.

— Спасибо! — повторила девушка и, схватив тяжелую руку Геника, слабо, но изо всех сил стиснула ее маленькими, теплыми пальцами.

— Ну, что там! — пробормотал Геник, опуская глаза и чувствуя, что начинает злиться.— Всего хорошего...

Люба направилась к двери, но у порога остановилась, провела рукой по лицу и спросила:

— А... как вы думаете... удастся... или нет?

— Удастся! — резко крикнул Геник, толкнув ногою стул так, что он перевернулся и с треском ударился в стену.— Удастся! Вас изобьют до полусмерти и повесят... Можете быть спокойны.

Он поднял злые, заблестевшие глаза и встретился с грустным, сконфуженным взглядом. Люба не выдержала и отвернулась.

— Мне не страшно,— услышал Геник ее слова, обращенные скорее к себе, чем к нему.— А вы, кажется, в дурном настроении.

Он стоял молча, засунув руки в карманы брюк и разглядывая носки своих собственных штиблет с упорством помешанного. Люба подошла к двери, отворила ее и, уходя, бросила последний взгляд на мрачную фигуру.

Теперь глаза их снова встретились, но уже иначе. Геник улыбнулся так ласково и задушевно, как только мог. Что-то ответное тепло и просто блеснуло в лице девушки. Она тихо, молча поклонилась и ушла, небрежно встряхнув длинной, русой косой.

II

Когда стало темнеть, Чернецкий зажег лампу и посмотрел на часы. Было ровно десять. С минуты на минуту должен придти Геник: он аккуратен, как аптечные весы, между тем никого еще нет. Это довольно стран-

но. Шустеру и другим следовало бы знать, что дело касается всех.

Он хотел еще как-нибудь, сильнее выразить свое неудовольствие, но в этот момент пришел Маслов. Скинув летнее пальто и шляпу, Маслов осторожно погладил свою черную, иноческую бородку, прошелся по комнате, нервно потирая руки, и сел. Чернецкий вопросительно посмотрел на него, удержал беспричинную, судорожную зевоту и выругался.

— Что такое? — тихо спросил Маслов.

Голос у него был грудной, но слабый, и каждое слово, сказанное им, производило впечатление замкнутого, трудного усилия.

— Не люблю опозданий! — ворчливо заговорил Чернецкий.— Это провинциализм и, кроме всего,— неуважение к чужой личности.

— Что же,— меланхолично заметил Маслов,— ведь Геника еще нет. К тому же публика стала осторожнее, избегает, например, подходить кучкой.

— Все равно... Чаю хотите?

— Чаю! — вздохнул Маслов, отрываясь от своих размышлений.— Что? чаю? Ах, нет... Сейчас нет... Разве, когда все...

— Вы о чем, собственно, думаете-то? — громко спросил Чернецкий, вставая с дивана и усаживаясь против товарища.— А?

Маслов сморщил лоб, отчего его бледное, цвета пожелтевшего гипса, лицо приняло старческое выражение, и рассеянно улыбнулся глубокими, черными глазами.

— Думаю-то? Да вот, все об этом же...

Он пошевелил губами и прибавил:

— Не выйдет...

— Что — не выйдет? А ну вас, каркайте больше! — равнодушно сказал Чернецкий.— Выйдет.

— Не выйдет! — с убеждением повторил Маслов, усмехаясь кротко и жалостно, как будто неудача могла оскорбить Чернецкого.— Есть у меня такое предчувствие. А впрочем...

— Гадать здесь нельзя, не поможет! — хмуро сказал Чернецкий.— Я вот верю в противное.

Вошел Шустер, толстый, рябой и безусый, похожий

на актера человек. Сел, тяжело отдуваясь, погладил себя по колену и захрипел:

— Областника нет?

— Геника ждем с минуты на минуту! — сказал Чернецкий.— Что грустишь?

Шустер механически потрогал пальцами маленький, ярко-красный галстук и хрипиул, досадливо дергая шеей, втиснутой в узкий монополь:

— Дело дрянь.

Чернецкий вздрогнул и насторожился.

— Что «дрянь»? — спросил он быстро, пристально глядя на Шустера.

— Да... там...— Толстяк махнул рукой и поднял брови.— Выходит путаница с забастовкой... Уврие сами хотят... свой комитет и автономию...

— Скверно слышать такое,— сказал Чернецкий,— и как раз... Ну, что слышно все-таки?

— Ничего не слышно! — прохрипел Шустер.— Вчера фон-Бухель кутил в загородном саду. На эстраде пьянствовал с офицерами и женой.

— Кутил? — почему-то удивился Маслов, покусывая бороду.

Никто не ответил ему, и он снова впал в задумчивость. Чернецкий заходил по комнате, изредка останавливаясь у окна и круто поворачиваясь. Шустер вздохнул, насторожился, услышав быстрый скрип отворяемой двери, и сказал:

— Вот и Геник.

Геник вошел спокойными, отчетливыми шагами, как человек, вообще привыкший опаздывать и заставлять себя дожидаться. Одет он был слегка торжественно и даже как будто с ненужной излишней чопорностью в черный, щегольской костюм. Загорелое, невыразительное лицо Геника от яркой белизны воротничка, стянутого черным галстуком, сделалось задумчивее и строже. Впрочем, менялся он каждый день, и нельзя было определить, отчего это. Но почему-то всегда казалось, что сегодняшний Геник — только копия, и непохожая, с его наружности в прошлом.

Все оживились, как будто с приходом нового человека исчезла неопределенность и пришла ясная, полная уверенность в успехе дела, о котором говорилось до сих

пор шепотом, с глазу на глаз, говорилось с огромным напряжением и подозрительной пытливостью ко всем, даже к себе.

Геник встал, неопределенно и замкнуто улыбаясь, но, когда сел, улыбка исчезла с его лица. Он вынул платок, без нужды высморкался и громко спросил:

— Хозяин, а чаю для благородного собрания дадите?

— Дам,— поспешно ответил Чернецкий,— но не лучше ли сперва, Геник, выяснить положение... т. е., чтобы вы нам рассказали,— как и что... а потом уже все мы занялись бы, так сказать, общими разговорами...

— Ну, все равно... Рассказ мой, хотя будет невелик...— Геник положил одну ногу на другую и закурил.— Вот что, товарищи: дело, что называется,— в шляпе...

Серые глаза Шустера мельком остановились на слегка вздрагивающих пальцах Геника, неуловимо прыгнули и перешли к сухим, полузакрытым губам, сдерживающим нервное, частое дыхание. Он взял его, полушутя, полусерьезно, за руку, зажмурился и сказал:

— Какие мы нервные, однако. Вроде салонной барышни. Что, Геник, конспирация — чугунная вещь, а? Как ты думаешь?

Шустер был со всеми на «ты», даже с женщинами. Геник неохотно рассмеялся и отнял руку.

— Ну, это потом...— сказал он и прибавил другим, тихим, слегка сдержанным голосом: — Так вот. Дело это представляется в таком виде...

Тишина сделалась полной и жадной. Казалось, что в трех головах сразу остановилась работа мысли и вспыхнуло напряженное нетерпение услышать слова, фразы и бешено поглотить эту новую, еще неизвестную пищу так же полно и ненасытно, как пересохшая июльская глина впитывает неожиданную влагу дождя.

Маслов закрыл глаза ладонью и застыл так, слушая. Геник продолжал:

— Мне понравилась эта девушка, Люба. Я нашел, что она человек, подходящий во всех отношениях...

Чернецкий удовлетворенно наклонил голову.

— Да! — вздохнул Геник, потирая лоб.— По крайней мере — я так думаю. Это — из потрясенных натур.

— Она верит! — убежденно сказал Чернецкий.—

Когда я познакомился с ней, мы долго беседовали... Даже странно и неожиданно было — такая глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства... Но, впрочем, сейчас не в этом дело.

— Вот именно! — подтвердил Геник, рассматривая стену.— Глубокая и тихая натура. Из тех, что переживают в себе. В ней много, вообще, полезных качеств и...

— Пощади уши нашего терпения! — захрипел Шустер, беспокойно ворочаясь на стуле.— Ты расскажи нам, как вышло...

— Пусть уши твоего терпения подрастут немного! — сердито улыбаясь, перебил Геник.— Я не нуждаюсь в понуканиях.

Шустер вопросительно посмотрел на Маслова и неловко замолчал. Геник побарабанил пальцами по столу.

— Да,— сказал он,— так вот. Девица во всех отношениях подходящая. Во-первых, послушна, как монета...

Его пристальный взгляд обошел товарищей и вернулся в глубину орбит. Никто не пошевелился; напряженное молчание заражало Геника смутным, тяжелым беспокойством. Но, задерживая объяснение и от этого раздражаясь еще больше, он продолжал:

— Во-вторых — у нее есть конспиративный инстинкт, что тоже очень выгодно...

— Да, это хорошо,— сказал Маслов.

— В-третьих — девушка с характером...

Снова молчание. За окном выросли пьяные голоса и затихли, шатаясь в отдалении унылыми, скучными звуками.

— В-четвертых,— продолжал Геник,— она твердо и бесповоротно решила...

— Да? — спросил Чернецкий, и в голове его зазвучало радостное, нервное оживление.— Вы сумели на нее подействовать, быть может? Хотя нет, я ее достаточно знаю... А все-таки — решающий момент... это ведь... Многие отступали.

Геник внимательно выслушал его и, рассматривая кончики пальцев, сказал медленно, но ясно:

— Я разговорил ее.

Маслов опустил руку и недоумевающе смигнул. Шустер задержал дыхание и насторожился, думая, что ослышался. Но Чернецкий продолжал спокойно сидеть, и по лицу его было видно, что он еще далек от всякого понимания.

Геник молчал. Глаза его сощурились, а левая бровь медленно приподнялась и опустилась.

— Что вы сказали? Я вас не понял,— сдержанно заговорил Чернецкий.— От чего вы ее разговорили?

— Я отговорил ее от стрельбы в фон-Бухеля! — неохотно, с блуждающей улыбкой в углах рта, повторил Геник.— Я, надеюсь, достаточно понятно сказал это.

— Да что вы! — вскрикнул Чернецкий с тонким, растерянным смехом.— Проснитесь. Что вы сказали?

— Ну, Геник, ерундишь, брат! — захрипел Шустер, краснея и тяжело дыша.— Какого черта, в самом деле!..

Все трое в упор, широко раскрытыми, готовыми улыбнуться шутке глазами смотрели на Геника, и вдруг маленькая, хмурая складка между его бровей дала понять всем, что это факт.

Сразу после тишины, нарушаемой только сдержанными, спокойными голосами, поднялся беспорядочный, крикливый и возбужденный шум. Маслов махал руками и пытался что-то сказать, но ему мешал Чернецкий, кричавший высоким, удивленным голосом:

— Дикая вещь!.. Вы в здравом рассудке или нет? Придти и говорить нам, да еще с каким-то издевательством?! Это... Кто вас просил за это браться, скажите на милость? Возмутительно! Что вы — диктатор?!

— Господи! Чернецкий! — вставил Маслов раздраженно зазвеневшим голосом, болезненно морщась от крика и общего возбуждения.— Да дайте же Генику... да Геник... Это что-нибудь не то, слушайте...

— Да послушайте вы меня! — Геник встал и сейчас же сел снова.— Слушайте, и во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых — я Аверкиеву отговорил. Да. Я ее отговорил. Вот и все. Но что же из этого? А, впрочем, мне все равно... Это ясно. Если хотите сердиться,— пожалуйста...

— Да что ясно? — вскипел Чернецкий, волнуясь и дергаясь всем телом.— Что вам все равно? Действительно! Но каким образом? Зачем?

— Постойте же! — отмахнулся рукой Маслов и встал.— Почему вы, Геник, взяли на себя труд за нас решить этот вопрос? И отговорили. Вот, объясните нам, пожалуйста, это...— добавил он глухим, настойчивым голосом.

Геник молчал, и казалось, что он колеблется — говорить или нет. Странное, беспорядочное молчание сделалось общим и напряженным, как будто каждый из трех в упор смотревших на Геника людей ждал только первого его слова, чтобы зашуметь, возразить и высказаться. Наружно Геник сохранил полное равнодушие и, подумав, холодно сказал:

— Я объясню. Я объясню... Конечно... Странно было бы, если бы я не объяснил...

Он курил, подбирая слова, и, наконец, с хорошо сделанной небрежностью начал:

— Эта маленькая...

Но сбился, внутренне покраснел и умолк. Потом вздохнул, подавил мгновенное, колючее ощущение неловкости, как если бы собирался раздеваться в присутствии малознакомых людей, и заговорил чужим, негромким и неуклюжим голосом.

И первые же его слова, первые же мысли, высказанные им, наполнили трех революционеров тем самым чувством неловкого, колючего недоумения, которое за минуту перед этим родилось и угасло в душе Геника. Впечатление это было родственно и близко ощущению человека, пришедшего гостем в хороший, фешенебельный дом и вдруг увидевшего среди других гостей и знакомых уличную проститутку, приглашенную к обеду, как равная к равным. То же смешливое, досадливое и бессильное сознание неуместности и ненужности, любопытства и подозрительности. Чем дальше говорил Геник, тем более росло недоумение и сарказм, глубоко запрятанный в сердцах маской застывшей, холодной и деланно-внимательной полуулыбки. Каждый из трех, слушая Геника, судорожно хватался за возражения и неясные, всполохнутые мысли, вспыхивающие в мозгу, бережно держался за них и с нетерпением, доходящим до зуда в теле, ожидал, когда кончит Геник, чтобы разом, рванувшись мыслью, затопить и обезоружить его новую, странную и неуместную логику. Маслов слушал и понимал Геника,— но не соглашался; Чернецкий пони-

мал — но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова и фразы, внутренно усмехаясь чему-то неясному и плоскому.

— ...Но ей восемнадцать лет... Я не знаю, как вы смотрите на это... но молодость... то есть, я хочу сказать, что она еще совсем не жила... Рассуждая хорошенько, жалко, потому что ведь совсем еще юный человек... Ну... и как-то неловко... Конечно, она сама просилась и все такое... Но я не согласен... Будь это человек постарше... взрослый, даже пожилой. Определенно-закостенелых убеждений... Человек, который жил и жизнь знает,— другое дело... Да будет его святая воля... А эти глаза, широко раскрытые на пороге жизни,— как убить их? Я ведь думал... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что — грешно... Ей-богу. Ну хорошо, ее повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека... А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изувечат, изломают душу, наполнят ужасом... А потом на эту детскую шею веревку и — фюить. А что, если в последнее мгновение она нас недобрым словом помянет?

Геник замолчал и поднял на товарищей блестящие, полузакрытые глаза. Он был взвинчен до последней степени, но сдерживался, стараясь говорить ровно и медленно. Оттого, что сказанное им скользило лишь на поверхности его собственного сознания, не вскрывая настоящей, яркой и резкой сущности передуманного, в груди Геника запылало глухое бешенство и хотелось сразу отбросить всякую осторожность, сказать все.

— Ну-ну!..— Чернецкий широко развел руками и насмешливо улыбнулся.— Ну, батенька,— завинтили!.. Фу, черт, даже и не сообразишь всего, как следует... Да вы кто такой? Позвольте узнать, кто вы такой, в самом деле? Ведь я,— он повысил голос,— ведь я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер!.. Но тогда нам не о чем разговаривать! Да, наконец, не в этом дело, черт возьми! Зачем вы сами, зачем вы выскочили с вашим посредничеством? Кто вас просил, а? Вас совесть замучила,— так предоставьте другим делать свое дело. Соломон Премудрый!.. А вы идите себе с богом в монахи, что ли... или в толстовскую общину... да!..

— Вы сдерживайтесь, Чернецкий...— сказал Маслов.— Геник, ваши взгляды — это ваше личное дело и нас не касается. Но почему все это сделано под сурдинку? Почему это тайно, не по-товарищески, с какой-то заранее обдуманной задней мыслью?

Геник упорно молчал, постукивая ногой. Все равно, если и объяснить, ничего не будет, кроме нового взрыва неудовольствия. Шустер задумчиво улыбался и тер колено рукой, исподлобья посматривая на Геника. Чернецкий подождал немного, но, видя, что Маслов молчит, заговорил снова, резко и быстро:

— Вы думаете, что раз вы представитель областного комитета, так вам все позволено? Нет! А по существу... смешно даже!.. Мы в осаде, мы на позиции, мы вечно должны бороться с опасностью для жизни за наше собственное существование... За то, чтобы напечатать и распространить какую-нибудь бумажку... Вы знаете, что сказал вчера фон-Бухель? Нет? А он сказал вот что: что он нас задушит, как мышей, сгноит, голодом уморит в тюрьме! Что же, ждать? А эти корреспонденции из деревень — ведь их без ужаса, без слез читать нельзя! Боже мой! Все было начеку, были люди... Вы говорите, что ее могут повесить... Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили,— прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма... Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью! А то — скажите пожалуйста!..

Чернецкий воодушевился и теперь, стоя во весь рост, гибкий и красивый, как молодое дерево, трепетал от сдержанного напряжения и бессильной, удивительной злости. Он был душою, инициатором этого маленького, провинциального заговора и говорил сейчас первое, что приходило на язык, чтобы только дать выход неожиданно загоревшемуся волнению.

Геник слушал, невинно улыбаясь. Чернецкий может говорить, что ему угодно. Нет, в самом деле! Недоставало еще, чтобы грудные младенцы ходили начиненные динамитом. Геник откинулся на спинку стула, стиснул зубы и решительно усмехнулся.

— Я слушаю, Чернецкий,— холодно сказал он.— Или вы кончили?

— Да, я кончил! — отрезал юноша.— А вот вы, очевидно, продолжать еще будете?

— Нет, я продолжать не буду,— спокойно возразил Геник, пропуская нронию товарища мимо ушей.— Я буду молчать. А потом... может быть, скажу... когда-нибудь...

— Жаль! — захрипел Шустер, вдруг краснея и грузно ворочаясь.— А нам интересно бы сейчас послушать тебя!

— Маслов! — удивленно и как-то обиженно воскликнул Чернецкий.— Вы что же? Что же вы молчите?

— Да что ж сказать? — болезненно усмехнулся Маслов.— Теоретически — наш товарищ Геник, конечно... прав. А практически — нет. Жизнь-то ведь, господа,— жестокая, немилостивая штука. . Как ты ни вертись, а она все вопросы ставит ребром... Жалко; это верно, что жалко... Но почему же тогда каждого человека не жалко? Играя на жалости, мы можем зайти очень далеко... И крестьян жалко, и рабочих жалко, и невинно пострадавших тоже жалко... Почему же такое предпочтение? Потому, что это женщина? Геник, скажите откровенно,— если бы эта девушка была вам не симпатична, вы тоже так поступили бы?

Шустер неловко усмехнулся и сейчас же глаза его приняли деланно серьезное выражение. Чернецкий взглянул на Геника, но тот равнодушно сидел, сохраняя каменную, безразличную неподвижность лица и тела. Маслов продолжал:

— На молодости-то ведь и зиждется все. Именно молодые-то порывы тем и хороши, что они безумны... Геник нелогичен. Ни для кого не секрет, что наше участие в движении ведет ко многим разорениям, застоям в промышленности, к голоданию и обнищанию целых семейств... Отчего же здесь нет у нас жалости? Да потому, что это печальная необходимость... И как ни грустно,— приходится сказать, что одной необходимостью больше, одной меньше — все равно...

Маслов разгорячился, и его истомленное, бледное лицо покрылось беглым, лихорадочным румянцем, а глаза, пока он говорил, смотрели попеременно на всех присутствующих, как бы приглашая их кивком головы выразить свое сочувствие.

— А играя на необходимости,— возразил Геник,— мы можем зайти еще дальше. Там, где для вас «все равно»,— должна прекратиться молодая, хорошая и светлая жизнь... Одно дело, когда результаты необходимых действий находятся где-то там... в тумане. И другое — когда сам присутствуешь при этом.

Тоска давила его. Он неожиданно шумно встал, надел шляпу и направился к выходу. Трн пары глаз холодно и с недоумением следили за его движениями. Шустер сказал:

— Геник, ну это же непорядочно, наконец,— уйти, ничего не объяснив... Расскажи хоть, что она говорила,— Геник!..

Геник остановился, открыл рот, собираясь что-то сказать, но раздумал, толкнул дверь ногой и вышел.

Наступило длинное, гнетущее молчание, и казалось, что на лица, движения и предметы опустилась невидимая, вязкая паутина. В хорошо налаженную машину, в сцепления ее колес, зубцов и ремней попало постороннее тело, и механизм, пущенный в ход, остановился. Так чувствовалось всеми, сидевшими в этой комнате.

Первый нарушил молчание Чернецкий. То, что сказал он, было как будто и ненужно, и слишком поспешно, но раздраженная мысль подозрительно и упорно хваталась за все, что могло бы объяснить происшедшее не в пользу Геника. Чернецкий сказал:

— Дело это... сомнительное...

Удивления не последовало. Слишком каждый привык быть настороже и определять значение факта по тому, ясны его источники или нет. Но в данном случае думать так было неприятно. Маслов пожал плечами и заговорил, отвечая скорее на свои собственные мысли, чем на слова Чернецкого:

— Выходит, что я еще совсем не знаю людей... А ведь он три недели здесь и все время в работе. Кажется, уж можно было определить степень его уравновешенности. Одно из двух: или крайняя впечатлительность, или... полное внутреннее неряшество... какой-то вызов... Зачем? Тяжело все это...

— Что ж кукситься? — захрипел Шустер.— Нужно сходить к Любе Аверкиевой и попросить ее сюда. Мы по крайней мере узнаем суть дела. А?

— Да! — сказал Чернецкий, бросаясь к вешалке.— Вы подождите... Я скоро...

Он ушел и пришел назад через полчаса, расстроенный и усталый. Люба уехала сегодня, не объяснив, куда и зачем, на десятичасовом поезде.

III

Шустер открыл дверь и удивился: в комнате было темно. Едва уловимые контуры обстановки выступали неровными, черными угламн, а в глубине, против двери, синели квадраты оконных стекол, слабо озаренные огнем уличного фонаря.

Он постоял некоторое время, держась за ручку отворенной двери, шагнул вперед и, предварительно крякнув, спросил хриплым, неуверенным голосом:

— Геник здесь?

Мгновение тишины, и затем резко и коротко скрипнула невидимая кровать. Шустер насторожился, подвигаясь ближе. Кровать заскрипела еще громче, и на еле заметном пятне подушки приподнялась темная человеческая фигура.

— Геник, ты? — повторил Шустер, подходя на цыпочках с расставленными руками, чтобы не задеть стул.— Темно у тебя...

— Ты зачем пришел? — раздался вдруг холодный грудной голос, и вошедший вздрогнул.— Что тебе надо?

Шустер опешил: такого приема он не ожидал. Подавив мгновенное неудовольствие, он сделал в темноте обиженное лицо и сказал:

— Если так, то я, конечно... уйду... Ты, конечно, вправе... но...

— Не болтай глупостей! — резко оборвал Геник, ворочаясь на кровати.— Говори толком: что?

— Как — «что»? — сказал Шустер, помолчав.— Я пришел к тебе от всех... Будет сердиться, Геник... Мы же товарищи и... и... Вообще...

— Ступай! — зевнул Геник, скрипя кроватью.— Ступай.

— Да погоди же ты, чудак. Ведь... Это оскорбительно.

Он замолчал, совершенно сбитый с толку. Геник тоже молчал, и тишина таилась только вокруг напряжен-

ного молчания двух людей. Шустер ободрился немного и продолжал:

— Ведь нельзя так, совершенно... без объяснения... Тут...

— Ты, я вижу, не хочешь уйти...— медленно, как бы обдумывая что-то, сказал Геник.— Значит, придется уйти мне.

— Геник, ради бога! — взволновался Шустер.— Ты пойми... Ну что же тут такого... Ну, произошло недоразумение... конечно, мы отчасти... то есть... но ведь и ты сам горячо принимаешь к сердцу... все это... эту историю... Конечно, мы были все немного увлечены и...

— Врешь! — жестоко возразил Геник.— Ты, толстый Шустер, врешь. Вы не упустили случая сделать мне неприятность, потому что я пошел против вас всех. Только это мелочно, Шустер, мелочно и некрасиво.

Шустер внутренно съежился, но все же пробормотал:

— Ну, слушай, это простая случайность, что...

— Извини, пожалуйста! — рассердился Геник.— Письмо было адресовано именно мне и никому другому. Чернецкий — грамотный человек. Он не имел права читать его сам и показывать всем другим. Это не случайность, а нахальство.

— Я не знаю, видишь ли...— откашлялся Шустер.— Как сказать? Конечно, неосторожно... но... тебя не было и... мы не могли... то есть он, вероятно, подумал, что что-нибудь экстренное.,. да. И не нужно долго сердиться за это, Геник. Мало ли чего бывает, ведь...

— Не вертись! — злобно отрезал Геник.— «Мы, вы, я, он» — как это на тебя похоже. Каковы бы ни были личные отношения между нами,— читать чужие письма все же недопустимо. Хотя бы вы, черт вас подери, потрудились заклеить его! Или вложить в новый конверт. А теперь я это не могу рассматривать иначе, как вызов мне, да! И после этого они еще посылают тебя, дипломата с медвежьими ухватками! Даже смешно.

— Да ну же,— простонал Шустер,— плюнь ты на Чернецкого. Он знаешь... того... человек самолюбивый... План этот весь принадлежал ему... Конечно,— заторопился Шустер, услыхав новый, чрезвычайно громкий скрип кровати,— он легкомысленно... это верно... но... так, все-таки... это было непонятно... отъезд

Любы... твое молчание... что он... так сказать... в порыве раздражения... гм...

— Так что же,— иронически спросил Геник,— ты извиняешься, что ли, предо мной? И что вам вообще от меня угодно?

— Мы все,— важно сказал Шустер,— желаем сохранить товарищеские отношения... Вопрос этот с твоей стороны странный... Я пришел, Геник, позвать тебя к... туда, где сейчас все... нужно же, наконец, выяснить и прекратить это... положение... Мы ведь не обыватели, которые... Иди, Геник! Право! Я уверен, что все уладится...

Геник поднялся с кровати и зашагал по комнате. Темная фигура его мелькала, как ночная птица, бесшумно и легко мимо Шустера, стоявшего у стены с тупым недовольством в душе. Он усиленно напрягал зрение, но лица Геника не было видно, и Шустеру уже показалось, что раздражение товарища улеглось, как вдруг тот остановился против него и, наклонившись так близко к лицу гостя, что было слышно возбужденное, усиленное дыхание двух людей, сказал тихим, сдавленным голосом:

— Одно письмо я простил бы. Но я, Шустер, видел вчера твой красный галстук на соборной площади, когда ты шел за мной от рынка до завода.

Шустер вздрогнул и насильно засмеялся. Потом в замешательстве сунул руку в карман, снова вытащил ее и погладил волосы. Но тут же сообразил, что в комнате темно и что Геник не мог заметить внезапной краски, залившей шею и уши. Пожав плечами, он спрятал руки за спину и сказал:

— Я, право, перестаю тебя понимать... Кто шел за тобой? Я? Что за чепуха? Да и зачем, куда? Ты бредишь, что ли?

— Шустер...— протянул Геник, качая головой.— С твоей фигурой и опытностью в деле шпионажа лучше бы не браться за такие дела. Эх ты, тюлень!

— Ну, ей-богу же! — возмутился Шустер, оправляясь от смущения.— Это черт знает, что ты говоришь... Это свинство, наконец!

— Ступай вон! — вспыхнул Геник, и в голосе его дрогнула новая, резкая струна.— Пошел отсюда!

— Я! — растерялся Шустер, отступая назад.— Что ты?

— Убирайся к черту, я тебе говорю! — закричал Геник.— Прочь!

— Геник...

— Вон!

— Но ты... послушай же, черт... Я...

— Если ты не уйдешь сию же минуту, я тебя вытолкаю! — дрожа от напряженного, тоскливого бешенства, заговорил Геник.— Мы с тобой объяснились достаточно, нам больше нечего говорить. Пошел!

— Да я же...

— Слушай! — вздохнул Геник, чувствуя, что теряет над собой всякую власть.— Если ты сию же минуту не уйдешь, я всажу тебе в брюхо вот все эти шесть пуль.

Он вытащил из кармана револьвер и навел холодное, темное дуло прямо в грудь Шустера. Курок торопливо, звонко щелкнул и замер. Жаркий туман стыда, испуга и озлобления хлынул в голову Шустера, и через две-три секунды острого, тяжелодышащего молчания, он сказал, чуть не плача:

— Хорошо, товарищ... хорошо... Я...

— Раз! — сказал Геник, нажимая собачку.

— Ну...— Шустер отворил дверь и снова повторил, растерянно улыбаясь: — Ну... я...

— Два!..

Темная фигура бросилась в сторону, и через мгновение торопливый стук шагов затих в глубине коридора. Геник слышал, как резко и быстро хлопнула, завизжав, выходная дверь. Он вздохнул, вздрагивая, как от озноба, суиул револьвер под подушку, подошел к столу, зажег свечку и сел на стул.

Дрожащие, зыбкие тени бросились прочь от вспыхнувшего огня и притаились в углах, неслышно двигаясь под стульями и кроватью, как мыши. Желтый, неровный свет падал на опущенную голову Геника и руки, вытянутые на столе. Так сидел он долго, попеременно улыбаясь и хмурясь быстрым, назойливым мыслям, бегущим монотонно и ровно, как шум поезда.

Окно, чернея, глядело на Геника темной пустотой ночной улицы. Неопределенные шорохи, крадущиеся

шаги ползли в тишине, мешаясь с отдаленным глухим стуком колес и звуками мгновенного разговора, вспыхивающими и угасающими во тьме, как спичка, задутая ветром. Геник отодвинул стул, открыл ящик стола и, пошарив среди бумаг, вытащил небольшой узкий конверт. На нем стояло название города, улицы, дома и надпись: — «Ю. Г. Чернецкому, для Геника». «Для Геника» было подчеркнуто два раза и самые буквы этих слов выведены особенно старательно.

Вытащив письмо, Геник развернул его и в третий раз, самодовольно улыбаясь, прочел торопливые, женские строки.

Люба писала:

«Дорогой товарищ Геник. Не знаю вашего адреса и пишу на Чернецкого. Скажите, пожалуйста, зачем я сюда приехала? М. И. ничего не знает и очень удивлена, но говорит, что если вы меня послали, то значит так надо. Объясните, пожалуйста,— что мне делать дальше? Люба А.»

Даже подпись поставлена. Неужели он ошибся относительно ее конспиративности? Впрочем, теперь все равно, и это наивное письмо будет только лишним воспоминанием. Делать ей там, разумеется, совершенно нечего, поэтому пусть едет обратно. Он ей ответит и пошлет денег на обратный проезд.

Неровные, размашистые буквы так живо напоминают руку, писавшую их. Маленькая, гибкая рука, скромно запрятанная до кисти в длинный рукав шерстяного коричневого платья.

Дальше — узкие детские плечи, тонкая шея, коса, упавшая на грудь, и молодая, горячая голова с ясным, пристальным взглядом. Брови сдвинуты досадливо и тревожно. Она пишет ему это письмо. Сидела она, кажется, вот на этом стуле. Даже теперь, как будто, в воздухе блестит улыбка, полная затаенного трепета молодости.

Геник напряженно думал, стараясь уловить что-то сложное, но бесспорное, мелькавшее вокруг образа этой девушки, как неуловимые тени листвы, и вдруг прямая, стройная мысль обожгла его мозг, расцветилась, вспыхнула и выпукло, простыми, отчетливыми словами проникла в сознание. Геник беспокойно заерзал на стуле, улыбаясь тому, что стало таким значительным и ясным.

Сидеть теперь здесь, одному, было нельзя. Шустера жаль, лучше бы потолковать с ним. Хотя, что ни говори, его следовало проучить, человек он дельный, но глупый. А теперь Геник пойдет к ним, скажет самое настоящее и объяснит все: это необходимо.

Одно мгновение ложный стыд шевельнулся в нем. Явилось опасение, что не поверят его искренности, но, утвердившись на той мысли, что надо же это все когда-нибудь кончить, смягчить отношения и ехать работать в другой город,— Геник встал, оделся, погасил свечку и, сунув револьвер в карман пальто, вышел на улицу.

IV

Теплая, весенняя ночь окутывала город душным, пыльным сумраком. За рекой небо еще трепетало и вспыхивало последним румянцем, но выше зажглись звезды, сияя над черными грудами крыш и в просветах темных деревьев, как маленькие небесные светляки. Из окон выбегал широкий желтый свет, местами озаряя тротуары и деревянные, покосившиеся тумбы. Пыль немощеных улиц, поднятая за день, еще не улеглась и невидимо насыщала воздух, густая и душная. За темными, покосившимися заборами, как живые, склонялись деревья, одетые сумраком, шумели и думали.

Геник шел спокойно, не торопясь, обдумывая возможные результаты предстоящего объяснения. От недавнего столкновения с Шустером и жаркой истомы ночи кровь разволновалась, тело требовало усиленного движения, но Геник намеренно сдерживал шаги, не желая еще более возбуждать себя быстрой ходьбой. За ним прислали Шустера, уж, конечно, не для одного примирения. Очевидно, там ожидают его объяснений по поводу письма и отъезда Любы. Если будут приставать к нему с вопросами относительно мотивов,— то он, конечно, скажет им все, хотя бы это повело к форменному разрыву. Лучше об этом сейчас даже не думать. Ход разговоров покажет сам, где и когда можно будет сказать то, что уже сложилось и окрепло в его душе готовым убеждением.

Он вспомнил красный галстук Шустера, нахмурился и свистнул, а пройдя несколько шагов, обернулся, не

переставая подвигаться вперед. Та часть улицы, которую мог охватить глаз, скованный темнотой, была совершенно пуста. Но, несмотря на отсутствие прохожих, тишины не было. Неясные, темные звуки роились, замирали и гасли вокруг, и казалось, что сам уснувший воздух в бреду родит их, грезя эхом и напряженностью дневной суеты.

Геник перешел огромную пустую площадь, в конце которой, на фоне сумеречного неба, рисовались черные колокольни собора, свернул влево и углубился в один из кривых базарных переулков, вымазанный лужами и разным рыночным сором. Днем здесь стоял несмолкаемый шум, звонко кричали бабы, торговки овощами и яйцами; шныряли кухарки и повара, жулики в калошах на босую ногу, торговцы в синих картузах и поддевках; пестрели огромные, пахнущие сырьем, кучи репы, моркови, капусты. Теперь было тихо, темно; навесы лабазов, подобно огромным, продырявленным зонтикам, закрывали переулок, а запертые полупудовыми замками лари, темнея неправильными рядами, казались ненужными, большими ящиками, неизвестно почему окованными ржавым железом.

С угла, навстречу Генику, поднялся задремавший сторож и быстро застучал колотушкой, выбивая скудную, монотонную дробь. Геник прошел мимо него; колотушка трещала еще некоторое время, потом стукнула один раз особенно громким, упрямым звуком и умерла.

Кажется, в переулке раздавалось эхо, потому что шаги Геника стучали по дереву узких дрянных досок тротуара двойным, разбросанным шумом. Он остановился, не решаясь оглянуться, но эхо раздалось еще три раза и стихло. Сердце у Геника забилось усиленным темпом, и он, не двигаясь вперед, стал топтаться на месте, покачиваясь и размахивая руками, как быстро идущий человек.

Эхо приблизилось, замедлилось, как будто в иерешительности, и сгибло в темноте переулка. Геник повернулся и быстро, бегом, бросился назад. Кто-то побежал перед ним изо всех сил, метнулся в сторону, присел за ларь, выскочил снова, но Геник уже держал его за ворот пальто, смеясь от бешенства и удивления.

— Пусти!..— крикнул Шустер, задыхаясь от беготни и тяжелого, злого стыда.— Пусти... ну!

Он сильно барахтался, стараясь вырваться, но Геник коротким усилием повалил его на землю и сел, крепко держа руки противника. Шляпа Шустера откатилась в сторону, и оторопелые, налившиеся кровью глаза упирались в лицо Геника.

— Так! — гневно сказал Геник.— Так вот как, Шустер!.. Ну, хорошо. Я шел сейчас к Чернецкому, и ты напрасно трудился. Впрочем, не советую приходить туда... Может быть, ты мне объяснишь что-нибудь?

— Нечего объяснять...— сказал Шустер хриплым, дрожащим голосом.— Сам ты виноват...

Геник встал, поставил товарища на ноги и, размахнувшись, ударил его в плечо. Шустер охнул и отлетел в сторону, еле удержав равновесие.

— Вот так! — сказал, смеясь, Геник, хотя к горлу его подкатился тяжелый, нервный комок обиды и отвращения.— Теперь мы квиты. Прощай.

Он повернулся и, прежде чем Шустер оправился, пошел прочь ровными, быстрыми шагами. А вдогонку ему летела громкая, беспокойная дробь колотушки ночного сторожа.

V

— Вот и вы! — сказал Чернецкий вежливо-ироническим тоном, бегая глазами по комнате.— Садитесь, пожалуйста.

Геник вошел, не снимая шляпы, быстро осмотрел комнату, не поклонившись Маслову, сидевшему в тени лампы, и подошел к Чернецкому. Тот поднял глаза и встретился с бледным, осунувшимся лицом.

— Ну, что же? — устало спросил Геник.— Вам угодно было меня видеть?

— Да,— сказал Маслов, предупреждая ответ Чернецкого.— Знаете, это тяжело, наконец... Мне хочется лично, например, поговорить с вами... прямо и откровенно. Садитесь, товарищ,— мягко добавил он, видя, что Геник стоит.— Садитесь и снимите вашу шляпу.

— Дело не в шляпе! — вспыхнул Геник.— Я не устал и шляпы снимать не буду.

Чернецкий криво усмехнулся, шагая из угла в угол. Лицо Маслова стало неловким и напряженным. Он покраснел, сделал над собою усилие и заговорил, не повышая голоса:

— Вы хотите ссориться, Геник, но предупреждаю, что со мной это немыслимо. Отчего вы такой? Мы работали вместе, дружно, целых три недели прошло уже, как вы приехали... На юге встречались с вами, я помню... Да... А теперь что же? Какая-то тяжелая туча спустилась над всеми... дело запущено, потеряны многие связи... Нас ведь очень мало, и если так пойдет вперед, можно с уверенностью сказать, что мы недолго протянем.

— Маслов,— сказал Геник и мгновенно побледнел,— может быть, Шустер хочет со мной ссориться?

— То есть? — отозвался Чернецкий, и красивое лицо его насторожилось.— Почему?

— Видите ли,— внутренно смеясь, объяснил Геник,— не далее как час тому назад я поколотил его в одном из рыночных переулков. Он был очень неосторожен, но все-таки убедился, что я в охранном отделении не служу.

— Что-то не понимаю вас...— жалко улыбаясь, сказал Маслов и вдруг тяжело задышал.— Вы и Шустер подрались, что ли?

Чернецкий подошел к окну, растворил его и стал глядеть вниз на улицу. Геник не выдержал. Звонкий туман хлынул в его голову, и через мгновенье, ударив кулаком по столу, он закричал, вздрагивая от бешенства:

— Еще недостает, чтобы вы мне лгали в глаза!.. Он шпионил за мной, говорю я вам! Чьи это шутки, а?..

— Ну знаете, Геник,— овладев собой, сказал Маслов ненатурально-возмущенным голосом,— я на такие вещи отказываюсь отвечать... И говорить их оскорбительно, прежде всего для вас самих...

— Да,— с холодным упрямством подхватил Чернецкий,— вы начинаете болтать глупости!..

— Хорошо! — сказал, помолчав, Геник, стараясь удержать расходившееся волнение.— Я молчу об этом. Доказать это трудно, и вы можете с ясными глазами отпираться сколько вам угодно... Все-таки шел я сюда, к вам... не с враждой... А после того, как поймал Шустера... Кстати, он побоится придти при мне, будьте спокойны...

Все молчали, и молчание это было тягостнее самых оскорбительных и злых слов. Улица заинтересовала

Чернецкого; он пристальнее, чем когда-либо, смотрел в нее. Маслов напряженно теребил бороду, и его серьезные, черные глаза ушли внутрь, а тонкие губы беззвучно шевелились под жидкими усами.

— Кто читал письмо? — спросил Геник.

— Я...— сказал Чернецкий развязно, но не отрываясь от окна.— Видите ли, это все-таки случайно вышло... Письмо было адресовано ко мне и... могло быть деловым... наконец,— какие секреты могут быть между нами... Относительно же вас, после того разговора... Я не знал даже, придете ли вы еще хоть раз. Поэтому я, после долгого колебания... решил его вскрыть... тем более, что оно могло быть очень нужным... спешным...

— Нет, это великолепно! — расхохотался Геник.— Ну, ну,— что же дальше?

Чернецкий пожал плечами, отошел от окна и, нахмурившись, сел. Как и все люди, он считал себя правым, а Геника нет, и смех товарища оскорбил его. Готовилось разразиться новое, ненужное и больное молчание, как вдруг Маслов спросил:

— Ну, хорошо!.. Там, как бы ни было прочитано,— оно прочитано. А теперь, по существу этого письма,— вы могли бы нам объяснить что-нибудь или нет?

Вопрос этот, поставленный ребром, снова зажег в Генике улегшееся было раздражение и наполнил его тоскливым острым желанием сразу высказать все и уйти.

— Да,— с расстановкой заговорил он, рассматривая потолок,— я могу объяснить вам... Раньше я, признаться, не хотел этого, но теперь, когда вы прочли и все-таки не понимаете, я из чувства человеколюбия должен прийти к вам на помощь...

— Очень польщены! — язвительно бросил Чернецкий, шумно вытягивая ноги.— С благодарностью выслушаем.

— Не знаю,— медленно продолжал Геник, и тонкие складки легли между его бровей,— не знаю, будете ли вы польщены и благодарны потом... но факт тот, что я на этот раз договорю до конца... Да и пора, не так ли?

— Именно! — сказал Чернецкий, грызя ногти.— Давно пора.

— Люба уехала отсюда потому,— с наслаждением продолжал Геник,— что я заставил ее уехать... Иначе

она сделала бы то, от чего я ее удержал... правда, обманом удержал, против ее желания... Но вы ведь не замедлили бы исправить мою ошибку? Вот. А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон-Бухеля, не имеет иастоящего представления о... жизни. И нужно этому помешать... Теперь, когда этот самый фон уехал из нашего города, разумеется, ничто не препятствует ей вернуться обратно...

Геник умолк и вытер вспотевший лоб. Да, вот сидят они все трое так же, как сиживали раньше, чеканя различные мелочи партийной работы, но отчужденность вошла теперь в глаза всех и светится там холодным, стальным блеском. Эти двое и он — враги.

— Здорово! — воскликнул Чернецкий, нервно потирая руки.— Однако вы, господин, не стесняетесь! Дада! Герой, вызволяющий невинную жертву из рук злодеев!.. Прямо хоть мелодраму пиши, ха-ха!.. Стыдно вам, Геник! Какой же вы человек борьбы, вы — жалкая, слезливо сентиментальная душа?! Есть бог мести, Геник,— великий, страшный бог, и все мы служим ему!.. Но почему вы нам раньше не сказали того, что сделали? Ваших взглядов не развили почему? Или боялись, что слабы они окажутся?

— Ваша наивность равняется вашему росту,— усмехнулся Геник.— Оттого не сказал, что с первого слова об этом очутился бы в стороне...

— Бессовестный вы человек! — перебил Черпецкий.— Вы...

— Я не кончил еще! — в свою очередь, повышая голос, перебил Геник.— Теперь мне все равно, что вы думаете... Я только спрошу: отчего из вас никто не вызвался на это, так нужное в ваших глазах дело? А? Мы жили, люди мы взрослые, определенных убеждений... Почему свою жизнь вы цените дороже, чем чужую?

Геник встал. Последние слова, сказанные им, довели общее возбуждение до последней степени. Маслов порывисто дышал, судорожно опершись руками о стол, и, когда Геник умолк, заторопился громким, страстным шепотом, вздрагивая всем своим тщедушным больным телом:

— Это уже... это уже... Это обвинение... какое право... вы... Оскорбляете нас... хорошо. Но я не говорю с

вами больше... я не скажу... только... одно... вы и сами знаете это: каждый делает то, что может...

— О,— холодно сказал Геник,— вы могли и не трудиться говорить это. Все эти соображения о разделении труда в партии я знаю... но все-таки мы — мужчины, а она — женщина и... моложе нас... Поэтому я еще раз спрошу: Чернецкий,— не желаете ли умереть благородной смертью? Маслов не умеет стрелять, он слаб... А вы? Отчего бы не попробовать? Это лучше, чем отряжать шпионов за мной.

— Позер! — крикнул Чернецкий, шагнув к Генику.

Слово это вылетело из его горла гулкое и звонкое, как упавшая пустая бочка. Геник пристально посмотрел на юношу и обидно расхохотался, жалея уже о том, что пришел сюда. Кроме дальнейшей брани и шума, ничего не получится. Нужно уйти.

Чернецкий сразу остыл и с тупым удивлением смотрел на Геника. Оттого, что презрительное оскорбление повисло бессильно в воздухе, вдруг всем стало противно и скучно смотреть друг на друга. Геник встал, подошел к двери, но, подумав, остановился и сдержанно заговорил, обращаясь к Маслову:

— Я ухожу... а хотел бы все-таки, чтобы вы, вы именно, поняли меня... Есть люди, смерть которых не проходит бесследно... Пока они живут — их не замечаешь... как воздух, которым мы дышим... Эти маленькие, солнечные жизни похожи на цветы, что растут при дороге... Они такие милые, что даже глядеть на них приятно... Все, что есть у нас лучшего и хорошего, поддерживается благодаря им, когда душа наша, Маслов, усталая и ожесточенная сутолокой и грязью борьбы, отдыхает на них, освежается и крепнет... Я говорю о молодых существах, чистых и трепетных, как весенние листья... Чем стала бы жизнь без них? Пока они среди нас — нужно дорожить этим... Помните Пеньковского Илошу, Нину, с которыми мы познакомились на лимане? Вот тоже Люба. Они нужны, бесконечно нужны, как нужна и дорога всякая поэзия, всякое тепло... И не в этом ли главное молодости? Так нужно беречь их, говорю я... Пусть молодость, сверкающая вокруг, певучая, ясная молодость помогает нам идти до тех пор, пока лицо не покроют морщины и тоскливый холод усталости не затяиет сердца тоненькой, всего только очень то-

ненькой корочкой льда... Вот тогда... кто мешает умереть... если хочется?

Двое людей, слушавших Геника, смотрели в сторону, и странные, блуждающие улыбки сквозили на их лицах. Когда же Маслов поднял глаза, желая что-то сказать, Геника в комнате уже не было.

Снизу, по лестнице, поднималась девушка и, увидя Геника, радостно остановилась. Теперь-то, наконец, ей объяснят все.

— Я приехала...— сказала она.— Здравствуйте! Как я рада, ужасно рада, право!

Геник вздрогнул и слегка растерялся. Потом поздоровался и молча посмотрел в спокойные, ясные, ничего не знающие глаза. Но говорить было нечего, и он сказал только:

— А, вот как!.. Приехали, значит?

— Да.

Люба молча, вопросительно вздохнула, волнуясь и не зная, что делать. Наконец вопрос, вертевшийся все время на ее языке, сорвался с губ, нерешительный и тоскливый:

— Почему это так... вышло? Скажите мне... Я думала... и ничего не могла... Почему это так?

— Ей-богу,— пробормотал Геник, чувствуя, как странный, мучительно-жгучий, но чистый стыд заливает краской его щеки.— Это... вы к Чернецкому... Он все... он расскажет... я, видите, тороплюсь и...

— А вы... разве не могли бы? — сконфузилась девушка.— Я думала...

Она умолкла, и Геник окончательно растерялся, не зная, что сказать. Не может же он говорить то, что сказано там, наверху.

— Я тороплюсь...— вымолвил наконец он.— Вы простите меня — вот все, что я могу вам сказать. Прощайте...

Люба молчала. Мучительные слезы непонимания и тревоги блеснули в ее глазах.

— Простите,— повторил Геник, спускаясь вниз.

Он торопился уйти. Люба постояла еще немного, печально смотря на быстро удаляющуюся фигуру и, вздохнув, пошла выше.

VI

Геник пересек улицу, обернулся на освещенное окно конспиративной квартиры, остановился и с глухим нетерпением стал рассматривать подвижные тени людей, скользившие за стеклом. Кто-то ходил по комнате, потому что большой, заслоняющий все окно силуэт регулярно придвигался к раме, поворачивался и снова пропадал в глубине.— «Чернецкий! — подумал Геник.— Ходит и слушает... но кого? — Самая легкая тень тронула часть стекла, и Геник, сквозь мутно-желтый свет, различил женщину.— Ну, этой плохо! — вслух сказал он.— Ей-богу, они снова уговорят ее».— Тень отодвинулась, пропала, и вдруг показалось Генику, что всякая связь между ним и теми людьми исчезла.

Это было минутное настроение, но в нем, как и в каждом движении души человека, скрывалась несознанная боль одиночества. Ночь, тишина и грусть замедляли шаги Геника. Он шел по траве, сбоку от тротуара, опустив голову, шаркая ногами в бурьяне, и мысленно представлял себе, что произойдет завтра. Комбинируя и усложняя факты, он тщательно проверял их, вспоминал сегодняшний разговор и снова приходил к выводу, что все случится именно так, как не хотел он.

Решение уже набегало, подсказанное тоскливой яростью неосуществленной правды, но тайный инстинкт жизни отвлекал мысль, заставляя прислушиваться к сонной тишине города. Над крышами шумели деревья; их волнообразный, тоскливый шум звучал хором безжизненных голосов, песней оцепенения. Геник подошел к перекрестку. На досках тротуара, обнажая засохшую грязь, желтел свет уличного фонаря. Мальчишески улыбаясь, Геник вытащил из жилетного кармана монету и бросил ее вверх, стараясь попасть на доску. Медный кружок, тяжело вертясь, брякнулся, перевернулся и лег.

Мучительное желание подразнить себя удержало Геника. Он не нагибался, стоял прямо и тупо смотрел вниз, где лежала, обернувшись или орлом, или решкой, трехкопеечная монета.— «Решка!» — уверенно сказал Геник, крепко, до боли прикусил губу и вдруг, быстро нагнувшись, поднял медяк. Выпал орел.

Прошла минута, другая, но революционер все еще стоял, поглощенный натиском мыслей. Надо было идти

домой, обдумать и сообразить дальнейшее.— «Все будут поражены! — сказал Геник.— Честное слово, они объяснят это моим упрямством. А что, если бы выпала решка?»

Он сунул руку в карман, ощутив странное удовлетворение, когда сталь револьвера коснулась вздрагивающей ладони, и подумал, что, в случае «решки», оставалось бы только перевернуть монету орлом вверх.

Он широко размахнулся, решительно стиснул зубы и бросил монету в спокойную темноту ночи.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ

Позорный столб. Впервые — «Всеобщий журнал литературы и искусства, науки и общественной жизни», 1911, № 7—8.

Магазинка — винтовка с магазином для нескольких патронов.

Табу. Впервые — журнал «Аргус», 1913, № 7. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 13, Л., Мысль, 1929.

Фламмарион, Камиль (1842—1925) — французский астроном и популяризатор науки, автор ряда романов на темы астрономии.

Румпель — рычаг для поворота руля.

Племя Сиург. Впервые — «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», 1913, № 1.

Сплин — хандра, тоскливое настроение.

Синий каскад Теллури. Впервые — «Новый журнал для всех», 1912, № 1.

Парусник — здесь: парусных дел мастер.

Шаланда — небольшое парусное рыболовное судно.

Эллинг — сооружение на берегу для строительства судов.

Камедь — застывший клейкий сок некоторых деревьев.

Приключения Гиича. Впервые — журнал «Новая жизнь», 1912, № 3. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 14, Л., Мысль, 1929.

Санкюлот (от франц. sans culottes, букв.— бесштанные) — презрительное прозвище представителей простонародья, принимавших активное участие в Великой французской буржуазной революции конца XVIII века.

Ломберный стол — стол для игры в карты, с поверхностью, покрытой сукном, на котором записывались ставки и выигрыши.

Тиролька — домашняя куртка типа национального тирольского наряда.

Наргиле — восточный курительный прибор.

Рожон — острый кол, укрепленный в наклонном положении.

Альпага — название шерстяной ткани.

Консоль — поддерживающий элемент выступающих частей здания — карниза, балкона и т. п.

Мольтке, Хельмут Карл Бернхард (1800—1891) — прусский генерал-фельдмаршал и военный писатель.

Калиостро, Александр (настоящее имя — Жозеф Бальзамо, 1743—1795) — итальянский авантюрист, выдававший себя за графа, алхимика, чародея.

Казанова, Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор «Воспоминаний», дающих интересную картину быта и нравов французского дворянства.

Ротшильд — нарицательное имя богача; происходит от фамилии Майера Ансельма Ротшильда — крупнейшего франкфуртского банкира, основателя банкирской династии Ротшильдов.

Башкирцева, Мария Константиновна (1860—1884) — русская художница, автор «Дневника», переведенного на многие языки мира.

Гонкуры, Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) — французские писатели, братья.

Тарбаган — разновидность сурков.

Далекий путь. Впервые под заглавием «Горные пастухи в Андах» — «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», 1913, № 9.

Монрепо (франц. mon repos — мой отдых) — убежище, приют.

Столоначальник — заведующий отделением канцелярии министерства, департамента и т. п.

Казенная палата — в царской России — губернское учреждение по налогам.

Трюм и палуба. (Морские рисунки). Впервые — журнал «Бодрое слово», 1908, № 1. Печатается по изд.: А. С. Грин. Собр. соч., т. 3, СПб., Прометей, 1913.

Анатолия — восточная Турция.

Гирло — на юге России — название разветвления речного русла, протоки, соединяющие лиман с морем.

Грот-трюм — грузовое помещение у второй мачты, второй трюм.

Лужа Бородатой Свиньи. Впервые — журнал «Неделя «Современного слова», 1912, № 247. Издавая рассказ в 1929 году, автор исключил из третьей его части два первых абзаца.

Треугольник Родоса — возможно, А. С. Грин имел в виду «прямоугольник Родоса» — общий план прямоугольной застройки кварталов города Родос, примененный древним архитектором Гипподамом.

Имение Хонса. Впервые — журнал «Весь мир», 1910, № 8. Под заглавием «Море блаженства» — журнал «Вершины», 1915, № 31—32.

Наследство Пик-Мика. Впервые полностью — А. С. Грин. Загадочные истории. Пг., 1915. Отдельные новеллы, из которых состоит рассказ, печатались ранее в газетах и журналах: «Интермедия» — журнал «Солнце России», 1912, № 137 (38), ранее — под заглавием «Петух» — газета «Утро Сибири» (Чита), 1909, 25 декабря; «Событие» — журнал «Всемирная панорама», 1909, № 25, позже, под заглавием «Событие моряка»,— журнал «XX-й век», 1915, № 23; «Вечер» — журнал «Весь мир», 1910, № 20; «Арвентур» — «Книга рассказов «Читатель», 1910.

Оркестрион — механический музыкальный инструмент, по звучанию имитирующий оркестр.

Система мнемоники Атлея. Впервые — журнал «Пробужденне», 1911, № 9.

Мнемоника — совокупность приемов, имеющих целью облегчить запоминание большего числа фактов, сведений и т. п.

Новый цирк. Впервые — «Синий журнал», 1913, № 47. В публикациях начиная с 1915 года несколько изменен конец рассказа.

Драгоман — официальный переводчик при дипломатических представительствах и консульствах на Востоке.

Пшют — фат, хлыщ.

Золотой пруд. Впервые — А. С. Грин. Загадочные истории. Пг., 1915.

Зурбаганский стрелок. Впервые — журнал «Нива», 1913, № 43—46.

Цитра — музыкальный инструмент, состоящий из треугольного ящика с 36—42 металлическими струнами.

Гашиш — наркотик, изготавливаемый из семян индийской конопли.

Лунный свет. Впервые — журнал «Всемирная панорама», 1911, № 6 (95).

Загадка предвиденной смерти. Впервые — «Синий журнал», 1914, № 9.

Стигматик — здесь — самовнушитель, человек, способный самовнушением вызвать появление на теле стигм — язв, следов ударов и т. п.

История Таурена. (Из похождений Пик-Мика). Впервые — «Синий журнал», 1913, № 6. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 8, Л., Мысль, 1929.

Пикмист — то есть последователь Пик-Мика, словообразование А. С. Грина.

Анакреон (570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, автор любовных и застольных песен.

Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный философ, экономист.

Софизм — умышленно ложно построенное умозаключение, формально кажущееся правильным.

Шамбертэн, Клоде Вужоо — марки шампанских вин.

Всадник без головы. (Рукопись XVIII столетия). Впервые — «Синий журнал», 1913, № 26.

Каррарский мрамор — сорт белого мрамора, названного по местности в Италии, где его добывают.

Шнабель-клёпс — блюдо из рубленого мяса, биточки.

Капорцы (каперсы) — колючий полукустарник на Кавказе и в Средней Азии, маринованные почки которого употребляются как пряная приправа.

Гутенберг, Иоганн (род. между 1394—1399, ум. в 1468) — изобретатель европейского книгопечатания.

Лютер, Мартин (1483—1546) — глава Реформации в Германии XVI века, основатель немецкого протестантизма (лютеранства).

Я был женой Лота — то есть застыл, оцепенел по библейской легенде жена Лота нарушила запрет бога и обернулась, покидая Содом, за что была превращена в соляной столб.

Мертвые за живых. Впервые — «Синий журнал», 1914, № 3. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 8. Л., Мысль, 1929.

Арбалет — самострел, усовершенствованный лук с механическим устройством натягивания тетивы.

Меровинги — первая королевская династия во Франкском государстве, правившая в V—VIII веках.

Путь. Впервые — журнал «Аргус», 1915, № 8.

Рассказ Бирка. Впервые под заглавием «Рассказ Бирка о своем приключении» — журнал «Мир», 1910, № 4.

Картуш, Луи (1693—1721) — французский разбойник.

Ринальдини, Ринальдо — разбойник, герой «разбойничьего романа» Х. А. Вульпиуса (1762—1827). В России перевод романа впервые опубликован в 1802—1804 гг. без имени автора.

Происшествие в квартире г-жи Сериз. Впервые — журнал «Аргус», 1914, № 22. Печатается по изд.: А. С. Грин. Загадочные истории. Пг., 1915.

Лавуазье, Антуан, Лоран (1743—1794) — французский химик.

Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, казненная по постановлению трибунала во время Великой французской буржуазной революции.

Эмпирики — последователи учения, признающего опыт (чувственное восприятие) единственным средством достоверного познания.

Клио — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница истории.

Халдейские жрецы — жрецы из Вавилонии, правившие ею в 625—537 гг. до н. э.

Сенешал — королевский дворецкий во Франции V—VIII веков.

Розенкрейцеры — члены возникших в XVII веке в Европе религиозно-философских тайных обществ, слившихся впоследствии с масонами.

Агриппа — Марк Випсаний Агриппа (ок. 63—12 до н. э.) — римский полководец, строитель многих сооружений в Древнем Риме — водопровода, Пантеона и др.

Эпизод при взятии форта «Циклоп». Впервые под заглавием «Эпизод из взятия форта «Циклоп» — «Синий журнал», 1914, № 29.

ЗНАМЕНИТАЯ КНИГА

Человек, который плачет. Впервые — журнал «Новые мысли», 1908, № 1.

Тайна леса. Впервые под заглавием «В лесу» и с подзаголовком «Очерк» — журнал «Вселенная», 1910, № 2.

Кошмар. Впервые — газета «Слово», 1909, 1 и 8 марта.

Четвертый за всех. Впервые — журнал «Солнце России», 1912, № 131 (32).

Клопштосс — название удара в игре на биллиарде.

Дракон, Брунгильда — персонажи древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах».

В дезабилье (франц. deshabille) — не вполне одет.

Малинник Якобсона. Впервые — журнал «Всемирная панорама», 1910, № 73.

Барка — небольшая деревянная баржа с открытой палубой.

Чухна — в дореволюционной России — презрительное прозвище эстонцев.

Циклон в Равнине Дождей. Впервые под заглавием «Циклон» — журнал «Всемирная панорама», 1909, № 36.

Ксения Турпанова. Впервые — журнал «Русское богатство», 1912, № 3.

Винцерода — плащ из непромокаемой ткани.

Бельше, Вильгельм (1861—1939) — немецкий биолог, популяризатор науки.

Зимняя сказка. Впервые — журнал «Солнце России», 1912, № 146 (47).

Вольные перекладные — экипаж с лошадьми, нанимаемый самостоятельно, не на почтовых станциях.

Глухая тропа. Впервые под заглавием «Глухая тревога» — журнал «Солнце России», 1913, № 28 (179).

Остожье — площадка для стога, скирды, устланная соломой.

Мурга — провал, яма.

«Она». Впервые в сокращенном виде под заглавием «Игра света» — газета «Наш день», 1908, 18 февраля. Первая полная публикация — «Литературно-художественный альманах». Кн. 1-я, СПб, 1909.

В полной редакции отсутствуют строчки, которые есть в газетной публикации. После слов «Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер» следовало: «И долго, целый час после этого, не оживал в игре света экран маленького театра. А потом сиова, мелко и бессильно, задребезжал колокольчик, вздрагивая и умирая тупым зовом в осенней мгле».

Гуттаперчевый — из затвердевшего млечного сока некоторых деревьев, близкого по своим свойствам к каучуку.

Чичероне (итал. cicerone) — гид, проводник, дающий объяснения туристам.

Тихие будни. Впервые — журнал «Современник», 1913, № 10.

Домби — персонаж романа Диккенса «Домби и сын».

Тянуть жребий — при наборе в солдаты деревня должна была поставить определенное количество рекрутов; кто именно пойдет служить,— определял жребий, который тянули люди, не имеющие льгот и отсрочек.

Гольдсмит, Оливер (1728—1774) — английский писатель.

Зигфрид—герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах».

Маленький заговор. Впервые под заглавием «История одного заговора» — «Новый журнал для всех», 1909, № 4.

Ю. Киркин

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ

Позорный столб 3
Табу 7
Племя Сиург 21
Синий каскад Теллури 34
Приключения Гинча 68
Далекий путь 132
Трюм и палуба (*Морские рисунки*) 146

ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ

Лужа Бородатой Свиньи 167
Имение Хонса 172
Наследство Пик-Мика 177
Система мнемоники Атлея 197
Новый цирк 202
Золотой пруд 207
Зурбаганский стрелок 211
Лунный свет 245
Загадка предвиденной смерти 256
История Таурена (*Из похождений Пик-Мика*) 263
Всадник без головы (*Рукопись XVIII столетия*) 269
Мертвые за живых 275
Путь 279
Рассказ Бирка 285
Происшествие в квартире г-жи Сериз 300
Эпизод при взятии форта «Циклоп» 307

ЗНАМЕНИТАЯ КНИГА

Человек, который плачет 314
Тайна леса 318

Кошмар 324
Четвертый за всех 335
Малинник Якобсона 344
Циклон в Равнине Дождей 350
Ксения Турпанова 355
Зимняя сказка 372
Глухая тропа 383
«Она» 389
Тихие будни 401
Маленький заговор 421

Примечания 453

А. С. ГРИН

Собрание сочинений
в шести томах

Том II

Редактор тома
Е. И. Прохоров

Оформление художника
А. И. Неровного

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 28 03.80 Подписано к печати 20 06 80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ л. 24,78. Уч.-изд л 25,20. Тираж 600 000 экз.
Изд № 1768. Заказ № 2208 Цена 2 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

Индекс 70687